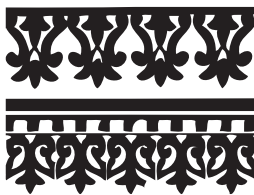


томская классика

Федор
Климыч



томская
классика





Борис Климычев

Избранное

Томск-2015

УДК 821.161.1-32 Борис Климычев
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К49

Борис Климычев. Избранное. Книжная серия «Томская классика» — Томск:, 2015. — 400 с. Составитель и автор послесловия А. Казаркин.

Книжная серия «Томская классика»
выходит при поддержке губернатора Томской области
Сергея Анатольевича Жвачкина

Томская писательская организация благодарит
руководителей ООО «Межениновская птицефабрика»
Андрея Андреевича Чуркина,
Леонида Викторовича Ющенко,
Владимира Николаевича Хорошилова,
Фёдора Николаевича Халецкого
за финансирование издательского проекта
«Томская классика»

ISBN 5-902350-01-8
ISBN 5-902350-10-7

© А. Казаркин: составление, 2015
© Томская писательская
организация: переиздание, 2015

Томские чудеса

Тверская, пять

Там, где Тверская спускается к Ушайке, в прошлом был прорытый ручьём овраг. Как бы на дне бывшего оврага стоял наш дом, там, где улица поднимается в гору. Дом был вырыт одной стеной в косогор.

На первом этаже дома, в большей части его, жила семья Зиновьевых. А в маленькой однокомнатной квартире, примыкавшей к стене, вырытой в землю, жили Стариковы.

Сыровато было у них, но я часто играл там с дочкой Стариковых Галей. Она была на пять лет старше меня, чёрная, как галка, имя ей соответствовало.

То она изображала из себя врача, сверлила мне лучиной молочные зубы и гудела при этом, подражая бормашине. То я ездил на ней верхом.

Галья учила меня пить чай с блюдечка, и многому другому. Однажды она вылила за окно загустевшие красные чернила и велела присыпать песком:

— А то подумают, что кровь, и привяжутся.

— Так ведь можно сказать, что это чернила были.

— Ага! Придут крючки, сколько нервов вымотают!..

На втором этаже было две квартиры: наша и Есманских. Кухня у нас была общая.

Жена Есманского, Ксения Никитична, шила в своей комнате на ручной машинке из сиротской материи юбки и платья, перелицовывала пиджаки, и продавала на толкучке.

Я иногда подходил к ней, просил рассказать сказку. Никитична соглашалась не сразу:

— Расскажу, если покрутишь ручку швеймашины.

Я добросовестно крутил ручку, а она говорила.

Но герои в её сказках вели себя странно: Коза съедала своих семерых козлят и самого Серого Волка, Баба Яга влетала в своей ступе в окна квартир и побивала огромным пестом всех людей, а в первую очередь детишек. Волшебник снабжал всех такими молодильными яблоками, которые были начинены порохом, взрывались у человека во рту, да так, что у того отваливалось полголова.

— Нет! — кричал я, заливаясь слезами, — не так надо!

— Я лучше знаю, — отвечала Никитична.

Иногда в разгар нашего спора являлась мать.

— Развесил уши! Она назло. Наслушаешься, потом кричишь во сне.

Матери случалось ругаться с Никитичной и на кухне. Стол был общий, и, бывало, мать говорила соседке нарочито тихо:

Мне надо раскатать тесто, а вы всё заняли своими чугунками. Она смотрела упрямыми зеленоватыми глазами в запавшие, острые, тёмные глазки Никитичны.

Та стояла, картинно расставив ноги, в уголке рта тлела вечная папироска-гвоздик, она встряхивала чёрными, коротко стриженными «под фокстрот» волосами. Отвечала матом.

Случалось хуже. Наш пёс иногда проскальзывал на кухню, соседка даже подкармливала его. И однажды вдруг Никитична огрела нашего Маркиза поленом. Мать назвала её садисткой, отвергла обвинение в том, что якобы пёс гадит на кухне, полезла под стол:

— Это же кал кошачий, ах вы!..

Мать грозила соседке страшными карами, говорила, что отравит её и кота Ваську. Мне мерещилась Никитична, валяющаяся на полу рядом с мёртвым же котом. Тёмные глазки соседки уже остекленели, а во рту ещё дымится папироса-гвоздик.

Между тем, кот и пёс доедали на полу рыбку требуху, и не было ни ворчания, ни шипения, животные как бы задались целью показать людям, как надо жить.

С плохими предчувствиями ушёл я из дома, а когда нагулялся и вернулся, застал мать и Никитичну, сидящими за столом в обнимку и поющими грустную песню: «Среди долины ровных». Они дали мне чаю и шанег, а сами налили себе из графинчика водки.

Если к нам кто-то приходил и стучал внизу в дверь, то мы в своих комнатах ничего не слышали, ближе к сенцам располагалась квартира Есманских. Спускаться вниз по лестнице приходилось дочери Есманских Таисии.

Она была темноволосой и близорукой, как и мать, училась где-то на чертёжницу, пела под гитару. Лёгкой и тонконогой Таисии сбегать вниз-вверх ничего не стоило, но Никитична кричала, что мы — бары-господа, а они нас обслуживают.

Отец разрешил этот конфликт, устроив звонок. Колокольчик в прихожке был привязан к проволоке, спускавшейся по катушкам вниз. Там сквозь дырку проволока была пропущена наружу. Дёрнет посетитель за проволоку — в прихожке звонок звенит.

К Есманским звонить три раза, а к нам — шесть. Электрозвонков тогда не было, контролёры следили, чтоб в каждой комнате была лишь одна лампочка самой малой мощности.

Отец придумал ещё один блок, чтобы можно было, не спускаясь вниз, отпирать дверь. Дёрнешь вверху за проволоку, и крюк выскочит из петли.

Есманский работал на конфетной фабрике пряничным мастером. Вечерами на кухне сапожным ножом он вырезал штампы для печений. На торце полешка. Ещё вечерами он плёл корчаги и сети. Он ловил рыбу не только летом, но и зимой. Иногда с ним на рыбалку отправлялся и отец. Окунь и ельцы, которых приносили рыбаки зимой, казались белыми варениками. Их опускали в таз с водой, и происходило чудо. Елец начинал в воде шевелить жабрами, а потом плыл медленно, потом быстрее, и вдруг пускался в бешеную гонку за самим собой по кругу.

Многие в нашем дворе работали на кондитерской фабрике, которую мы ласково называли «Конфеткой». За нашим окном был виден её забор, криво взбиравшийся по косогору, поросшему берёзами и шиповником. Мне была видна лишь труба фабрики, но ветер доносил её дым, пахнущий мёдом.

Фабричный гудок гудел шесть раз в день, и многим заменял часы. Но кочегар давал гудки, глядя на ходики в проходной. Ходики иногда отставали или спешили. Случалось, кочегар напивался и вообще не давал гудков, тогда округа жила как бы вне времени, соседи нередко приходили под наше окно и, сложив ладони рупором, кричали:

— Который час?!

Отец был часовщиком, у нас на стенах всегда тикали самые разнообразные часы. Они принадлежали клиентам, отец проверял их ход после ремонта.

Поскольку дом был врыт в гору, то была в нашей квартире особенность. Выглянешь в окна, выходящие на улицу, видишь: да, живём на втором этаже; а в окна, обращённые к горе, можно выйти, как в дверь, прямо в сад к соседям Потапочкиным. Летом в открытые окна протягивали ветки сирень, ранет и черёмуха.

Потапочкин был метранпажем. Это напоминало мне звучный титул из сказки. Но наш паж-метранпаж не носил за королевой шлейф платья, не было у него малинового берета, он был важен, молчалив и появлялся в своём саду то с лопатой, то с граблями.

В окна, выходявшие во двор, я видел сарай с навесом и флигель, где жили Усачёвы и Дубинины. Усачёв был на фабрике кладовщиком, а Дубинин Василий шофёром.

За флигелем был огород, где жильцы усадьбы выращивали разные овощи, а ещё дальше — маленькие избушки, где жили престарелые Касьяновна и Северьянович и ютившиеся у них на правах квартирантов Ван Дзины. Женщина и две девочки.

Старожилом усадьбы был наш сосед Есманский, он и рассказывал, что раньше всё здесь принадлежало купцу Морозову. Купец был голубятником. От тех времён остались на чердаке дома пласты слежавшегося голубиного помёта.

— О, Марфа Баканас! — восклицал Есманский, и меня поспешно выставляли с кухни. Но я ухитрялся подслушивать. Эта самая Марфа распоряжалась женщинами, втыкавшими в шляпки красные розы. Вечерами женщины стояли у наших ворот. И здесь загорался во тьме красный фонарь, чтобы мужчины не заблудились. И всю ночь в доме играл граммофон и звенели бокалы.

Знакомый Есманского, поляк, потом женился на Марфе Баканас, она стала важной дамой, а публичный дом закрылся. Но поляк не мог забыть прошлого жены. Да как забыть, если по вечерам в дом стучались бывшие посетители. Поляк переехал в Заисточье, но и там не успокоился, напившись пьяный, кричал:

— Я ж тебе, курва мама твоя, з бардаку взял!

Есманский мастерски произносил фразу, я как бы видел несчастного поляка. Несмотря на более чем юный возраст, я всё же думал, что на месте этого бедолаги искал бы иную жену.

Вольготно жилось в слободке зимой и летом. Коньки да лыжи, санки, снежные забавы.

Каких снеговиков мы лепили! А летом купание одно чего стоило! А в начале лета гудели возле нашего дома на горке майские жуки. Наловишь, оторвёшь им крылышки, посадишь в спичечный коробок. Они скребутся, а ты слушаешь «патефон». Однажды дал матери послушать, а она говорит:

— Тебе бы руки-ноги оторвать, ты бы тоже запел, как патефон!

Откуда к нам являлись такие забавы? Мы не знали. Привяжем ниточку к рублю, он на дорожке, а ниточка протянута в ограду и зажата у меня в кулаке.

Смотрим в щели из ограды на дорожку. Дородная тётка воровато оглянулась, наклонилась, только хотела поднять рубль, я за ниточку дёрнул, фонтанчик пыли — и рубль исчез.

Не сразу поняла. На наш залиvistый смех ответила матом, и вся покраснела, как рак.

— Эй! А ещё губы покрасила!..

Где мы этому научились? Видимо, по капле впитываем всё, что есть вокруг. Слободка наша была школой городской жизни для вчерашних деревенских. Они чаще становились грузчиками, возчиками. Ювелиры-то секреты на ушко передают, а на профессора полжизни учиться надо.

То ли дело в милицию поступить. Гаркнешь: «Предъявите документки!» — профессор и тот вздрогнет. Бывало, днём

крутили хрюшкам хвосты, гребли навоз, а ночью сдрючивали с прохожего шубу.

На Петровской глубокий овраг. Отец с матерью из гостей шли поздно ночью. У матери браслет-змейка из чистого золота, глаза у змейки — изумруды. У отца часы тоже золотые. С двух косогоров скатились тёмные фигуры, в руках ножи блестят. Нет пути ни вперёд, ни назад. Мать браслет снимать стала, и вдруг голос:

— А! Это вы, Николай Николаевич? Извините, не узнали. Матрёна Ивановна, не волнуйтесь. Хотите, до дома проводим, чтоб никто не обидел? Нет? Ну, приятного вам отдыха...

Деревенские чаще всего шли в банды. Сила есть — ума не надо. Скажем, карманник должен быть и актёром, и психологом. Сисе вон с младенчества ладошку бинтовали, чтоб длиннее была. Нет, нам чего попроще.

На нашей кухне звучало немало преданий о легендарных налётах.

В конторе ассенизационного обоза на Ярлыковской. Там налётчики связали и положили под стол канцеляристок и заведующего. Очистили сейф и оставили записку: «Ваши деньги из говна!».

Был случай в доме на окраине Мухинской. Ночью воры пробуравили дыры в наружной и внутренней дверях. Отодвинули засовы, сняли крючки. Хозяева мирно спали, и проснулись в дочиста обобранном доме. И опять была записка: «От вора нет запора!».

Многое к своим шести повидал я в слободке.

Цыган переводил через Ушайку медведя по отмели. Парни, мужики и детишки принялись швырять в зверя прибрежными голышами. Медведь дико ревел, и это подзадорило толпу. Тяжёлые каменюки стали попадать и в цыгана. Он попытался напугать толпу, делая вид, что спускает с цепи медведя. Один мужик, обрадованный таким оборотом дела, заорал:

— Дарья, тащи двустволку! Хичника на людей пущать? Застрелю!

Цыган понял, что толпу эту ничем не проймёшь, быстро побежал, увлекая за собой медведя. Он кричал под градом камней:

— Да люди вы или звери, в конце-то концов! Вы же артиста убиваете!

Летним утром я был очень удивлён, увидев на нашей лавочке изысканное общество. Сидели там известные в околотке люди, с которыми каждый мальчишка мечтал подружиться. Карманник Сися играл на гармошке. Две блатные девицы пели частушки. Одну из них на Тверской именовали Верой-дурой. Однажды я столкнулся с ней. Она уставилась на меня пьяными глазами:

— Что? Вера-дура? Вера не дура, так и скажи всем соплякам!

Вера ходила, склонив голову набок, рот у неё всегда был полуоткрыт и слюняв. Но это происходило оттого, что в воровской драке ей перерезали сухожилие на шее. Вообще-то она была достаточно умна, чтобы успешно торговать краденым.

На лавочке я увидел не только её, но знаменитого Дюдю, двух казанских парней и Мишку Шмона, который всегда крутился возле взрослого ворья. Я тоже присел на лавочку. Она у нас толстая, из цельной лиственницы, вся изрезанная надписями. Приятно, что из других домов к нам посидеть на лавку идут, значит, лучше.

Частушки мне надоели, и я пошёл домой, пить хотелось. В сенях у нас кадка с холодной водой, в ней всегда ковш находился, хвостиком за край бочки прицепленный.

Вдруг, смотрю, на веранду из квартиры Есманских вылезает известный вор-потихушник Витька Урас, а в каждой руке у него по узлу.

Я тогда не знал, что настоящие воришки на «мокрые» дела никогда не ходят, и перепугался: вдруг Урас меня тут прирежет, чтобы свидетелей не было? Вбежал на кухню белее мела, мать сразу это заметила:

— Ты что? Заболел?

Я ей на ухо сказал. А она крикнула Есманским:

— Вас обокрали! Держите воров!

Есманский кинулся на улицу, позвали соседей. А Мишка Шмон говорит:

— Вон, дяденька, вор-то с узлами на крышу залез! Где? На трубе! Никитична всплеснула руками:

— Ай, дурной! Они тебе глаза отводят. Вон он вор, с узлами бежит, вон уж через Ушайку перебежал, догоняй, мать твою за уши!

Витька бежал по Петровской, в одной руке держал два узла, а в другой у него были калёные орехи, он их щёлкал на бегу, его хорошо было видно.

Толпа догонявших приближалась к Витьке, он обернулся, сплюнул скорлупой, крикнул: «Наддай!» и так замелькал ногами, что сразу далеко оторвался от преследователей, запыхавшихся на крутом подъёме. Он помахал им и скрылся в проулке.

Никитична набросилась на певцов:

— Пособники!

— А мы — чо? Мы ничо! — сказала Вера-дура, которая не была душой. — Мы частушки поём. Али лавочки жалко? Так мы на другую пойдём...

Отец про эти дела иногда с гостями говорил: «Сибирь. Потомки ссыльных, беглых, каторжников потомки. Да и пере-

селенцем не каждый способен стать, а только самый отчаянный...

Однажды я спросил его:

— А ты чей потомок? Беглых или ссыльных?

— Мы саратовские. Отец мой в Саратов с Украины приехал. Знаешь, настоящая наша фамилия, может, украинская, может, кавказская. Как? Жила на Украине семья Порохненко, где-то возле моря. Может, порох в фамилии не зря звучит. Может, это казаки были.

Была у них дочь Оксана. Говорят, однажды у этих Порохненко остановились горцы, продававшие лошадей. Один решил на Оксане жениться.

Вскоре явился гонец: война на Кавказе!

Горец уехал, а потом Оксане привели белого коня, накрытого чёрной буркой, передали ей, как невесте этого горца, шашку, острый кинжал и папаху.

Погиб горец-то. Вскоре родители отдали Оксану за батрака, за Климычева. Родилось у него много детей, а старшего он не любил, так как тот обличьем чисто в горца вышел.

— Чего ребёнку голову морочишь? Что он ещё понимает?

А я любил слушать рассказы отца о его дедушке, Николае Фёдоровиче, которого никогда в жизни не видел.

Несколько раз мы ходили с отцом по Красноармейской за город. Улица эта была застроена деревянными дворцами. Их отделка напоминала кружева. Светлую теплоту тесовой обшивки подчёркивал тёмный фон зубчатых пихт и елей.

В конце улицы мы миновали развалины, и вышли к кладбищам, напоминавшим обширные пустыри. Здесь в бурьяне и молодой поросли кустарников там и сям торчали кресты, полуразрушенные надгробия. Мы постояли возле осевшего холмика и покосившегося креста.

Дальше я увидел уже не кресты, а камни, на которых были выбиты полумесяцы и странные письмена. Отец сказал, что это по-арабски. Сказка про Синдбада Морехода. Но — грустная, камни валились в разные стороны. А вон — кресты необычной формы и готический шрифт.

На кладбище пасли скот. Строили дорогу, снося могилы, а возле дороги встали дома.

Через какое-то время могилку деда было уже невозможно отыскать.

Дед Николай Николаевич в двадцатилетнем возрасте покинул родительский дом, поехал искать счастья в Саратов. Скопил дед деньги. Женился на дворяночке, приживалке.

По газетному объявлению нашёл помещицу, сдававшую в аренду лес. Контракт на двадцать лет. У помещицы было мало пахоты. Арендатор должен был вырубать лес и готовить зем-

лю под пашню. Древесину мог использовать по своему усмотрению.

В глухом лесу выросли дома, избы, на лесной речке дед соорудил лесопилку. Пилили плахи, тёс, гнули дуги, гнали дёготь, скипидар, жгли уголь. Пудами заготавливали орехи, грибы, мёд.

Дом. Китайские фонарики. Запах хвои, вина, воска. Обломки фарфора под каблуком, звякающая бубенцами тройка у крыльца.

«Черкесец» ходил вместе с парнями и девушками колядовать. Когда в ночь перед Рождеством, загадывая суженого, невесты бросали за ворота башмачки с ног, он собирал их все в мешок, а утром устраивал «распродажу»: один башмачок — один поцелуй.

А в подвале дома стучал печатный станок типографии народников. Похожая на девочку-подростка молодая жена рожала «черкесцу» одного за другим сыновей.

Однажды он сжёг собственный дом, опасаясь обыска. Старшему сыну было тогда шестнадцать лет, младшему четыре. Бросили почти всё нажитое, вымазали лица сажей. И на нескольких подводах пустились в путь под видом погорельцев.

Лишь портрет жены привёз дедушка в Томск. Есть у меня копия с этой фотографии. Молодая бабка-то, улыбчивая, добрая. Отравилась в дороге.

Томск дед выбрал потому, что знал: есть в городе университет. Хотел дать детям образование. Служил он какое-то время приказчиком, потом стал держать трактир.

Простудился на охоте. Остались братья одни, и стала им обламывать рёбра суровая жизнь. Среди морозной сибирской зимы братьев выселил из дома его владелец: идите-ка, Бог не оставит.

После они сменили много квартир, досыта было унижений, оскорблений, пинков. И Бог их не оставил.

По вечерам мать с отцом говорили о книгах:

— Мопассан... но это уже слишком... Ничего подобного...

— Хочу ещё про Маркиза Карабаса и Синюю Бороду книжки, как у Вовки! — канючил я. Мойдодыра наизусть уже выучил.

У Зиновьевых на квартире жили студенты. Мать говорила:

— Самый славный — это который философ, Андрюшей зовут. Вежливый такой, всегда раскланивается. Но уж очень рассеянный. Я сижу в туалете, он дверь дёрнул — закрыто. И что же? Прислонился спиной к двери туалета, стоит, учебник читает. Каково моё положение? Я уже не могу сделать то, зачем пришла. Странно с его стороны, а ещё философ.

— Ерунда, — говорит отец. — Разве можно человека в вузе обучить философии? Человек должен делать выводы из жиз-

ни... Ну и что же, что я только часовщик? Борьке нечего стыдиться. У Вольтера была часовая мастерская, сыном часовщика был Жан Жак Руссо, а Пьер Огюстен Бомарше, сын часовщика, создал своего знаменитейшего «Севильского цирюльника» именно потому, что хорошо знал жизнь.

— Не забивай ребёнку голову! — снова сердилась мать. — Надо всё сделать, чтобы он стал инженером по крайней мере, а то из твоих братьев только один грамотный и есть...

Она имела в виду дядюшку Венедикта, инженера-строителя и самодеятельного архитектора.

А я вовсе не был в претензии на то, что мои дядьки не имели какого-то там документа, именуемого дипломом. Зато все они были весёлыми, умели рассказывать о своих необыкновенных приключениях и похождениях. Они умели и петь, и плясать, и играть на разных инструментах. Застолье с участием отцовых братьев всегда было незабываемым праздником.

Дядя Володя

На Маслену пекли блины, и я проводил время на кухне возле печки. Тесто, похожее на мутную водичку, проливаясь на сковороду, превращалось в румяный блин. Иногда блин выходил если не комом, то и не идеальным кругом. Такой блин не клали на блюдо, а отдавали мне.

Блаженство — окунуть блин в топлёное масло и отправить в рот! По улицам в эти дни пролетали тройки, молодёжь каталась с гор на санках. Вот кончится Маслена, и не дадут больше блинов, остатки мясных блюд кинут собакам. А пока предстоял пир. В нашей семье он не начинался только потому, что мы ожидали прихода Владимира Николаевича.

Это был самый загадочный из моих дядек. Если другие отцовы братья бывали у нас каждый выходной, то дядя Вова появлялся очень редко. Он вечно пропадал где-то в тайге, то охотился, то работал в геологических партиях.

Он всегда производил фурор. То он появлялся в сопровождении своры охотничьих собак, то приходил с полупьяными остяками, одетыми в кухлянки и торбаса. Он демонстрировал охотничьи ножи в ножнах из оленьего камуса. Рассказывал увлекательные истории о своих охотничьих подвигах.

Он подарил нам оленьи рога, на которые мы стали вешать в прихожей шубы и шапки. Матери не раз дарил соболиные шкурки, а однажды вручил ей чернобурку для изготовления воротника, именуемого горжеткой. Шкурке придали вид живой лисы стеклянные глаза и блестящий носик из плотной материи.

Белые фетровые боты и горжетка — одежда начальничьих жён. Так дядя Володя сказал матери, так она с тех пор стала одеваться.

— Запил братец! С прииска вернулся, мудрено не запить, — сказал дядя Саня.

— Ещё пришибут за золотишко, — забеспокоилась мать.

— Володьку-то? Его пришибить мудрено! — воскликнул отец.

Начались воспоминания.

Владимир и Евгений в трактире познакомились с Тадеушем Тартаковским. Он велел им сменить красные атласные рубахи на английские костюмы. Евгений надел коричневый, а Владимир чёрный. В трактире, в ресторане Тадик не играл в карты, лишь делал вид, что пьёт вино. Садился против зеркала, так, чтобы видеть карты игроков.

Евгений и Владимир при игре поглядывали на него. Если он касался одним пальцем перстня, а другой рукой брался за верхнюю пуговицу сюртука, знали — дама пик.

Евгений оказался наиболее способным к игре. Он быстро соображал, имел большую чувствительность пальцев. В каждом из рукавов у него была колода карт, всегда мог стряхнуть необходимую карту в ладонь.

Стали гастролировать по городам Сибири. Тадик брал большую часть выручки себе, братьев он одевал по-господски, купил им по золотому перстню и по бриллиантовой заколке для галстуков.

Во Владивостоке, в гостинице, Евгений обыграл на крупную сумму японского купца. Владимир валялся в эти дни в больнице, его замучила малярия. После игры Евгений пошёл прогуляться по набережной. Японец подстерёг его там и швырнул в спину нож. Удар был смертельным. Евгения похоронили как безродного, а Тартаковский исчез.

Владимир Николаевич поправился и после гонялся за поляком по всей стране. Не настиг. Затаился где-то шулер. При воспоминании о нём Владимир всегда зубами скрипел: эх, поймай бы!

Дядя Володя устроился на ипподром конюхом. Высокий, сильный, он ходил по Томску в самые морозы с непокрытой головой, только перехватывал чёрные кудри белой лентой. Свояк Николай был лошадиником: извоз держал и лошадьми приторговывал. Вскоре и дядя Володя стал владельцем нескольких лошадей.

Однажды свояка, Николая, попросили вернуть в город «кухтеринскую почту», нужно было её догнать на тракте. Как раз тогда в городе были хозяевами красные. Николаю было лестно. Выехали с дядей Володей. Догнали!

А через неделю власть переменялась. Ночью в дом на Татарскую пришли вооружённые офицеры, и связали дядю Володю и его свояка по рукам и ногам. Расстреливать их должны были на другой день в четыре часа возле Троицкого собора. Там в эти дни расстрелы шли.

Тесть Владимира Николаевича, купец Тягунов, побежал в штаб. Взятку не возьмёте ли? Взяли. Обещали дать бумагу с отменной приговора, одной только печати на эту бумагу не хватало. Ровно в половине четвёртого наконец-то и печать поставили.

Тягунов кинулся в пролётку и принялся погонять лошадей, от Каменного моста до собора рукой подать, но Тягунов всё же опоздал. Расстрел уже начался. К дяде подскочил маленький такой усач-офицерик. Выстрелил из пистолета прямо ему в рот. Пуля выбила дяде два зуба и вылетела через щёку.

— Ну и сука! — сказал дядя Володя. — Я тебя одной пулей уложу, если доведётся.

Солдаты дали залп, дядя Володя упал! Ушли солдаты за лопатами. А с деревьев соскочили братья, которые прятались там во время расстрела, всё видели, а помочь брату не могли.

Подбежали к нему. Чуть дышит, кровь из ран течёт. Сняли с лежавшего неподалёку мертвяка шинелку, и на ней бегом-бегом потащили брата кустами, закоулками в медицинские клиники. Был там хирург, заядлый охотник, которого дядя не раз снабжал лошадьми и собаками.

Хирург велел тащить дядю Володю в морг, пришёл туда с чемоданчиком, сделал операцию. Братья принесли в морг шубу, несколько одеял. Сутки дядя лежал в морге, потом ночью вывезли его к знакомым, спрятали на чердаке.

Дядя поправился быстро. Шутил: заросло, как на собаке! Едва установилась в городе власть большевиков, устроился Владимир Николаевич кучером в ГПУ.

— Зачем это тебе надо? — спрашивали братья. — Чего ты с этой конторой связался?

— Может, поймают того сморчка, который с двух шагов мимо мишеней попадает, уж я попрошу, чтоб дали его шлёпнуть, уж я не промахнусь.

Братья считали это великой блажью: тот офицер, если и жив, то уже где-нибудь в Китае или в Монголии живёт.

Но если Владимир Николаевич что-нибудь возьмёт себе в голову, переубедить его — только время тратить. И надо ж было так случиться, что однажды Владимир Николаевич увидел этого самого офицера на вокзале Томск-первый. Офицерик усы сбрил, но дядя его сразу узнал. Взял его за ворот и говорит:

— Ну, что я тебе, сука, там, у собора, говорил? Уж я не промахнусь!

Привёл его дядя в ГПУ, и просит:

— Дайте расстрелять!

Ему говорят:

— Ты кучер, и знай своё кучерское дело.

Месяца через два дядя в этой конторе стал увольняться, его никак не хотели отпускать, работник он был хороший.

Дядя сказал, что его призвание дышать вольным, таёжным воздухом. Отпустили его. Начальник поблагодарил за службу, а потом и говорит:

— Да, ты хотел того офицера шлёпнуть? Следствие закончено, можешь осуществить...

Теперь мы ждали этого великана, мать вздохнула:

— Опять, поди, со сворой собак заявится. Он ведь жену этими собаками затравил...

— Продал он собак, — сказал отец, — я точно знаю, на приисках ему с собаками было несподручно.

Вспомнил я рассказы о том, что дядя с собаками ел из одной чашки, а когда жена его, тётя Маруся, пнула одну из собак, так чуть не пристрелил жену.

Много было у моего дяди приключений. Вверх по Томи на одном острове избушка стояла, жили там братья скопцы, рыбачили, собирали целебные травы, грибы да ягоды. Охотники советовали дяде держаться от этой избушки подальше. Кто, бывало, переночует в ней, исчезает или в реке тонет, а в чём дело, не знает никто.

Дядя Володя за утками по кустам набегался, устал, и в аккурат к этой избушке вышел. Приходит к скопцам — так, мол, и так, ночевать не пустите? До города далеко, устал, промок. Те отвечают — мол, в чём же дело? Места не жалко. А сами на его трёхствольное бельгийское ружьё поглядывают.

Подали они свежей ухи, бражки налили. Поел, чайку попросил.

— Мы не городские, мы чаю не держим, ни кирпичного, ни фамильного. Мы травки завариваем.

Выпил ихнего чая, в сон потянуло. Провели в дальнюю комнату:

— Вот тут вам будет мягко, удобно, спокойной ночи, приятного сна.

У дяди ноги стали ватными, в голове шумело, но не идти же, в самом деле, на улицу под дождь? Ладно, думает, подремлю, полежу, как-нибудь ночь скоротаю.

Прилёг, не раздеваясь, ружьё под бок положил. Веки — словно свинцовые. Понимал, в чём тут дело, да хотелось доказать: не возьмут меня травы дьявольские!

На его счастье, один из скопцов в темноте о табурет запнулся, дядя вскочил и видит: скопцы с топорами в руках возле его кровати стоят. Схватил их дядя Володя, стукнул лбами и спрашивает:

— Вы куда же это с топорами направились?

А скопцы отвечают:

— Дров порубить.

— Да где же вы их рубить собирались? Под кроватью?

Забрал он у них топоры, повесил своё бельгийское ружьё через плечо и вышел из избушки. Подпёр он дверь разбойничьего жилища толстым колом, высадил сапогом окно и крикнул братцам:

— Кабы сухая погода, поджжёт бы я вас, живите пока...

Через какое-то время братьев скопцов забрали. Сознались они во всём, немало охотничков отравили они сонными зельями, да и утопили потом в реке. Ружья сбывали в Новосибирске, чтобы не попасться.

И вот теперь мы ждали этого великана.

— Я же говорил, что не придёт, загулял с больших-то денег, — сказал дядя Саня, заедая первую стопку водки блинами с красной икрой.

В это время на улице раздался крик, слышный даже сквозь зимние рамы.

— Никак Володька кричит? У кого ещё такой зычный голос? — сказал отец. Вошёл Владимир Николаевич.

— Дайте мне красавицу-сноху облобызать! — заговорил своим густым баритоном мой замечательный дядя. Он очень любил целовать мою мать, и я замечал, что отцу это не совсем нравилось.

— А что это у тебя в руке, Вовик? — спросила его мама. — Шапки какие-то? И почему ты весь в снегу?

— Ушайку перешёл, наскочила мелочь пузатая, один с ножом, другой — с гирькой на резине, остальные — шумовое оформление. Раздевайся, глаголют. Ну, кинул им шубу. Они — подбирать, а я их — окаянным кулаком по святым сопаткам. Двое там лежат, трое убежали. Я с них пять шапок снял. Дарю, сноха!

— Одна-то шапка совсем облезлая, — сказала мать, — поди, ещё вшивая, сжечь её в печи, а то заразу какую поймаешь.

— Ничего! — засмеялся дядя Володя. — В кладовку вынеси, всё вымерзнет. Пусть Николашка в холодную погоду на рыбалку её надевает. Зато остальные четыре шапки из доброго меха, на всю жизнь братану носить хватит.

— Шуба у тебя дорогая, меховая, — сказал дядя Саня. — Золота, поди, много привёз?

— Сколько привёз, всё моё! Раньше бы шестёрку буланых купил, теперь сразу раскулачат. В картишки спущу.

Он взял с дивана гитару и запел любимую песню, где были такие слова:

Меж лесов и полей затерялося
Небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело...

Эта песня была его самая любимая, и пел он её со щемящей тоской. А что за этим крылось?

Пели, гуляли всю ночь, я сам не заметил, как уснул. Проснулся утром, а они все за столом сидят, как ни в чём не бывало.

Наконец все стали одеваться, чтобы проводить дядю Володю, я тоже увязался за ними. На улице уже пахло весной, весёлые компании встречались нам то и дело.

Вот и всё, последний день, блины доедим, сковороды все от масла выжжем, и поститься будем.

Больше я никогда не видел дядю Володю.

Работал он на прииске взрывником, заложил в шурф заряд, поджёг бикфордов шнур и ушёл в избушку, где было жарко натоплено, а кружки были наполнены спиртом.

Выпил свою порцию, а взрыва не было. Думал, что бикфордов шнур погас. Кинулся поджигать шнур вновь. Взрыв! Не убило, лишь контузило, но схватил он тогда воспаление лёгких. Перед смертью выпил свою последнюю стопку спирта, пришёл в себя, да и сказал:

— Прощайте. Жил — не коптил, а может, только так кажется...

Крестьянская баня

Как хотите, но до 1934-го года я ходил мыться в женское отделение, получалось это по причине густоты и спутанности моих волос. Таковыми они стали тоже не без причины.

До 1934 года мы жили в том же доме, где и после, но только в нижнем этаже, в полуподвале. И комната тогда была у нас всего одна. Это позже у отца появился друг, домхоз Штанев, ему отец бесплатно починил одни часы и подарил другие. Штанев и перевёл нас на второй этаж.

А когда мы жили ещё в полуподвале, был голод. Я его не помнил, так как был тогда мал. Рассказывали родители, но это не то, что испытывать самому.

Отец не только в мастерской хорошо зарабатывал, но ещё по выходным продавал на базаре собранные им из лома часы. И приносил иногда в специальном потайном кармане домой

то пакетик с горсткой муки, то пару картофелин, то ещё что. Так они обманывали нужду.

Однажды мать напекла из муки с отрубями блинов, поставила на широкий подоконник, чтобы они остыли. На минутку всего отвернулась, посмотрела: блинов нет. Выглянула в окошко — никого.

И по ночам у нас сами собой открывались ставни. Тогда отец привёл домой огромного пса. Он был помесью овчарки и боксёра, весь мордатый, курносый и широкий.

Однажды ночью пёс разбудил нас своим рыком. Мать с отцом встали, а в окошке уж и стекла нет. Наша псина вдруг скакнула в оконную дыру, и кто-то закричал неподалёку от нашего дома. Отец с топором в руке кинулся на улицу. Мать, прижимая меня к себе, кричала:

— Вернись!

На полянке напротив нашего дома отец увидел лежащего дюжего мужика. Пёс свалил его и ронял слюну со своих страшных клыков. Второй мужик скрылся в кустах возле Ушайки.

— Убери его, ради бога! — хрипло попросил верзила.

— Ладно, — согласился отец, — вы только больше сюда не ходите.

После этого случая овец наградили нашу собаку звучным именем-титолом Маркиз. А до этого мы не знали, как её называть, дело в том, что эту собаку словил на одной из улиц собачник.

Маркиз стал членом семьи. Когда мы оставались вдвоём, я сразу же начинал изображать из себя Климента Ворошилова, а гнедым в яблоко жеребцом должен был быть Маркиз. Он понимал, что имеет дело с малышом, и только если я делал ему чересчур больно, ворчал.

Вы, может, удивитесь, но от этой верховой езды до мытья в женском отделении протянулась невидимая нить.

После нескольких недель моего тесного общения с Маркизом у меня на голове появились такие круглые лепёшечки величиной с пятак. Я расчёсывал голову до крови. Мать ругалась и требовала вышвырнуть «эту заразную» собаку вон.

Отец сходил на Тверскую, тринадцать, и вызвал участкового доктора Кузнецова. Это был очень тихий и вежливый доктор, он не совал мне в уши всякую гадость, как делали другие доктора, он не лез ко мне в горло ложкой, он просто подул на мои волосы и выписал рецепт.

В тот же день мне намазали голову ужасно вонючей мазью. На другой день меня сводили в центр города, где в приземистом одноэтажном здании, в котором теперь издают газету «Томский вестник», погрели мою голову какой-то необычной лампой.

После лишаи сошли, а волосы стали так расти и завиваться, что знакомый отцов парикмахер прежде, чем меня стричь, долго одобрительно цокал языком и сказал:

— Жаль даже ножницами касаться.

— Будённовцы с такими космами не ходят, — сказал отец.

Как ни странно, парикмахерская та до сих пор находится там же, напротив центральной аптеки, хотя ни отца, ни матери, ни того парикмахера, ни моих пышных волос давным-давно нет на свете.

Тогда я своим волосам ничуть не радовался. Почему в дни потрясений, когда в стране бывает голодно и холодно, людей терзает ещё и вошь? Мать не терпела никакой грязи: пусть тряпки старые, но все чистые, посуда сияла, за грязь под ногтями могла запороть. И остригли меня, и на улицу почти не выпускали, но волосы мои быстро отрастали, и в них вновь заводились вши. Мать пыталась их вычесать частым гребнем, но зубья ломались, а паразиты в волосах оставались.

Мыться мы ходили в приземистую длинную Крестьянскую баню, окна которой были замазаны густым слоем извёстки. Отстояв полуторачасовую очередь в кассу, мать сказала отцу:

— Сегодня он пойдёт мыться со мной, ты опять не сумеешь промыть ему эти проклятые космы!

Должен заметить, что всегда выглядел моложе своих лет. Отец был среднего роста, а мать была совсем маленькой, но в то же время пропорционально сложенной женщиной. Один мой знакомый писатель про таких дам говорит: женщина в подарочном издании. Вообще-то для конкурсов красоты нынче выбирают красавиц голенастых — под метр семьдесят ростом, но кому что нравится, как говорится.

«Подарочность» моей матери сказала на мне таким странным образом, что в мои три с лишним года печальной жизни мне давали от силы полтора. Я это переживал весьма болезненно: кто же не мечтает поскорее вырасти?

И вот мать, схватив меня за руку, потащила в женское отделение моечной. Не обращая внимания на мои стоны, крик-тенье, она принялась намыливать мне голову куском серого хозяйственного мыла. Мылилось оно плохо, это её злило, она пихала мне пену в уши и кричала:

— Покрути там пальцем! Кому сказала! Хорошенько! Потом проверю носовым платком, пожелтеет — ухо оторву.

Я страдал. Мы говорим про детство — золотая, безмятежная пора. Подумайте: если у ребёнка кто-то сломал любимую игрушку, разве для него это не то же самое, что ваша поломанная жизнь? Если у трёхлетнего человечка найденный им цветной камешек отберёт четырёхлетний силач, разве для малыша

это не то же самое, что для вас нападение бандитов? Потрясение то же, если не больше.

Хрупкое создание входит в жизнь, и всюду, на каждом шагу, поджидают его огорчения, разочарования, беды, опасности. Преимущество у него перед вами только одно: у него больше времени осталось для несбыточных мечтаний и надежд.

Каждый раз, когда мы вновь шли в эту Крестьянскую баню, я с надеждой спрашивал:

— Может, сегодня буду мыться с папой?

Но она вновь уводила меня с собой. Возможно, эта пытка продолжалась бы ещё год или два, но, попривыкнув к этим банным терзаниям, освоившись в женском отделении, однажды я проявил некоторое любопытство.

Вообще-то я облёк свой вопрос в деликатную форму. Задал маме вопрос. Правда, люди в женском отделении отличаются от тех, что — в мужском? Или это только так кажется? Я не ожидал такого эффекта: сидевшие рядом тётки вдруг закрылись тазами, и одна из них возмущённо сказала:

— Это безобразие — приводить сюда такого большого мальчика. Он на меня так смотрит, что я вся краснею. Мать сказала:

— Подумаешь, младенца застеснялись, ему ещё и года нет, что он понимает?

Она задела-таки меня за живое. Как это мне года нет, если ещё в июне мне исполнилось три, а теперь уже декабрь? Стараясь не быть писклявым, я сказал:

— Мне уже скоро четыре.

Три женщины закричали разом:

— Банщика позовите! Пусть их выведут! Привела почти взрослого мужика, да ещё зубатится, халда!

— От халды слышу! — поднялась с лавки мать, угрожающе размахивая железной шайкой, ноздри у мамы раздувались. Она схватила меня за руку и выдернула в предбанник, там, шепча ужасные ругательства, надела на моё мокрое тело одежонку. Сама тоже оделась, не вытираясь, и мы выскочили на улицу.

— Скотина! Оторвать бы тебе твой поганый язык!

С тех пор я стал ходить в мужское отделение бани, да так и хожу до сей поры.

Тогда я и подумать не мог, что буду в войну сидеть в этой бане, на лавке, ошпаренной кипятком, целыми днями, поместив свой тощий зад в один таз с тёплой водой, а ноги поставив в другой.

Можно было при желании найти небольшой обмылок на решётке под лавкой. Тогда я часами пускал пузыри, изредка меняя в тазиках остывавшую воду. Пузыри улетали под потолок, радужные, большие.

В бане было тепло, а билет туда стоил копейки. Дома не было дров, школа была разморожена. Банщики пацанов не гнали. Был бы билет. Иногда пускали и без него.

Именно в предбаннике Крестьянской бани высосал я свою первую в жизни сладенькую папироску, а бросил курить лишь после пятидесяти лет интенсивного курения.

Но в тот день, когда мы с мамой бежали из женского отделения, до моей первой затяжки оставалось ещё около десяти лет.

Мать бы злилась ещё долго, но вечером к нам пришёл в полуподвал домхоз Штанев и сказал отцу:

— Вам, Николай Николаевич, как ударнику, часовщику с золотыми руками, негоже жить в подвале. Мазурики мёдом намазали бумагу, чтобы сломать у вас стекло, на расходы пошли, знали, что могло окупиться...

— Я часы дома не держу, — смутился отец, — если только срочная работа...

— У часовщиков золото бывает, — продолжал Штанев, — собаку не зря отравить хотели.

— Не отравить, кончики иголок в колбасу напихали. Нищий, а дорогую колбасу псу суёт. Маркиз понюхал — и хватъ его за ногу.

— На втором этаже у вас будет другой уровень жизни...

Мать развеселилась. На другой день мы переехали на два метра ближе к небу, и наша жизнь сразу пошла в два раза быстрее.

Самсон из скобяного

У матери на работе я побывал лишь раз. Она зашла к начальнику в кабинет, а я немного попечатал на её «ремингтоне» одним пальчиком. И всё. Выпорола.

А с отцом на работу я ходил почти каждый день. В его мастерской я играл сломанными будильниками, изображая из себя мастера. Когда мастера затачивали инструмент, точило рассыпало снопы огня, и казалось чудом, что огонь этот совсем не жжётся. Отец объяснил мне, почему так получается.

Мы насобирали возле точила мелких металлических опилок, смешали их с клеем и спичечными головками, получились свечи для бенгальских огней.

Возвращались из мастерской по тропке, петлявшей возле речки Игуменки.

Глубокий каньон. Избушки лепились на склоне горы, как сакли в кавказском ауле.

Однажды я сказал отцу об этом, а он ответил:

— А это и есть наш томский Кавказ, тут даже настоящие горцы живут. И Самсон из скобяного, и сапожник Гурген, и повар этот из «Севера», как его? Сандро? Да! Сандро. По-русски будет просто Александр.

Ты посмотри: Игуменка течёт, как в ущелье, ну просто горная речушка; верба, ивняк, черёмуха, акация, весной всё это в цвету. Это место горцам родину напоминает, вот они тут испокон веков и селятся на этом склоне.

Самсона я знал. Бывая с отцом на центральном рынке, мы обязательно заходили в скобяной магазин. Отец покупал у Самсона какие-то необыкновенные бруски, напильники, ножовки. Для отца припасали всё самое лучшее. А иногда отец и Самсон пили пиво с воблой или лещом. Рыбу полагалось стучать о прилавок, чтобы шкура лучше отставала.

Самсон был не просто большим, но огромным. Говорили, что ростом он ровно два метра, при этом он был неправдоподобно толстым, имел четыре подбородка.

— Смотри! — говорил он мне. — Адын, два, тры, четыры!

Пиво он пил не кружкой, а ведром, и в дверь магазина-амбара заглядывали зеваки. Отца с Самсоном связывала давняя дружба.

Когда братья Климычевы осиротели, а старший женился, то из экономии он снял малюсенькую комнатуху, в которой остальным уже места не было.

Братья разбрелись по городу кто куда. Самыми младшими были мой отец, которому тогда минуло десять лет, и двенадцатилетний Сергей. Вот с ним-то они на базаре милостыню просили, Сергей и стянуть что-то мог. Ночевали там же. Осенью от холода закапывались ночами в навоз.

Однажды отец увидел на Почтамтской разбитую витрину и подумал, что в ней ночевать будет лучше. Полез через небольшое отверстие. Утром его разбудил владелец часовой мастерской Бавыкин:

— Ты — вор? Полицию позвать?

Отец пояснил, что от холода спасался.

Бавыкин заключил с отцом контракт. До совершеннолетия отец работает на хозяина бесплатно, а исполнится ученику двадцать лет, ему дадут диплом мастера и полностью часовой инструмент.

К сорока годам отец себе вставил золотые зубы, а то всё без зубов ходил. Хозяин обучал по-особому. Часы любят чистоту, и чтобы усвоить это, ученик мыл полы в мастерской и хозяйской квартире. Чтобы привыкнуть к точности и осторожности, ученик нянчил хозяйского ребёнка — тоже хрупкий механизм.

Раз Бавыкин ушёл с женой в театр, ученик нянчил младенца и заснул на полу. Снился ему оркестр, барабанщицы и певица,

которая тонким голосом пела. А это Бавыкин в дверь стучал, а младенец криком заходился. Хозяин дверь высадил, а ученику — сапогом в зубы! После шутил: мяса будешь меньше есть, дешевле прожить.

Не учили отца: подглядел, до всего сам дошёл. Когда ему исполнилось двадцать лет и Бавыкин должен был выдать ему диплом и инструмент, грянула революция, потом Гражданская война. Бавыкин куда-то смылся. Ни диплома, ни инструмента.

Пошёл отец на базар, повесил на грудь табличку: «Ремонтирую часы». Присаживался отец на корточках, клал на землю фанерку, и на ней разбирал часы.

Тогда, в самом начале нэпа, он и с Самсоном познакомился. Тот видит: сидит юноша на корточках, часы чинит. И говорит:

— Рэмонтируй в моём сарае, пожалуйста!

Поставил Самсон в своём магазине отцу верстачок возле единственного окошка, и спрашивает:

— Балшой часы, память Кавказа, чирикать перестал, можем делать?

Отец отремонтировал эти настенные часы. Самсон принёс из дома золотые карманные часы, отец и те отремонтировал. И создал Самсон отцу большую рекламу. Был этот кавказец человеком шумным, громким, полной противоположностью моему отцу. Выходил Самсон в центр базара и кричал, что было сил:

— В скобяной ходи, лучший мастер Сибири часы ладит! Это вам Самсон говорит!

Самсона из скобяного на базаре знали. В цирке не раз боролся с профессионалами и побеждал. Но не хотел менять свою профессию на цирковую. В своём магазинчике он поднимал и переставлял тяжеленные ящики так, словно они были заполнены не железяками, а пухом. Напившись пива, Самсон обычно крестился двухпудовой гирей.

— Сматры! Адын такой и другой — такой. Да? Теперь на весы ставим.

Адын гиря — два пуда четыре фунта, а другой нет двух пудов. Почему такой? Хитрый купец был. Покупает товар — тяжёлый гиря ставит, продаёт — лёгкий. Самсон честный торговец. Самсон так никогда не делал. Эта гиря для интереса держу...

Возвращались раз с отцом с работы. С Шумихинского свернули на Орловский, вот и тропка. Томский Кавказ. Отец даже продекламировал:

— Кавказ подо мною, один в вышине стою я у края стремнины...

И предложил:

— Зайдём к Самсону домой? Попроведем?

— Зайдём, зайдём! — обрадовался я. Ведь побывать в незнакомой квартире, да ещё у кавказского человека — расширить свой мир, узнать что-то новое.

Самсон принял нас восторженно:

— Вай-вай-вай! Какие дорогие гости, просто золотые гости! Алмазные!

Стены небольшого жилища были завешаны огромными коврами. На столе стоял серебряный кувшин с узким длинным горлом. На ковре, над кроватью, висели ружьё и кинжал.

— Пагади, сейчас мангал во дворе зажигать буду, шашлык делать буду, угощать буду!

Самсон вернулся с глазами, заслезившимися от дыма. Увидел, что мы с отцом разглядываем его оружие, и снял со стены ружьё и кинжал:

— Пагади немного, сейчас абрек придёт! — скрылся в сенях.

Через некоторое время он вернулся почти неузнаваемый: в черкеске с газырями, в косматой папахе, мягких сапогах. Кинжал висел на поясе, ружьё было в руке.

— Абрек! Похожий, да?

— Кинжал острый? — спросил я.

— Совсем острый! — радостно закричал Самсон, выхватывая клинок из ножен. — Сматры! — он подставил остриё к горлу.

— Осторожнее! — крикнул отец.

Самсон чиркнул остриём по горлу и захохотал:

— Пугался, да? Дэревяшка! Серебрянкой красил! Похоже, да? Дэревянный кинжал! Абрек, ха-ха-ха!

— Граммофон у тебя есть? — спросил я Самсона.

— Есть, как не быть! — ответил он и принёс странный ящик. Открыл крышку, диск был, как в граммофоне. Самсон завёл пружину, поставил на диск медную пластину, в которой были пробиты дыры, как гвоздём.

— Что это?

— Пластинка.

Ни мембраны, ни иголки в этом странном граммофоне не было. Над пластинкой повисло нечто вроде длинной расчёски с разными по длине зубцами. «Расчёска» звучала, касаясь зубцами то одного, то другого штифта. Мелодия была странная, капризная, с ритмом неровным, непривычным.

Я привык к пластинкам с песнями Юрьевой и Козина, с весёленькими ритмами джаза под управлением Цфасмана. А здесь никто ничего не пел, не рыдали гавайские гитары, не гукал контрабас, не гнусавили кларнеты. Казалось, что тысяча родников называются.

Самсон слушал, склонив голову, на глазах у него навернулись слёзы. Он отёр их рукавом черкески, посмотрел на меня.

Сказал отцу:

— Микола, отдай мне этого мальчика! Совсем кавказский мальчик. Отдай, ты себе ещё сделаешь, а мне где взять? Я уже старый.

Сердце у меня защемило. Было мне десять лет, но я очень хорошо почувствовал одиночество этого человека. Да, отец говорил что-то про давно умершую жену Самсона, про его одиночество, но тогда я пропустил это мимо ушей. А теперь всё почувствовал до боли в груди, даже захотелось плакать.

Самсон вскочил, посадил меня на ладонь и вытянул руку:

— Самый лучший кресло! Ах-а-ха! Могу целый день на руке держать. Ну, ладно, не хочешь целый день — не надо, сейчас шашлык готов будет...

Мы ели шашлык, отец и Самсон запивали его вином, а я чаем.

— Много пьёшь, — говорил отец, — лицо у тебя, Самсон, всегда малиновое, плохо это. Что доктор сказал?

— Сказал: сердце бычьё. Что понимает доктор-моктор? Самсон сам большой, и сердце большое. Пиво не велит пить, я и так почти не пью, меньше ведра в день.

— Поостерегись, Самсон, врач зря не скажет.

— Не грусти, Микола! Мы будем ещё много шашлыки кушать! Ещё много раз будем в гости ходить...

А через несколько дней я услышал, как отец говорит вполголоса матери:

— Как это я в милицию не пойду? Я с ним дружил, совсем недавно в доме у него побывал... как что? Могу подсказать: какие вещи у него там были, да мало ли? Меня самого зарежут? Ну, знаешь, если так рассуждать...

Оказалось, что Самсона убили.

Шёл утром отец на работу, видит — человек во рву, в кустах, возле самой Игуменки лежит, в крови весь. Пригляделся отец и узнал Самсона.

А было так: намазали бандиты бумагу мёдом и наклеили на оконное стекло. Если через такую бумагу надавишь, то стекло бесшумно выдавится, и руки не порежешь.

Ну что? Ночь глубокая. Самсон пива напился, спит крепко. А они стекло выдавили, пацан в комнату пролез, шпингалеты открыл, тогда и громилы в окно влезли. Один сонного Самсона по голове топором рубанул. Однако Самсон всё же вскочил, схватил табуретку, оборонялся. Но много крови потерял.

Всё же хватило сил в окошко выпрыгнуть, скатился по обрыву к Игуменке. Кричал, говорят, громко, на весь околоток. Никто не вышел, боялись все.

Мать говорит:

— Вот тебе и кавказцы! Как же они своему-то не помогли?

Отец пояснил, что кавказцы бывают разные. И вера у них разная. И ближе всех к Самсону жил кавказец иной веры. Он, может, и слышал крик, да не вышел на подмогу.

— Эх, — сказал отец, — если бы они его сонного сразу не оглоушили, если бы проснулся он, вот уж показал бы им кузькину мать!

Там, где речка Игуменка пересекала улицу Алтайскую, были перекинута через поток бревёшки, так, чтобы телега переехать могла. Сквозь щели были видны быстрые, пенящиеся струи. Нередко стоял я на этих брёвнах и слушал голос реки:

Жили-были бы мы там!

Жили-были бы мы там!

Чудилась горянка в вихре танца с лёгким бубном в руке. Я с сожалением поглядывал на домик, в котором прежде жил Самсон, а потом поселились незнакомые мне люди.

Много-много раз пробегал я по Алтайской через эти брёвна, и река непонятно о чём шумела:

Жили-были бы мы там!

Жили-были бы мы там!

Я подпевал ей в такт. Я думал о том, что — да, жили-были бы мы не здесь, а где-то там, возможно, никто никого не убивал бы, еды было бы больше, одежды тоже. Но тогда не было бы ни Томска, ни его старинных домов, ни сосен, ни черёмух.

Жили-были бы мы там, нам хотелось бы сюда, потому что без Алтайской, без Юрточного было бы так тошно, никакая еда в горло не лезла бы.

Однажды ветхий домик возле Игуменки был снесён, и на его месте построили новый, побольше. И бревенчатый мостик на Алтайской однажды разобрали, а речку втиснули в подземную трубу. Улицу замостили, потом и заасфальтировали. Теперь по ней мчат машины — одна за другой.

Речка течёт под землёй, словно и нет её. И только в пору таянья снега, когда малые ручейки и канавки и то начинают бурлить и кипеть, Игуменка вспоминает свою молодость и, неся мусор и нечистоты, глухо, но явственно напевает:

Жили-были бы мы там!

Жили-были бы мы там!

Томские чудеса

Обедали мы с соседями Есманскими на кухне за общим столом. Я ел мёд из высокой вазочки серебряной вилкой. Ложкой мне его есть не разрешали, а на вилке много ли удержится? Мёд был красный, текучий, и надо было донести вилку до рта так, чтобы не капнуло на клеёнку.

Капнет, так мать сразу отберёт вилку и уберёт вазочку.

За столом сидеть было интересно, ибо взрослые за чаем беседовали с чудесах. Вообще бывали у нас с соседями дни не просто мирного сосуществования, но даже дружбы. Чаще всего это случалось по большим революционным или же церковным праздникам. Последние праздновались как бы не совсем всерьёз и как бы полуподпольно. Вот и теперь было время религиозных торжеств.

Поседельый брюнет Георгий Фаддеевич Есманский мог одновременно пить чай, курить свои излюбленные папиросы-гвоздики «Ракета», главное достоинство которых заключалось в их дешевизне. Он, как и мой отец, был коренным томичом, но был лет на пятнадцать старше отца, поэтому и помнил о томских чудесах чуточку больше.

— Ага! Я тогда работал ещё на кондитерской фабрике Бронислава, — вспоминал сосед. — Я там с восьми лет стал работать, моложе был, чем ваш Борька, а уже работал. Конфетки заворачивал в бумажки. Чего? Ел ли конфеты? Ел, да ведь если их много, их почти и не хочется.

Ну, революция произошла, потом — то белые, то красные, то Колчак, то чёрт его знает кто. Я уже парень был в самом соку. Молодо-зелено, погулять велено. Присвоили мне звание пряничного мастера. Взял бочонок пива, так положено было.

Сидим, обмываем моё звание, в цеху сидим — мастера, подмастерья. Специалисты своего дела. Разговоры, тары-бары. Всё как полагается.

Свечерело. А на Почтамтской как раз тогда кто-то объявления на телеграфных столбах развесил, дескать, до десяти — шуба ваша, а после — наша.

Вот кончилось наше застолье ближе к полуночи. Идём мы с начальником цеха. Солидный такой немец, усатый. Спускаемся вниз по Гоголевской, а пиво не только в голову ударило, но и вниз давит. Его сколько выпил, столько и вылить надо. Невтерпёж. Приткнулись к забору, облегчаемся. Слышу, гармошка приближается, тройка летит, в кошёвке пьяные под гармошку песни орут. Не до них мне. Пролетела тройка, словно ветром на меня дунуло. Обернулся, а немца-то моего и след простыл. Мать! Кошёвники! У меня-то шубейка драная, а у мастера — доха. Вот доха кошёвникам и понравилась.

Нашли моего начальника весной, когда снег стоял. Голова пестом проломлена. Доху, шапку и часы сняли, да и закопали труп в снегу за Лагерным.

Они, кошёвники, так и действовали: летят с песней, с гармошками, с воплями. И — аркан вам на шею. За их криком и вашего крика никто не услышит.

— А помнишь, Ваську Заледеева встретили? — спросила жена Есманского. — В водонапорной башне дежурил, сменился, идёт мимо кладбища, вдруг со стены скачут штукари, глаза огнём горят, воют и на метр над землёй подскакивают. Он сам с себя всё снял и часы отдал — только не губите. А ведь мужик-то здоровенный.

— У них пружины к ногам приделаны, на пружинах скачут. А так — обыкновенные урки, никакие не привидения.

— Не может быть! — усомнился я. — Как пружины можно в сапоги встроить?

— Молодой ещё, — смерил меня взглядом Фаддеевич, — ещё и не такое бывает. Мне про эти пружины сыщик знакомый рассказывал, и даже показывал такой сапог с пружиной. У него в шкафу и не такое ещё было, долго рассказывать. У нас город какой? К нам и князей ссылали, и графёв. У нас вон и турки живут, и греки, и мадьяры, кого только нет. Каждый своё добавляет. Мастера!

— А может, и не пружины совсем, — раздумчиво сказала Ксения Никитична. — Всё вам — пружины! А когда у старца Фёдора Кузьмича часовню сломали, а он потом в белом одеянии по монастырской стене ходил, это что — пружины? Помер человек, а ходит! Образ его ходит, как это получается? Да... Потом люди крест на месте часовни построили, написали «Фёдор Кузьмич», народ молиться стал туда ходить, из других городов приезжали. Власти приказали чёрной краской надпись замазать, а она возьми да и проступи сквозь краску. Тут уж пружины ни при чём.

— Ты что, сама видела старца на стене? — насмешливо спросил Есманский. — Мало ли чего натреплют.

— Нет дыма без огня, — сказала Никитична, сильно затягиваясь «гвоздиком».

— Чудеса в Томске случаются, — авторитетным тоном сказал отец. — Слышали ли вы о том, как на Затеевском вещи летали?

— Что-то слышал, — сказал Фаддеевич, — да ведь Затеевский от нас далеко, в своём-то околотке мы все особые случаи знаем, а там...

— А я как раз был там с братом Костей по поводу этого чуда, — сказал отец, наливая себе ещё чашку чая. — Жил там в стареньком двухэтажном домишке Яшка Бетенеков. Дом ему

по наследству достался. Другие двухэтажки национализировали, а эту рухлядь не стали.

И вот приехала женщина с приисков с двумя детьми, муж у неё там погиб. Ну, идёт женщина по городу, жильё подыскивает или хотя бы ночлег. А хозяйева обычно норовят пустить на квартиру одиночку. Вот обошла она уже много домов, подходит к Яшкиной развалюхе. Говорит: «На вас последняя надежда!». А Яшка и рад бы пустить, но куда? Дом на ладан дышит, штукатурка отстаёт, клопы, тараканы толпами пешком по дому разгуливают. Студенты у него жили, два месяца только и вытерпели, сбежали, а тут — женщина с детьми.

Но приезжая сказала, что ей всё равно деваться некуда. Ладно. Поместил её Яшка в нижнем этаже. А вскоре по городу слухи пошли, что у Яшки Бетенекова в доме вещи сами собой летают. Многие соседи это собственными глазами видели.

Ну, вы знаете, в городе тогда Матроз командовал. Строгий был мужчина и порядок любил. Дошли до него слухи. Вызывает начальника милиции: разобраться и доложить. Так вот. В выходной мы с братом Костей на стадионе гири выжимали. Общегородской чемпионат гиревиков был. Товарищ Матроз в первом ряду зрителей находился. Не успел я двухпудовками отмахать, вижу: сквозь толпу к товарищу Матрозу начальник милиции пробирается. Руку — к козырьку и рапортует:

— Задание выполнено!

— Как, — спрашивает товарищ Матроз, — летают вещи? — а сам иронически улыбается.

— Летают, товарищ Матроз! Ближе к утру начали. Я вас дома искал, чтобы доложить, а вы тут, оказывается.

— Что вы тут несёте при стечении масс? — Милицейский побледнел, однако на своём стоит:

— Извиняюсь, может, надо было на ухо доложить, так ведь не по форме это... А что летают — точно, сам видел.

— Дыхните! — сказал товарищ Матроз. Потом меня и Костю поманил:

— Поедемте, силачи, понятыми будете.

Только один такой в городе «Форд» и был. Из радиатора золочёная труба торчит, вроде джазовой, с тонкого конца на трубе клизма надета. Шофёр на клизму давит, труба поёт, да так мотивно, что даже выпить хочется...

— Тебе всегда хочется! — вмешалась в повествование мать. Отец отмахнулся:

— Не в выпивке дело. Подрулили мы к Яшкиному дому, он из калитки выскочил, улыбается. Товарищ Матроз умел на людей смотреть так, что с них пот капал. Но Яшка-то не из робких:

— Вы на меня, товарищ Матроз, так не глядите. Мне от этих полётов радости мало.

Вошли в избу. Яшка нам жиличку представил. Симпатичная такая, и детишки у неё красивые.

— Что, и дети при этом присутствуют? — нахмурился товарищ Матроз. А женщина ему:

— А не на улицу же мне их на ночь выгонять. Да и самой куда деваться, если гостиница забита и на квартиру никто не берёт.

— Присаживайтесь! — пригласил Яшка, а сам зевнул и полез наверх по крутой лесенке. Товарищ Матроз спросил милицейского:

— Он вчера при этом... ну... сеансе отсутствовал? Тот кивнул.

— Вернуть немедленно!

Вернули Яшку. Он поворчал немного, что до вечера ещё далеко, но пришлось и ему с нами сидеть. Темнеть начало. Уложила женщина ребятишек отдыхать на старинную деревянную кровать. Свет погас в одиннадцать. Женщина спичками потрещала, семилинейку на комод поставила:

— А то и не увидите ничего.

Я уже засыпать стал, когда по комнате вроде дуновение прошло.

Может, это сидевшие рядом зашевелились, не знаю. Только смотрю я, а салфеточка с комода поднялась, в воздухе покружилась и мягко, без звука опустилась на сундук. Товарищ Матроз в карман за папиросами полез, а начмил кобуру пистолета расстегнул. Тут ящик комода сам собой приоткрылся, и выпорхнуло из него нечто белое. Пригляделись мы с Костей и прыснули: бюстгальтер кружевной в воздухе повис и, знаете, вроде как дразнится, приблизится к нам — и обратно.

— Без-зо-бразие! — возмутился товарищ Матроз. А бюстгальтер, словно речь человеческую понимает, — сразу взмыл вверх и прилип к потолку. Начмил на табуретку вскочил:

— Вот я тебе покажу!

Тут эта штука на пол шлёпнулась, начмил её сразу же сапогом придавил. А что толку? Тряпка, она и есть тряпка, она никаких показаний вам не даст. Женщина ругаться стала, дескать, вещь ей загрязнили...

Ну, ещё кое-какие вещи полетали, лампа тихонько с комода снялась и на сундук перелетела. Всё кончилось...

— Я же говорю, что не в пружинах дело, — сказала Никитична, — я не суеверная вообще-то, но что-то же такое есть?..

— А потом что с этой женщиной стало? — поинтересовался Фаддеевич.

— Ничего с ней не стало. Вскоре она вышла замуж за Яшку и им дали квартиру в другом, хорошем доме. А Яшкин разобрали на дрова.

— А вещи — это колдовство было? — спросил я.

— Можно считать, что колдовство. По соседству с Яшкой Гришка Кощеев жил, продавец из рыбного магазина. Он, например, как за прилавок входил? Опоздает минуты на две, заведующий ждёт, волком смотрит, вдруг Гришка в дверь вскакивает, смаху на прилавке стойку жмёт, со стойки за прилавок прыгивает и — карандашик за ухом, вполне готов товар отпустить. Рыбный — за деревянным мостом, возле самого цирка. Гришка ни одного представления не пропускал, со всеми артистами познакомился, всегда им икрающую селёдку поставлял, наилучшую. Научили его артисты кое-чему. Вот когда женщина эта у Яшки поселилась, Гришка и придумал этот номер с вещами, чтобы можно было влюблённым квартиру выбить.

Гришка в Яшкин дом по подземному ходу проникал, придумал систему блоков, при помощи которых из подполья можно управлять летающими вещами. Так вот Матроза и провели.

— Да, — сказал Фаддеевич, — подземные эти ходы не зря строили.

От дома Егоровых к Потаповым лужкам ход вёл. Сами помните, лет десять назад ещё обвалы там случались, видно было кирпичную кладку.

А зачем — ход? Много всяких баек, а правда где?

А я сам лично пацаном лазил раз в подземный ход, который вёл от старого базара к Ушайке. Находил там огарки и бутылку старинного стекла нашёл. Лазить там уже было опасно — стойки сгнили, да ведь в мальчишестве нам и чёрт не брат. Говорят, из базарного кабака упившихся золотоискателей по этому ходу к Ушайке таскали. Оберут и — концы в воду.

А Прокопий из керосинной лавки на Кузнечном взвозе? Он на монастырской заимке ход нашёл. Жена говорит, мол, не лезь, а он всё же полез. И всё! Милиция потом искала: обвалилась земля, как и хода никакого сроду не было. А на католическом погосте в склепе по ночам орган играл? Я не суеверный, но как в склеп орган поместится? И ведь не на граммофоне играли, а сильно — на всю округу!..

После я не раз вспоминал наши кухонные беседы о чудесах. Видел в жизни раз что-то. В Томске. Кажется, это было в первое военное лето. Неожиданно днём за Каштачной горой в небе вспыхнули огненные письма. Синеватый огонь с желтовато-оранжевым ореолом. Молча горели письма, щемяще-страшно. Притихли не только взрослые, но и дети, самые хулиганистые парнишки стояли молча, разинув рты.

Скажите мне, что это было? Я много читал о явлениях ложных солнц. Но это было что-то иное. Подавляющее своей ослепительностью, внезапностью, нездешностью какой-то. То ли буквы какие-то, то ли мечи, воткнутые в землю под углом, то

ли кресты, чуть склонённые в стороны. Точно и сказать не могу. Чудо это светилось где-то в стороне посёлка Чекист. Что это было — не знаю. Занесли ли это явление в свои скрижали метеорологи — тоже не знаю. И вспоминаю это всё с недоумением.

Первый Камушек

Там, где в Ушайку упирался конец улицы, река была разделена на два рукава галечным островом. На нём кое-где пробивалась трава, были возле уютных заливчиков крохотные песчаные пляжи.

Ах, наше купание было чем-то бесподобным! Буйством, непотребством, каким-то шáбашем! Мы ныряли до тех пор, пока наши уши не переставали что-либо слышать, мы купались, пока нас не начинала бить самая мелкая дрожь. Купались по два, по три часа подряд, а если родители не призывали нас к порядку, то и дольше.

Устав, мы, пацаны и девчонки, выбирали на галечном острове местечко помягче, где травка, песочек, укладывались на спины, смотрели в бездонные небеса. Выглядывало, пригревало и вновь заходило за облака солнышко.

Постепенно мы обретали слух и слушали говор реки, и песни слышались нам в шуме воды на перекатах, речка словно баюкала нас, стремясь куда-то вдаль и качая донные травы.

Мы спали, потом пили воду прямо из реки, ложась в воду и приныкая к ней губами. Шли к ледяным родникам, которые подпитывали Ушайку, выходя из каменистых осыпей. Камни возле родников были почему-то мягкими и синими или светло-голубыми, и мы пользовались ими вместо грифеля: тогда ведь дошколята и школьники ещё писали на аспидных досках.

Были по берегам залежи удивительно мягкой, пластичной глины. Хороша — лепить фигурки! Взрослые брали её для хозяйственных дел.

Купаясь в нежном возрасте на мелководье, невольно любовался камушками всех цветов и оттенков, которые вздрагивали под струями воды. Тот вон как птичье яйцо, в крапинках, а тот — зелёный с особенным светом внутри. Принесу его в ограду, вот всех удивлю! Но вынутый воды камушек высыхал и делался невзрачным, тусклым. словно кто-то предупреждал: нельзя, мол, хватать красоту руками, ничего доброго не получится.

Ловили поближе к дому. Можно неводить, для чего годится собственная рубаха, а лучше — старая простыня.

Пацаны постарше пробивали донце большой бутылки острым камнем, крошили туда хлеб и ловили, как «мордой».

Всегда можно было увидеть стоящие коленями в воде сгорбленные фигуры. «Вилочники» терпеливо караулили свою рыбину, чтобы в момент наколоть её на обыкновенную столовую вилку. Был в этом отголосок древней охоты с острогой... Потихоньку перевернёшь осклизлый донный камень, а там — вьюн, не зевай, коли!

Мы отдавали улов кошкам, иногда ели сами, чуть прикоптив и присолив, и зарабатывали себе болезни печени на старость.

Рыбачили и взрослые: удочками, перемётами, неводами, иногда даже перегораживали сетями реку. Но рыбы не убывало! Водились в Ушайке тогда пескарь, гольян, елец, чебак, окунь, щука, ёрш, краснопёрка, бычок-подкаменщик. В нижнем течении, возле базара и Каменного моста, иногда появлялась и более ценная рыба, видно, заходила из Томи.

— На Первый Камушек пойдём рыбачить или на Второй? — говаривали мы.

Вариант легенды о Томе и Ушае. Князь Тоян застал дочь с пастухом, велел убить его. Тома утонула в большой реке. А Ушай переплыл её, побежал вдоль малой речки. Воины настигали. Поднял он огромный камень, кинул. Так возник Первый Камушек. На бегу пастух метнул ещё один камень, который тоже стал утёсом. Ушая настигли, но он утопился в малой речке, которая с тех пор зовётся Ушайкой.

Берега были галечными, глиняными, песчаными, каменистыми. Заросли зверобоя, володушки, подорожника, мать-и-мачехи, разных других трав и цветов. Гудели пчёлы и шмели, трещали глазастые стрекозы, ветер пах дымком, мокрыми берегами, рыбьей чешуёй.

Если идти среди трав и цветов против течения реки, то придёшь в рощу. Это место на крутом берегу называлось тогда «Красным крестом». Отец рассказывал о том, что в Гражданскую войну там трупы лежали возле санитарных барачков штабелями: люди умирали от голода и тифа.

Позднее бараки стали жилыми домами, в одном из них размещался клуб кондитерской фабрики. В этом месте было три огромных оврага, по дну которых струились ручьи. Собственно, ручьи-то и прорыли эти «каньоны».

Миновав рощу и овраги, мы выходили к высоченному трамплину. С него зимой прыгали, в основном военные. И скатывались они на лыжню, которая проходила по всей Ушайке.

А вон стрельбище. Как только уходили военные, пацаны кидались к откосу, по которому велась стрельба, извлекали из деревянных щитов пули, выковыривали свинец на грузи-

ла и «кати», которыми играют в «чику». Иногда мы ползли к щитам, не дожидаясь отбоя. Играла труба, нас ловили и пороли.

На берегу Ушайки были две горки, слишком круглые и слишком аккуратные, чтобы быть творением природы, — это были древние ритуальные холмы. Одна горка называлась Вшивой, вторая — Чёртовой. Возле них были глубокие места, говаривали, что там сидит Водяной, мы внутренне трепетали, но, показывая храбрость, ныряли в омуты.

Обычай отдыхать за городом пришёл из далёкого прошлого. Первые тёплые дни — походы за цветами, травами для настоев, затем ягоды, грибы, ну и рыбалка, купание, и прочие удовольствия.

В городе хватало зелени, но хотелось ещё большего роскошества. Некоторые компании ехали на природу на телегах, везя с собой и самовары, и граммофоны. А мы медленно шли по Сибирской, как и многие другие семьи...

В сумках — пшено и сало, бидончик с молоком. А ещё мы взяли удочки и банку с червями, перочинный нож, спички и палатку.

Окраина, восход солнца, и на лавочке под берёзами в лучах восхода сидят необычайно красивые, белокурые, голубоглазые и чернобровые парень и девушка. Они словно сошли с какой-то картинки из журнала «Нива». Одеты были по-старинному: она — в сарафане, он в вышитой рубаше с пояском. Они держали друг друга за руки и нежно смотрели друг другу в лицо.

Честное слово, я тогда почувствовал своим детским сердцем всю беспредельность этой нежности.

Мать сказала отцу:

— Это они, посмотри, — как сидят, что творится! Староверы. Это брат и сестра. Кержаки. Брат полюбил сестру. Родители ничего не могут поделать с этим.

Мать шепнула отцу:

— Сами, кержаки, виноваты. У них все парни и девки на полях спят вместе, в одних длинных рубашах, чуть не до совершеннолетия...

Через некоторое время прошёл по городу слух, что юные староверы — брат и сестра — повесились в одной петле на берёзе возле родного дома.

После не раз я бегал к тому домику на бугре, заглядывал в ограду, надеялся увидеть эту красивую парочку. Но в ограде никого не было, да и окна в домике были заколочены досками крест-накрест.

Спросил об этих староверах у матери, а она строго сказала:

— Это не детские дела, тебе какое до них дело? Мало ли что говорят! Уехали они, и всё.

Уже за городом, окружённый высоким забором, стоял военный городок «Куукс». Курсы усовершенствования командиров-санитаров. Обучались там девушки.

Потом тропинки бежали под уклон, к Ушайке.

У железнодорожного моста — первозданная тишина, только Ушайка задумчиво шумела, шлифуя камни, и вода в этих местах казалась белой там, где дно было травянистым, она сразу становилась изумрудной, в больших, тихих омутах вода была чайного цвета, и вроде бы не текла, лишь кое-где сами собой возникали и расходились большие неправильные круги.

Поодаль по холмам поднимались хвойные и смешанные боры, на тенистых полянах пестрели цветы. Мы собирали лекарственные травы, грибы, клубнику, землянику, чёрную и красную смородину. Варили уху, отдыхали. Ляжешь на перекаате, вода бурлит, гладит тебя, ласкает. Тишина, только изредка пастух пригонит стадо на водопой.

Разбили палатку возле родника. Отец закатал штаны, залез в реку по колено и застыл с удочкой в руках. Мать поставила на таганок варить кулеш.

Я полез в кусты, изображая из себя индейца с копьём. Неожиданно моему взору открылась тихая поляна с голубыми цветами. Кудрявый бородач прислонил к холмику большую икону и, стоя на коленях, восклицал:

— Господи! Благодарю тебя за красоту мира, тобой созданного!

Я позвал маму. Она сказала:

— Нехорошо это — мешать человеку, когда он молится.

Когда кулеш сварили, пригласили поесть бородача. Он от еды отказался:

— Скромного ничего не буду... Молюсь, чтобы господь даровал нам милосердие к цветам и травам. Живу тут зимой и летом, избушка у меня в лесу. Говорю людям — не жадуите. Берите, но и другим оставьте. У Бога много запасено, а жадность губит...

Потом мы не раз видели этого отшельника. Жил он только тем, что мог собрать в лесу. А там всё было; грибы, орех, ягоды. Ничего иного не ел, ни хлеба, ни сахара, и чаю не пил.

В отвесных глинистых берегах шустрые пичужки проделали ровные дырочки-норы. Они хватали на перекатах зазевавшихся голянов клювами на лету и тащили, каждая в свою норку.

Я подползал к обрыву, протягивал руку и доставал из какой-либо доступной мне норы птичьи яички. Зачем? Не знаю. Похвастать в городе перед другими сорванцами.

Лохмач с седыми кудрями взял меня за руку:

— Дитя, ты дом разорил, большой грех!

— Яички такие красивые...

— В них жизнь заключена. Не разрушай жизнь...

На следующее лето отшельника возле «Железного» мы уже не встретили. Забрала его милиция, а избушку его сожгли дотла.

Если я в те годы более всего на свете любил купаться, то отец готов был ловить рыбу до посинения и ломоты в суставах. Ловил он только на удочку, никаких других снастей не признавал. И хорошо знал, где и как можно взять рыбу на Ушайке.

Бывало, клонет ельчик, отец снимет его с крючка и бросит обратно в воду:

— На что ты мне, дурашка, плыви... Мать кричала с берега:

— Гуманист задрипаный, порвал рыбе губу, отпустил и радуется. Это же инквизиция!

Однажды возле нас расположились отдыхать Потапочкины. Мать считала, что он заносчив, поскольку занимает важную должность — выпускает газеты.

На природе отчуждённость исчезла. Михаил Иванович угостил нас своими маринованными помидорами, а мы его нашей ухой. Рита Потапочкина была в цветастом купальнике и натиралась особенным кремом для загара.

Потапочкин бросил ключи от дома в реку и приказал:

— Милорд, достать!

Милорд нырнул и вытащил из реки большой плоский камень.

— Ключи! — скомандовал Потапочкин.

Милорд нырнул и вытащил ещё более крупный камень, который уже еле мог держать в зубах.

— Ах ты скотина! — взбеленился наш сосед и хотел отхлестать Милорда ремнём.

— Не нужно, — сказал отец, — оглохнет ещё от частого ныряния. Я умею нырять с открытыми глазами, я найду ваши ключи.

Отец долго пробыл под водой, но ключи всё же нашёл, отдал Потапочкину, отфыркиваясь:

— А вашему Милорду долго под водой быть нельзя, чутьё потеряет.

— Он и так давно чутьё потерял! — махнул рукой Потапочкин, опечаленный тем, что не удалось собаку показать во всём блеске, способностями её похвастать. А вы, Николай Николаевич, классно ныряете.

— У реки выросли! — засмеялся отец. — Я на спор нырял, дольше всех под водой держался... Вот вам секундомер, засекайте-ка время...

Он разбежался и нырнул. Прошла минута, другая, а его всё не было. Мать взволновалась, побежала по берегу, закричала:

— Коля, Коля! О господи, утонул!

Тут отец вышел из кустов живёхонький. И сказал вполголоса:

— Чего паниковать? Пронырнул я за поворот, хотел посидеть там, в кустах, потом опять бы нырнул, а здесь бы вынырнул. Эффект знаешь какой был бы? А ты всё испортила, не дала мне абсолютный рекорд установить.

— Пошёл ты... сам знаешь, к какой матери со своими рекордами!

Я думал: у Потапочкиных пёс — Милорд, у нас — Маркиз, какое же из этих званий более высокое? В сказке про кота в сапогах был маркиз Карабас!

Хорошо жилось нам на Тверской возле Ушайки! Мимо нашего дома зимой и летом двигались подводы с разными грузами. В конце лета тянулись возы с сеном. Телеги запросто переезжали Ушайку по отмелям. Пешеходы переходили речку летом по мосткам, зимой — по льду.

Когда лёд становился крепким, на нём ставили рубленую избушку — парнушку. Там топилась печурка, и были прорублены продолговатые проруби, в края которых были заморожены плахи. Весь околоток шёл полоскать бельё. Ниже по течению была прорубь, чтобы можно было поймать упущенное бельё.

Водопроводная башня была в двух кварталах от нас. Но местные жители считали водопроводную воду невкусной (хотя тогда её ещё не хлорировали) и даже заразной, брали воду из прорубей. Всю зиму катали мы воду в бидонах на саночках, а кто-то возил и на санях, запрягая лошадку. Иногда нанимали водовозов. Были отдельные длинные и узкие проруби для поения лошадей.

Весной с нетерпением ждали ледохода. Выходили на берег с флягами и бутылками, с закуской, разводили на льдинах костры.

Звучат балалайки да гармошки. Вот стая мелких льдин, а вон плывёт целый ледяной остров и мяукает на нём неизвестно как попавший туда котёнок. Приплывали льдины с остатками построек, с колеёй зимника.

Почти каждый год мы ставили мерные вешки: будет ли наводнение?

«Прибывает!» — нёсся по Петропавловской истошный вопль. Кочегары кондитерской фабрики давали короткие тревожные гудки. Такие же гудки ветер доносил с электростанции, с «карандашки». Тех, чьи дома затопляло, переселяли временно в дома на гору.

Но наводнение всё же когда-то кончалось. Подсыхала земля, пригревало солнышко. Река успокаивалась, мелела.

Много давала наша небольшая река. Но она приносила иногда и несчастья. Каждое лето в этой небольшой и не очень глубокой речушке тонули пьяные или неразумные пловцы и ныряльщики. Было много страшных историй о «конском волосе», который при случае может вам впиться в руку или ногу, и тогда уж его никакими силами оттуда не вытащить. Налимы будто бы сосали покойников, а в одном из омутов за Вшивой горкой жило какое-то страшное чудовище.

Каждое лето я ждал, что случится моя встреча с какой-нибудь из этих напастей. Но всё обошлось. Правда, ноет что-то внутри, может, «конский волос» невидимо точит? За всё хорошее приходится в жизни чем-то платить.

Дом Костана и Коляна

На противоположном от нас берегу жили люди-заушаечники. Нас они называли бардашными или бочановскими, и вели с нами войну.

Для нас слово «заушаечник» было символом опасности: снимут шапку, отберут лыжи и варежки. Срезали коньки-снегурочки, которые мы приматывали к валенкам при помощи верёвочных петель и палочек. Говорят, ещё в царские времена жители Бочановки и Петровки бились на кулаках. Теперь дрались пацаны да подростки.

Летом воевать было не принято. Войнишки возобновлялись с наступлением зимы. Мы устраивали из снега окопы и брустверы, лепили снежки, обмакивали их в вёдра с водой, чтоб метательные снаряды стали твёрже камня.

С одной и с другой стороны реки стоят напротив, в нерешительности, пока какой-нибудь смельчак не увлечёт за собой толпу. Я раз стоял в рядах бочановцев, поскользнулся и, чтобы не упасть, шаг сделал. Заушаечники бросились удирать, ведь за мной и толпа двинулась.

В те времена я боялся кататься в одиночку на коньках по Ушайке. Но однажды всё же у меня отобрали коньки. Вот почему я и другие ребяташки моего возраста даже летом остерегались переходить на другую сторону реки, в стан заушаечников.

Между тем два отцовских брата, Константин и Сергей, жили как раз на том враждебном берегу, на улице Петровской, номер 39. И мы с отцом и матерью в большие праздники ходили в дом на Петровскую в гости.

Трёхэтажный дом на Петровской стоял внутри усадьбы, возле оврага, и дядя Серёжа жил в этом доме вверху на третьем этаже, а дядя Костя — наоборот, в самом низу, в полупод-

вале. Обычно мы сначала заходили в полуподвал, а затем вместе с дядей Костей и его женой, тётей Олей, поднимались на третий этаж. Туда вела прямая и крутая лестница, украшенная ровными рядами балясин.

Наверху вы попадали в длинный коридор с двумя рядами дверей. И с висящими на гвоздях ваннами, велосипедами, плакатами с изображением загорелых физкультурниц.

Дядя Серёжа был человеком громогласным, не стеснялся материться при женщинах и детях. Меня это удивляло, отец с матерью при мне никогда не матерились, хотя я точно знал, что материться они умеют.

Взрослые усаживались за стол, а я выходил в коридор, чтобы поучиться у своих двоюродных уму-разуму.

Они знали такую матерщину, какой я ни на том, ни на этом берегу Ушайки до встречи с ними никогда не слышал. Братьев звали Володя, Генаша и Коляша, а сестрёнку — Валечкой.

Генаша зажжёт спичку, сунул себе в рот, закрыл его, вновь открыл, а спичка всё горела. Я попытался сделать то же, но только обжог язык.

Затем они привязали к моему зубу суровую нитку, второй конец закрепили за дверную ручку, Володя дёрнул дверь, зуб у меня выскочил изо рта. Больно!

Вдруг меня осенило:

— Вы же заушаечники!

— Ты тоже заушаечник... Почему? Да потому, что за Ушайкой живёшь.

Это меня озадачило, я долго думал потом над этой проблемой, но так ничего придумать не мог.

— Тебе одному жить скучно, — убеждённо говорил Коляша, — и заступиться за тебя некому. Ко мне кто полезет, так Володя с Генашей живо ему сопатку набьют. Ты скажи родителям, пусть братика тебе купят.. А пока почаще к нам ходи, хоть курить научишься.

Интересно в дядиной квартире. Сортир общий в сенях. Так если там что делаешь, то всё с высоты трёх этажей в яму летит! Говорят, купцы своё золото в кожаных мешочках на дно таких туалетных ям спрятали. Ямы эти до самого дна никогда не очищались, и, возможно, золото там и есть. Зря, что ли, ассенизаторов называют золотарями?

Я у дяди про это золото спросил, а он ответил:

— Вот выгонят из карьера — в золотари пойду, так и знай, племянничек!

А за столом звучала жалостливая песня:

Налей, подруженька, мы девицы гулящие,
Пусть нам ещё всего лишь только двадцать лет,

Но всё равно уж наша жизнь теперь пропащая
И нашу молодость никто нам не вернёт...

Затем играли плясовую, а тётя Клава, жена дяди Серёжи, плясала. Тонкая, стройная, в туфлях на высоких каблуках, она отбивала чечётку, плавно скользила по комнате, и могла без усталости плясать до тех пор, пока музыканты не выбивались из сил.

— Ну тебя, Кланька, — говорил дядя Серёжа, — ты прямо как резиновая, какой бес в тебя пружину вставил?

Тётя Клава только смеялась.

Иногда братцы уводили меня на Вознесенское кладбище, где множество удивительных надгробий — со стихотворными надписями, со скульптурами ангелов, с золочёными обелисками. Однажды весной мы подсочили на том кладбище берёзу, быстренько по трубочке натёк в банку сок. Стали пить по очереди, а Генаша и говорит:

— Потому здесь берёзы сочные, что удобрение хорошее.

— А что за удобрение? Люди сгнили, вот и чернозём, — засмеялся Генаша.

Меня тогда словно кто обухом по голове ударил: а ведь и я когда-нибудь умру, рано или поздно, но обязательно умру. Раньше-то я об этом как-то не думал. Оставил я банку, даже свою порцию сока не допил, побежал с кладбища, а братцы мне вслед захохотали.

Прибежал на Петровскую. Мать сразу заметила, что я расстроен, спрашивает:

— Что с тобой?

— Я ведь умру когда-нибудь! Понимаешь?

Смотрю, мать смеётся:

— Только-то? Стоило расстраиваться. Мы тоже умрём, так ведь не волнуемся. Лет через двадцать таблетки придумают для продления жизни. Ты ж молодой, чего тебе беспокоиться?

Мне легче стало, спросил:

— А вы как же?

— А мы зря себе нервы не портим, около Ушайки в ледоход не валандаемся, потому что там запросто можно утонуть. Так что, может, и мы доживём до таблеток, а ты уж наверняка.

Гуляли они весь день, и дня им было мало. Опять принимались играть на гитарах и балалайках, тётя Клава вновь плясала. Когда стемнело, снизу соседи стали стучать в потолок: прекратите, мол, пляс, нам спать надо.

— Идёмте к нам, — пригласил Константин Николаевич, — под нами уж никто не живёт!

Спустились по лестнице вниз.

У Константина Николаевича два сына — Саня и Котя. Старший сын Саня — отличник, он в овраге за домом целыми дня-

ми запускал модели самолётов, с бензиновыми моторчиками. На каких-то там соревнованиях одна из его моделей заняла первое место.

Я Сане говорил:

— Лётчиком будешь.

— Нет, — отвечал он, — конструктором.

Мне это было непонятно: лётчик — это же здорово! А то сиди, чертежи рисуй.

Котя был ростом почти с Саню, а ел даже больше, чем взрослый, знал всего несколько слов и почти не ходил, больше ползал на четвереньках.

Его надо было, как маленького, сажать на горшок. Он толстел не по дням а по часам. Я хотел было поиграть с ним, но мать с тётей Олей сказали, что это опасно — задавить может.

— Он добрый, — сказал я.

— Я сама его боюсь, — ответила басом тётя Оля.

Это было мне удивительно слышать, ведь тётя Оля была самой сильной из моих тёток. Дядя Костя говорил, что женился он на ней ради улучшения потомства. Как увидел он пышущую здоровьем девицу, так и подумал: «Вот уж крупные детки получатся!».

Что ж, Котя действительно получился крупным: в пять лет он выглядел десятилетним, а в десять лет был крупнее самого дяди Кости.

И ел, и ел.

Ещё у дяди Кости — две девочки: Галя и Света. У дяди Кости есть старинный граммофон со здоровенной трубой, вроде увеличенного во много раз подснежника, Завели пластинку со странным названием «Инее». Музыка без слов, но за ноги и за руки дёргает. Там дядька пел-пел, да как замычал: «Беее!», а тётка визжала, словно её щекотали. Ещё в полуподвале был кот Пыня, вредный и крупный.

У тёти Оли свои постряпушки и свои наливки. Гулянка продолжается. Дядя Костя рассказывает о том, как он в колонии для малолетних правонарушителей мастером по труду и воспитателем работал.

Воспитанники его очень любили. Да его и невозможно не полюбить. Он играет на гитаре, прекрасно поёт, мягким таким, вкрадчивым баритоном.

Он обучал подростков картонажному делу. Но вот уволился.

Событие в колонии произошло. Проиграли воспитанники в карты одного из воспитателей. Они его очень любили и, когда резали, то в голос ревели. А что было делать? Раз проиграли — надо зарезать, а не то их самих зарежут.

Ещё дядя Костя рассказывал, как эти игроки играли в лесу в карты на собственные пальчики. Кипит над костром вода в котле, а края котла остро заточены, остро, как бритва. Проиграл? Надень на палец гайку, ударь по краю котла — гайка с фалангой пальца булькнет в воду.

Игра продолжается.

— Хорошие ребята, — сказал дядя Костя, — я их очень любил, но придётся расстаться, уж лучше буду для конфетной фабрики коробочки лепить. Пусть заработок меньше, и пайка лишусь, но зато буду знать, что сегодня лягу спать, а завтра проснусь живой.

И опять звучал граммофон, потом все просили дядю Костю спеть, он пел романсы, потом тётя Клава ещё плясала.

За полночь изрядно пьяные родственники отправились нас провожать. Шли мы по центру. Мать моя была всех наряднее, и тётя Оля ей сказала:

— Ох, Мотька, ходишь ты в золоте, как бандерша!

Я не знал этого слова, но чувствовал, что оно нехорошее. Мать обиделась. Помрачнела. Когда вдруг из-за угла появились два милиционера, мать вырвала у отца руку с криком: «Караул! Грабят!».

Милиционеры кинулись к нам, один расстёгивал кобуру пистолета.

— Товарищи, — растерянно заговорил отец, — это жена моя...

— Гражданка, это ваш муж? — спросил милиционер.

— Впервые вижу, я вообще не замужем... Я шла, напали, браслет хотели снять, чуть руку не вывернули.

— Мотька, не дури! — басом говорит тётя Оля. — Вы не слушайте её, выпивши она. Это — её муж, вот его брат один, вот второй, а вот и сынишка её, — ткнула тётя Оля в меня пальцем.

— Вон как запели! — воскликнула мать. — Эта баба у них главная, вы её держите покрепче! А на этого взгляните, — указала она на отца, — уголовная рожа, сами видите.

Я от страха ничего выговорить не мог, и всех нас увели в милицию. Там уж мать созналась, что пошутила, но нас так и не отпустили до утра, и я спал там на лавочке.

Размолвки между братьями и их жёнами случались, но продолжались недолго, и мы по выходным вновь навещали своих родственников.

Однажды дядя Сергей организовал нашу поездку за Томь, в прибрежные боры.

Ехали мы на телеге, я лежал на куче мешков. Дорога в бору была укатанной, гладкой. До сих пор слышу запах свежеско-

шенного сена, которое дядя Серёжа сгрёб в охапку на чьём-то лужке и подложил в телегу для мягкости.

Помню и прохладу вечера, и чёрное озеро в бору, и дом, выстроенный в виде резного терема на самом берегу озера, и отца, полушёпотом рассказывающего.

У купца одного только птичьего молока не было. А он уезжал на эту дачу, уединялся, грустил, и однажды здесь повесился.

И, слушая этот рассказ отца, я тогда думал, что взрослые зря удивляются поступку этого купца. Они говорят, что у него было всё, но ведь птичьего-то молока не было. Вот!

И вот ехали мы куда-то, от одного лесного озерка к другому. В смолистом воздухе разливались ароматы цветов. И вдали кто-то истошно завопил. Я думал, что это разбойник какой-то. Мать пояснила:

— Мулла это, поп татарский. Мало ли, что в городе попы не кричат, здесь, в лесу, кричать не будешь — прихожане заблудятся.

Ночевали мы в кустах возле озерка, к утру нас мошка заела, особенно досталось отцу и дяде Косте — они весь брезентовый полог отдали женщинам, сами спали под открытым небом.

Подъехали мы к озерку, на берегу которого с другой стороны сидел старичок с удочкой.

Дядя Серёжа достал из мешка бутылочки с чем-то белым. Стали братья привязывать эти бутылочки к камням.

— Сейчас бикфордов шнур запалю, и начнём, — шепнул дядя Серёжа. Отец пояснил мне, что шнур этот горит даже под водой. В бутылочке аммонал — взрывчатое вещество, которое дядя взял в карьере. Он там был директором, кто ему мог отказать?

Дядя размахнулся и швырнул камень с привязанной к нему бутылочкой к противоположному берегу.

— Чего, охламоны, рыбу пугаете! — закричал рыбак.

В озере так грохнуло, что рыбак открыл рот и повалился набок. Взметнулся фонтан воды, дрогнул берег.

— Что вы наделали! — сказала мать. — Может, у старичка сердце больное!

— Ни хрена с ним не будет! — засмеялся дядя Серёжа. — Рыбы дадим, он и оживёт. Мать с тётей Олей и с тётей Клавой быстренько нырнули, принялись хватать всплывших кверху животами чебаков и карасей, швырять на берег. Этим же занялись и мужчины.

— Бабы! У вас же трусы с резинками, вы в трусы толкайте! — кричал дядя Серёжа.

— Сам толкай! — отвечала мать.

— Я в аэродромную охрану пойду! — грозил очнувшийся старик.

Рыбу складывали в корзины, перекладывали травой, ставили на телегу.

— Старик-то прав, — говорила мать, — не по-людски это. Нельзя так с природой поступать.

— К хренам твою агитацию! — возражал дядя Серёжа. — Агитаторы больше нас жрут и воруют, не хочу быть последним в очереди.

Дом Костана и Коляна стал для меня привычным. Я нередко отпрашивался сходить к своим двоюродным. Мне нравился ласковый Коляша, нравился и отчаянный, озорной Генаша.

Был ещё в том доме брат тётки Клавы — Мишка по прозвищу Злой. Он жил не в квартире, а в кладовке и на веранде, исчезал, появлялся, как призрак. Я иногда спрашивал тётку Клаву, — где дядя Миша работает, она махала рукой:

— Гуляет!

Стояли мы с двоюродными в ограде, когда пришли пацаны и, задрвав головы, стали кого-то просить:

— Отдай турмана!

Я глянул вверх. Из окна кладовки выглянул Мишка Злой, показал пацанам голубя и крикнул:

— Выкуп!

— Ты его поймал не по закону! — талдычили пацаны. Мишка вдруг взял голову голубя в рот, откусил её, выплюнул:

— Натё!

Пацаны заплакали. Мишка показал кулак, на котором можно было разглядеть синюю восьмиугольную звезду.

Позднее я много слышал о похождениях Мишки Злого. Его в городе боялись даже блатяки.

А мои двоюродные были с ним на равных, когда не было курева, просили у него, даже не называя его дядей, а говорили:

— Мишка, дай подымить.

И он им всегда давал, иногда совал им в карманы стору-блёвки:

— Фарт был, лопайте, свинята.

— Богатый такой? — спрашивал я о нём своих двоюродных.

— Когда — как, — пояснил Коляша, — у него в кладовухе даже армянский граммофон был — ящик такой, а пластинка вроде дырявой тарелки.

Мне вспомнился музыкальный ящик Самсона, спросил Коляшу, такой ли у дяди Миши был?

Коляша кивнул. Нет, посмотреть нельзя. Давно уже он этот ящик пропил. Он много чего приносит, потом продаёт, пропивает. Где берёт? На гоп-стоп добывает. Что такое гоп-стоп? Долго рассказывать...

Двоюродные были кладезем новых знаний. А ещё я любил ходить на Петровскую потому, что мне нравилась тётки-Олина

Светка, ещё одна моя двоюродная сестра. Она была круглолицая, как и я, у неё были похожие на мои, карие, большие, чуть нависают, глаза, а в уголках полных красивых губ прыгали смешливые ямочки.

Ещё при первом знакомстве она сказала:

— Мама уйдёт, в буфет полезем, варенье будем воровать, надо из каждой вазочки поровну отбавить, и будет незаметно...

Приходя к нам, Светка быстро съедала всё, чем её угощала мать, после просила меня украсть ещё вкусненькое. Она очень любила всё сладкое...

Моментальный портрет

Однажды летом меня позвала Верка Зиновьева играть на детскую площадку кондитерской фабрики. Площадка была в роще. Но играть там мне не нравилось. К столу с настольными играми было не пробиться, к качелям стояла очередь, сильные отталкивали слабых.

Но вышло так, что пришёл на площадку эту фотограф с фотоаппаратом-ящиком, накрылся чёрной тряпичей, навёл аппарат, посыпал что-то такое на полочку и вспыхнуло всё вокруг синеватым светом, как молния. Старшие пацаны заговорили: «Магний, магний!».

А потом появилась в газете фотокарточка. На ней можно было нас с Веркой узнать, мы были там запечатлены среди другой ребятни.

Как жаль, что фотографы не смогли запечатлеть все дома, тополя, весь наш город, всё наше время.

Если бы они могли заснять всё, то остался бы на снимке и угловой дом, на котором со стороны улицы Сибирской висел номер двенадцать, а со стороны Тверской он был обозначен номером тринадцать. Выходило, что жильцы дома могли выбирать себе адрес по вкусу.

Впрочем, в доме жила всего одна семья — Войновичи. Остальная площадь здесь была занята детскими яслями и поликлиникой.

Глава семьи был сапожником, по национальности он был не то сербом, не то хорватом, кто у нас отличил бы серба от хорвата? Но на Тверской знали, что Лазарь когда-то служил в австрийской армии. Он попал в плен, застрял в Томске, женившись на русской. Семья жила в малюсенькой комнатухе на площади поликлиники, жена Лазаря — тётя Маруся — работала там уборщицей.

Сам он возле колченогого стола весь день чинил сапоги, валенки, ботинки. Ребяшня играла обрывками дратвы на полу. Войновичи жили так бедно, что соседи руками разводили:

— Австрияк, чего с него возьмёшь?

У Войновичей было трое детей. В те времена каждый второй житель в Томске умел сучить дратву, орудовать шилом. На Тверской жили почти сплошь сапожники. Было непонятно: на какой заработок может рассчитывать Лазарь при таких условиях? Оклад же уборщиц, как известно, самый низкий на свете.

Вольготно жилось в нашем околотке. Утром неподалёку от нашего дома играл на рожке пастух, и хозяйки провожали бурёнок в стадо. Вечером коровы возвращались усталые, и каждая степенно несла полное вымя.

Всё было праздником: сок берёзы, картошка из костра, купание, рыбалка. И всё: запахи, звуки, всё — со мной. Всё! До цвета ленточки в волосах у Томки Усачёвой.

Мишка Шмон был кумиром нашей улицы.

Не потому, что вырезал свои бархотки во время киносеансов с обличовки лож, резали там бархат и другие. И не потому, что чистил он отменно. У нас многие имели ящики со следом для ноги и с внутренними полочками для щёток, бархоток, кремов. Почти каждый пацан умел прилично чистить, жонглировать щётками, выстукивать ими на ящике разные ритмы.

Мишка Шмон чистил в центре, этим всё сказано. За любое место в центре взрослые парни ставили друг другу фингалы, выбивали зубы, а иногда резались сапожными ножами. Конечно, на Тверской вы можете садиться со своим ящиком и щётками где угодно и сидеть сколько угодно, никто вас не тронет, но и ни одного клиента за весь день вы здесь не дождётесь.

Тогда люди предпочитали ходить в хорошо начищенной обуви. В сырую погоду надевали калоши, были тогда даже калоши для женских туфель на высоком каблуке.

Сейчас в гостях мы разуваемся и ходим по комнатам босиком либо в шлёпанцах. Человека это принижает, снимает праздничный настрой. А как было раньше?

Скинул калоши, остался в сияющих туфлях, элегантный, хоть чечётку танцуй.

— Райкомовский, который мне всегда рубль кидал и сдачи не спрашивал, больше в чистке не нуждается, — сообщал однажды корешам Мишка, — повязали его ночью, говорят, у него «дура» была, отстреливался, он же матрос бывший.

— Верхушку берут, вроде вся тёмная.

— Но что «сдвинутого» взяли, так это смех! Какой он шпион-вредитель?

— При мне прямо возле «Максимки» и замели. Он с утра похмельный пришёл: «Граждане, моментальные портретики!». Вот тебе и портретики...

«Сдвинутого» выпустят, — решила тогда Тверская. Попугаю, чтоб возле «Максимки» не ошивался, и выставят. Кому он нужен, ненормальный?..

Но «сдвинутый» исчез, как в воду канул. Надо сказать, что мужичонка это был тихий, безответный, всегда пьяненький и небритый. Он подрабатывал тем, что быстро рисовал в блокноте портрет любого желающего, не отрывая карандаша от бумаги.

Получалось похоже, и стоило всего полтинник. Вырвет страничку из блокнота и — получай. А за рубль он рисовал Сталина или Ленина, по желанию заказчика. Вот это его, видимо, и сгубило. Не рисуй кого не надо.

Тревожно стало в городе. Но на Тверской жили по-прежнему: у нас народ простой, к нам не подкопаются.

А потом это случилось. Ночью кто-то стрелял в окно Войновича, который засиделся допоздна за своим сапожным столом. Лазарь остался жив и даже невредим.

Пуля пробила в стекле аккуратную дырочку, от которой разбегались в разные стороны трещинки, как лучи. И мы все ходили в тринадцатый номер и рассматривали эту дырочку.

Кто и за что мог пытаться убить сапожника? Мужик мухи не обидит, обувь чинит добросовестно, плату берёт скромную. Факт оставался фактом: была дырочка в стекле, и каждый мог видеть и даже осязать.

А через несколько дней в тринадцатый номер пришли двое в форме и велели Войновичу собираться.

Тётя Маруся запричитала:

— Куда же вы его берёте? Деток же трое, все малые, чем же я их кормить буду? Один сказал:

— Соберите ему постель и продукты на три дня, поняли?

Это несколько успокоило тётю Марусю, но продуктов на три дня она собрать не могла, не было.

Постели как таковой тоже не было: спали всей семьёй вповал на полу. Постилали лоскутное стёганое одеяло. Его-то и отдала тётя Маруся мужу, мол, три дня и без подстилки перебьёмся.

Войнович не вернулся.

А слухи росли, множились. За рекой Томью на высоком холме возвышалось недостроенное здание из красного кирпича.

Возводили там санаторий для туберкулёзных детей. Оказалось, главный строитель был вредителем. Он знал, что будет оползень, что верхушка холма сползёт в озеро вместе со зданием санатория, на это и рассчитывал: погубить больных пролетарских детей.

К тому же он и материал взял не такой, и здание построил неправильно. Можно было слышать разные мнения:

Вот сволочи, фашисты, даже детишек не щадят!

— А ты уверен, что обязательно будет оползень? Может, здание сто лет простоит...

Тверские пацаны смотрели за реку, на красное кирпичное здание, и думали: может, сейчас и обвалится? Прямо на наших глазах? Ну, такое везение бывает редко, чтобы что-то интересное увидеть. Вот ляжешь спать, утром встанешь, а здания за рекой на холме нет.

Проходили дни, а здание оставалось на своём месте.

Так это здание за рекой, именовавшееся в городе «красным», простояло около тридцати лет. Его не достраивали. А когда его достроили и оштукатурили, оно стало белым. Так и стоит до сих пор, а историю его все забыли.

А тогда что-то пугающее, невидимое пробиралось по нашим закоулкам, поскрипывало ночью ступеньками в нашем бывшем купеческом доме. То ли мышь в кладовке банку уронила, то ли стукнул кто?

Туалет у нас был во дворе, один на всех жильцов.

Бывало, что бродят по двору двое-трое жильцов, в сторону туалета поглядывают — очередь.

И вечно в этом туалете бумаги на гвоздике не хватало. Мы выписывали много газет, после читки их использовали для растопки и прочих хозяйственных нужд, в том числе и для туалета, обычно я их и относил туда.

Но в те дни мать мне сказала:

— Газеты больше не смей в сортир носить и не рви. Может, в газете портрет какой или статья...

Я попытался пошутить — мол, чем же подтираться, но она закричала:

— Чем-чем! Прошлогодним снегом, сеном-соломой! Тронешь хоть одну газету, выпорю! Складывай прочитанные номера в стопку по порядку...

Зимой я катался на горке напротив дома или на коньках по Ушайке. Там вообще-то мне кататься запрещалось: можно было попасть в прорубь.

Томительно тянулись дни, когда меня валила с ног простуда. Отец шелестел газетами:

— О! Конференция приветствует приговор троцкистам! Гм... солидарность с испанским пролетариатом... Надо Борьке шапочку-испанку сшить, сейчас многие дети такие носят... Ага! Укрепление бдительности...

А я был так рад первой капли! Шла весна 1937-го года.

Я всё чаще уходил в дальние кварталы, открывая для себя всё новые уголки Томска. Каждый дом имел свою осо-

бинку, свою резьбу, свои пристройки. У нас в доме лестница внутри, а вон дом, где лестница идёт возле наружной стены. Обнесённая высокими перилами, она выглядит так загадочно!

Забрёл я на Загорную улицу и вспомнил, что там, в одном из домов, живёт Лида Маркович. Девушка лет пятнадцати, у которой глаза, как роднички. Лида была в два раза меня старше, но покорила меня совершенно тем, что общалась со мной, как с равным. Она открыла мне сердечную тайну, о которой, по её словам, не знал никто.

Мы так славно с Лидой играли!

Попав на Загорную, я вспомнил, что полгода не видел Лиду, что почему-то ни она, ни её родители так и не навестили нас, хотя обещали.

Вон там во флигеле, в глубине усадьбы, живёт Лида. Она мне непременно обрадуется. Я зашагал по подсыхавшей тенистой тропинке. Из соседнего дома выскочила женщина.

Она глянула на меня очень странно:

— Тебя кто к Марковичам послал? Ты их родственник?

Я подумал, что она сердится оттого, что я могу побеспокоить людей, не имея для того основания, так она считает.

Я торопливо пояснил, что нас с Лидой связывает большая дружба, я спросил, дома ли она.

Женщина ответила вопросом на вопрос:

— Ты сам пришёл или тебя родители послали?

До сих пор помню интонацию эту, смесь злобы, подозрительности, страха, что ли. Я, как мог, пояснил, что пришёл по своей инициативе, намекнул, что родителям знать об этом не обязательно, но Лида мне будет рада, я уверен. Женщина прохрипела мне прямо в ухо:

— Быстро поворачивайся и иди отсюда. Марковичи — враги народа. Забудь сюда дорогу.

— А Лида?

— Нет там никакой Лиды! Что — кто там живёт? Говорят тебе, иди отсюда! Скажи родителям, чтобы они тебя выпороли хорошенько!

Я уже многое знал о вражде соседей, о разных кознях, когда на вашу капусту сажают гусениц или в вашу поленницу подкладывают полено, начинённое порохом. И я подумал, что тут что-то подобное.

Пришёл домой и весело рассказал родителям об этом приключении, о том, как эта тётка велела им сказать, чтобы меня выпороли.

Я думал, мать возмутится, отправится на Загорную и покажет этой дуре, где раки зимуют. Но мать схватила ремень и действительно принялась меня хлестать, приговаривая:

— Мы тебя посылали туда? Посылали?! Мы сами ходим туда?.. Ах ты паразит! Поговори ещё! Мало ли что — были... Это когда было? Забудь эту фамилию и не болтай ни с кем! Запору!

А я про Лиду до сих пор помню. Что стало с нею? Не знаю. Никогда ни одной минуты я не верил, что Лида способна на что-то плохое.

Вечерами со странной интонацией отец зачитывал отрывки из доклада товарища Эйхе: «Они прежде всего точили свой отравленный фашистский нож против того, чьё имя горит в сердцах миллионов трудящихся не только нашей страны, но и всего мира, они готовили подлое убийство, охотились, как дикие звери, за нашим великим вождём, за товарищем Сталиным...».

Прочитав это, отец обращался к матери:

— Одного не пойму, как мог охотиться за товарищем Сталиным извозчик с Томска-первого, ну, этот, у которого пролётка коврами украшена, Мануйлов?

— Не умничай! — говорила мать. — Не наше это дело.

А я думал: отчего у больших начальников фамилии какие-то особенные. Вот хоть того же Эйхе взять. Отчего это так?

Ночами, думая, что я уже уснул, отец с матерью переговаривались.

— Может, нам его портрет купить? — предлагал отец. — Сейчас в книжоторге хорошие есть, я видел.

Мать раздражённо отвечала:

Только этого гуталинщика мне в доме и не хватало!

— Ну что ты, Мотя, зачем так кипятиться? — успокоительно говорил отец. — Это же манёвр такой суворовский, повесим, а любоваться не обязательно.

— Брось! Люди, думаешь, не понимают? Не было портрета, появился. Тебе-то чего бояться? Совсем без причины они вроде бы не берут.

— А Войнович?

— Там зацепка есть: почему он из плена на родину не вернулся? Чего иностранцу в чужой стране болтаться? Или этого еврея, Барона, забрали. Человек с такой фамилией сам по себе подозрителен. Тоже, навывдумывали себе фамилий, он бы ещё Герцогом назвался бы!

Из Америки приехал, чёрт его сюда принёс, племянница у него, видите ли, тут, Люлечка. Вот теперь ни Люлечки, ни, может, света божьего не увидит больше. А мы ему вельвет Борьке на костюмчик отдали. Вельвета не жалко, а вот на примерку к нему ходили, ты всё там рассиживался, Барон да Барон, про Америку интересно рассказывает. Эти рассказы нам боком могут выйти.

— Разве мог я подумать?

— Ладно, молчи, не трясись. Без какой-то зацепки, просто так, они не берут. Приличные соблюдают...

Я засыпал в радостной уверенности, что всё будет хорошо. К отцу не подкопаются, это мать сказала. А если Барона забрали, так это потому, что он был в Америке. Нормальные люди живут всегда в Томске. Рождаются, живут и умирают в Томске.

Нормальных людей никогда не забирают. На то они и нормальные. А пройдёт лето, и осенью я пойду в школу.

Будущее казалось прекрасным. Я мечтал стать капитаном, но не насовсем, а так, поплавал бы немножко по морям и океанам, а потом — начальником в артели или же охотником на тигров. Ещё бы стать карманником, но не насовсем, а чтобы пацанам доказать.

Я бы вырезал кошельки возле кассы кинотеатра, и кормил бы знакомых досыта мороженым, а все бы меня хвалили и боялись, как Мишку Шмона бояться.

Вечерами иногда мне удавалось подслушать родителей.

— Купил себе польский отрез табачного цвета! — сердилась мать. — Пошил английский костюм, пиджак с разрезом. Теперь в этом костюме из дома не высунешься.

— Почему же? — возражал отец. — Не украл, отрез в торгсине за золото купил. Этот отрез туда ссыльные польские паны сдали, а я рабочий.

— Умник! Заработал он! Им же это, как красная тряпка быку!

— Ладно! Заведи-ка, Мотя, патефон, знаешь, ту, новую пластинку? Не хочешь? Я сам заведу.

На аллеях центрального парка
В тесных грядках цветёт резеда.
Можно галстук носить очень яркий
И быть в шахте героем труда.
Как же так — резеда? И героем труда?
Почему, растолкуйте вы мне!
Потому что у нас каждый молод сейчас
В нашей юной, прекрасной стране...

Бодро напевал слащавый тенор, и весело крутилась пластинка. Я потихоньку слез с кровати и заглянул в «залу», отец пытался крутить маму в ритме фокстрота.

— Отстань! — вырвалась она. — Развеселился! Теперь твой табачный фрак так и будет в шифоньере висеть.

А я думал: жаль, если гости к нам перестанут ходить. Такие интересные у нас гулянки бывали! Отцу столяр знакомый та-

кой обеденный стол сделал, что его, если надо, раздвигают, и он становится в три раза длиннее и в два раза шире.

Мать обычно готовила для гостей холодец, винегрет, который назывался у томичей студенческим мясом. Отец маму представлял гостям оригинально, сделает театральный жест рукой:

— Матрона лен дере р-роман теля пасе!

Кажется, что звучный титул объявил, а вдумаясь — это он по-украински сказал, что Матрёна лён дерёт, а Роман телёнка пасёт.

Братья — кто с гитарой, кто с балалайкой, кто с мандолиной. Тут тебе и куплеты смешные, и романсы грустные.

— Исполняется новое произведение великого акына Джамбула! — объявлял отец, наигрывая на балалайке, как на домбре, подражая голосом степному певцу.

— Великого Сталина пламенный зов
Услышал всем сердцем, всей кровью Ежов.
Когда засияли октябрьские зори,
Дворец штурмовал он с отвагой во взоре.
Ползут по оврагам, несут изуверы
Наганы и бомбы, бациллы холеры...
Но ты их встречаешь, силён и суров,
Испытанный в пламени битвы Ежов.
Враги нашей жизни, враги миллионов,
Ползли к нам троцкистские банды шпионов,
Бухаринцы, хитрые змеи болот,
Националистов озлобленный сброд.
Они ликовали, неся нам оковы,
Но звери попались в капканы Ежова.
Великого Сталина преданный друг,
Ежов разорвал их предательский круг.

— Густо наперчил своё блюдо великий акын! — сказала мать.

Отец объявил народную песню про двух соколов. Они на дубу прощались, и один почему-то решил переложить заботы на другого, а тот ответил:

Позабудь тревоги,
Мы тебе клянёмся,
Не свернём с дороги.
И сдержал он клятву,
Клятву боевую:
Сделал он счастливой
Всю страну родную.

Дядя Володя рассмеялся и запел лихую, цыганскую, с припевом:

Всюду деньги, деньги, деньги,
Всюду деньги без конца.
А без денег жизнь плохая,
Не годится никуда...

Дядя Саня сказал, что раньше этот припев пели по-иному: «Всюду деньги, господа...», а теперь вот из-за политики рифму испортили.

Ещё отцовы братья рассказывали интереснейшие истории о Томске дореволюционном, анекдоты, даже фокусы показывали.

Один из фокусов был хулиганским: дядя Костя становился на четвереньки, кричал: «Огонь!» и громко пукал, отец в этот момент подносил к его брюкам спичку, и вспыхивало синее пламя.

Потом я с друзьями не раз пытался повторить этот эффектный номер. Ничего не получалось.

А какие у отца были знакомые! Лётчик гражданской авиации, санитарный врач, самый настоящий художник, подаривший нам несколько пейзажей и нарисовавший мой портрет при помощи фотокарточки.

Отцу самому учиться не пришлось, так он всё мечтал о какой-то необыкновенной карьере для меня, и очень не хотел, чтобы я тоже стал часовщиком. Они с матерью всё спорили, кем я буду, пытались выяснить, какие у меня склонности.

Вот и художника Пинегина просили меня проэкзаменовать. Он дал мне лист бумаги и говорит:

— Нарисуй самолёт!

Я нарисовал, он посмотрел, сказал, что это вид сбоку, и предложил нарисовать самолет в фас, то есть вид спереди. Я художнику ответил:

— Никогда самолётов спереди не видел, они всегда боком летают.

Засмеялся Пинегин и перестал приставать. Ну, я-то понял, что мой самолёт ему не понравился, потому что мать с отцом огорчились. А чего огорчаться и чего допытываться, кем я быть собираюсь? Мне пока и так хорошо.

А разве не радость, если к вам приходит самый настоящий клоун, пусть даже он без грима. Клоун этот работал в цирке рыжим, а без парика он был брюнетом, тощим и длинным. С ним, для контраста, работал в паре лилипут, а потом этот лилипут повесился, как пояснил рыжий, от горькой любви.

Рыжий в эти дни много пил, сидел у нас на кухне и горько плакал.

— Как же вы друга не уберегли? — спросила тогда мать.

А я подумал: да как уберечь-то? Меня посылают на Петропавловскую за молоком, а у молочницы дочка Клара, голова у неё в маленьких таких кудряшечках. И всё! И любовь моя тоже не очень-то сладкая: и Клара меня не замечает, и пожаловаться никому нельзя — засмеют.

Да, хороши были у нас гулянки!

У наших соседей Есманских гулянки тоже были весёлые, но всё же у них было не так интересно. Да и пели они с гостями чаще всего «Посияла огирочки», «Цыганка гадала», «Распрягайте, хлопцы, коней».

Последнюю песню, впрочем, пели и у нас. Да песню про этих самых коней поют вообще в городах и весях, её знает всяк русский человек. Потому, наверно, она популярна, что есть в ней всё: и отдых после тяжких трудов, и романтика любви.

Верх дома занимали мы с семьёй Есманских пополам, но это «пополам» было не совсем пополамное. До революции весь верх, видимо, занимал один хозяин, было у него три комнаты и кухня. Теперь ту комнату, дверь в которую вела прямо из прихожки, занимали Есманские, напротив — кухня, из неё ход в две наши комнаты.

Кухонный стол у нас был общим, обедали за ним по очереди. Этот стол был источником недоразумений: то одной, то другой хозяйке казалось, что из чашки убавилось масло, что за ночь в вазе стало меньше варенья. Если честно, то я лишь раз попробовал соседское малиновое варенье, а крик был и тогда, когда я ничего не брал.

В кухне располагалась большая русская печь с огромным шестком и отверстием для топки, прикрытым заслонкой, с подпечком для ухватов и кочерёг. В печи томилось молоко, прели щи да каша для двух семей.

Иногда в дымоходе коптили окорок или рыбу. Под самым потолком кирпичная перемышка отделяла от кухни лежанку, на которую можно было попасть из прихожки.

Георгий Фаддеевич тогда мне казался совсем древним дедом, хотя было ему всего лет пятьдесят. Всё относительно!

Сосед наш спал на печи. Он утверждал, что раскалённые кирпичи лучше всяких врачей вылечивают почки, печень и другие органы.

Мне всегда хотелось самому испытать целебное свойство лежанки. Меня манили темнота, жар глушь. И вот, бывало, протянет Фаддеевич руку — и я уже рядом с ним. На тряпье, возле лагушка, в котором упревает брага.

В сильные морозы в этом закутке так хорошо! Кирпич жжёт спину, терпеть уже невозможно, ты покряхтываешь, и кажется, что через калёные кирпичи действительно в организм вливается здоровье.

Однажды под Новый год Есманский взгромоздил на лежанку двухведёрную стеклянную бутылку с мутной жидкостью. Он запоздал поставить брагу, теперь решил максимально ускорить брожение, плотно забил в горло бутылки деревянную пробку.

Хорошо, что в эту ночь меня не было на лежанке. Под утро квартиру потряс взрыв. Вопила жена Есманского, мы кинулись на кухню, включили свет, и увидели в прихожке на полу мокрого Георгия Фаддеевича, повторявшего:

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Вокруг лежали осколки, печь сильно пахла брагой. Мать вполголоса костерила соседей.

А мне соседи нравились! Георгий Фаддеевич был пряничный мастер-кондитер, а дома делал штампы для печений. Строгая для этой цели полено, Фаддеевич учил меня очень смешным стишкам и прибауткам:

— Серп и молот — смерть и голод! Ворошилов — вор вшивый! Сталин — Сралин! — выкрикивал я только что усвоенные стихи. Мать поймала меня за ухо:

— Кто тебя научил? Фаддеевич?! Ну, сволочь! Не вздумай во дворе или ещё где это сказать — лишат отца и матери!

Бледная, побежала она к Есманским. Что там было, не знаю, но, забежав в комнату, она вдруг упала, стукнувшись затылком о пол. Хорошо, что как раз вернулся с работы отец. Он прыснул на неё водой, дал понюхать нашатырного спирта, поясняя мне при этом:

— Немедленное прочищение мозгов.

Отводившись с матерью, он тоже пошёл к Есманским. Вернувшись, сказал мне:

— Фаддеевич болтал это по глупости. Но ты же у нас умный?

Естественно, я считал себя умным.

Ночами я с ещё большим интересом старался разобраться, о чём шепчутся родители.

Дикторшу местного радио забрали, старушку. Она была из дворянской семьи. Держали её на радио за хорошо поставленный голос, за дикцию, безукоризненное произношение и эрудицию.

Когда она читала сообщения, то слушателям всё было ясно и понятно. Другие дикторы ей и в подмётки не годились. Мы всегда радовались, когда передачи вела именно она.

Но в последнее время она, видимо, много думала о том, что органы забирают очень часто бывших дворян. Раз вернулась

домой и поняла, что кто-то побывал в её комнатухе. Замок был цел, но салфетка на столе была сдвинута с её обычного места. Пачка писем была завязана совсем не таким узлом. Она убедилась, что нескольких писем в пачке не доставало.

Дикторша стала нервничать. Ей казалось, что она по радио может сказать не то, что нужно. Она даже поделилась своими страхами с сотрудниками. Её успокоили.

Диктору надо приходиться в студию к половине шестого. Она не выспалась, очень волновалась, и голова у неё болела, и неожиданно для себя она сказала в микрофон:

— С добрым утром, господа!

Зачем такой стародавний рефлекс на беду сработал?

Сидела в студии перед микрофоном, машинально читала текст, а дверь с крючка рвали незнакомые ей люди, дверь была застеклённой, и она видела их искажённые яростью лица.

— Боже мой! — повторяла мать. — Мухи не обидит, отзывчивая. Она у нас пунктуацию и орфографию читала, когда я на курсах делопроизводителей была.

— Господа — это уже политическая статья, — сказал отец. — Стенка обеспечена ей... Я не дворянин, никто, но стал от каждого шороха вздрагивать...

— Пугает, — говорила мать, — хочет всю страну в дрожь вогнуть, так-то ведь управлять легче...

— Что ты, Мотя, говоришь. Может, он не всё знает, может, искажение на местах?

— Чёрта с два... Он затеял, а уж на местах-то рады стараться. Человека в кутузку, а вещички — себе... Как во времена испанской инквизиции. Надо сидеть, как мышам в норке...

Гости всё же иногда приходили к нам, хотя гораздо реже, чем прежде. Почему дети так любят общаться с соседями, бывают рады гостям? Члены семьи все изучены ими, а каждый гость — открытие какой-нибудь новой стороны мира.

К нам приходил в гости лётчик, стройный, сильный, с невестой. А потом пришла одна невеста, осунувшаяся и постаревшая, и рассказала, что Фёдор повесился, так как комиссия признала его негодным к полётам: сердце больное.

Я и видел-то этого Фёдора всего раз, да и только мельком, но думал о нём потом долго, и в детстве его не раз вспоминал, и в юности, и в зрелые годы. Такой здоровенный! В небо можно подняться не только на крыльях самолёта. Зачем ты, Фёдор, мне помнишься?

Солнце калило нас жаркими стрелами,
Дождь пулемётом строчил.
Буря и холод нас смелыми сделали,
Ветер нас петь научил.

Сколько полемизировал с родителями по поводу песни. Солнце калило стрелами? Но почему не кололо? А пулемёт при чём?! Родители отвечали: мол, закаляться надо, чтоб стать сталинским соколом, об этом песня.

Тогда на стадионе «Медик» была вышка, с которой каждый желающий мог прыгнуть с парашютом, правда, парашют был привязан к верёвке, и спускались вы с вышки не столько на парашюте, сколько на этой самой верёвке.

Родители там прыгали, мечтал о прыжке и я. Не довелось. После на Дальнем Востоке не раз взлетал в небо на американском транспортнике «Дугласе», прыгал. Ну, небо, ну и что? Видимо, было у Фёдора нечто такое особенное в устремлениях, в характере. Каждый прикипает сердцем к какому-то делу, а почему — не всегда сможет объяснить.

Детская моя кровать

Однажды отец пришёл домой расстроенный и вполголоса сказал матери:

— Маху мы дали с этим поэтом... арестовали его... ты совершенно права была: сейчас и самим лучше дома сидеть, и к себе не звать...

— Да ведь он приходил, когда всё спокойно было, — сказала мать. — Кто мог подумать? Блаженненький, кому он мог мешать?

Дяди-Костина жена, староверка, навещала Ключева, носила ему просфоры, булочки. Поэт для староверок был кем-то вроде проповедника. Мои же родители, услышав о нём, проявили интерес к нему как к столичному литератору.

И однажды Константин Николаевич появился в нашем доме со странным человеком небольшого роста, одетым в поношенную поддёвку. Есманские его даже за нищего приняли.

Константин Николаевич быстренько провёл его через общую кухню к нам, и в нашей комнате пришелец запричитал, заокал.

Отец сказал мне:

— Разуй глаза, настоящий поэт пришёл.

— Как Пушкин? — уточнил я, ибо незнакомец походил не то на извозчика, не то на татарина-старьёвщика.

Я бы сразу и забыл этого человека, если бы не фамилия. Я спросил его:

— Ты клюёшь, как птичка?

Он ответил что-то в том роде, что — да, клюёт с древа российской словесности сладкие ягоды поэзии.

Помню, меня поразил акцент, казалось, что человек нарочно коверкает слова, притворяется, как клоун. Я ведь жил всегда в Томске, здесь никто никогда не окал, а говорили, как и по радио говорят, чуть акая на московский манер. А тут человек не только окал, но и напевно растягивал окончания слов.

Матери очень хотелось послушать настоящего, известного поэта. Она любила Есенина, Блока, а Маяковского недолюбливала.

Когда пригласили гостя к столу, речь и зашла об этих поэтах, об их взаимоотношениях. То и дело звучало: «Есенин, Есенин!».

Потом Клюев читал свои стихи. Мне они не понравились, ибо я в них почти ничего не понял. Я решил: нет, не Пушкин, гораздо хуже. И «Конька-Горбунка» ему, видимо, тоже слабо сочинить.

А теперь вот, оказывается, этого самого старичка забрали. А я думал, что таких старых уже и в тюрьму не берут.

После ареста этого поэта мать была очень расстроена. Отец с матерью перестали по выходным ходить в гости. И к нам редко кто теперь заглядывал.

Из шести отцовских братьев навещал нас только Сергей Николаевич. За излишнюю любовь к горячительным напиткам его сняли с должности директора карьера. А пил он, по его словам, потому, что работа была рискованная, с взрывами связанная.

Покинув карьер, он стал работать ассенизатором. Сам он обозначал свою новую должность более точным и ёмким русским словом.

Стоило отцу и матери отвернуться, он опустошал все флаконы с одеколоном и духами, куражился и кричал:

— Притихли? Попрятались в норы, как сурки. А я не боюсь! Я честный советский говночист, и мне нечего бояться. Пролетарию нечего терять, кроме своих цепей!

— Перестань паясничать, — сердился отец. — Я, что ли, не пролетарий? Тоже горб гну!

— Ну так и не трясись, как желе!

Вскоре забрали портного, который шил отцу костюм табачного цвета. Возле артучилища был у этого портного домик. Меня удивляла вывеска: «Военно-гражданский портной». Как это? Отец пояснил. Портной этот шьёт и военную форму, и гражданские костюмы.

— Военторг. Дефицит. Консервы? — сказал отец по поводу ареста портного.

Обвинили закройщика в шпионаже. Мол, клиент скинет китель, портной поведёт командира за ширму, а жена в это время карманы кителя обшарит, секретные документы скопирует. Её взяли вместе с мужем.

Рассказывали: по ночам по городу снуёт чёрная легковушка. Клаксон каркал, люди в домах обливались холодным потом.

Но «чёрный ворон» ездил больше по центру. Видимо, считалось, что профессоров и других солидных людей нужно и арестовывать солидно. Простолюдинов в НКВД привозили на телеге или приводили пешком.

И опять ночью подслушал я разговор. Курдюков был в Москве. Ежов-то пигмей, карлик. И садист к тому же.

Я не вытерпел и спросил:

— Что такое пигмей? Карлик, я знаю, маленький. Но какой же он маленький! Нарком ведь, я портрет видел. Ну, садист, потому что всех садит. А пигмей — что?

Мать вскочила и больно дёрнула меня за ухо:

— Будешь родителей подслушивать, убью! А будешь болтать, этот садист нас вмиг посадит!..

С той ночи они больше не шептались.

В те дни домоуправы обходили свои владения и требовали от жильцов, чтобы они обозначали на каждой двери номера квартир и фамилии жильцов, в них проживающих. Велено было также на воротах каждой усадьбы прибить козырёк с электрической лампочкой, номером дома и названием улицы. Объясняли это тем, что так будет удобнее доставлять почту, телеграммы. Но людям эти хлопоты не очень-то нравились.

Занятия в школе должны были начаться только через месяц, мне уже всё купили: ранец, аспидную доску, грифель.

А однажды ночью я спокойно спал в своей кроватке детской, я из кроватки вырос, ноги были продеты сквозь перекладыны спинки кровати, не вмещались. И тут вдруг вспыхнул свет.

— Ну что вы?! — возмутился я, но умолк, увидев в комнате двух военных, один стоял у дверей, другой будил мать и отца. Что я тогда подумал? Гости приходили к нам и ночью, особенно отцовы братья или приезжие из других городов, которые когда-то с отцом давно дружили.

— К папе пограничники пришли! Вставай, пап! К тебе!

— Чему радуешься, дурак! — сказала мать. Она была бледна. Пограничники на границе стоят, родину охраняют, а эти... Они ходят по ночам и детей сиротами делают.

Одному из военных это сильно не понравилось, он насупился и сказал:

— Гражданка, прекратите вражескую агитацию!

— Кого агитировать? Вы машина, механизм, колёсики...

— Гражданка! — грозно сказал военный. Второй успокоительно заговорил:

— Там разберутся...

— Для галочки в отчёте и забираете...

— Гражданка, последний раз говорю, прекратите вражескую агитацию! — заорал первый военный.

— Мотя, прекрати, ошибка вышла. Разберутся...

— Детей сиротами делают! — яростно закричала мать. — Агитация! Решили сирот плодить?!

— Он сиротой не останется, его родина воспитает...

Я подумал: а как это родина меня воспитывать станет? Томск моя родина. Он любим, но отца и мать люблю ещё больше.

— Вот спасибо, удружили! — иронически сказала мать, пошла к шкафу и стала выкидывать оттуда папки с документами:

— Почитайте вот. Служил он в Красной Армии. Грамота, на работе стахановец. Нигде ни одного замечания. Рабочий, не дворянин и капиталист. Кого хватаете?

— Гражданка! Сядьте на тот вон стул и не вставайте, документы мы сами просмотрим, без вас.

И тут один военный поднял меня с кровати, а второй принялся ворошить мою постель.

Я соображал, вспоминал. В одной книжке было написано, что вот так революционеры прятали прокламации в детскую постельку. Но жандарм догадался, взял ребёнка на руки, а другой жандарм эту постель обшарил. Ситуация была та же. Только меня на руки не взяли. Я просто стоял возле кровати, дрожа от холода.

Военные обшаривали нашу квартиру очень долго. Я снова лёг в кровать и неожиданно для себя вновь уснул. Меня разбудила мать:

— Посмотри на отца-то. Попрощайся, может, не увидишь никогда.

Отец поцеловал меня, слезинка выкатилась у него из глаз.

Вышли мы вслед за отцом и военными на кухню, а там, оказывается, стояли соседи, Есманские. Одетые. Видно, давно уже не спали.

Завидев отца, Георгий Фаддеевич с нежно-издевательской интонацией сказал нараспев:

— Вот та-ак, вот та-ак!

— Чего так-то, сволочь? — свирепо спросила мать. — Ты уверен, что завтра за тобой не явятся?

Фаддеевич умолк, в глазах был ужас.

На другой день к нам пришёл домхоз по фамилии Штанев. Он давно набивался в приятели отцу. Он нам эту квартиру на втором этаже и устроил. Матери Штанев раньше всегда целовал руку.

Теперь Штанев обратился к ней официально:

— Гражданка, вы выселяетесь из этой квартиры как семья врага народа.

— А куда ж мы пойдём?

— Меня не касается. Грузчики, приступайте!

Два верзилы в широченных штанах и тяжёлых смазных сапогах принялись хватать наши вещи и таскать, лестница у нас была крутая, в два оборота, спускать тяжести неудобно. Штанев сказал:

— Вышвыривайте прямо в окно!

Верзилы гоготали. Через заборы испуганно смотрели соседи.

Половина вещей поломана, и где ночевать? Конечно, кто-нибудь из родственников на ночлег пустил бы, но нельзя было оставить вещи, растащат ведь всё до последней ложки.

Никто к нам не подходил, никто ничего не спрашивал.

Пригласила нас к себе ночевать Агафья Васильевна Дубинина, она ни одной фразы не могла выговорить без мата, но душа у неё, видать, была добрая.

— Не плачь, Мотья! Давай перетаскаем твоё шмутьё в мой сарай.

Мы ночевали теперь у Дубининых. Мать ночами плакала, тётя Агаша успокаивала. Вскоре мать принялась искать выход из положения. Обошла всех знакомых. Но быстро поняла, что никакие связи, никакие авторитеты помочь не могли.

Я готовился к первому сентября, хотя и не знал, примут ли меня теперь в школу.

Уже холодало, мать с тётей Агашей копали в огороде картошку, когда за оградой раздался крик:

— Алямс-алямсович-алямс!

Кричал отец. Был он острижен наголо и изрядно пьян. А пьяный он всегда «алямс» кричит.

Мы с матерью кинулись его целовать, но он отстранил нас:

— Я вшивый, на мне вшей, как звёзд на небе!

Агаша тут же принялась на плите греть воду, с отца сняли всё до ниточки, и посадили его в тёмном углу сидеть голого. Потом он долго мылся, повторяя:

— На мне вшей, как звёзд на южном небе.

— Вот гады! Вот гады! И тут кровоподтёк, и тут синяк!

— Эх, Мотя! Разве в синяках дело?

Видно было, что не хотел нас расстраивать. Многое он рассказывал, когда уже уходил на фронт, когда чувствовал себя более или менее свободным. А там с него подписку взяли, чтобы молчал.

Он бы, может, не вернулся к нам, но однажды, когда отца вели по коридору на допрос, он встретил начальника, приехавшего из Новосибирска проверять местных чекистов. В начальнике этом отец узнал друга своего детства. Вместе сиротствовали. Тот тоже узнал отца и спросил машинально:

— Николай, ты как тут?

— Тебя бы спросить надо.

— Ладно, я твоё дело посмотрю...

Вот после этого отца и выпустили, взяв подписку о неразглашении. А ему так хотелось рассказать о том, что испытал. Я это чувствовал.

Квартиру нашу ещё никто не занял, мы сами сбили с неё замок, перетаскали вещи, и стали жить как ни в чём не бывало.

До школы осталась неделя, я ходил с отцом на работу.

В мастерской много часов, от самых маленьких до самых больших. Были там такие большие напольные часы, что я в них входил, как в кабину, запираю за собой дверцу. Можно было видеть там и часы-брошку, похожие на маленькую голубую капельку. Часы-музыканты играли «Камаринскую», «Степь да степь кругом». А вот часы-гном. За спиной у гнома мешок, в руке держит часы, качает головой и насвистывает. В часах-фонтане звонок заменяли струйки: сколько времени, столько струек. А однажды в мастерской чинили ипподромные часы с колоколом, на другом конце улицы было слышно.

В очередной раз шли с отцом из мастерской, отцу встретился знакомый, сотрудник газеты. Мы отошли к забору, за которым простирался огромный опустевший огород с кучами привядшей ботвы.

Говорил больше отец, а корреспондент лишь изредка изумлённо восклицал или задавал вопросы.

Мне не терпелось попасть скорей домой. Только и слышалось: «...а он говорит... а я ему отвечаю...». Корреспондент спросил что-то слишком громко. Отец сказал:

— Тише!

— Никого же нет! — сказал газетчик.

— А может, агент в землю закопался, ботвой прикрылся, у них всё возможно!

Я решил поторопить отца:

— Айда домой! Долго говорите, и разговор у вас неинтересный: «Я сказал, он спросил!».

— Неинтересно ему! А отца бы лишился, интересно было бы? — вспыхнул отец.

— Ну, Николаевич, что он ещё понимает? Я о вас как о передовике в нашу газету напишу. Не знаю, пригодится ли вам это, но сделаю обязательно...

Обещание своё этот газетчик сдержал, ничего не побоялся. Встречались и тогда люди!

Однажды мы шли возле Дома Красной Армии, почти два этажа занимал там огромный рисованный маслом плакат. Красивый нарком Ежов сжимает в рукавицах с иглами отвратительных маленьких человечков. На спине у каждого человечка надпись: «Шпион», «Диверсант», «Расхититель».

— Вот это рукавички! — сказал я.

— Чему радуешься? Может, на той вон колючке я сидел, кое-как сорвался...

— Так ты же, папа, не диверсант!

— Нет, конечно, но колючек этих испробовал досыта.

Он мне про историю многих томских домов рассказывал. Про одно здание он говорить не хотел. А однажды сказал загадочно:

— Здесь, сынка, людей мучили.

— Кто мучил? Белые красных? — догадался я.

— Да нет.

— Красные белых?

— Русские русских, потому что дураки! Вырастешь, узнаешь. А может, и нет.

Он замолчал. Мы прошли уже полгорода, когда он неожиданно сказал:

— А всё-таки узнаешь! Не может так быть, чтобы не узнал!

Эти его слова и его чувства я понял точно много лет спустя, когда уж его и на свете не стало.

Той осенью я был весь поглощён моим первым учебным годом. И вдруг оказалось, что директор нашей четвёртой школы оказался шпионом, пытался школу поджечь.

— Не верю, — сказала мать, — он всё лето её белил-красил, сам за сторожа там ночевал. Зачем ему было поджигать?

Однажды пришёл отец и говорит:

— Лектора Ермолаева посадили.

Этого лектора знал весь город. Он был командиром. Потерял обе руки. Вернулся в Томск и стал лектором.

Выступал он в командирской гимнастёрке, в галифе и хромовых сапогах. К обеим култышкам рук ему привязывали заранее по указке.

В те вечера, когда лекцию в Доме Красной Армии читал Ермолаев, там яблоку было негде упасть. Он говорил красочно, приводил интересные, убедительные примеры, очень хорошо знал карту мира.

Мать сказала:

— Как мог навредить безрукий?

Есманский предположил:

— Знал слишком много!

А в нашей комнате по выходным патефон вовсю наяривал патриотические песни: «Мы поём о своём изобилии», «Два сокола ясных»...

Мне больше нравилось «У самовара я и моя Маша», но отец сломал эту пластинку, сказав, что песня эта признана упадочной.

Теперь на праздники приходили к нам только родственники. Да и то все сидели как на иголках, никто не пел, не шутил.

Когда мы с отцом шли тропинкой возле Ушайки, он вполголоса говорил:

— Меня могут опять забрать, и уже насовсем. Борька, ты учишься только на «отлично», понял? Они ведь и членов семей не щадят..

Потом в отчаянье махал рукой:

— Нет, вижу, что не осознать тебе!

Поскольку мебель наша была изрядно переломана грузчиками, мать просматривала объявления, выписала адрес. Там дешёво продаются по случаю плательный шкаф, стулья и другие домашние вещи.

В воскресенье отправились по адресу. Старинный двухэтажный дом вблизи Белого озера. Отперла нам грустная женщина. В квартире была ещё девочка с длинными тёмными косами.

Мебель матери не понравилась, расцветка или что-то её не устроило.

Женщина предложила купить светильник в виде совы. Мать остановилась в нерешительности. Я спросил:

— Можно посмотреть, как он светит?

Женщина воткнула штепсель в розетку, и зелёные глаза совы засияли. Я представлял, как будут удивляться знакомые пацаны.

— Купите, купите, купите сову! — стал я просить родителей.

Девочка зарыдала:

— Память о папе!

Женщина жёстко сказала:

— С голода нам подыхать с этой совой? — И пояснила нам:

— Отца арестовали. Военный, ни в чём не виноват, а вот..

Надо всё продать и уехать. Меня на работу нигде не берут..

Девочка продолжала плакать. Отец сказал:

— Возьмите деньги, а сову не надо, раз память. И вообще..

— Женщина отдёргнула руку от денег, гордо подняла голову:

— Подачек мы не берём!

— Что вы? Я сам там был... сидел..

Женщина смерила его взглядом:

— Да? Вы там были? А сейчас вы почему здесь?

— Что же мне, по-вашему, теперь надо идти обратно, самому садиться?

Мать дёрнула отца за руку:

— Идём, тебя оскорбляют!

Я понял, что совы у меня не будет, а мне её просто ужасно хотелось иметь, и я занял:

— Я сову-у хочу!

И тут мать дала мне такую затрещину, что у меня сразу отпало желание иметь сову..

В 1941 году, когда началась война, друзья-приятели решили устроить отца в артиллерийское училище отремонтировать оптику. Специалистов не хватало. Дали бы бронь.

Отец сам побежал в военкомат, попросил отправить на фронт. Он всё ещё помнил страшный подвал, боялся, что возвратят туда, хотел быть от него подальше. Там людей набивали в конурки так, что можно было только стоять. Бросали в камеры шкуру, всю завшивленную, чтобы людям стало ещё тошнее.

Отец погиб зимой сорок первого на Ленинградском направлении, неизвестно где. Ни могилки, ни места, куда можно было бы приехать.

Таковы фантазмагорические будни нашей жизни. Здесь не поклоняются праху предков, человек превращается в дым, в туман. Здесь убивают друг друга якобы во имя высоких идей, а на деле — из эгоизма.

Как я узнал после, в том подвале выколачивали из отца признание, что он являлся казначеем белогвардейской организации. Что-то более нелепое трудно и придумать.

Хожу по городу и удивляюсь. Как это всё странно! Дома стоят те же, тропа, по которой ходил с отцом и матерью, та же. Их нет. А тропа есть. Дома есть.

Может, в каком-то из домов сохранилась и наша мебель? Наверно. В сарае у знакомого я обнаружил свою детскую кроватку. Валялась среди прочего древесного хлама. Я даже её не узнал. А знакомый сказал:

— Твоя родная.

Самодельная деревянная кроватка! Из неё меня, ребёнка, поднимали ночью люди в форме пограничников. Стучали, надрываясь, сердца матери и отца.

Была трагедия. Но всё прошло, а кроватка осталась.

Иероглиф Фу

Ван Дзину было десять лет, когда он совершил путешествие из Улан-Удэ в Томск.

До этого он жил с отцом и матерью в одной из фанз китайского старшины на самой окраине города. Мать и отец прислуживали старшине Янь Ченю. Мать трясла циновки, а отец делал пампушки маньтоу, пельмени дзяо дзы и лапшу для старшины и его гостей. Ван Дзин вместе с другими мальчиками и девочками день-деньской мыл бутылки для ханшина.

Но мать умерла, а потом уехал во Владивосток на базар и не вернулся отец. От старшины, в лицо которого нельзя было

смотреть, как на солнце, пришёл Вэй Го и сказал, что отец не вернётся, и нужно ехать в Томск.

Ван Дзина поразили вокзалы с огромным скопищем людей, таскавших туда-сюда узлы и сундуки. Наибольшее удивление вызвали у него имевшиеся при вокзалах специальные дома. В полу там были пробиты ряды дыр, и каждый мог войти в такой дом и справить там нужду в одну из дыр. Каждый такой дом был больше самой большой фанзы старшины, и Ван Дзин подумал, что в подобном доме можно было разместить несколько китайских семей, только заткнуть в полу дыры да разложить на полу маты и циновки. Вэй Го посмеялся над ним.

Ехали они в телячьем вагоне на нарах, но Ван Дзину это казалось верхом роскоши. Почти на каждой остановке они бегом бежали в дом с дырами, и Вэй Го незаметно прятал в какую-либо щёлку клочки папиросной бумаги и ставил красным карандашиком возле этого места на стене иероглиф воды.

— Не твоего ума дело! — отвечал он на расспросы Ван Дзина, но пояснил всё же не без самодовольства, что он — уполномоченный китайской почты. Любой китаец, увидев знак, проверит почту, и если знает кого-то из адресатов, доставит письмо.

В Томске на окраине города они нашли тюрьму, и долго стояли возле тюремной конторы, кланяясь на всякий случай каждому входящему и выходящему.

Наконец вышел Го Хань. Он одет был так же, как они: в синие куртку и брюки, но на ногах у него были не тапочки, а ботинки! Как, должно быть, неудобно в них ходить!

Го Хань отвёл их в посёлок возле красных казарм. Здесь китайцы жили в просторных полуземлянках, располагавшихся таким образом, что образовался посреди них обширный двор. Дымились в этом дворе жаровни, сохло на верёвках бельё, работали парикмахеры, поставив под тополя стулья с прикрепленными к ним зонтами.

Здесь был свой старшина. Официально он числился заведующим мастерской по ремонту зонтов, на самом же деле торговал опиумом. Две землянки в этом посёлке были курильнями.

Го Хань, работавший в тюрьме рассыльным, сказал Ван Дзину:

— Никогда не посещай курильню, мой мальчик, не пей ханшин и не играй в карты. Был случай, когда в этом дворе двое проиграли всё и стали играть на жизнь. И оба проиграли. И перекинули они верёвку с двумя петлями через то вон дерево. Надели они петли на шею, и стали тянуть — кто кого перетянет, кто первый умрёт...

Твой отец был поваром. Достойное дело! Я помогу тебе устроиться посудомойщиком в русскую столовую, а ты старайся и приглядывайся к тому, что и как делают русские повара.

Вэй Го остался помогать старшине в его делах, а Ван Дзин уже на другой день мыл посуду в столовой.

Через десять лет Ван Дзин уже был поваром в рабочей столовой. Его соотечественники сапожничали, портняжничали. Иные собирали утиль по дворам, и с раннего утра было слышно в разных концах города:

— Тяпка, лесина, гальёша!

Другим посчастливилось устроиться заведовать ларьками утильсырья или открыть мастерскую зонтов. Много было китайцев — чистильщиков обуви.

Третьи с зари и до зари гнулись над грядками своих теплиц. Именно у них томичи учились выращивать ранние овощи. Но вырастить так рано такую ровную сочную редиску, какую выращивали китайцы, не удавалось никому. А ещё китайцы выращивали ранние укроп, петрушку, лук. Бывало, снег ещё не стает, а уж по базару несётся крик:

— Ледиза! Ледиза!

Были среди китайцев удивительные мастера по изготовлению ширм. Китайцы продавали на базаре надувные шары с намалёванными на них смешными рожицами. Стоило нажать такой шар, как он истошно вопил: «Уйди! Уйди!». То-то радости было малышне.

А один таинственный китайский старик в летний праздник устроил в городском саду фейерверк в виде дракона. В темноте майской ночи бабахало, трахало, дракон распускал свой феерический хвост.

Вмешалась милиция. Впредь фейерверки в Томске устраивать было запрещено, во избежание пожаров и с тем, чтобы не пугались лошади и собаки.

Ван Дзин никому не завидовал, даже китайскому старшине. Он получал твёрдый оклад, но ни копейки не тратил на питание. Он был членом профсоюза, в столовой его называли уважительно Иваном Семёновичем, ему были подчинены посудомойщицы, раздатчицы, младшие повара, уборщицы.

И жил он не в полуземлянке, а имел комнатку в настоящем каменном доме на Обрубке. Фарфор на полочке, литографии: боги и герои вальжничают на фоне разлапистых сосен. Висел на цепочке фонарь из цветной бумаги с деревянным донцем, на котором укреплялась короткая красная свеча. Над входом висели длинные полоски красной бумаги с иероглифом «Фу», обозначающим счастье.

Тревожили лишь думы об отце. Он спрашивал всех, кто приезжал навестить Вэй Го.

Пошёл к нему в очередной раз. Тот принял Ван Дзина в своей землянке, лёжа.

Вэй Го смотрел на большой термос, на котором были изображены танцующие журавли, и молчал. Он был теперь богат. Он собирал деньги с курильщиков опиума, он отвечал за посев и охрану конопли на обширных пустырях возле Ушайки, возле казарм и за Аптекарьским мостом, везде, где проживали китайцы. Но, на беду, Вэй Го сам пристрастился к курению опиума, и теперь сильно болел. Наконец он обратил внимание на гостя, и, поманив его пальцем поближе, сказал:

— Ты уже взрослый мужчина. Старшина Ян Чень приставал к твоей матери, и она отравилась. Отец хотел донести русской полиции. Община хранит свои тайны. Не хмурься. Твой отец умер легко. Его напоили тёплым ханшином и положили в яму вверх лицом. Только начали засыпать землёй, он и отдал богу душу. Теперь он где-нибудь на полянке скачет зелёным кузнечиком или кружит коршуном высоко в небе... Не сверкай так глазами! Что тебе душить меня? Я и так скоро умру. Как сказал поэт Ли Бо: «В облаке вижу я платье твоё...». Хорошо сказано. Подумай об этом... А отец твой перед смертью почти не мучился. Ведь иногда у нас зарывают преступника в срубе из дерева, он сам отравляет свой воздух, и умирает очень-очень медленно. Это гораздо хуже...

Ван Дзин сшил в ателье настоящий европейский костюм-тройку и женился на посудомойщице Дарье Васильевне, скромной девушке, родители которой скончались от тифа.

Жизнь семейного повара пошла ещё лучше. Ведь это же большое дело — семейный очаг! Русская жена как бы привязывала Ивана Семёновича к земле России навсегда. Сначала у них родилась дочь Надежда, а потом — Евдокия. Ван Дзины получили более просторную квартиру, обставлялись.

Потом пришло время, когда в городе стали арестовывать людей. Любая нерусская фамилия вызывала двойное подозрение. Но Ван Дзин был добросовестный человек, член профсоюза. Когда вечером в его квартиру вошли двое в форме, он подумал, что это какая-то ошибка.

На допросе он объяснял молодому военному всю нелепость обвинений, но тот приказал ему молчать. В котле со щами нашли посудное полотенце. Доказать, что оно заражено бактериями, — дважды два — четыре. Ван Дзин, конечно, самый настоящий китайский диверсант!

Ван ночью думал в камере: как могло попасть в суп посудное полотенце? Да, была у него помощница, сварливая женщина. Он всегда своим помощникам говорил:

— Здесь кушайте сколько хотите, но не надо класть в сумки. Рабочий должен есть наваристый суп.

О! Такие слова не всем нравились. А эта жадная женщина возненавидела его. Как всё это объяснить следователю? Должна же быть справедливость? Какой Ван Дзин — китаец? У него даже жена русская.

На одном из последних допросов военный ему сказал:

— Молчал бы ты, ходя, да подписывал бы всё побыстрее. Тут русских ставят к стенке почём зря.

* * *

В избушку, где жили Фёкла Касьяновна и Аполлон Северьянович, я заходил часто. Северьянович иногда позволял мне полистать переплетённые им самолично и окрашенные по обложкам тома журналов «Нива» и «Север». Обложки он выпилил из фанеры. Всё было солидно, прочно, а главное — в журналах было много удивительных иллюстраций, они как бы раздвигали избушку до границ всего мира!

Северьянович был белильщиком. Утром он уходил на работу, положив на плечо палки с привязанными к ним под углом кистями. В другой руке он держал ведро с известью.

Приветствуя соседей, ставил ведро на землю и поднимал руку ко лбу. Привычка эта осталась у него с крепостных времён, когда он сдёргивал перед бариним картуз. Барин же дал ему имя бога красоты, хотя Северьяныч имел нос картошкой и был рябым.

Он очень сочувствовал всем униженным и обездоленным, потому и приютил в своей конурке за флигелем бездомную семью Ван Дзинов.

Дарья Васильевна, синеглазая, с лучиками преждевременных морщин у глаз, горбилась весь день, сидя за швейной машинкой. В избушке Северьяновича было темновато, зрение у портнихи быстро портилось, но надо было кормить двоих дочерей. Надежда и Евдокия были похожи на татарочек, но по метрикам были записаны китаянками. Евдокия была чуть старше меня, а Надежда лет на пять опережала.

Надежда подрастала, мечтая о том, как будет вступать в пионеры. Её сделают барабанщицей, ведь она умеет выбивать разные ритмы на барабанчике, который купила ей заботливая мама.

В пионеры Надежду не приняли, как позднее не приняли и в комсомол.

В те годы граммофоны и патефоны во многих квартирах наяривали песню:

Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор...

Тогда в газетах помещали портреты лётчиков. За Томью с травяного аэродрома иногда взлетали маленькие самолёты. Если случалось самолёту пролететь над городом, восторгу жителей не было конца. А в День авиации, 18 августа, самолёт обязательно кружил над Томском, сбрасывая листовки с приглашением на праздник. За рекой устраивали катание на самолётах всех желающих.

В городе на стадионах парашютные вышки приглашали каждого томича совершить свой прыжок.

Надежда пошла записываться в аэроклуб, спортивный дядька вернул ей документы со словами:

— Как же мы вас в аэроклуб запишем? Вы летать научитесь, да и угоните самолёт в Китай.

Невежливая Надежда сказала:

— Твою мать! Я ещё того самолёта не видела, а ты меня в Китай посылаешь. Смотри сам не улети куда-нибудь. А мне и здесь хорошо, я здесь родилась!

Младшая сестра её, Евдокия, примерила все Надеждины мытарства на себя, и росла суровой, нелюдистой. Она иногда играла со мной, но смотрела всё-таки искоса, похоже было, что не совсем доверяла, в любой шутке ей мерещился подвох.

Прошло много лет, я уезжал из Томска, возвращался. В нашей усадьбе жили иные люди. Избушка за флигелем развалилась от старости, истлела.

Китайцы как-то исчезли из Томска все до одного. Говорят, те, кого не успели упрятать в тюрьму, поспешили уехать в Среднюю Азию, где они не так выделялись бы среди остального населения. Нынче о том, что Томске когда-то жили китайцы, напоминают лишь остатки выродившейся конопки за Аптекарским мостом и на Заливной.

Встретил я как-то в городе Евдокию. У неё куча детей и внуков. Некоторые из них русые, славянолицы, у иных в глазах проглядывает раскосинка.

Евдокия пошла по стопам отца и стала поварихой. Между прочим, сначала тоже долго работала простой судомойкой. Вот она, преемственность! Надежда была портнихой, недавно вышла на пенсию, и теперь продаёт георгины на Дзержинке. И у неё есть потомки.

Возможно, именно в потомках наше счастье. Видимо, об этом возвещал иероглиф «Фу», начертанный на полоске красной бумаги.

Пепел Ивана

Каждую весну напротив нашего дома грохотала вода в канаве, падая с многочисленных уступов маленькими ниагарами.

Шум воды, вешняя грязь на дороге звали бежать куда-то, кричать.

Мусор валили в канаву. Постепенно напор воды в канаве ослабевал, она подсыхала, и мы находили на дне принесённые ею ценные предметы. Были там обломки пупсов, жестяные баночки от крема, копейки. Последние нам были очень кстати, ибо мы на подсыхающей глине утапывали площадки для игры в чику.

Вода в эти дни шла в Ушайке поверх льда, только кое-где торчали горбы навозных куч. Теперь с нашей Тверской на Петровскую улицу не перейти.

Дюдя и Гаврош укладывали на навозные холмики свои доски, выстраивая переход до противоположного берега. К переходу подходит тётка, доску ногой пробует, и всё повторяет:

— Восподи, страх-то какой!

И вдруг она быстро сиганула по доскам. Гаврош стоял на противоположном берегу, а на нашем берегу, на предпоследней куче, тётку встретил Дюдя:

— Пятак давай!

И сдёрнул крайнюю доску к себе, на берег, тётка едва в воду не свалилась, кое-как назад попятилась.

Потом на том берегу возник здоровенный чалдон. По его решительному виду было ясно, что платить он не будет и обратно поворачивать — тоже. Он оттолкнул Гавроша, побежал дальше.

— Пятак уходит! — засигналил Гаврош старшему. Тот сдёрнул крайнюю доску.

Почти добежавший до противоположного берега дядька встал перед потоком, в котором крутилась прошлогодняя солома, повернул обратно, а Гаврош тем временем убрал доски на своём берегу. Бородач оказался отрезанным с обеих сторон. Пометался он, и — делать нечего — кинул пятак.

А потом к переправе с той стороны подошёл мой дядя. Его ещё не знали, ведь дядя Петя только что прибыл из дальних странствий.

— Гони, мужик, пятака! — крикнул Дюдя.

— Я тебе не мужик, а Петя Козырь, — ответил дядя, кинулся к доске и вцепился в неё. Дюдя тянул её к себе, перебирая руками.

Дядя добрался до противника, они схватились по пояс в ледяной воде. Течение сносило их к промоине, они молотили

друг друга и ничего не замечали. Дядя успел окунуть Дюдю раз пять раз с головой. Внезапно дядя дико взвизгнул. Выпустил Дюдю и, где вплавь, где вприпрыжку, направился к берегу. Палец у дяди сильно кровил.

Дома мать сказала, чтобы дядя прижѐг палец одеколоном, но он сказал, что лучше примет одеколон внутрь, чтобы весь организм продезинфицировался.

Дядя редко бывал дома, говорят, что он играл на Черемошниках в карты, и имел две клички: Козырь и Петька Цыган.

Во Владивостоке он был ночным пловцом, доставлявшим брошенные в море с иностранных кораблей банки со спиртом. На пловце даже трусов не было, только пояс, к которому он цеплял банки.

На Тверской весь женский пол от шестнадцати до сорока лет был очарован моим дядей.

Фигура его была подтянутая, тугая, пружинистая. Дяде в пору приходились все старые отцовские костюмы. Дядя гордился своим загаром и умел шевелить кадыком. Ещё он любил повторять загадочную фразу о том, что «пепел Ивана стучит в его сердце».

Гораздо понятнее мне было сообщение дяди о том, что он женится на вдове охотника.

Вскоре сыграли свадьбу. Новая моя тѐтушка жила на улице Кирпичной в доме с мезонином. Раньше я мезонины видел только снаружи, а внутри не бывал.

К потолку с первого этажа вела винтовая железная лестница, в потолке была дыра с крышкой, как у подполья.

Открываете люк, залазите в мезонин, закрываетесь на задвижку — и никто туда не попадѐт.

Первый муж у Евдокии был охотником, он умел делать очень хорошие чучела. Вцепившись когтями в толстые кедровые ветки, сидели коршуны, совы, все — как живые.

Были там чучела глухаря, тетеревов, рябчиков, зайцев, лисиц. На стенах развешаны ружья, манки, рожки. На полу были расстелены шкуры. Чучело медведя раскинуло лапы, словно для объятий.

Дядя Петя дѐрнул медведя за хвост:

— Охотник, поди, весь этот хлам на толкучке скупал!

Евдокия приложила платочек к глазам.

Мне больше всего понравилась вешалка в прихожей: огромные олени рога. Дядя Петя сказал:

— Такие рога она первому мужу делала.

Я стал просить тѐтю Евдокию, чтобы она нам тоже сделала рога, хотя бы и не такие ветвистые, попроще. Но мать дѐрнула меня за ухо, а дяде сказала:

— Ты, братец, если женился, так живи как человек!

Понимал я, что дядя Петя с тётей Евдокией немножко ссорятся, но я считал — зачем привередничать? В доме столько всего!

Раз мы к дяде в гости пришли, а он на крыше сидит, голый совсем, лишь газетой прикрывается. Хорошо, что газета была центральная, большая. Он нам кричит:

— Лестницу где-нибудь найдите поскорее!

Мать отвечает:

— Вот странное дело, мы тут ни с кем не знакомы, у кого мы её будем просить? Вылезь из мезонина через люк.

— Умница! — похвалил её дядя Петя. — Давно бы вылез. Она стреляет! Второй день в мезонине сижу, маковой росинки во рту не было.

Отец с матерью хотели в дом зайти, узнать, в чём дело. Дверь открыли, а Евдокия на табурете в кухне сидит, двуствольное английское ружьё на дядю наставила.

— Убирайтесь! Вам не удастся выручить этого проходимца!

— Я так и знала, что с этим прохвостом в какую-нибудь историю влипнешь! — рассердилась мама. — И эта шизофреничка тоже хороша!

Я стал спрашивать, что такое шизофреничка, но мать как клещами вцепилась в мою руку, потянула.

Увидев наш отход, дядя заорал:

— Эй, куда?! Лестницу мне!

Отец обратился к соседям, сказали, что лестницу дать никак не могут, мол, дядя Петя Евдокии что-то должен и пусть она сама с ним разбирается.

Потом отец нашёл где-то жердь и приставил её к мезонину, дядя по этой дубине и спустился. Евдокия выскочила на крыльцо, да сразу из двух жажнула.

Мы бросились бежать. Вскоре нас нагнали отец с дядей Петей. Мать посмотрела назад:

— Фу, срамец! Коля дай ему пиджак, наготу прикрыть.

Дядя сделал что-то вроде фартука, и мы побежали дальше. Мать всё поторапливала, мол, не дай бог, Евдокия догонит. Дядя Петя успокаивал её:

— Не догонит. Пока она ружьё перезарядит, мы знаешь где будем!

Мать сердилась:

— Молчал бы. Рискуй из-за тебя жизнью.

Дома был скандал.

Целыми днями мой красивый дядя валялся на полу, на половике, заложив руки за голову, то спал, а то размышлял о чём-то.

Однажды он пришёл пьяный и сказал, что выиграл на Черемошке много денег, вот отдадут ему долг, и будет он давать

нам на еду. Мать обрадовалась: теперь перестанет отцовский костюм трепать, да и туфли тоже. Туфель не жалко, но в центре гравий насыпан, мостовые шершавые, подошвы как на огне горят.

Прошло две недели, а дядя костюмов не покупает, на продукты ни копейки не даёт и вообще про деньги молчит. Мать его спрашивает:

— Тебе деньги отдали?

— Мелких нет, разменять нечем.

И отцовы туфли из шкафа достал. Мать в них вцепилась:

— Свои надо иметь!

Поняв, что в этот раз она может туфли не дать, дядя назвал её заграничным именем Мэри и попросил подождать — скоро за всё рассчитается.

Он вышел, а мать — за ним следом. Я из калитки смотрел, как она его выслеживала. Несколько шагов сделает, к стене прижмётся, за столбом постоит — и дальше.

Мать думала, что дядя Петя отправился в ресторан выигрывать пропивать, а он пошёл в Испр.

В этом доме беспризорники и правонарушители живут. Оказывается, он там несколько раз выступал с фокусами, и познакомился не только со всеми воспитанниками, но и с директором.

Вошёл он в ворота, мать — за дерево, и наблюдает. У главного входа стояло что-то, накрытое белым покрывалом, а вокруг стояли дети и взрослые. Дядя Петя взошёл на верхнюю ступеньку крыльца вместе с директором и художником Пинегиным.

Директор сказал, что ихнему коллективу Пётр Иванович Карунин дарит бюст знаменитого писателя Дюма, а изготовил этот бюст по заказу товарища Карунина известнейший художник.

Дядя добавил:

— Дети! Знайте, что это бюст писателя Дюма-отца.

Потом он спросил художника:

— Витя, это, правда, отец? А то мне сына даром не надо, я отца заказывал...

Вечером мать устроила дяде головомойку. Деньгами швыряется, а носит чужие костюмы.

Дядя нахмурился:

— У меня теперь кризис. А бывало, я деньги нищим в форточку пачками кидал.

— Вот и привёз бы нам пачечку, а то на дармовщину питаешься...

— Когда я от вас уйду, вы вспомните меня с нежностью!

И он действительно скоро опять от нас ушёл.

Познакомился он в ресторане номер один, который потом стал называться рестораном «Север», с официанткой. Естественно, что ресторан этот был самым лучшим в городе, а Эльвира Танкалевич была лучшей официанткой «Севера».

Муж, командир, погиб на войне с белофиннами. И Эльвира на мужчин даже смотреть не хотела. Дядя Петя стал присаживаться в ресторане только за её столик. Он перед ней притворялся немым. Покажет на пальцах: принесите то-то. И всё.

Такой грустный делается, хоть плачь и рыдай вместе с ним.

Она суёт руку в кармашек накрахмаленного фартучка, дядя придерживает её руку, дескать, никакой сдачи не надо, за кого вы меня принимаете? Потупив взор, раскланивается, загорелая шея, лицо торжественно-печальное.

Через десять дней он написал на салфетке — дескать, попросил бы разрешения проводить Танкалевич, да стесняется, вдруг ей с инвалидом идти будет неприятно.

Стали они дружить: дядя ей на салфетках о любви пишет, на пальцах кое-что показывает. Вскоре он у неё и поселился, и ещё с неделю немного изображал.

А однажды утром как закричал:

— Вставай, лентяйка! Хватит клопов давить! Готовь мужу завтрак!

Танкалевич чуть сама не онемела, обморок у неё получился. Потом рассказывала и хохотала, вот, мол, какой Петя у меня шутник!

А он в ресторане сидит, двойные бифштексы и тройные ромштексы кушает и коньяком с шампанским запивает. Играл он там на бильярде, выигрывал, или с криком «Неправильно!» лез в драку.

А однажды решил кием вместо шара партнёра в лузу забить.

Милиция перекрыла все выходы из ресторана, дядю везде искали и не нашли, хотя знали, что из ресторана он не выходил.

А дядя в это время лежал в холле на мягком диване, а на нём сидели четыре самых толстых работницы кухни. Отдыхали вроде бы, папиросы курили.

В холле статуя медведя стоит, вытягивает он вперёд лапы с подносом, а на подносе графин и рюмочки. Думали, что дядя в медвежью шкуру залез, один даже ткнул медведя наганом в живот.

А женщины вдавили моего бедного дядю в диванное нутро. Дядя после так выразился:

— Женственно-мягкий диван!

Вскоре дядя заявил официантке своей, что в целях конспирации он надолго исчезнет из города, а куда поедет и на какой срок, не сказал.

Танкалевич просила наших разузнать о нём, но он как в воду канул.

В один морозный день постучал к нам в дверь чалдон в огромном тулупе, в собачьих верхонках, и спросил:

— Матрёна Ивановна не здесь ли проживает?

Дверь как раз мать открывала, она и сказала — да, мол, это я и есть.

— Здравствуй, сватьяшка милая! Привет тебе от Петечки и от Клани.

С этими словами начал он таскать по лестнице в наши сени мешки и бидоны.

Матери всё это не понравилось, но не могла же она на ночь глядя выгнать человека, возможно, и переночевать негде.

Напоила она дяди-Петинового тестя чаем, уложила спать. Утром она всё же сказала, что подарков не возьмёт. Братца она знает. Чалдон всё же оставил мёд и окорока, он сказал на прощание:

— Буду я всё взад-вперёд возить.

Он и вида не подал, что расстроен. Сказал он ещё, что распродаст мясо на базаре и купит зятю новый костюм. Зять Петечка зоотехник, как без костюма?

— Ага, — сказала мать, — он зоотехник по бильярду.

— Как оно там по-учёному, мы не знаем, — ответил чалдон, — но Петя говорил, что в Нарыме будет начальником...

Потом прибыл ещё посланец далёкой нарымской деревни. Он тоже спросил мою маму и передал ей письмо от дяди Пети.

В письме было много непонятного. Дядя Петя сообщал, что живёт там, где были в ссылке другие великие люди. Теперь дядя решил уехать на юг. Он просил не вспоминать его лихом, если с ним что-либо случится.

Мать ожидала различных неприятностей: могли нагрязнать с претензиями новые родственники из Нарыма. Но дни шли, а никаких следов пребывания дяди на севере не было.

Только через три месяца появился дядя в Томске, ещё более загорелый, чем был, в узбекском халате, вышитой тубетейке и в мягких красных сапогах. Он ходил в этом наряде по проспекту и шокировал томичей, особенно томичек.

Дома дядя рассказал, сколько пришлось ему пережить в южных странах. Его там никто не встречал, более того, милиция через сутки деликатно намекнула ему, чтобы он по-хорошему удалился с ташкентского вокзала.

Даже в Ташкенте тогда было прохладно, а дядя ночевал где придётся: на скамейках в скверах, а то и просто под заборами. Деньги у него кончились. Питался он гнилым компотом, который ему подарил один узбек.

У дяди началась дизентерия, и его положили в инфекционную больницу. Там его мучили уколами. Зато в этой больнице познакомился он с женой директора ипподрома. Он рассказал ей жалобную историю о том, что в далёкой Сибири вся его семья погибла во время наводнения.

Мария Ивановна прониклась сочувствием к красивому бедному юноше.

Директор ипподрома был узбеком, и звали его Икрамом Курбановичем. Он устроил дядю конюхом, так как дядя Петя, конечно, не скрыл, что является потомком донских казаков.

Ипподромные конюхи сразу заметили, что дядя с трудом представляет, с какой стороны следует подходить к скаковой лошади.

Насмешки эти он пережил бы, но случилось несчастье. Однажды директор застал Петра Ивановича в постели с Марией Ивановной.

Изгнанный из директорского дома, дядя стал в цирке ухаживать за верблюдами. Работа эта была не из лёгких. Горбатые привередники иногда лягали и оплёвывали его. Циркачи узнали, что он хочет возвратиться в Сибирь, в город Томск, и дали ему поручение: подготовить гастрологи узбекского цирка в этом городе. Он расклеивал афиши и был сам великолепной рекламой.

Он подарил отцу шёлковую настоящую чалму. Отец, когда напивался, наматывал эту чалму на голову, садился в углу, согнув ноги калачом, и пытался петь узбекские песни.

Дядя Петя рассказывал, что одна гимнастка-узбечка влюблена в него. Он сам хотел раз пройти по канату, но с непривычки свалился. Но вот приедет узбекский цирк, тогда уж дядя своё возьмёт, мы ещё увидим его фамилию в афишах!

Однажды, когда дяди не было дома, к нам пришла необычайно курносая тётка.

— Здесь живёт Пётр Иванович Карунин?

Мать почуяла недоброе и ответила, что он здесь не живёт.

Женщина сдёрнула с вешалки подаренную дядей Петей шаль и завопила:

— Халда! Аферистка! Не живёт! А у самой на вешалке моя шаль висит!

Это была жена директора. Мать тут же отдала ей шаль и чалму в придачу, вытолкала в шею.

— Одними шаями не отделаетесь! — кричала на крыльце южанка Мария Ивановна. — Он у меня семь узлов навязал!..

После милиционеры сделали у нас обыск, но, видимо, остальные узлы оставил он в другом месте.

Мария Ивановна уехала обратно в Ташкент, никто нас больше не беспокоил.

Когда Пётр Иванович пришёл домой, мать обозвала его бандитом. Сказала, чтоб не смел больше у нас появляться, рассказала о визите южанки.

Дядя ничуть не смутился:

— Какие узлы? Ведь у узбеков одни ковры, куда я с ними? Больно надо таскаться! И вообще я не вор, а артист... пусть в душе, но артист.

— Вот иди и выступай где-нибудь в другом месте, — сказала мать, — а у нас ты ни одного дня больше жить не будешь.

Дядя сказал, что его с радостью пустит любой нормальный человек. И удалился.

С тех пор он заходил к нам лишь изредка. Но свои короткие визиты использовал максимально.

Он одновременно дружил с тремя нашими соседками: Леночкой Зиновьевой, Ритой Потапочкиной и Надей Ван Дзин. Они как-то делили его между собой.

Этому удивлялись соседи и мои родители, а я думал, что это вполне естественно, я тоже дружил одновременно с четырьмя девочками, нам было весело вместе.

Таисия Есманская, хотя и была молодой для дяди, всё же строила ему глазки. Спросил об этом Таисию, и она сказала возмущённо:

— Больно он мне нужен!

Я подумал, что и она дяде абсолютно не нужна. Подслеповатая, в очках, тощая, костлявая, вечно она сидела за столом с чертежами. Однажды Никитична поманила меня пальцем на кухню и шепнула:

— Хочешь, фокус покажу?

Я обрадовался. Правда, от Никитичны сильно пахло спиртным, но это как раз и убедило меня в том, что Никитична сегодня добрая, хочет со мной поиграть.

Никитична взяла буханку хлеба и нож:

— Обычно хлеб отрезают вот так? Да? А я твоего дядю буду резать вот так! — Она с силой вонзила нож в булку. — И вот так!..

Я плохо спал той ночью, мне снился нехороший фокус соседки. Я чувствовал: что-то за этим кроется. Но что?

Я уж стал забывать инцидент, но явился к нам в гости дядя, и на кухне его встретил Есманский с финкой в руке:

— Убью мазурика!

— Закрой рот, а то пыль на пищевод садится! — ответил дядя, и ловко выбил из рук его финку, подобрал её, и сказал, что может зарезать Фаддеевича его же финкой.

— Меня понесут, как пролетария, — сказал Есманский, — а тебя заруют, как собаку.

— Я люмпен-пролетарий, и, соответственно, будет эскорт! — сообщил дядя.

Это почему-то соседа успокоило, и он ушёл.

В следующей выходной дядя вновь пришёл к нам, а отца с матерью не было, в кино ушли.

— Ладно, — сказал он, — полежу тут на коврике, вздремну, чтоб жирок завязался.

Я сидел за столом и раскрашивал акварелью картинку в книжке. На цыпочках в комнату бесшумно вошла Таисия, в руке она держала пузырёк. Посмотрев на меня, она приложила палец к губам, потом шепнула:

— Тихо! Сейчас мы над дядей подшутим!

Она подкралась к мирно посапывающему дяде, тронула его ногой:

— Петя!

Дядя приоткрыл глаза, и она плеснула из флакона.

Он взревел:

— Глаза выжгла, где она, сука!

Настиг он её лишь на лестнице, дал пощёчину, но больше бить не стал, а побежал к умывальнику. Таисия пыталась отравиться, но выпила лишь глоток сильно разведённого уксуса.

После этих событий дядя не хотел встречаться с Есманскими. Он влезал на крышку сарая, а с неё — в наше окно. Ещё на крыше он снимал туфли, прыгал в комнату и стоял элегантный такой, с туфлями в руках.

Мать его называла Альфонсом.

— Есть писатель такой, Альфонс Доде, если ты сравниваешь меня с ним, то мне это лестно.

— Наступит старость, тогда горько пожалеешь обо всём. Приносишь людям горе!

Мне старость не грозит. Какие тут блатяки живут, а все передо мной шляпы снимают. Дюдя... головорез, а посмотрю ему в переносицу — взгляда не выдерживает. Передо мной воры в законе дрожат. И я интеллигент. Кандидаты наук мне в рот смотрят, когда я развиваю космогонические идеи.

— Да, очень умный! — язвительно прервала его мать. — Вот только сам себя не прокормишь.

— Мне это не надо. Ты посмотри, скольких кормит твой муж. Финагенты, заведующие, директора. А выше? Целая пирамида! Я не хочу никого кормить! Они надо мной не потому, что умнее, а потому, что подлее. Всё, что отец нажил, прахом пошло. Я бы, может, теперь уж профессором был. А пепел отца стучит в моё сердце. Что? Мог бы и теперь учиться? Ага! Это ты можешь учиться, фамилию сменила. А я жил бы на месте, так меня, может, давно бы упрятали. Вот и мечусь от Владивостока до Ташкента.

— Да уж ты всегда оправдание найдёшь.

А вечером того же дня в подвале нашего дома у Зиновьевых была гулянка.

Зиновьевы жили бедно, хотя глава семьи был завхозом. Жена его была уборщицей, а дома держали на кухне кур и боровка откармливали.

Я играл с их младшей дочкой, Веркой, а Лена Зиновьева и дядя Петя встречали гостей.

Первой явилась Маргарита Потапочкина. Было на что посмотреть. У неё брюки были сделаны в виде платья. И веер на цепочке с пояса свисает. Брат её Жоржик, вообще-то его Георгием родители назвали, свою трубу принёс, музыкант! Надя Ван Дзин ярко покрасила губы, белый цветок в чёрные волосы воткнула. Вошла и поцеловала дядю в губы.

Чуть позже явился Сися, а пальцы у него на левой руке гораздо длиннее, чем на другой. Никто ведь не ожидает, что к вам в карман полезут левой рукой. Вот ему с младенчества левую руку бинтовали, чтобы пальцы выросли длинные.

— Кишмиш есть? Прикумарить хочется.

Дядя подмигнул Сисе:

— Ты меня знаешь, у меня с китайцами лад. Всех марух и мандеров обеспечу. Был бы слам...

Ох, дядя! На любых языках может говорить! И всех понимает.

Запахло жжёной тряпкой, странные самокрутки курят и парни, и девчата. А нам дали орехов, Сися даже подарил шоколадку в золотой обёртке. Мы счастливы.

А они сели в карты играть. Тишина перемежалась возгласами, иногда поднимался галдёж. Умаявшись, мы с Веркой легли на кухне на кровать и крепко уснули.

Утром я проснулся от крика. Дядя стоял у дверей с сечкой в руках:

— Где ржавые бочата, которые я у Сиси выиграл ночью? Шмон делайте! Давай моё ржавьё! Не лезь к двери. Череп снесу!

Все кинулись искать часы. Ленка, поджимая тонкие губы, выволокла часы кочергой из-под буфета:

— Вот они! Закатились как-то, а может, сам туда и засунул.

— Закатились! Я вам не сазан! Пролакились, так не темните!

Дядя гордо надел золотые часы на запястье, где у него уже было пристёгнуто ремешками ещё двое часов, и удалился.

Через какое-то время он опять исчез надолго из Томска, как это с ним случалось и раньше.

Четвёртое событие

Особо запомнились четыре события первого военного лета. В жаркий день появились в небе, закружились тучи, ударил град величиной с яйцо, а затем пошёл снег. Бабка Федоренчиха сказала:

— Будет скоро смертушка всем нам за грехи наши!

— Повесят начальника метеоцентра! За... — не скажу, за что его привяжут, — ответил мой приятель Витька Воротченко, — а мы жить будем долго.

А ещё было так. Шли мы с Витькой возле главпочты, а возле клуба «Строитель», там, где теперь гостиница «Сибирь», из-за угла выскочил дядька в гражданском пиджаке, в галифе и кирзачах. За ним гнались два красноармейца с винтовками, стреляли и вопили:

— Ложись!

Витька лёг сам и меня толкнул. Дядька подтянулся на заборе, уже ногу на него занёс, но хлестнуло пулями в спину, он обмяк, повис на руках и свалился в пыльную траву.

К одиннадцати годам я повидал уже немало всяких смертей. Случалось видеть не раз резню. Но как убивают человека выстрелами из винтовок, я видел впервые.

Третьим событием стало то, что в здании цирка начали показывать фильмы. Раньше летом цирк закрывали на ремонт, чтобы лучше подготовить к зимнему сезону.

Я забеспокоился: разве у нас теперь цирковых представлений больше не будет? Всезнающий Витька пояснил, что начальство с одного здания хочет получить два навары: летом фильмы, зимой цирк.

Мы с Витькой сходили на фильм «Сокровища погибших кораблей» о славных эпроновцах. Экран в цирке был большой, такого раньше у нас ни в одном кинотеатре не было, это отчасти примирило меня с вторжением киношников в здание цирка, хотя наспех сколоченная кинобудка смотрелась как оскорбление гармонии. Не будка, а барак какой-то.

Четвёртое событие произошло в жаркий июльский день, когда я пошёл смотреть «Сорочинскую ярмарку». Я думал о том, как совпадёт киноверсия с тем, что я сам себе представлял, читая и перечитывая в разные годы удивительное произведение Гоголя.

Я был в тот день гадом. У Витьки не было денег, а я не зашёл за ним, ибо тогда бы моих денег не хватило бы на книжку про Карацупу. Я вообще-то колебался, но Карацупа победил.

И вот куплена книжка в Когизе, куплен билет в цирковой кассе, а до сеанса ещё целый час. Казалось бы, что такое Карацупа, если прочитаны уже и Гоголь, и Сервантес? Но хотелось

и чего-то близкого к нашей жизни. Отец звонил из Новосибирска, он там проходил краткосрочные военные курсы, после чего должен был отправиться на фронт.

В берёзовой роще, стоявшей тогда возле городского театра, присел я на лавку и погрузился в тревожную приграничную жизнь. Граница. Но что это за крики на Ленинской? Берёзки загораживали от меня улицу, но я видел, что мелькают на тротуаре ноги бегущих людей. Куда спешат? И что за тучи в небе так быстро несутся? Да не тучи — дым! Я сунул книжку за пазуху и побежал на крик. И глазам не поверил: горел цирк! Как же так? Ведь вот же билет в кармане!

Цирк горит, языки пламени вырываются из окон, из вестибюля, и никто не тушит. Ах, как хотелось, чтобы это было неправдой! Ведь это что же? Не только пропал сеанс, но, возможно, всё пропало!

По широкому деревянному мосту быстро пробежали курсанты томского артучилища. Но что они там могут сделать своими сапёрными лопатками? Вот некоторые пробрались в здание. Вот из окон гостиницы, где жили когда-то волшебники манежа, посыпались стёкла, полетели стулья, тумбочки, графины даже. Разобьётся же всё! Память горела. Счастливые картины моего детства.

Курсанты выскакивали, кашляя и чихая, бросались в воду реки. Милиция не пускала никого к горящему зданию.

Неподалёку от Ушайки на самом берегу в то лето сляпали из фанеры приземистое длинное строение. Были там с Витькой, видели горе-фокусы.

Дама-подсадка дурным голосом кричала: «Ко-ко-ко», и маг подходил к ней, извлекал из её ридикюля куриное яйцо. «Ага! Уже три яйца! — кричал он с деланным восторгом. — Можно поджарить яичницу!»

А ещё брал он у зрителя часы, толлок их в ступе, а потом возвращал испуганному зрителю эти часы целёхонькими.

Магия не помогла. Фанера с надписью «Иллюзион» корчилась в огненных судорогах. Сквозь милицейский заслон прорвался с отчаянным воплем кучерявый смуглый человек, маг тот самый. Сбил с дверей амбарный замок, исчез в двери.

Вновь появился он, корчась от несусветного жара, теряя на ходу толстые пачки денег. Он упал замертво, не добежав и до Ушайки, навсегда поколебав в моей душе и без того не очень стойкую веру в цирковых факиров, а верить хотелось, как в раннем детстве!

Пожар разгорался. Низ здания был кирпичным, кирпич этот брали, разрушая кафедральный собор, с тем, чтобы заменить Бога иными кудесниками. Купол же цирка был вы-

полнен сплошь из дерева. Ещё бы! Наш город стоит среди тайги.

Соорудив деревянные рёбра купола, их обшили несколькими слоями пропитанной олифой фанеры и жирно окрасили. Насколько это дешевле железа, экономия какая!

От жара фанерные листы сворачивались в трубки, вспыхивая, летели аж за мост. Собравшаяся на противоположном берегу от Ушайки толпа ревела. Внезапный ветер занёс несколько таких зажигательных снарядов даже на крышу второвского пассажа.

Приехавшие наконец-то пожарные поливали крышу швей-фабрики и других окрестных зданий. Купол, логи, вся деревянная обшивка и начинка цирка, пропитанные лаком и краской, дали такой мощный выброс огня, что цирк спасти уж и не пытались, даже у второвского пассажа на другом берегу реки стоять было невозможно от жары.

На куполе цирка в сезон по вечерам обычно светилась лампочками фигура гимнаста на трапеции. Он был сварен из металлических труб. И вот цирк пылал, а «гимнаст» этот по-прежнему венчал купол, словно никак не хотел сдаваться.

В последние годы он стал для томичей таким же гордым символом, как для Парижа Эйфелева башня, и, кажется, вполне понимал своё значение.

Но в какой-то момент купол с грохотом провалился и «гимнаст» исчез, как последняя надежда.

Я простоял возле цирка до самого вечера. Кирпичный низ здания был закопчён, но цел, пустые оконные проёмы в потёках воды и грязи, дым щиплет глаза, а я думаю: здесь была конюшня, и стояли в ней знаменитые учёные лошади Александра Сержа, и каждый мог купить на пятак морковки и угостить этих замечательных лошадей.

Только берейтор предупреждал, что нельзя в конюшне громко кричать, что лошади эти — артисты, и потому у них тонкие нервы.

А там, где теперь были лишь горы догорающих головешек и золы, располагались арена и оркестровая ложа, в которой играл какое-то время духовой оркестр НКВД под управлением Нейслера.

Мы уже привыкли к тому, что номера идут под духовую музыку, когда в один из сезонов в цирке вдруг появился эстрадный ансамбль дирижёра Верховского. Многим не понравилось, бравурности не хватало, что ли.

Но Верховский выбирал самые модные, красивые мелодии, они незаметно переходили одна в другую и задавали темп представления. В день пожара мне было одиннадцать — взрослый.

Но и в семь лет я был готов к встрече с цирком. Дома не раз рассматривал портреты борцов в альбоме. Многие снимки отец делал собственноручно.

Звучали термины: двойной нельсон! Отец пропускал у меня под мышками руки и захватывал ладонями голову. Вот! Нельсон!

Дядя Костя тогда устроился в цирк пожарником. Доставал контрамарки. Перед очередным представлением дядя и отец устраивали дома борьбу-гадание.

Картонным фигуркам борцов на спинах делали надписи, схватывали фигурки нитяным колечком. Ставили фигурки на газету, надо было потихоньку двигать газету по столу. Какая фигурка окажется сверху?

Случалось, что после результат борьбы-гадания точно повторялся на арене. Восторгам нашим не было конца.

Помнится, выступал тогда у нас некий «мастер смеха». Он ничего не делал, только смеялся на разные голоса, и постепенно вместе с ним начинали смеяться все находившиеся в цирке люди. Смех катился по рядам лавинами.

Начинали смеяться даже билетёры и униформисты. Смеялись люди до икоты, до истерики. А многие из хохотавших уже были включены в списки будущих арестантов, и некоторые даже догадывались об этом. И хохотали, хохотали...

Но я тогда этого ещё не знал, не понимал, я смеялся потому, что это был праздник.

Падали нехотя крупные снежинки. Чтобы скоротать путь, мы пробирались к цирку задворками, тропками по Ушайке. Ориентиром служил сияющий в вечернем небе лампочный гимнаст, и сияла надпись «Цирк», первое прочитанное мною слово...

Пришёл домой. Мать думала, что я сгорел вместе с цирком, не нашла меня в толпе.

— Чего же ругаешься, если тебе меня жалко? — спросил я её.

— Не тебя жалко, а калош, которые ты уже за свою жизнь износил, — сердито ответила она, — неужто зря?

По городу шли слухи, что цирк запалили шпионы, они же позвонили во все пожарные команды и сказали, что горит совсем в другом конце города. На деле было не так. В кинобудке — много обрывков плёнки, в отличие от нынешней — горючей, как порох. Помощники киномеханика, уходя купаться, плохо загасили окурок. Вот и пошло пластать. А пожарники были где-то в районе пристани, где случился тогда, как назло, большой пожар.

У города не было сил, чтобы возвести новое цирковое здание. Отцы города попытались пристроить к обгорелому осто-

ву несколько кирпичных пеналов, которые можно было бы использовать как гостиничные номера.

Явились каменщики. Кирпич был плохой, крошился. Дело шло медленно, а война и не думала кончаться. Вскоре затея с гостиницей была заброшена.

Остов цирка с незаконченными пристройками торчал на берегу Томи всю войну. Базарники его использовали как громадный туалет, в этих обгорелых лабиринтах укрывались от милиции, от облав воры, спекулянты, аферисты.

Мы, пацаны, прятались там, чтобы спокойно выкурить купленные штучно у барыги американские сигареты с самолётником на этикетке. В этих развалинах я плакал не раз от отчаянья, от бессилия.

Каждый, кто мог и хотел, приходил к этим развалинам с ломом или кайлом, дабы развалить их ещё больше, брали кирпич, выколупывали по одному.

В один прекрасный, уже послевоенный, день город нашёл в себе силы, чтобы убрать развалины. На их месте разбили чахлый скверик, но он не прижился. Ещё позже возник там дом томских начальников. Там они сидят и за всех горожан думают.

Всё проходит, но хорошо, что у людей есть память. И я помню наш цирк, и не раз убеждался, что помню его не только я. В Ашхабаде я встретил уже внуков Юрия Дурова, они мне сказали:

— Томский цирк! О!

— А что — о? Вы-то его не видели никогда?

— Мы — нет, но дедушка рассказывал. За Уралом один такой удобный цирк и был. И конюшни большие, и гримёрные, и гостиница для артистов со столовой, и две реки рядом.

— Томский цирк! О! — говорили мне и в других городах циркачи.

И в чужих городах, в пустыне, в горах, у далёких морей, светил мне сквозь дали электрический гимнаст на трапеции томского цирка. И многое, многое воскрешал.

Вечер был, сверкали звёзды...

Зимой 1942 года мы с матерью переехали с верхнего этажа в полуподвал в этом же доме. Скандалы с соседями Есманскими переросли в настоящую войну.

Отец погиб на фронте. И теперь Ксения Никитична каждого пришедшего к нам мужчину воспринимала как материнского ухажёра. Было слышно, как она восклицала на кухне:

— Стерва! Не успела ещё постель остыть от убиенного супруга, как она... Шлюха! У них вся семья такая...

Если приходили женщины, тоже было нехорошо:

— Таскают грязь, а она только ногти полирует...

И это было неправдой. Мать тоже прибиралась и на общей кухне, и в коридоре, и работала на производстве с зари до зари.

Ксения Никитична вообще-то была зла на материнного младшего брата Петра Ивановича. Он дружил некоторое время с Таисией, дочкой нашей соседки. Потом куда-то уехал. И выяснилось, что Таисия должна родить ребёнка. Он и родился, был назван Евгением, писал теперь в пелёнки и плакал по ночам. Если Никитична была не в духе, она хватала бедного ребёнка и показывала его моей матери с криком:

— Корми его, курва! Братца твоего работа!

— Переезжаем в подвал, — сказала мне мать, — а то я невзначай башку этой дуре прошибу. Ничо, жили же Зиновьевы в этом подвале? Теперь, правда, переехали...

С трудом мы перетаскали с ней в подвал наши вещи: шифоньер, две кровати, сундуки с отцовским инструментом. Были у нас старинные настольные часы: бронзовые амурчики вращали подвешенный на цепочке шарик — маятник такой.

В подвале было глуховато. Уже месяца два назад мы отдали нашего пса Маркиза охранять мясокомбинат, кормить пса нам было нечем. Раза два он обрывал цепь и убегал с комбината домой. Вилял хвостом, а мы его ругали и гнали. Потом он привык на новом месте и больше не возвращался.

Мать была заместителем директора промкомбината. Я ходил в школу, дома нас целыми днями не было.

— Что ж, бог милует, — говорила вечером мама. — Просторно, тихо, и кухня не общая. Покой дорого стоит. А то эта ведьма меня криком своим в гроб загнала бы, я на работе и так на нервах. А замок на дверь вешать не будем, пусть думают, что кто-то всегда есть дома. Сделаем хитрый секрет.

Она просверлила в наружной двери тонюсенькую дырочку, продела в неё нитку под цвет обшивки, привязала нитку к крючку. Нужно осторожно прикрывать дверь, постепенно опуская крючок, чтобы он попал в петлю. Затем конец нити тщательно маскировался в дверной обшивке.

Одному в подвале тоскливо. Вернувшись из школы, запирался, а с приближением темноты выходил, закрывал окна ставнями. Просовывал в отверстия в стене металлические штыри, а дома закреплял их болтами.

Ждал мать. Было из чего — готовил ужин. В двенадцать лет одиночество — тяжкое дело.

Однажды возвратился из школы, а входная дверь открыта. Обрадовался, двинулся по коридору в кухню, позвал: «Мама!».

Притаилась. Подшутить хочет! Вон же драпировка у входа в зал колышется!

Уже было кинулся туда, но что-то меня остановило. Не понимая ещё, зачем и почему, повернулся, выскочил из дома, взглянул в окно. Усатый стоял посреди комнаты с узлом, чудно так глядел на меня, другой выкидывал тряпье из нашего сундука, третий стоял возле драпировки с финкой в руке. Вот пошёл бы я туда — точно был бы уже заколотым.

Надо что-то делать. Я постучал в окно, выбежал из ограды на улицу. Что толку? Никого взрослых дома нет, никто и не выйдет на подмогу. Гнусные типы из калитки вразвалочку протопали к оврагу, последний обернулся, обнажил жёлтые фиссы. И скрылся. Ищи ветра...

Всё ценное унесли. Мы голодали, но не продали и не обменяли на хлеб или, скажем, жиры ни материны меха и платья, ни отцовы костюмы. И — как не было ничего.

Вечно сосало под ложечкой. Пайка хлеба и чай. И всё.

Однажды мать принесла домой овсяную лузгу. День вымачивать, день отстаивать, из белого, как молоко, осадка можно варить кисель. Скулы ломит, но с голодухи вкусно кажется, недаром в одной книжке я вычитал о том, что голод лучший кулинар, я сам в этом убедился.

И вот лузга отстоялась, утром ещё затемно пошёл я с ведром по заснеженной улице к речке Ушайке, чтобы набрать воды не только для киселя, но и для мытья полов и стирки. Ведро давно прохудилось, сифонило, приходилось бежать от речки с ведром изо всех сил, чтобы донести хоть сколько-нибудь.

Сливал воду в кадку, но всё было мало, бежал ещё и ещё, а на плите у меня уже кисель варился, я его то и дело пробовал.

Побежал к речке в очередной раз, смотрю — люди возле проруби.

Старичок-милиционер спрашивает:

— Кто что видел, кто что слышал?

Два мужика кое-как вытащили из проруби примёрзший ко льду труп. Старуха в одной нижней рубахе, жалкие мощи. Сняли с её головы мешок — череп разрублен топором, а кровь из раны вымыло водой, белёсость одна.

Никто ничего не видел и не слышал. Только цепочка кровавых пятен да след санных полозьев идёт по Петропавловской и сворачивает на Крестьянскую.

Ё-моё! Я из этой проруби воду на кисель брал вместе со старухиной кровью! Я же чувствовал: ведро за что-то в проруби цеплялось.

Прибежал домой, кисель недоварившийся вылил — всё равно есть не смогу, воду из бочки тоже вылил. Снова таскать

воду придётся, из другой, из дальней проруби. И голодный. Такое зло взяло!

Недели через две после этого случая сидел я в морозную ночь дома возле коптилки, заправленной бензином с солью. Бензин, даже при наличии в нём соли, иногда взрывался в коптилках, но я хитёр: бензина на донышке только, да и коптилка у меня малюсенькая. Пока весь бензин не выгорел, спешил я дочитать очередной рассказ про Шерлока Холмса. Да! Джентльмен! Ничего не боится, никогда не теряется.

Вдруг в кухонную дверь забарабанили. Странно, я же сам уличную дверь запираю! Как же пришельцы в коридор наш попали? Мать спросонья уже хотела открыть, тем паче, что за дверью сказали:

— Это домком, вы тут незаконно проживаете, у вас ордера нет.

— Не отпирай! — быстро зашептал я, уловив её стремление доказать пришельцам свою правоту, — мол, ордер есть, и всё такое.

— Не отпирай! Не домком это. Подумай — первый час ночи, и голос пьяный, и не один он там, топчутся. И уличную дверь вскрыли...

Ситуация была безвыходная до тоски и глупости. Есманские не услышат, да если бы и услышали, не вышли бы так поздно из дома. А за стеной у нас лишь Галька Старикова, девчонка шестнадцати лет.

Дверь поддевали железякой, рвали с петель, матерясь. Хорошо — дом купеческий. Двери старые, но толстенные, и петли несъёмные. Но сломать что хочешь можно. Что делать? Как поступил бы Шерлок Холмс?

Мы в ловушке. Сорвут дверь, где прятаться? Открыть в одном окне ставни, чтобы можно было выскочить? Но тогда они к нам через окно влезут. Ну да, вон уже пытаются ставни сломать.

Я зачем-то запихнул в дверную дужку ухват, подтащил к двери сундук, на него взгромоздил стол, мать мне помогала. Затем я схватил печную заслонку и принялся колотить в неё пестом. Мать нашла возле печи топор и крикнула нападавшим:

— У меня ребёнок и у меня есть топор, дёшево не дамся.

— Прирежем и тебя, и пащенка.

— Я казачка! Хоть одного гада, но зарублю, и за меня отомстят! Так и знайте, из-под земли вас выкопают!..

Меня била дрожь, я метался по комнатам, гремел заслонкой и матерился, мать до этого случая даже и не подозревала, что я так здорово умею матюгаться. Но что-то я должен был предпринимать? Я ругался для взрослости, пусть слышат, что имеют дело с мужиком.

Снег закрипел. Уходят? Или обманный манёвр, чтобы нас из дома выманить?

Всю ночь мы не сомкнули глаз.

После мать несколько раз побывала в милиции. Однажды сказала:

— Коты это. Следователь его по кличке назвал, а он на следователя кричит, мол, сам ты кот, у тебя вон усищи какие! Не пойман — не вор. И кто ловить будет? В милиции одно старичьё. Дали вот отношение к домхозу. Переедем в восемнадцатый номер. Дом там большущий, на втором этаже четыре комнаты, и все будут наши.

На двоих четырёхкомнатная квартира — очень уж побарски, тем более, что у нас и вещей-то почти не осталось. Взяли с собой из-за стенки соседку нашу, Гальку Старикову.

До войны, бывало, уходя в театр или кино, родители оставляли меня у Стариковых, и Галька играла со мной. Её отец и мать были почему-то стариками, и я ставил в её фамилии ударение на последнем слоге.

Стариковы переехали в Томск из деревни не очень давно. У них в комнатах было сыро, так как Галькина мать брала у соседней бельё в стирку. На столе всегда кипел двухведёрный самовар, за столом сидели приехавшие на базар деревенские мужики и бабы и чинно дули в блюдца с чаем.

Спали они обычно на полу «в ёлочку», за ночлег и гостевание давали Галькиной матери сальца, мяса, медку. Но то всё было до войны. В первые же месяцы её умер от туберкулёза Галькин отец. Как у нас в семье говорили, чахотка у него была и раньше, но было питание, лечение, он и скрипел, да жил. Не стало деревенских гостинцев, не стало и всяких там таблеток, он и умер.

А ещё через полгода скончалась Галькина мать. Туберкулёз обнаружился и у неё, к тому же и сердце у неё оказалось больное. Война всё обострила и выявила. Она убивала и в тылу. Деревенским в войну в городе выжить было ещё труднее.

Оставшись одна, Галька продала и проела самовар, коврик с лебедями, затем стулья, а потом даже и кровать, и фикус с кадкой. И деньги у неё быстро кончились, потому что покупала она на базаре по диким ценам конфеты и пряники вместо того, чтобы купить картошки и чёрного хлебца. Спала Галька теперь на печке, укрываясь стареньким своим пальтецом, которое всё больше приходило в негодность. Зима почти вся была ещё впереди, а у Гальки уже и дрова кончились. Она стала ужасно кашлять, наверняка погибла бы, если бы мы не забрали её с собой.

В новой нашей квартире мать выделила Гальке уютную комнату и устроила её в свой комбинат секретаршей. Галька

стала красить губы, навивать локоны нагретыми на печи металлическими щипцами. Волосы у неё были жесткими и тёмными, а глаза чёрными с просинью.

Однажды вечером она вошла в мою комнату, худющая, с запавшими сверкающими глазами, дохнула на меня морозной свежестью и самогоном. Провела ладошкой по моим кудрям:

— Ох, Борька! Вырастешь, будут тебя девки любить! Ох, любить будут! — Она поцеловала меня в губы крепко-крепко.

Я понял, что она пришла с любовного свидания, и надо было ей с кем-то радостью поделиться, а не с кем. Матери моей она не могла про свои амуры даже намекнуть. Какие её лета?

Через недели две мать строго спросила меня, не брал ли я её часы с золотым браслетом. Я пожал плечами. Через неделю ещё мать не нашла в шифоньере наволочек и пододеяльников.

Потом был у матери с Галькой крупный разговор. Мать дверь притворила, но я приставил к ней литровую банку, прислонил к донышку банки ухо и всё слышал.

— Балда! Хахаля поишь! Часы мои загнала, бельё. Он с тобой, пока ты что-то тащишь. А тащить скоро станет нечего. На что надеешься? Подумай своей безмозглой башкой!..

Через месяц Гальку Старикову посадили. Милиционеры увели её прямо с работы. Галька имела доступ к комбинатовской печати. Она выдавала липовые справки. Одной из справок воспользовался какой-то дезертир.

Незадолго до Нового года одна бывшая арестантка сказала матери, что Гальку видели в пересылке. Зэки её обобрали и раздели, и она кашляет кровью.

В канун Рождества я пошёл мыться в Громовскую баню. Я уже представлял всю теплоту и ласковость дореволюционных фаянсовых скамеек, их сюда из самой Италии привезли! Толстый такой фаянс, быстро от тёплой воды нагревается, и сидеть приятно. Окатишь такую скамью горячей водой и панствуешь. Но возле бани почему-то ходили люди с карабинами. Лаяли сторожевые овчарки. Оказалось, моют зэков.

Вот незадача! Идти в другую баню никак не хотелось, мы в этой моемся, уже в третьем поколении.

Напротив бани на корточках сидели женщины. Я заметил среди них стриженного наголо паренька в рваной хламиде, с непокрытой головой. Глаза его воспалённо и пристально смотрели на меня. Чего он? И вдруг я понял: не паренёк это! Галька наша!

Побежал я со всех ног домой. Квартал всего.

Мать лежала с повышенной температурой. Сможет ли она встать? Сможет ли как-то помочь Гальке? Мать у меня всё же очень волевая и сообразительная, это все говорят. Да что она может сделать? И захочет ли что-то делать?..

Так я размышлял на бегу, а в голове у меня звучала слышанная ещё в раннем детстве жалостливая мелодия:

Вечер был, сверкали звёзды,
На дворе мороз стоял,
Шёл по улице малютка,
Посинел и весь дрожал...
Шла старушка той дорожкой,
Услыхала сироту,
Приютила и согрела,
И поесть дала ему.

Мать, узнав о Гальке, вскочила, словно у неё и температуры не было, быстро натянула на себя всё тёплое, увязала в платок приготовленные к новому году бутерброды с маргарином, картошку в мундирах, несколько сиротских конфеток-подушечек, половину нашего праздничного пирога с рисом и яйцами.

Мы бежали до бани, и я видел, что мать почти задыхается. Я боялся за неё, но она старалась делать вид, что ей совсем не трудно.

Вот и баня. Мать сразу заметила Гальку и двинулась к эчкам, сидевшим на корточках. Дорогу преградил конвоир:

— Назад!

— Держи, Галя! — мать ловко швырнула узелок, и Галька его поймала. Сидевшая рядом с ней мужик-баба заехала Гальке локтем в зубы и вырвала наш гостинец.

— Ах, подлюга! — рванулась к ней мать. — Убью!

Конвоир больно ударил мать в грудь прикладом карабина:

— Имею полное право стрелять!

— Чтобы вы все передохли, сволочи! — закричала мать, свирепея. — Чтоб вас всех черти жарили в аду на чистейшем собачьем дерьме!..

Мы шли с матерью домой. И был морозный новогодний вечер, и всю сверкали звёзды.

Прекрасная маркиза

Я встал в четыре утра, иначе хлеба по карточкам не получишь. Ну теперь буду первым!

Пришёл к магазину, кто-то возле маячит. Ладно! Буду вторым. Мороз. Решил бегать вокруг магазина. За угол свернул — и заругался шёпотом: там от ветра люди прятались. Не первый и даже не двадцатый, не понять какой. Список был у женщины в трёх шалях. Попросил записать. Мама! Сто сорок восьмой!

Дед в тулупе пояснил:

— Иные греться ушли, в пять утра переключка, кто не явится, вычеркнут.

В пять переключку сделали, и откуда-то мужчина с другим списком явился. Ругань.

— Наш список правильный! Мы его вчера в шесть вечера начали писать!

— Нет, наш правильный! Мы писали ещё вчера в обед!

Тут хлеб привезли. Мужчина кинулся на крыльцо с бумажкой, в которую вписано было двести человек. Трёхшалева тетка туда же ринулась с нашим списком. Я замешкался, оказался в хвосте:

— Мне на крыльцо надо, я сто сорок восьмой!

В рифму ответили:

— Лезь, если сила есть!

Такая давка началась, что я подумал: пусть буду хоть пяти-сотым, лишь бы живым.

Хлеб кончился в тот самый момент, когда подошла моя очередь. Желудок ныл. Тут сказали, что могут карточки мукой отovarить.

— Во что тебе?

Вот тебе раз! Я за хлебом шёл. Во что муку брать? Испугался, что и мука кончится, сдёрнул с головы ушанку, мол, вешайте в неё.

Взвесили. Горстка муки. Засомневался — мало. Мужик один сказал:

— У муки припёк бывает...

По дороге обратно муку ел. И было жаль: у той, что съедена, припёка уже не будет.

Плиту с матерью растопили старым стулом, говоря, что он лишь место занимает. Испекли лепёшки, подкладывая под тесто бумагу: жира-то не было. Припёк получился, но не такой, как мне хотелось.

Спать я лёг на тёплую плиту, и она грела почти до утра. А утром у меня в голове мотивчик звучал: «Всё хорошо, пре-красная маркиза!».

Мне вспомнился пёс Маркиз, он теперь охраняет мясокомбинат, каждый день жрёт мясные отходы. Втайне я ему завидовал.

Мать меня понимала. Не зря она утром дала мне где-то раздобытые ею талоны в литерную столовую. Я взял с собой Витьку Коротченко. Вдвоём веселее.

В столовой было холодно, но из кухонной амбразуры несло тёплым и вкусным паром. Вдруг официантка скажет: «А талончики-то не ваши!». Что тогда? Но она сказала:

На первое суп с крапивой, второе — перловка. Могу по желанию принести или два первых, или два вторых...

Решили отovarиться четырьмя супами.

Напротив — мужик: на голове пилотка, на ногах обмотки, а пальто гражданское. На четыре талона восемь супов получил, достал из внутреннего кармана короткую алюминиевую ложку, оттирает полый пальто. Склонился над первой миской: хлюп-хлюп! Ложка так и мелькает, как машина какая, миски одна за другой пустеют, на носу капля пота.

— Убиватель супов! — шепчет Витька.

Съели и мы с Витькой супы, только аппетит больше разыгрался. Пошли к Витьке домой, разложили на плите вымытые очистки, они покрываются аппетитными пупырышками, от них идёт вкусный дымок. Но всё же этим не наешься. Придёт ли такой день, когда мы сможем поесть до отвала? Мы вспомнили американский фильм, который недавно смотрели. Там прекрасная Дина Дурбин пела, очень нам понравилась. Но в конце фильма Дина эта вышла в подвенечном платье кормить лошадь из своей шляпы сахаром. Я теперь ругал её на чём свет стоит. А Витька сказал:

— Она голодная не сидела. У них там кругом сахарный тростник, подошёл — и жуи! Это только у нас сахар на базаре сто рэ стакан...

— Вот бы и прислали нам немного, а то лошадям стравливают!..

Вернулся домой. Ледник. Мать говорит:

— Надо будет опять каких-нибудь квартирантов подыскать, хоть дров купят...

С квартирантами нам не везло. После того, как посадили Гальку Старикову и она погибла в тюрьме, к нам подселили чекиста. Это был краснолицый деревенский парень, звали его Сашкой Вершининым. На фронт не взяли из-за язвы желудка, а внешне выглядел здоровым.

Мы надеялись, что Сашка обеспечит нас дровами, но вышло всё наоборот. Если мы сэкономили свои дрова, сжигали не более пяти полешек в день, то Сашкина жена, смуглолицая и тощая Наталья, жгла наши дрова в наше отсутствие почём зря. Поленица таяла на глазах.

Вечером мать ругалась с Натальей, а та огрызалась:

— И ничего вы нам не сделаете, мой Сашка кого захочет, того и посадит.

Наталье не нравилось, что мы выделили ей с Сашкой одну комнату, а сами жили в трёх остальных. Она считала, что муж её такой большой начальник, что нужно наоборот — нам жить в одной маленькой комнате, а им с Сашкой в трёх. Мать же пыталась втолковать ей, что не нас к ней подселили.

Сашка приходил поздно ночью, усталый, быстро что-нибудь проглатывал на кухне и падал в постель. Матери поговорить с ним не удавалось.

Наталья нагтела всё больше. Если у себя в колхозе она крутила коровам хвосты, то здесь её как жену чекиста сделали комендантом студенческого общежития.

Представляю, сколько нервов испортила она студенткам-медичкам.

Я спал на кухне, у меня была там лежанка, ведь в зиму только возле печи и сохранялось тепло. Наталья выживала меня с кухни:

— Он мешает готовить пищу. Ночью ему всё слышно, что у нас в комнате делается, я стесняюсь, разве в трёх комнатах ему тесно?

Я возражал:

— Так ведь холодрин же во всех наших комнатах! И вовсе я не слушаю, что у вас делается, я сплю так, что над ухом из нагана стреляй, не проснусь.

— Всё равно я стесняюсь! — твердила Наталья, поджав губы.

Однажды мать всё же переговорила с Сашкой, он прицкнул на жену, и пообещал привезти дров. Но он их так и не привёз: на работе ему и секунды свободного времени не давали, являлся домой лишь для того, чтобы поспать часов пять.

Однажды ночью я открыл ему дверь и заметил, что он возбуждён. Спросил, что случилось.

— Да вот, понимаешь, на Алтайской трое в темноте маячат. Беру папиросу в левую, а правой в кармане пистолет с предохранителя снял. Известно, прикурить просят, один спереди, а двое сзади заходят. Я к забору спиной. Мужик прикуривает, а из рукава нож блестит. Я ему пушку в нос, мол, нож убери, а то черепок слетит. Извинились. Один вроде бы Дюдя, блатяк местный.

— А ты бы задержал. Мог бы и пристрелить одного.

— А на хрена? Мне и шпионов с дезертирами хватает. Бандитов пусть милиция ловит. Подстрелить! Потом со следствием разбирайся, правильно подстрелил, неправильно. Начальство коситься будет. Нам своих дел — во! По горло.

— Ах, Сашка! — укорил его я. — В милиции бабы одни, да старики ещё!

— Спать хочу, — сказал Сашка, — мне бы хоть раз в месяц давали бы сутки отоспаться, совсем другое дело было бы...

Меня тогда удивило ведомственное разграничение. В молодости мы максималисты, кажется, что истина одна, и она абсолютна, а поживёшь — и понимаешь, что у каждого ведомства истина своя, да и у каждого человека тоже.

Понимаю теперь, что Сашка был неплохим мужиком, мог бы запросто потеснить нас в квартире, но не сделал этого. Вскоре он выхлопотал себе отдельную квартиру, где Наталья могла делать что угодно и пилить мужа сколько ей угодно.

В результате всех этих событий среди зимы мы остались и без дров, и без квартирантов.

В середине зимы в восемнадцатый номер переехали и Есманские, поселились в соседнем подъезде и тоже в четырёхкомнатной квартире, они пригласили мать на новоселье.

— Не ходи! — сказал я. — Это из-за них мы в подвал влезли, и вообще...

— Мало ли что...

Пошёл и я к Есманским. Ели малюсенькие пельмени, в которых было больше тёртой картошки, чем мяса. Потом устроили воровку.

Таисия на чертёжной бумаге нарисовала тушью правильный круг с разными там буквами и символами. На кромке фарфорового блюда была изображена стрелка. Сели за стол кружком и водили блюда по кругу, возложив на него пальцы. Потом руки приподняли, и нагретое пальцами блюдо пошло по кругу само.

Георгий Фаддеевич обращался к духу Георгия Батенькова, спросили о судьбе моего отца. Дух ответил: «Никола...». Заспорили: дух хотел имя моего отца назвать, или пообещал матери, что не будет у неё ни кола, ни двора? Фаддеевич склонялся к последнему варианту.

Я ушёл домой, ну их! Тоже мне прорицатели! Разморило людей от браги...

Эта зима была самой холодной и голодной в моей жизни. Ничего кроме пайкового чёрного, жидковатого хлеба, да и тот не всегда удавалось выкупить.

Однажды мать меня послала к отцову брату, Сергею Николаевичу, который, по её словам, задолжал ей деньги. Она велела взять санки, если не будет денег, то пусть дядя даст дров и съестного.

Дядя Серёжа имел инвалидность. Он каждое утро выходил на проспект имени вождя Кирова с двумя табуретками. Возле тротуара на одну табуретку он садился сам, а на другой раскладывал шило, дратву, сапожные кремы и щётки, молотки и гвоздики. На груди у дяди висела картонка: «Инвалид чинит и красит обувь».

Чинил он и красил недолго, до той самой поры, как у него набиралось на бутылку водки. Тогда он сметал инструмент в старую холщовую сумку, хватал обе табуретки и чуть не бегом бежал в магазин за водкой.

Дядю я застал дома. Он сидел перед графинчиком с денатуратом.

— Офицерский коньяк три звёздочки, а солдатский коньяк три косточки! — сообщил мне дядя. Узнав о цели моего прихода, дядя заматерился:

— Кто кому должен? Я ей продал на толчке двое барахляных часов, а она хоть бы стопку налила, вот я и конфисковал в возмещение убытка траченную молью горжетку. Да мне ручки от неё хватило только на опохмелку.

Я решил надавить на жалость:

— Дядя Сергей! Я не ел два дня, у нас дров нет!

— Чисто цыган, — сказал дядя. Тётенька, дай воды напиться, а то жрать охота, аж переночевать негде!

Он шагнул к топившейся плите, снял с неё сковороду с аппетитно скворчавшим мясом и шваркнул ею о стол:

— Ешь, племянничек! Денатурки прими! — пододвинул он ко мне графин.

Уж я ел! Аж пот на носу выступил.

— Какое мясо ел? — спросил дядя.

— Баранина.

— Она самая, которая из подворотни лает. — Он провёл меня в кладовку, показал висевшую на верёвке недавно освежёванную собаку.

Меня стошнило. Я вернулся в кухню, плеснул в стопку денатуры, выпил, полегчало. Дядя пояснил:

— Я этим мясом от чахотки лечусь... Могу тебе ляжку отрубить. А дров не дам, у самих мало...

Я от собачьей ляжки отказался.

Вскоре Есманские порекомендовали нам в качестве квартирантки Дусю. Она приехала из деревни и работала на махорочной фабрике.

Толстая Дуся, вернувшись со смены, выдвигала из-под кровати чемодан, отпирала висячий замочек, доставала завёрнутый в газету шмат сала, отрезала пласт и смачно жевала без хлеба.

Я исходил слюной. Иногда она отрезала и мне малюсенький кусочек, я его заглывал, не жуя. А Дуся задумчиво говорила:

— Отпустили бы на денёк, на крылышках в Зоркальцево полетела бы. Муки бы привезла лепёшки печь, картохи... Её укутать, так в пути не помёрзнет... Не пустят: всё для фронта, всё для победы...

— Ага, — сказал я, — для победы! Врач говорил, кто курит, у того лёгкие чёрные, как сажа. А в деревню я могу съездить за мукой, у нас каникулы.

Она сказала:

— Нам с фронта письма бойцы пишут, наша махорочка их в окопе согревает, воевать помогает, так и сообщают... Сама читала. А в деревню могу тебе письмо дать... Саночки возмёшь, мешок. Подвезут нито, ты парнишка лёгкий...

Матери я не сказал: не пустит. На другой день я зашагал с Дусяным письмом, с мешком и санками через весь город к реке То-

ми. Река была перемерзена снегами, мои опорки тонули в сугробах, дул пронизывающий ветер. Добрался до противоположного берега, еле переводя дыхание, а дорога только начиналась.

Дошёл я до крутого яра, где начинался бор. Сугробы по обеим сторонам дороги. Окоченел, дико хотелось есть. Робинзон Крузо неплохо прихитрился на своём острове. А как бы он приспособился здесь? Вон какой мороз. И где тут, среди снегов, добудешь пищу?

Бор кончился. Впереди была обширная равнина, темнело. И никто меня не обогнал, никто не попался навстречу. И где это Зоркальцево? Может, я заблудился? Здесь и замёрзну?

В книгах путешественников всегда спасал случай. Он пришёл и ко мне. Прикатился. Послышался скрип полозьев — закуржавевшая лошадка, мужик в санях, в огромном тулупе. Сани уже миновали меня, я в отчаянье крикнул:

— Дядя! По этой дороге в Зоркальцево попаду?

— Тпру! В Зоркальцево?! Ты к кому там, откуда?

Я пояснил.

— Садись, — сказал мужик, — где это видано, пёхом, на ночь глядя, далеко ещё, да ведь и волки в полях, я сам боюсь... показал он мне топор.

Мне стало страшно. Вдруг он разбойник. Хряпнет топором и всё.

— Лезь под тулуп, — предложил мужик, — одежда твоя лёгкая. Так как там Дуська живёт-то?

Я рассказал. Мужик оживился:

— Значит, говоришь, этот ранетый командир, когда у неё ночует, глаз стеклянный вынимает и в стакан с водой кладёт?

— Ага! — ответил я. — Сам видел, сколько раз. Даже вынимал тот глаз из стакана. Как настоящий...

Глаза мои слипались, я словно провалился куда-то.

Когда приехали и зашли в дом к Дусиным родителям, я был сонный, меня положили на печку, и очнулся я только утром. В избе был крик, Дусин отец материл жену:

— Потатчица! В город да в город! Тут женихов нет! А там нашла! Проматросит и бросит. Глаз стеклянный на память оставит. С приплодом вернётся, помяни моё слово!

Я был смущён. В городе любому прохожему скажи что хочешь — и глухо. А тут ночью сказал в лесу, наутро эхо в деревне отдалось!

Больше всего я боялся, что из-за этого глаза стеклянного меня не покормят и отправят обратно без продуктов. Но, услышав, что я завозился на печи, Дусин отец перестал ругаться и сказал:

— Проснулись уже? Умаялись в дороге, мы не будили, хотя завтрак давно готовый.

Пока я ел, в избу набилось народа. Спрашивали про Дусю, благодарили за то, что мы приютили в городе, хвалили за то, что не побоялся пуститься в рискованный путь.

Обратно меня отправили с попутной подводой. Дусин отец, вручая мне мешок с продуктами, сказал:

— Извините, что приходится утруждать, сами не можем отвезти, то в поле, то на лесозаготовках, скажите Дусе, разве что к Рождеству в город попадём...

Мы с Дуси квартплату не брали. Картошки дала! Сала шмат отрезала. А на деньги разве что купишь в такое время?

Однажды я читал на кухне томик Блока. Попытался понять до конца каждую строку. Мудрено закручено! Мать с Дусей были на работе. Постучали.

Женский голос сказал, что это мамина знакомая. Ей надо записку оставить. От двери я прошёл к окну, в которое было видно крыльцо, поглядел: да, на крыльце одна женщина, не очень могучая, рискну, открою.

Она никакую записку не дала, а схватила швабру и вдребезги разнесла наше трюмо:

— Я покажу, как чужих мужей сманивать!..

Оказалось, что одноглазый был женат на этой скандалистке. Я видел, что она намеревается бить оконные стёкла. Схватил кочергу и стал у неё на пути:

— Не смей! С Дуськой разбирайтесь, а нашу мебель не трогать! Вы за трюмо заплатите, у меня дядя прокурор! — соврал я на всякий случай.

Она меня обматерила, но кочерга всё же произвела впечатление, тётка ушла, крикнув на прощанье:

— Оболью керосином и сожгу лядское гнездо!..

Вскоре мать предложила Дуське подыскать другое жильё. Тогда Есманские опять встряли в наши дела, предложили нам пустить на квартиру молодого, одинокого офицера-фронтовика. Он инвалид, у него аттестат, талоны на усиленное питание, а главное, дров привезёт.

Явился к нам Демьян Петрович Холстинин. Сапоги скрипят, портупея, сумка офицерская, всё новенькое. Сам красивый, а лицо в шрамах. Был у фашистов в плену, пытали. Немножко на психику повлияло. Сбежал из плена, долго его проверяли, а потом комиссовали.

Первое время я боялся ночью спать — уснёшь, а Холстинин этот задавит. Мало ли что ему в большую башку втемяшится? Вдруг подумает, что я фриц какой-нибудь? Я на фрица мало похож, но ведь у больных сознание иногда замутняется.

А Холстинин рассуждал вполне здраво. Выдержанной колбасы с полкило от своего пайка нам отделил, заявку в военкомат на дрова написал. Никаких странностей за ним не замеча-

лось. Возьмёт карту, расстелет на столе и рассматривает. Мать спрашивает:

— Что, Дима, вы там разглядываете?

— Гляжу, где теперь линия фронта проходит. Корректирую её согласно с последними газетными сообщениями...

Линии на карте никакой нет, карта такая, как и была до войны. Но человек военный эту линию себе представляет. Размышляет. Оценивает ход войны. На то и офицер!

Однажды прихожу, а Холстинин снял со стены наш репродуктор, на стол перед собой поставил и бубнит:

— Сокол, Сокол! Я Алмаз! Как поняли? Пр-риём!.. Алмаз, говорю! Ве-ве-точка, дэ-дэ-точка, как поняли, пр-риём!.. Товарищ Сталин? Д-докладываю! Фрицы провели от Можайска подкоп под Кремль. Товарищ Сталин, это Холстинин лично докладывает. Как поняли? П-рриём!

Тут я ему говорю:

— Дядя Дима! Вы что? Это же просто радио!

А он всё своё:

— Так точно! Квадрат вам известен, я уже радировал. Штурмовое пр-рредупреждение!..

Тут я потихоньку, на цыпочках попятился до двери. Тихо тихо открыл её, спустился по лестнице к подъезду. Два часа на морозе ногами перебирал, ждал, когда мать вернётся.

Пришла она, рассказываю ей, дескать, в квартиру не ходи, врачей вызывай. А она отмахнулась, дескать, идём в дом, чего там! На всякого мудреца довольно простоты, а на всякого дурня — ума.

Вошли, а Холстинин как ни в чём не бывало лежит себе на койке и папиросу курит. Правда, забыл репродуктор на столе, не повесил обратно на гвоздь.

— Ну, как, Дима, чем занимаетесь? — спрашивает мать.

— Да вот последние известия, сводки с фронтов слушал! — отвечает он.

— И что сообщают?

— Да ничего особенного. Опять бои местного значения, наши войска отошли, выравнивая линию фронта. Сколько выравнивать можно? Так могут выровнять, что и от страны ничего не останется.

Вполне разумно рассуждает, словно и не он только что со Сталиным через репродуктор толковал.

Мать спросила его насчёт дров. Обещал пойти к военкому и стукнуть по столу кулаком.

А на другой день шёл я по главному проспекту и заметил возле почтамта столпотворение. Конечно, побежал туда, посмотреть поближе, в чём там дело. И вдруг меня мужик за ворот ухватил:

— Куда? Убьют!

Смотрю, посреди улицы остановились и грузовики, и легковушки, возчики лошадак под уздцы держат, а перед затором этим офицер с пистолетом ТТ в руке мечется.

— Р-революция! Чёрная кошка! — кричит офицер, и вдруг стреляет поверх голов.

Топот многих ног. Подбегает взвод солдат с винтовками, ими командует широкоплечий мужик в мерлушковой шапке.

— Бросай оружие! — истерически вопит он. — Бросай! Твою мать! Приказ имеем на поражение!

А в стрелявшем я узнаю Холстинина, он обернулся, и мне теперь хорошо видно его перекошенное судорогой лицо.

— Не подходи! — хрипит наш квартирант. Взрываю здания! Всё заминировано! Приказ товарища Сталина. Как поняли? Пр-риём!

На Холстинина бросается незаметно подобранный к нему со спины один здоровяк в штатском. Демьян Петрович падает, ему крутят руки. Он рычит, кусается, пускает кровавые пузыри.

Я содрогаюсь от мысли, что жил рядом с настоящим сумасшедшим. Может, мы с матерью на краю гибели были.

Больше мы нашего квартиранта никогда не видели. Он так и остался записанным в нашей домово́й книге. Никто не пришёл за его чемоданом. Куда его дели? В тюрьму? На психу? Почему нам не сообщили? Разыскивать его у нас не было ни времени, ни желания.

Месяца через два я вскрыл его самодельный фанерный чемодан, отвернув шурупы шарниров. Чемодан был пуст, лишь на дне его лежала книжка: «Краткий курс истории ВКП(б)», да валялись три пистолетных патрона. Книжку я поместил на полку, а патроны сменял с одним блатяком с Никитинской на билет в кинотеатр «Максимка». Как раз шёл трофейный фильм.

Угар

В это лето по центральной улице бригада мужиков вручную катила паровоз. Клали рельсы набок, толкали металлическую махину; передвинут паровоз на несколько метров, сзади рельсы уберут, вновь положат под передние колёса.

Возле центрального рынка поставили привезённые на барже невиданные немецкие тягачи. Они были изрядно покорёжены бомбами и снарядами, их должны были разобрать на запчасти. Неподалёку эвакуированный завод «Богатырь» свалил прямо на тротуар горы каучука, серая такая масса, вроде

золы. Мы с Витькой раз набрали в ведро, принесли домой. Что толку? Думали, сумеем сварить каучук, отлить из него калоши или ещё что, скажем, мячик. Ничего не вышло, только перемазались и долго ходили с сине-зелёными руками, никак отмыть не могли.

Железная дорога проходила по центру, и за Каменным мостом нередко стояли платформы с углем, дровами, солью. Под покровом ночи взрослые и пацаны подкрадывались к платформам. Ходили и мы с Витькой. Один раз удалось слямзить огромный кусок соли. Но уж очень страшно: охранники вооружены винтовками и иногда стреляют на шорох.

В городе в эти дни вообще часто стрельба слышалась. Мы, конечно, находились в глубоком тылу, но война и к нам пришла не только голодом и холодом, нередко она объеявлялась в том или ином переулке в виде дезертиров, за которыми гнались люди военные или же в штатском. Случалось, по дезертирам стреляли, а они отстреливались, так что иногда можно было видеть военные действия в миниатюре.

Шли мы с Витькой с базара «Хрунзы» к Дому Советской Армии. Проходили неподалёку от артиллерийского училища. Земля содрогнулась, так бабахнуло. Мы аж присели. Стекло звенело, и всё окутала туча не то дыма, не то пыли.

— Бомбят? — спросил я Витьку.

— Ты на здание посмотри, — кивнул он, — из угла кирпичи вывалились, а с крышей что?

Пока мы протирали глаза, набежало много людей с винтовками. Оказались мы в оцеплении. Военные расспросили нас — кто такие, куда шли. Отпустили. Нас и так было видно, что не шпионского племени.

После разные слухи ходили. Кто говорил, что шпионаж, кто рассказывал, что взорвались мины, по которым курсанты-фронтвики сдавали экзамены. Боевые мины были без запалов, но кто-то достал запал из шкафа, уронил его, а кто-то там курил в это время. Поди узнай правду.

Через некоторое время увязались мы с Витькой провожать траурную процессию. Оркестр сиял рыдающими медными трубами. Девчушки из швейной мастерской были все в чёрном, словно монашки, и рыдали.

На кладбище не было длинных речей, один военный только и сказал над рядом могил:

— Погибли от рук агентов империализма. Мы отомстим...

Был залп из винтовок.

Грустно. Тяжело было на душе. Я тогда вспомнил о письме, которое мы получили из Щучинска.

Сафронова отправили на фронт, вместе с ним поехала и тётя Шура. Бабушка прислала нам в письме две вырезки из газеты

«Красная звезда». В одной заметке писалось о редкой операции, которую сделал в фронтовых условиях хирург Сафронов. Он залатал раненому череп металлической пластинкой. В другой заметке говорилось о том, что военврач Сафронов награждён орденом Красной Звезды посмертно.

Бабушка написала, как всё случилось. Оперировал Сергей Александрович в своей палатке. Налетели «мессерá», прошли очередью палатку, пули попали и в раненого, и в хирурга. Тётя Шура успела во время налёта в щели спрятаться. Вылезла, увидела, что муж валяется возле операционного стола. Ещё живой был, оперировали, а она подменяла операционную сестру. Каково ей это всё было вынести? Ведь он на операционном столе скончался. Что только ни делали врачи, но Сафронова им спасти не удалось. Уезжала тётя Шура на фронт брюнеткой, а вернулась с белыми волосами. В армии её удерживать не стали — слишком нервы у неё развинтились.

Похоронок в нашем околотке стали делом обычным. Погиб муж тёти Агаши Дубининой. Погибли многие жители Бочановки и Казанки. В армию взяли дяди-Костиного Саню и дяди-Серёжиного Володю. Саня погиб, а Володя попал в немецкий плен. Мать говорила, что неизвестно ещё, кому из них лучше.

Попал к немцам в плен сын Потапочкина — Жоржик. Но с ним там как-то не совсем ладно получилось. Стало органам известно, что Жоржик играет на трубе в немецком оркестре. То есть дует во вражескую дуду. Явились к Потапочкину военные, забрали его с собой, Рита с матерью были куда-то сосланы, а дом конфискован.

Дядю Костю мобилизовали на службу в милицию. Я был рад: свой милиционер, это что-нибудь да значит!

Навестил Зиновьевых на новой квартире. А у них опять — горе. Пошла утром хозяйка в сарай, коровку подоить, открыла огромный замок, глаза к темноте ещё не привыкли, она и зовёт:
— Прока, прока!

Пригляделась, а коровы-то нет. Ближе к выходу, рогами вперёд, была поставлена коровья голова, а дальше, воткнутые в щели, стояли все четыре коровьи ноги и в нужном месте был хвост постелен.

Замок был цел. Как же мясо вытащили? Да ведь наглые какие, прямо в сарае корову разделали. Догадались после Зиновьевы, что мясо передавали через отдушину, расположенную над дверями. Значит, не взрослые в сарай пролезли, взрослый-то в отдушину не пролезет. Но как же пацаны маленькие с коровой управились? Ведь её взрослому человеку зарезать мудрено!

В милиции заявление приняли, но сказали, что расследовать некому. Тут я и похвастал, что мой дядюшка стал мили-

ционером. Зиновьевы умоляют: пусть расследует по знакомству.

Отправился я на Петровскую. Дядя как раз дома был. Ну, я рассказываю ему про корову, а он говорит.

— Корова в мои функции не входит, я служу в железнодорожной милиции, мне там своих дел хватает.

Рассказал дядя Костя о том, как милиция ловила одного заистокского конокрада и разбойника. Неуловимый был, много грабежей и краж за ним числилось. Донёс осведомитель, что бандит этот ночует в избушке в конце Иркутского тракта. Ночью милиционеры пришли в эту избу, постучали. Открыл им старик, который сказал, что в доме только он со старухой, а больше и нет никого. Милиционеры вошли все в избушку, фонарик засветили, а тут с печи бандит из автомата очередь дал и всех их положил, а заодно и старика со старухой прихлопнул.

Прошло какое-то время, дядя Костя на станции Тайга заметил человека, который был похож на бандита, числившегося во всесоюзном розыске. У дяди Кости в кармане фотография этого бандита была. Вынул он её потихоньку: посмотрит на фото, потом на этого человека — он! Однако дядя Костя не поспешил, а вызвал старшину из вагона и говорит:

— Проверь-ка у того типа документы, по описанию он на беглого бандита похож.

Старшина подошёл к человеку, который как раз пил из кра-на воду, и сказал:

— Ваши документы!

— А это пожалуйста! — ответил тот, полез за пазуху, выхватил пистолет да и пристрелил милиционера. Дядя Костя открыл стрельбу по бандиту, но тот сразу же нырнул под вагоны и был таков.

— А коровы — не моя специальность, — сказал дядя Костя.

— Я, брат, ни за что бы в милицию не пошёл, но меня мобилизовали, говорят, служил уже в органах, воспитателем в колонии был, чин имеешь, вот и будь добр...

Привёл я его всё же к Зиновьевым. Осмотрел он стайку, похмыкал:

— А может, лилипуты сработали? Да нет, вряд ли, они у нас считанные, не станут они рисковать, им лучше в концертах выступать...

Записал он что-то в блокнот, пообещал разобраться. Пошёл я его провожать, смотрю — седоват он стал, волосы проредились, лысина намечается, а какой бравый был! Жалость мне сжала сердце, а он и говорит:

— Саню, гады, убили, нет у меня теперь наследников, девки — не в счёт, замуж выйдут, фамилию сменят...

Шли мы через Ушайку, я вспоминал, как ходили здесь до войны, как Светка прыгала через верёвочку на ходу. Теперь она в музшколе учится, голос у неё, говорят, сильный. А дядя Костя сидит вот... Котя у них давно помер: поила его тётя Оля какими-то травами, чтобы он поумнел, а он взял и очурился. Может, тётя Оля травы невзначай перепутала? Не ту траву, которую надо, дала? Такую мысль мать моя высказывала. Да... Котя-то вон какой здоровенный был, поди прокорми такого!

Попрошались мы с дядей Костей, вернулся я домой, мать сообщает:

— Есманский человека зарезал.

— Не может быть! Он же старый, и туберкулёз у него начинается. И вообще... Его уже посадили?

— Нет, и не посадят, может, даже наградят. Хотя, пожалуй, и не наградят... Ай, не знаю я! Пойдём к ним, посидим, там всё из первых уст, как говорится, из уст героя узнаем.

Есманский и Никитична брагу на стол выставили. Георгий Фадеевич с тех пор, как заболел туберкулёзом, стал на фабрике вахтёром работать. Да там пряничному мастеру нынче и делать нечего — муки нет, сахара нет, масла нет, ничего нет. Привозили туда пресованные бобы какао, давал мне Есманский кусок размером с булыжник. Горечь одна. Ещё там жмых делали, добро бы ореховый, а то не поймёшь из чего, как дерево. Так что Есманский ничего не потерял от того, что в вахтёры его перевели. Да ведь и вахтёр всегда может кусок жмыха с фабрики спереть. Ему даже и проще: он других проверяет, а его кто проверит?

Есманский подкручивал усы и с гордостью рассказывал, как оно там всё вышло. Принесла кассирша зарплату в кожаной сумочке. Уже в проходную заходила, когда сумку у неё какой-то хмырь из рук рванул, кассирша-то — цепкая, сумку не выпустила, закричала. Есманский как раз сидел с ножом в руках, жёрдочки для птичьей клетки обстрагивал. Ну, выскочил он с ножом в руке и верзилу этого в спину пырнул. Сам такого эффекта не ожидал — насмерть.

— Тебе бы, злодею, лишь бы людей убивать! — сказала Никитична. — Удивляюсь, как это с убийцей столько лет прожила, мог ведь и не резать, либо в ногу его пырнуть, или в руку.

— Ага! Хорошо тебе на кухне сидеть, рассуждать, а там-то в горячке ты бы не то запела. Какой же я вахтёр был бы, если бы кассиршу не спас, рабочую зарплату не отбил бы у бандита?

Я смотрел на Есманского: но, может, хоть немножко того человека ему жалко? А он всё усы подкручивал.

Мать в тот вечер набралась изрядно, повёл я её домой, а она сообщила:

— Меня из комбината в артель «Рекорд» перевели техно-руком.

— А что это за должность?

— Так — помогать, кому делать нечего. Выдашь кому сырё, запчасти. Мастеров проверишь, чтобы меньше левых заказов брали...

Действительно, в новой своей должности стала она целыми днями по мастерским бегать. Проверяет сапожников, фотографов, портных, чтобы материалы аккуратно расходовали, чтобы больше денег в кассу сдавали, а меньше себе в карман клали. Но, как я понял, эта новая должность была очень хлопотливая и нервная. Придёт мать в мастерскую, а фотограф говорит:

— Модесса Ивановна! (Это она себе в последнее время такое имя придумала.) Модесса Ивановна! Не могу вас отпустить без угощения. Ведь вы о нас о всех думаете, заботитесь, целый день — в бегах, вам и перекусить некогда. Так что уж не отказывайтесь.

Она и не отказывалась, к вечеру иногда у неё и язык заплетался.

В сапожной мастерской работал дяди-Серёжин сын Генаша. Встретился я с ним однажды в конторе артели, я в ведомости за аванс расписывался, Генаша посмотрел на это дело и сказал:

— Угар!

Через неделю стало известно, что в нашей артели кто-то склад подломил, утащили рулон хрома, из этого рулона можно было сшить сапоги для целой роты. Вскоре забрали несколько парней, в том числе и Генашу. Отправили его на Колыму. Работал он там отлично. Позднее стало известно, что Генаша уже без конвоя ходит. Сопровождал он почту на самолётах. Не повезло. Упал самолёт в болото — убились все. Но это уже позже было. А тогда и мать мою стали в милицию вызывать, так как в краже был её племянник, однофамилец, замешан.

Теперь уже она стала с горя выпивать, и Есманские ей в этом сильно помогли, не успевали в лагушке брагу заводить. В общем, сочувствовали.

Настал момент, когда мать уволилась по собственному желанию из артели «Рекорд» и стала заведующей залом и марочницей в ресторане «Север», в том самом ресторане, где когда-то гулял её братец — дядя Петя. Теперь этот ресторан открылся после долгого перерыва вновь. Кормили там и по аттестатам, и за наличные, посетителями были в основном офицеры да директора местных предприятий.

Поваром в ресторане был заистокский татарин, который почему-то носил фамилию Иванов, а звали его Василием Ивановичем. Приду я, бывало, в ресторан, зайду в холодную кладо-

вую, которая граманжей называется, мать мне тарелку манной каши принесёт и котлетину какую-нибудь рыбную, офицерами не доеденную. Сижу, ем. Забегают Василий Иванович с матерью, у плиты стояли — красные оба от жара. Наливают из графина по полстакана холодной водки, чокаются:

— Во славу русского оружия!

Не успею я свою манную кашку доесть, они снова в граманже появляются, опять из графина наливают, и произносят свой громкий тост:

— Во славу русского оружия!

Причём тост они этот говорят дуэтом.

Не понравилось мне всё это. Мать поняла, конечно. Поясняет:

— Он — заведует производством, я — залом, у нас должен быть тесный контакт, тем более, что я его контролирую как марочница.

Василий Иванович в самом деле был мужик неплохой, только напивался сильно. И никогда не ел варёную морковь. Раз напился он до безумия и по своей привычке пошёл в граманжу, чтобы на мешках вздремнуть, прохладиться. Поварихи взяли да и натолкали ему, сонному, в штаны варёной моркови. Василий Иванович проснулся, чувствует — в штанах что-то такое мягкое, сырое. Сунул туда руку, посмотрел и говорит:

— Может быть, пьяный был, это может быть, может быть, в штаны наклал, и это может быть... но морковь — не может быть!..

Нет, коллектив ресторана ни Василия Ивановича, ни маму мою за выпивку не осуждал: у воды, да не замочиться? Мать сняли с работы не за пьянку, а за потерю бдительности.

Был праздничный ужин, офицеры подвыпили, на эстраде певичка в длинном платье пела в стиле Клавдии Шульженко, голос у ней был чуть похуже, чем у знаменитой певицы, но тоже неплохой. Над большим бассейном вздымал свои струи фонтан. Он бил из кувшина, который держала в руке наяда. Над этим фонтаном мать много работала: наняла какого-то заезжего скульптора-грека, которого целый месяц здесь кормили и поили, пока он наяду ваял.

Двое полковников подошли к эстрадной певичке и говорят:

— Хотим живую наяду в воде, и чтобы вся в натуральном виде. Певичка, эвакуированная полячка, была не из робких:

— Бросайте в бассейн пятьдесят тысяч, и наяда будет!

Полковники — только что с фронта, видать, не без трофеев приехали, бросили в бассейн деньги. Певица взялась за ворот платья двумя руками, дёрнула, платье и разлетелось на две части. Завизжала она, туфли на бегу сбросила и в бассейн — хлесь! Офицеры претензию заявляют:

— На вас, извините, плавочки, а мы деньги за натуральный вид платили...

Певичка деньги в бюстгальтер спрятала, из бассейна выскочила и — бежать. Однако полковники её перехватили и попытались раздеть. Тут-то и вмешался в это дело влюблённый в полячку майор. Он выхватил пистолет и заорал:

— Назад, тыловые крысы! Всех изрешечу.

— Это ты, обозник несчастный? — крикнул один из полковников и прострелил майору руку.

Сами они всё это сотворили, а моя мать при чём? Но отвечать пришлось ей, потому что должность у неё такая — заведующая залом. За всё, что происходит в зале, она должна была отвечать.

Уволили её. Бассейн этот с фонтаном разобрали, статую наяды сломали. Не нужны советскому ресторану всякие там полуголые мифологические сюжеты, разлагающее влияние Запада. Матери в трудовую книжку вписали формулировку: «Уволена за халатность».

В эти дни к нам приехал на побывку дядя Петя. Он очень сожалел, что не застал мать на её боевом ресторанном посту.

— Будь я там в тот вечер, у меня бы эти полковники до станции Тайга без кальсон бежали бы. Уж я бы им показал, как над искусством издеваться...

У дяди был один палец срезан вражеским осколком. Фаддеевич, узнав об этом, сказал:

— И к гадалке не ходи — сам он себе через доску этот пальчик отстрелил. Так самострелы опытные делают, чтобы пороховых ожогов на коже не было. Хорошие люди гибнут, а подлецов и чёрт не берёт...

Таисия же, зардевшись, сказала:

— Почему вы, папа, никому не верите? Ведь вполне могло ему палец и осколком срезать, ведь он человек не робкий. Мой Женька — ну весь в отца! И лицом, и характером...

Таисия, видимо, надеялась, что дядя Петя зайдёт на сына посмотреть, даже с матерью моей ему такую просьбу передала. Но дядя Петя как засел в ресторане, так и не выходил из него, пока у него отпуск по ранению не кончился.

Он рассказывал, что в госпитале в Свердловске в него влюбилась женщина — главный врач. Она его с этим пальцем вместо месяца полгода лечила, да ещё потом отпуск на два месяца дала. Но теперь он должен был прибыть в штаб Сибво, а уж там ему дадут назначение.

Он подарил мне на прощание свою фронтовую зажигалку и отбыл в Новосибирск. В лейтенантских погонах он был не только красив, но ещё и очень мужественен.

Мать сказала:

— Мне здесь с такой трудовой книжкой делать нечего. К тому же опять в милицию вызывали, а эти крючки как привяжутся, так уж не отстанут. Какое-нибудь дело да накрутят — не за ресторан, так за артель. Опытные люди советуют мне переехать. Наверно, поеду в Щучинск к Шуре и к маме, а ты сам решай — ехать или здесь оставаться.

Ехать мне не очень-то хотелось. Мать сказала, что поедет одна, если хорошо устроится, то и меня вызовет.

Распродала она остатки нашей мебели, квартиру в горисполком сдала, говорит:

— Дали мне справку о том, что сдала жилплощадь, на новом месте согласно этой справке быстренько какое-нибудь жильё получу. А ты уж у дяди Кости поживёшь.

Проводил я её на вокзал и стал жить у дяди Кости. Спал я там на кухне, на большой русской печи вместе с котом Пыней.

Всё в этом доме было не так, как у нас. Хотя многое было похоже. На печи валялись старые телогрейки, и мне ничего больше и лучше и не требовалось.

Константин Николаевич уходил в свою милицию, когда я ещё спал, а возвращался, когда я уже спал, я его почти и не видел, только по выходным.

Тётя Оля обращалась со мной не грубо, но и не ласково. Впрочем, она и своих девчонок не слишком-то баловала лаской, так мне казалось.

На кухне помещался картонажный стол-верстак с ножом для резки бумаги. И мы всё свободное время проводили у этого стола. Клейстер тётя Оля делала из гнилой картошки, её нужно было мелко натереть на тёрке и взболтать загируху в воде, крахмал выпадал в осадок. Клейстер из него получался чёрный и горький. Им нужно было быстро и ровно намазывать бумажные полосы. Особенно тщательно требовалось промазывать кромки.

Тётя Оля была «надомницей». Под её руководством, а в выходные и под водительством Константина Николаевича, который был в этом доме самым главным картонажником, мы с Галей и Светкой клеили коробки для конфет, конверты, папки-скоросшиватели. Мы со Светкой тайком поедали крахмал из миски, и тётя Оля говорила басом:

— Как это крахмал у вас кончился? Я вам только что полную миску его положила, вы что? Жрёте его, что ли?

Она и не подозревала, как была близка к истине.

В подвале было холодно и сыро. В морозы окна покрывались куржаком. Тётя Оля густо материлась, пуская дым из ноздрей и разглядывая насмерть замёрзшие её любимые цветы в горшках и кадушках.

Мы ходили в сарай пилить принесённые Константином Николаевичем со станции какие-то железнодорожные гнилушки,

окрашенные жирной пожарной краской. Возможно, это были фрагменты какого-нибудь древнего станционного здания. Гнилушки давали мало тепла, их было мало. Тётя Оля старалась топить печь ближе к ночи, чтобы хоть спать было теплее. Печную трубу она закрывала, когда в топке ещё было полно не прогоревших углей. И мне вспоминалась старушка из какого-то спектакля, виденного мной в местном театре. Та тоже закрывала трубу раньше времени, рассуждая вслух: «Голова-то своя, а дрова-то купленные». Поскольку я спал в кухне, большая часть угара доставалась именно мне, боялся, что однажды не проснусь, вставал, выходил потихоньку в сенцы, чтобы отдышаться. Ложился вновь, усталость брала своё, я всё же засыпал. И вставал с изрядной головной болью. Тут и вспомнились мне Генашины слова про угар. Не на эту ли кухню намекал он? Неужто двоюродный обладал пророческим даром?

Я вновь вспоминал его, жгучего брюнета в белой шапочке-кубанке. Такие шапочки были тогда в моде в Томске. Были кубанки мужские, были и женские. Шили их из обыкновенной цигейки, реже из крашеного кролика. И были они так же похожи на настоящие кубанки, как, скажем, вилка на бутылку. Эти шапочки скорее напоминали маленькие перевёрнутые кастрюльки, чем что-либо другое. Это был синтез дефицитности любых материалов и крика моды. Само название шапочек этих напоминало о юге, может, это-то и был секрет популярности данного головного убора.

Так вот, стоял Генаша в конторе, перед столом бухгалтера — гордо, не снимая своей шапочки-кубанки, увидел, как я, неразумный шпингалет, расписываюсь в ведомости за свой первый в жизни аванс, это его так поразило, что произнёс он одно только слово: «Угар!». И столько в этом глубинного, неразгаданного мною и сегодня до конца, смысла! Нет, по зрелом размышлении я стал склоняться к той мысли, что двоюродный имел в виду не только угар от тёти-Олиной печки, а говорил об угаре в каком-то более важном, более широком смысле.

Последнее танго

Зимой 1943 года в нашу мастерскую на улице Равенства-Плеханова поступил учеником Мишка Чумаков. Он жил на Тверской, через дом от нас. Один из его братьев чинил чуть не всей улице примуса и велосипеды, а летом с грохотом катал по нашей улице на мотоцикле, собранном им из разного хлама.

Возможно, что Мишка перенял у брата любовь ко всякой технике, и это привело его к нам в мастерскую. Но как на это

можно было променять ресторан, где Мишка работал поваром? Боже мой, я только о том целыми днями и думаю, как бы хоть что-нибудь на зуб положить.

— Мишка, ты, поди, в ресторане жрал, что хотел?

Мишка, такой солидный, полнеющий в неполные двадцать лет, показал наполовину золотые, наполовину чёрные зубы:

— Там о еде не думаешь. Шеф блюда пробовать заставлял. То горячегохватишь, то холодного, то кислого. Зубы сопрели, желудок загубил. Всю смену на ногах толчешься, лакейская должность.

— А здесь — не лакейская?

— Здесь в деле тонкость есть, солидность, деликатность. А насчёт пожрать, так я на вечеринках, на свадьбах на баяне играю, он у меня особенный, выборный, на нём не каждый сыграет. Да и вообще таких баянистов, как я, поискать.

— Знаем. И баян твой вся Тверская знает, ты его Марковым заказывал...

Мне вспомнилось, как летними вечерами из Чумаковской усадьбы доносились волнующие звуки. Вся окрестная мелюзга училась танцевать, шоркая босыми пятками по зарослям мать-и-мачехи и подорожника возле чумаковского забора.

Теперь этот повар-баянист сидел в нашей мастерской, пытался собрать им же разобранный будильник и довольно напевал:

И часики идут,
И маятник болтается,
И стрелочки бегут,
И всё как полагается...

Бывают же многогранные люди! Музыкант и повар, и мало ему!

Чумаковы занимали верхнюю часть дома с верандой и полуподвалом, в котором у них поселился приезжий кержак.

До войны я часто бывал у Чумаковых. Дед у них спал на кухне за ситцевым пологом, и мне невольно вспомнился альков коварной Миледи из книжки про трёх мушкетёров. Сказал об этом моей матери, она посмеялась:

— Это деревенские обычно отделяют лежанку или кровать занавесками, а горожане пользуются ширмами — это красиво и практично. Ширму на ночь поставил, утром свернул, унёс в чулан.

Мне нравилось бывать у Чумаковых. Семья большая, не то что у нас. В обед Чумаковы ставили на стол огромную миску, садились вокруг неё и дружно черпали ложками. Находилось место у этой грандиозной миски и мне. Но то было до войны.

Наш горбатенький мастер Бынин к вечеру успевал «нашивать леваков», деньги у него водились, и Мишка ему обычно готовил ресторанный ужин на нашей маленькой одноконфорочной плите. Для каждого блюда он имел особенные дрова: сосновые, кедровые, берёзовые. Оказывается, это тоже имело значение.

— Эскалоп? — спросил Мишка, повязывая фартук.

— Остолоп! — сказал Бынин. — Антрекот сделай.

В плите взвыло пламя. Мишка ловко накромсал мясо, положил его на одно полено и отбил другим.

Желудок у меня начал протестующе сокращаться. Сейчас Бынин отпустит меня и своего племянника Толю домой, а они с Мишкой будут тут пить водку и есть по-ресторанному приготовленную вкуснятину.

— Вы остолопы, тоже останьтесь, — неожиданно сказал мастер, — поднесу по рюмашке в честь наступающего и во имя нашей будущей победы...

Один клиент, выпивая с Быниным, сказал однажды, что в жизни каждый человек раз выпивает свою первую стопку и раз — последнюю. Только они имеют значение, остальные — не считаются. Эта народная мудрость прочно засела в моей голове. Теперь мне захотелось опрокинуть свою первую стопку. Племянник Бынина пить наотрез отказался, он был от природы скромен и суров.

— Ну и антрекота не дам, — сказал Бынин, — стану я закуску зря переводить.

Толик хлопнул дверью.

Прихватив бутылку тряпицей, игравшей роль салфетки, Мишка, как заправский официант, разлил по стопкам сорокаградусную.

Я хотел выпить лихо, залпом, по-гусарски, но поторопился, поперхнулся, закашлялся.

— Тебе не вино пить, а разведённую простоквашу! — усмехнулся Бынин.

— Да чо я, первый раз, что ли? Да я стаканами пил. Не пошла что-то, со всяким может случиться.

Это я сейчас знаю, что у меня есть сердце, сосуды, печень, тогда теоретически я это тоже мог знать, но мне это было без надобности. В тот вечер первая в жизни стопка зажгла у меня внутри маленькое солнышко, от которого веселье и беспечность упругими волнами поднимались к голове. Мой хмельной и язвительный мастер и темнозубый Мишка казались такими умными и милыми, такими родными, что хотелось обнимать их и плакать.

Откуда-то в мастерской возникла женщина, вынула себя из шубы, потом из разреза платья вынула полушарие с соском:

— А? Сосунок?

Лиса с горжетки скалила зубы, хотелось погладить и лису, и женщину. Я встал, пошатнулся, меня поташнивало. Услышал голос Бынина:

— Лучше сгинуть в поле, чем в бабьем подоле! Веди его, Минька, домой, небось, сразу проветрится.

Женщина, обнимая Бынина, сказала:

— Там такой колотун, что сосуночек сразу проветрится.

Мы вышли в ночь. Над печными трубами стояли дымы. Заборы были давно сожжены, тропинки вели напрямик сквозь дворы. Куржак серебрился на бревенчатых стенах, на сохранившихся кое-где резных завитках. Солнышко во мне уменьшилось, но не растаяло.

— Мишка, нам хорошо, верно? Ты — в демисезоне, я — в телогрейке, а не мёрзнем. А прошлой зимой на Крестьянской мужиков мыли в полосатых халатах. По-русски ни белье, спросил, — не узбеки ли? Мотают головами в чалмах. Кассирша кричит: «Мальчик, не подходи к ним, с них вши валяются, как осенью с кедров шишки».

Смотрю: халаты у них на груди с большими вырезами, груди загорелые, волосатые. Прямо — пираты! Так я и не понял, кто они, за что к нам сосланы. Не добровольно же в Сибирь-то попали? Как думаешь? Нынче их в городе не видать. Перевели куда-то?

— Упрятали.

— Куда?

— В землю. Ссылные. На стройке работали. За зиму все сгорели, лёгкие у них к нашим морозам не приспособлены, работа — на улице, паёк — голодный, ночёвка в холодном бараке.

— Да-а! Мы-то в их жаре запросто стали бы жить, грей себе пузо на солнышке, а вот им в нашем холодке — слабовато. Я вот в чунях всю зиму хожу, телогрейку уже и штопать негде, и — хоть бы хны.

Я в кепке всю прошлую зиму проходил, шапку было купить не на что. Получилось воспаление среднего уха. К врачу не ходил, чего там в очереди стоять. Люди подсказали. Вечерами тёплую золу в тряпке к уху приматывал. Днём завяжешь ухо этой же тряпкой, и — на работу.

Полведра гноя с кровью вытекло. Думал, и мозги все вытекли. Бынин ругался, ему на мою грязную тряпку смотреть тошно. А где другую взять? Теперь и тряпка — дефицит..

Ну и что? И вижу, и слышу, и говорить могу, одна беда — жрать всё время хочется.

— Завтра я на свадьбе играю, на Петровской, айда со мной, поможешь баян нести, и наешься там, на свадьбе.

— Какой номер — Петровская?

— Тридцать девять, там у тёти Шуры Лоскутовой кто-то женится.

— Обязательно пойду! У меня там дядя родной, дядя Костя в этом номере живёт, да и тётя Шура мне какой-то дальней родней приходится. Ну, брат, жизнь у тебя с баяном! Обязательно пельмени будут, свадьба же! Пельмени теперь меньше копеечной монеты делают, больше десяти штук в тарелку не кладут, но всё равно — класс! Хоть вкус вспомнить...

Трах! Показалось, что кто-то перетянул меня тяжелой дубиной по спине. Сугроб перевернулся, сверкнуло звёздное небо, потом темнота, мотание, стуканье головой, чей-то крик.

Случилось это на Алтайской, возле Орловского переулкa. Едва я осознал себя, увлекаемым куда-то по морозным ухабам, как меня отпустило, и я оказался лежащим поперёк дороги, как раз напротив Петропавловской церкви, окна которой были забиты досками, так как тогда там хранилось зерно.

Заметил я удалявшийся «Виллис». В конце Сибирской основалась медсанчасть, вот, видно, туда и гнали. «Виллис» — такой странный американский автомобиль, высококонький, узенький. Один такой возле почты недавно с высокого косогора брякнулся, тоже военные ехали. Пьяные. Убились все. Там косогор высокий, а дорога оледенела.

Я приподнялся, ощупывая руки и ноги. Ничего вроде бы. Спина только ноет сильно. Встал, отряхиваясь. Мишка уже был рядом:

— Что? Где болит? Что? Всё цело? Это тебя Бог спас за то, что ты сирота несчастная...

— Кто сирота несчастная?! — возмущённо воскликнул я. Сам ты несчастный!

Нет! Никогда я себя особенно несчастным не считал, а уж сиротой и подавно. Оказывается, другие это видят иначе.

— Так как же не сирота? Батя на фронте погиб, matka уехала. Один — стало быть, сирота. Годы твои ещё несовершеннолетние.

— Мать из-за растраты смылась, что ей, садиться было? Она ведь мне пишет, зовёт к себе. С Томском расставаться неохота, вот что. Как магнит какой тут спрятан.

Мишка не слушал, он повернулся к церкви и мелко крестился, он даже на колени упал:

— Слава тебе, Господи! Благодарю тебя за чудо твоё!

— При чём тут чудо? Пьяные ехали на «Виллисе», а два выпивших разгильдяя рты на дороге разинули.

— Это ты зря, — укоризненно сказал Мишка, — истинное чудо. Ты что? Они ведь тебя сшибли да ещё сильнее газанули. Едут, сволочи, без фар. Если бы голова — под колесо? Каюк сразу! А руки-ноги переломало бы, рёбра, позвоночник? Инвалид на всю жизнь. А ты невредим, и в аккурат напротив церкви из-

под машины тебя вытащило. Как не чудо? Слава тебе, Господи! — снова мелко и быстро закрестился он, опять оборотясь к церкви.

Я ощущал неловкость. И чуда мне всегда хотелось, и верить в него не мог. Столько боли и мерзости к своим тринадцати испытал. А может, он был прав? И после что только со мной ни делали в этой стране, а вот, живой, сижу, пишу эти строки. Может, кто-то меня только единственно для этих строк и сохранил?

На другой вечер на Петровской, тридцать девять я ел пельмени, косясь на жениха с кирпичной рожей и на невесту в белом, которой, по-моему, жених и мизинца не стоил. Сержант в госпитале долечится и опять на фронт. Но, говорят, теперь девушке и такого жениха трудно найти. Эх, был бы я чуть потолще и чуть постарше!

Мишка играл на баяне. Две Вали, которых, чтобы отличать, называли Белой и Чёрной, выскочили в круг и с визгом и топотом запели:

Сыпала, посыпала,
Серединка выпала,
А остались краешки
Милому на vareжки!

А чудесное солнышко было снова во мне и посыпало свои ласковые волны к моей голове. И я чуть не заплакал, когда Мишка заиграл танго и все запели:

Новый год, порядки новые,
Колючей проволокой лагерь ограждён,
Со всех сторон глядят глаза суровые,
И смерть голодная нас ждёт со всех сторон...

Выборный баян рассыпал перламутровые блики, мелодия танго была одновременно торжественной, горькой и грустной. Колючая проволока, лагерь, суровые глаза — всё всем было понятно и близко. Такая страна, такая земля — страшная, горькая и сладкая одновременно. Каждый, конечно, думал о своём: и я, и Мишка, и невеста, и дубоватый жених. Все посуровели. И старинные часы как раз в это время пробили двенадцать.

Запах хвои, опрокинутые рюмки прозвенели, как бубенцы издалёка. Рукавом кто-то задел их. Жар от печки, холод — от окна. Кто-то выходил, кто-то входил, кто-то исчезал совсем. Мишка потряс меня за плечо:

— Ну, три часа ночи уже. Домой-то пойдём? Играть уж некому, лыка не вяжут.

Мишка был почти трезв. Ему, разумеется, подносили, но он всё это сливал в специально принесённый бидончик, дескать,

сейчас я при исполнении, потом, дома, приму за ваше драгоценное здоровье, за новое счастье и всё такое прочее.

— Мишка! — сказал я, очнувшись. — Мишка, тут ёлка нарядная, тепло, ещё холодец остался, давай тут ночевать? С баяном идти теперь опасно.

— Да мы же вон с Федькой! — указал Мишка на парня в милицейской форме.

Я его, этого корявого, немного знал. Он где-то там за углом на Сибирской жил. С милиционером, конечно, и в три часа ночи не страшно, но меня разморило, и так не хотелось уходить из тепла.

— Мишка, ночуй, — посоветовал я, — а то оставь здесь баян, а завтра заберёшь.

— Ну да, всякая пьянь тут его дёргать будет, выборный баян, дорогой, сам знаешь. Мы с Федькой пойдём...

Спал я на горячей русской печке вместе с незнакомыми пьяными парнями. Они тяжело храпели и дышали перегаром.

Встал я раньше других. Тётя Шура предложила мне опохмелиться, как взрослому. Но я сказал, что опохмеляюсь лишь на пятый день запоя, а вот холодца пожую, чайку стаканчик — с удовольствием.

День был рабочий, а Мишка в мастерскую не явился. Бынин сказал:

— Запил, поди. Ты рядом живёшь, зайди в обед к нему, узнай.

Пришёл к Чумаковым, а у них вой. Мишку утром в проруби нашли. Кто-то затемно воду брал, ведро зацепилось. Грудь у Мишки была прострелена и голова.

Шли они с милиционером, баян большой, тяжёлый, а у милиционера заклинило в голове: дорогая вещь, денег много будет. Переходили Ушайку, прорубь на пути, ну, стало быть, концы в воду.

Милиционер — он кто? Просто парень с двумя классами образования и ничего больше. А вид ему придают фуражка и шинель. Вид придают, а ума и доброты не добавляют. Да и какие тогда милиционеры были? Или женщины, или древние старцы, или сопляки.

Выходил я от Чумаковых, а следователь зачем-то как раз Федьку туда привёл. Эксперимент следственный или что там...

Мишкины родители о чём-то Федьку тихо спросили, и зарыдал он, как заполошный.

Я шёл на работу, а в голове у меня звучало последнее танго Мишки Чумакова:

Со всех сторон глядят глаза суровые,
И смерть голодная нас ждёт со всех сторон.

Улица Равенства

Этот дом на углу Гагарина и Плеханова теперь реставрируют предприниматели. Мне интересны два окошка нижнего этажа дома со стороны Гагарина, бывшей Равенства. Вон там, в глубине комнаты, мой верстачок и стоял. Возле окошек сидели Василий Андреевич Бынин со своим племянником Толей. Толин верстак был возле самой двери, а мастер сидел возле второго окошка, поодаль, чтоб не дуло.

В двери было прорезано квадратное окошечко, приделана была к нему небольшая дверца. В этот квадратик заглядывали к нам клиенты.

Если обращалась молодая, красивая женщина, Василий Андреевич вставал, отворял, приглашал:

— Пожалуйте внутрь, присаживайтесь рядом со мной, вместе посмотрим ваши часики.

Василий Андреевич был дважды горбат, но лицо имел симпатичное: лучистые голубые глаза смотрели гипнотически, на широких скулах играли волевые желваки. Говорил он ласково, вкрадчиво:

— Вы кому-нибудь давали?

Если клиентка отвечала, что лишь раз показывала одному мастеру, Бынин говорил:

— Зря! Давать надо только настоящему знатоку дела, больше никому давать нельзя, даже показывать. Неумеха только напортит. Волосок у вас дамский, нежный, он его помнёт и никакого удовольствия. Настоящий мастер и ритм должный создаст, и по времени всё будет хорошо...

Приговаривая так, он разбирал часики, устранял поломку, сам надевал даме часы на руку, целуя кожу возле часов, говорил:

— Будет беспокоить, заходите к вечеру, проверим. Заодно чайку попьём, у нас за ширмой столик, лежаночка, если кто утомление чувствует...

Иные дамы хихикали, иные молчали, оглядываясь на дверь. Но нередко случалось, что к концу рабочего дня какая-либо из дам являлась и говорила, что, вот-де, часики отстают.

Тогда Бынин говорил нам:

— Дуйте домой, ребятки, нынче дежурство без очереди проведу, а вы потом оплатите.

С 1943 года мы стали по очереди ночевать в мастерской, ибо под Новый год в неё лезли воры. Они уже сломали толстое бемское стекло в том окне, где на подоконнике Бынин установил бронзовые часы с амурами и завитушками, находившиеся под током.

Воры лишь сдвинули часы с места, в мастерскую не полезли. Но Бынин сказал, что теперь они могут прийти в резиновых перчатках, со специальным инструментом, и отключат ток, лучше уж сторожить.

Обычно мы ночевали в мастерской с Толиком, вдвоём веселее. Мне было тринадцать, Толик был на год старше, почти юноша, голубоглазый, как все Бынины. С чёрными тонкими бровями, с правильными чертами лица. Им уж иногда и девичьи интересовались, но вёл он себя нередко по-мальчишески.

Мы выковыривали пистоны из оставленных Быниным патронов, заполняли ямку пистона хлебным мякишем, накалывали на шило и кидали так, чтобы пистон взорвался, ударившись о стенку. Мишенью нам служил плакат с изображением сталевара.

Встали в семь, в восемь открыли мастерскую, но Бынин опаздывал.

— Давай халтуру сшибём! — предложил Толя. — Что, в самом деле! Мы тоже люди!

Как раз в наше окошечко всунул голову боевой майор, на груди звякали две медали. Часы у него, видите ли, встали.

Толя вдел в глаз лупу, посмотрел, сказал:

— Обождите минуточку, наладим.

Он вставлял в барабан часов новую пружину, а я тем временем чистил и смазывал механизм. Управились быстренько.

— С вас сто семьдесят два рубля шестьдесят три копейки, — назвал Толя цифру позакovskyристее.

Сердце у меня радостно запрыгало: заработали, халтуру сшибли, ура!

— Деньги вам? — переспросил военный. — Деньги? — достал он потёртый бумажник. — Вот деньги! Вот деньги!

Он доставал сотенные бумажки, комкал их, совал в рот и жевал.

Это было так дико, глупо и страшно, что Толя забыл всю свою солидность и жалобно попросил:

— Дяденька, не ешьте деньги!

— Деньги вам?! — повторил майор и стал рвать двери с крючка. Я вспомнил, что за ширмой у нас есть ружьё, есть и патроны к нему. Не все же мы распотрошили? Я бочком двинулся за ширму... Чем бы это всё кончилось, не знаю, но тут явился Бынин. И майор странным образом успокоился и даже рассчитался за ремонт.

И, ворча что-то себе под нос, удалился.

— Тэк-с!? Халтурите тут без мастера! — насупился Бынин. Прощёл за ширму, увидел обожжённого и покалеченного нами плакатного сталевара, но только головой покачал. С утра у нас клиенты шли, что говорится, косяками, не до разговоров.

В обед Бынин съедал за ширмой парочку домашних котлеток, пил водку, звякая бутылкой о стакан. Из-за ширмы он появлялся порозовевший, взобравшись на табурет, напевал:

Все говорят, что я вёдра починяю,
Все говорят, что недорого беру!

Теперь уже мы с Толиком обедали. Толик делился со мной варёными картофелинами. У меня ничего не было кроме крохотного кусочка пайкового хлеба.

Мы дома ничего кроме пайкового хлеба не имели, картошка на базаре стоила шестьсот рубликов! Я и на работу-то устроился из-за увеличения пайка. Иждивенцу хлеба давали лишь четыреста граммов, а рабочему целых шестьсот!

С начала войны нашу квартиру трижды обокрали, продать нам с матерью было нечего. Пайка мне никак не хватало, организм хотел расти, и бунтовал, в животе постоянно что-то ныло и сокращалось.

Совестно было объедать товарища, но что было делать? Дома уже давно ни одной картофелины не было.

После обеда Бынин обычно давал мне записку к буфетчице Зине, работавшей в буфете клуба «Строитель». До него рукой подать, находился он примерно там, где теперь стоит гостиница «Сибирь».

Я отдавал Зине Бынинскую записку и расписанный розами четырёхлитровый бидон. Она хватала посудину, успевая другой рукой пощекотать мне неудобное место:

— Может, покормить, чтобы стебелёк быстрее рос?

Меня тошнило от запаха её крема, пудры, духов. «Дура!» — думал я.

И говорил:

— Давай быстрее, у дяди Васи гости!

Схватив бидон с пивом, я выбегал во двор, прятался за поленицей, отпивал примерно пол-литра пива, подходил к торчавшей во дворе колонке, доливал воды.

Я был очень доволен проведённой операцией. Я же читал плакат на стене литературной командирской столовой, что там было сказано?

«Пейте пиво Росглавпива! Кружка пива заменяет по калориям четыреста граммов хлеба!»

И вот я шёл и высчитывал. Я съел в обед сто граммов хлеба да пару Толиных картофелин весом примерно граммов сто. Двести. Приплюсовать сюда пивные четыреста, ого!

Бынин пил пиво и ворчал:

— Ну, Зинка, сука, своим разбавленное продаёт!

К вечеру Бынина изрядно развезло, он сидел за ширмой, горестно подбоченившись, и вдруг позвал нас:

— Эй, вы! Рабочего расстреляли?
— Мы же не часовщика, а сталевара...
— Всё равно! За такое знаете что бывает? Что такое рабочий класс, знаете? Запорю!
— Как запорется! Нажрались до свинства, а ещё чего-то...
Рабочий класс халтуру не сшибает и так не надирается!

Толя смотрел мастеру прямо в глаза. В нём проснулось бынинское упрямство.

— Ах вы щенки! Смотрите!

Бынин подбежал к рубильнику, сжал его рукой, по скулам ходили желваки, рука дрожала, но он пропускал через себя электроток минут пять, если не больше. Отпустил, обернулся к нам:

— Кто из вас повторит?

— Мы ещё с ума-то не съехали! — отвечал Толик.

— Так я, по-твоему, съехал? — Бынин взял племяша за ворот рубахи.

Подрались бы, но тут раздался мелодичный голосок:

— Можно к вам?

Бынин отворил дверь, вошла девушка, почти девочка. Где я видел её?

Да это же Муська! Быть не может! Бынин смотрит масляно, двусмысленностями её веселит, а она-то заливаётся... Неужели?..

В девятом номере жила на горке, через два дома от нас. Там ещё тогда кержаки в подвале поселились. Кержацкий пацан Илья был много крупнее меня, но смирный, это мне нравилось. Его младшая сестрёнка Нина, тоже белокурая, с большими грустными глазами, с ямочками на щеках, очень похожая на киноактрису Марину Ладынину, дружила с этой самой Муськой.

Мать меня ругала, что в кержацкий подвал хожу. Отец их, бука, в тарном цехе на «Конфетке» бочки ладит, а сам туберкулёзом болен. Куда медики глядят? Тарный, но всё равно, продукты рядом. Врачей в дом не пускает. Лекарства, говорят, в отхожее спускает, дескать, всё это от беса.

— Уморит, чёрт белобрысый, детишек. И охота тебе там сразу цеплять? — говорила мне мать.

Разве человек в семь лет боится каких-то там микробов, тем более, что их и не видно! Я приходил в подвал, приходила туда и Муська, на широкой кровати, на туберкулёзных махрах начиналась увлекательная возня.

Мы на том рваном одеяле ели из туюска по очереди патоку, черпая ладошкой, заедали калиновым пирогом, рассыпая по постели крошки. Потом боролись.

И Муська, и Нина были, каждая по-своему, красивы, приятно было ощущать их горячее дыхание на своём лице, они пахли патокой, калиной и родниковой водой.

Илья в этом не участвовал, сидел за столом и степенно повторял:

— Будя!

Спрашивал я Илью, пойдёт ли он зимой в школу. И он показал руки, возле больших пальцев можно было нащупать ямки: косточки там выпали.

Это озадачивало: как косточки могли выпасть сквозь кожу?

Вскоре Илья умер. Нина тоже болела. Трогательная, с болезненным румянцем на щеках, белыми мелкими зубками, она любила нас с Муськой. За то, что мы играли с ней.

Мать ворчала: «Тебе в том подвале как мёдом намазали. В духоте, сырости и здоровый дуба даст. Не с кем играть?..».

Через какое-то время умерла и Нина. А кержак ещё долго жил в там подвале, угрюмый и одинокий.

Я стал ходить к Муське, она была красива не такой, как Нина, красотой, более резкой, насмешливой, что ли? Но тоже нравилась. Мы вспоминали своих мимолётных друзей, собирались сходить к ним на могилки, прибраться, поплакать.

Но детство беспечно. Мы так и не собрались к Нине и Илье. Потом грянула война, Муська куда-то переехала из девятого номера, я потерял её из вида.

Теперь Муська сидела в нашей мастерской в малиновом берете, курила бынинскую беломорину, сбивая пепел оттопыренным пальчиком прямо на пол.

Наконец она узнала меня:

— Ты тоже здесь работаешь? — спросила просто чтобы что-то сказать. Смотрела, как умудрённый опытом человек на несмышлёныша, хотя возрастом мы были равны.

— Можете пойти сегодня домой пораньше, — сказал нам возбуждённый Бынин. — Я сегодня за вас подежурю...

— Очумел! — сказал Толик, когда мы вышли.

— Лихой! Давно он такой?

— Всю жизнь. Жена его, тётя Маруся, ревновала поначалу. В мастерской накрыть с бабой пыталась. Жена в парадную дверь стучит, а он шалаву с чёрного хода выпускает.

Пришла раз тётя Маруся с сестрой, изловили одну, волосики ей сильно проредили. Так он сказал, что на развод подаст. А Бынины упрямые, слово держат. Тётя Маруся и отступилась.

— Знаешь, отчего он горбат? Переселялись в Сибирь. Дядя Вася младенцем был. Холодно, на телеге тряско, он реветь. Отец ему кричит: «Молчать!». А он своё. Шваркнул его отец о дорогу...

Муська с того вечера зачастила в мастерскую. А мы с Толей и рады. Пораньше уйдёшь, в «Максимку» на трофейный фильм сходишь, отдохнёшь. Всё дорого, а билеты в кино не подоро-

жали. И книги были дешёвы, как и до войны. Времени бы побольше!

А потом наш мастер вдруг потерялся. День, два... ни дома, ни в мастерской. И страшная новость: за «Карандашкой» на капустных грядках труп Бынина нашли. Тридцать две ножевых раны. Все руки изрезаны и лоб.

Понятно, что руки исполосованы — за нож хватался, или за ножи. А про то, что Бынин «лобовик», мне ещё отец до войны рассказывал.

Прибьют в мастерской поперёк дверного косяка две толстенных доски. Бынин руки назад, разбежится и лбом доски ломает. Лбом любого мужика прибить мог.

Следователи в нашей мастерской все часы переписали, то меня допросят, то Анатолия. Последний раз видели Бынина в ресторане «Север». Был там, разумеется, с Муськой. До закрытия сидели. Уходил из мастерской, так собрал все золотые часы в кошелёк, значит, не в мастерской ночевать собирался, а где?

Муську арестовали. На суде говорила, что Бынина зарезала именно она. Завёл горбун бедную девушку на капустные грядки, изнасиловать пытался, совратитель этакий.

Видно, пригласила она его якобы к себе домой, привела пьяненького на окраину, под жиганские ножики. Слух был: любила Муська отчаюгу одного фартового из Заистока... Эх! А в школе отличницей была, и не злая вообще-то. Мне ли не знать. А всё война, не мать родна. Многих она в закутки позапихала, многим карты спутала. Дали ей, несовершеннолетней, не то десять, не то восемь лет. Куда делась потом? Не знаю.

Той же осенью Толя Бынин отдыхал на Басандайке. Отдыхающие на острове посреди Томи собирали ягоды, когда на берегу в Доме отдыха в рельс ударили, призывая всех на обед.

Народу в лодку набилось столько, что осела она до краёв. Отплыли, а тут мимо моторка прошла, волна от неё лодку и затопила. Толя стал одну девушку спасать, уже из сил выбился, когда в него вцепилась уже другая. Так выбыл Толя из жизни.

А жизнь шла, и несла такие непредсказуемые треволнения, беды-напасти, а иногда и радости. А Толя уже ничего не знал, не чувствовал. И не участвовал ни в чём. И я стал всё реже о нём вспоминать. И мастера Василия Андреевича позабыл.

И всё же... Идёшь по Равенства, дойдёшь до угла улицы Плеханова, глянешь на окна, где наша мастерская была, что-то на миг в душе встрепенётся, и уйдут сразу же дела, заботы.

А недавно иду, смотрю и глазам не верю: по Равенства встречу мне Толя Бынин идёт. Он! И на нём его пиджачок, из отцовского кителя перешитый. Да как это так? Да будь он жив, он вырос бы, я бы не узнал его.

Поравнялись мы, гляжу в глаза — не узнаёт! Не он! Разми-
нулись уже, я позвал:

— Алло! Вы случайно не Анатолий Бынин?

Ну, думаю, сейчас он скажет, мол, ошиблись вы, гражданин.
А он и говорит с ухмылочкой непонятной:

— Конечно, это я, а что вы хотели?

«А что вы хотели?» — это же наш лексикон, так мы к клиен-
там мастерской обычно обращались.

— Толя! — говорю, это странно, но ты же должен меня
узнать, мы же в мастерской часовой вместе с твоим покой-
ным дядюшкой Василием Андреевичем работали. Помнишь,
раз халтуру сшибли, а военный стал деньги жевать? Но я-то
тебя не мог ни с кем спутать — лицо белое, с характерным ру-
мянцем, глаза такие глубокие, голубые. Ты меня можешь и не
узнать сразу, но приглядысь, вспомни...

Он спокойно так отвечает:

— А я уже вспомнил. Я как раз из мастерской этой иду, а
дядя Вася там сидит, вас ждёт... — Он повернулся и быстрым
шагом пошёл.

У меня в голове всё перепуталось: как дядя Вася может там
сидеть, когда там мастерской сколько лет в помине нет, была
контора какая-то, потом жильцы поселились.

Побежал туда, на угол. Смотрю, в окошке — мастер наш, с
лупой в глазу, как ни в чём не бывало, сидит. Дёрнул дверь —
закрыто!

Затарабанил. Вышла тётка в шлёпанцах, недовольная та-
кая:

— Чего ломитесь, я вас не знаю.

— Василий Андреевич, горбатенький, мастер, часовщик, я
только что его видел в окошке.

— Путаете что-то, — сказала она, подозрительно меня огля-
дывая. — Муж мой больной человек, да, но при чём тут какой-
то Василий Андреевич? Часовщик при чём?

— Ну он же с лупой в глазу...

Дверь со скрипом и грохотом захлопнулась. Из-за двери
женщина сказала:

— Если он рассматривает марки, то это никого не касает-
ся. Он инвалид, он так развлекается. Не лезьте в нашу жизнь.
У нас телефон, я милицию вызову!

Я то забываю этот случай, то вспоминаю вновь. Попаду на
Равенства — и невольно вглядываюсь в прохожих: может, сно-
ва Толю встречу?

А в доме, где наша мастерская была, теперь ремонт. Пу-
стота за оконными стёклами. Однажды вечером видел в этих
окнах свет. Фигуру горбатенькую, и другую — тонкую, юно-
шескую.

Кинулся туда — вроде знакомые голоса за окном слышались. Свет в окошке погас. И сколько я ни смотрел в окно, за тёмным стеклом ничего не различить. Постучать не решился.

Мастера первой руки

В часовых мастерских Томска были свои корифеи, среди маленького мастерового мирка передавались о них из уст в уста легенды. Слава иного умельца переживала столетия. Именно в мастерской впервые услышал я об Иване Мезгине, крестьянском сыне, который держал в Томске часовой магазин. Много лет спустя прочёл о нём брошюрку.

Примерно в 1840 году Мезгин стал часовщиком в Томске. Шесть лет он создавал свои особенные часы. Они показывали движение планет, год, день, число и время.

Часы разыгрывали «представление». Была изображена Томь с пароходом и лодкой на ней, по Томи шли волны. На противоположном от города берегу подъезжал кортеж навестившего Томск Великого князя. Игрушечные гребцы перевозили его со свитой в город. Там ожидали его войска и начальство, оркестр играл гимн. В башне был балкончик, «князь» показывался на нём, приветствовал народ.

Где теперь эти часы Мезгина, никто не знает. Но молва о них жива.

До революции было очень много часовщиков на улицах Загорной и Подгорной. Они скупали у старателей золотишко, занимались не только ремонтом часов, но и ювелирным делом.

Михаил Иванович Тягунов жил на Подгорной и, видимо, был человеком тщеславным. Часовщики тогда получали запчасти от швейцарских фирм и собирали ходики с «кукушками» и без. Корпуса делали на месте из сосны.

Тягунов же решил делать на месте и циферблаты, на них стал делать надпись: «Часовой завод М. И. Тягунова».

Эта надпись и сыграла свою роковую роль в 1938 году, когда арестовали и Тягунова, и моего отца.

Однажды, когда отца вели по коридору, он слышал, как допрашивали Тягунова:

— Что же ты, сука, говоришь, что не был заводчиком? — орал следователь. — Вот же на циферблате написано: «Завод Тягунова!».

Родственникам Тягунова дали потом справку, что умер он от прободения язвы желудка.

В детстве отец мой ходил заводить часы в дом купца Иннокентия Кухтерина. Богатые хозяева имели много настенных, и напольных, и настольных часов. Их нужно было заводить и регулировать, чтобы все они всегда показывали одно и то же время. И когда они одновременно начинали отбивать часы и наигрывать разные мелодии, по квартире шёл перезвон.

Отец мой так и не узнал, что я во многом повторил его детство.

Будучи учеником часовщика, я ходил заводить в годы войны часы в то самое здание, где теперь находится писательская организация. Мраморные ступени и в те времена с одной стороны были уже сильно стёрты. Тогда там был горисполком. Я взбирался по лестнице-стремянке и заводил в кабинетах ответственных работников часы. Секретарши потом поили меня морковным чаем.

В годы войны инженер Копелевич чуть было не сделал Томск часовой столицей. Этот изобретатель прибыл к нам откуда-то, и стал создавать завод часов. Вскоре в магазинах появились ходики местного производства. На циферблатах были буквы ТЧЗ, мы шутили тогда, что это почти аббревиатура Челябинского тракторного.

Томские ходики покупали бойко, а потом так же шустро потащили обратно в магазин. Ходики больше двух недель не шли, даже с дополнительным грузом на гире. Копелевич хотел выпускать и будильники, но завод закрыли. Изобретателя могли бы посадить как «врага», но он как-то вывернулся. Не суждено было Томску стать часовой столицей.

Рядом с Домом офицеров стоит кирпичный небольшой дом, к нему раньше были пристроены летние веранды, сквозь которые проходили стволы двух сосен.

Хитро придумали строители! А к верандам этим на уровне первого этажа была пристроена будочка, на которой многие годы висела вывеска: «Самуил Драбкин. Ремонт часов с гарантией».

Мастер действительно выдавал письменную гарантию с личной печатью. Но сам он ремонтировать часы не умел. Он занял это место ещё до революции, верно рассчитав, что здесь от клиентов отбоя не будет.

Самуил Драбкин, высокий, внушительного вида еврей, важно восседал на вертящемся стуле и рассматривал в лупу механизм часов. Заходил клиент, видел перед собой мастера, занятого делом, проникался к нему доверием.

Драбкин брал за ремонт очень дорого, зато важно сообщал заказчику, что гарантирует исключительное качество ремонта. Затем Драбкин относил принятые им часы в различные мастерские города молодым способным мастерам. Он давал

им заработать, и зарабатывал таким образом сам. Все были довольны.

Работал на Драбкина мой отец, работал на Самуила и я, когда отца уже не было в живых. Драбкин жил очень долго. Всех частников уже разогнали, но Самуилу Драбкину разрешили работать по патенту и оставили в его собственности будочку-мастерскую.

Когда в военные годы я заходил в мастерскую Драбкина, ему было уже около ста лет. В мастерской дымила печурка-буржуйка, Драбкин обращал ко мне огромный красный нос, выпуклые глаза с прожилками слезились, но говорил он очень умно, с юмором.

Я знал, что он в очень большом почёте у томской еврейской общины, хлопчет перед властями о сохранении старинного еврейского кладбища, собрал деньги, чтобы строящуюся дорогу провели в обход этого кладбища.

Впоследствии в бывшей мастерской Драбкина сидел мой добрый знакомый Паша Нартов. Это был бывший крестьянин с лицом доброй лошади. Когда-то мы вместе обучались часовым делам у горбатенького Бынина, я потом стал заниматься другими делами, а Паша стал неплохим часовщиком.

В Пашиной клетушке-мастерской помещался лишь малюсенький верстачок, а за загородкой хватало места двум клиентам, если заходил третий, то видел, что в мастерскую ему не втиснуться.

Иногда Паша запирал дверь на крючок и доставал из-под верстака бутылочку водки. Мы вспоминали мастеров прошлых поколений, поминали Бынина. Говорили об Исае Исаевиче Богомолове, об Иване Шейкине, которые творили чудеса за верстаком, могли изготовить чуть ли не все часы вручную. Любой ремонт был им подвластен,

Исай Исаевич был весёлым толстячком. Он сыпал прибаутками, анекдотами. Обедать ходил на базар, где его знала каждая собака. Закусывал он пирожками «собачья радость». У него был маленький задранный носик, толстые пальцы-обрубки.

— Исай! Ты сегодня не выйдешь из дома! — заявляла жена, запирая его в выходной на замок.

Исай выглядывал в окно второго этажа. Вскоре являлись часовщики, привязывали к спущенной Исаем верёвке бутылку водки и кольцо колбасы.

Однажды супруга явилась к Исаю в мастерскую и, застав его в подпитии, смахнула с верстака все разобранные часы, ещё и потопталась по ним.

— Всё, идиот! Теперь тебя клиенты посадят в тюрьму, и начальникам твоим тоже будет на орехи!

И что же? Исай собрал все обломки и воссоздал все часы, и выдал клиентам точно в срок!

Паша Нартов пил мучительно. Он глотал вино, а оно у него выливалось обратно в стакан. Я деликатно отворачивался. Наконец, судя по звукам, борьба Пашиного желудка с водкой, которую Паша упрямо в свой желудок заталкивал, заканчивалась полной Пашиной победой.

Он закусывал, и на носу у него появлялась капелька пота. Она возникала у него на носу всегда, когда он жевал, пусть даже жевал он просто корочку хлеба.

— А Пана помнишь? — спросил Паша.

— Он же больше ювелир, чем часовщик.

— Ну да, полжизни в торгсине был приёмщиком, потом в комиссионке. Но как разбирался в драгоценных камнях, в металлах! Жадность фрайера сгубила...

Мы вспоминали разные истории об этом Пане. Во время нэ-па он, говорят, делал золотые кольца из чистейшей самоварной меди. Но были точно как настоящие.

Пан умел делать ожерелья, браслеты, колье. Ремонтировал всё, от часов до пишущих машин и велосипедов.

Работая в комиссионке, Пан держал при себе массу малюсеньких шерстяных лоскутков, которые выпрашивал в пошивочных. Приносили золотую вещь, чтобы сдать на комиссию или просто оценить. Пан обязательно тёр её о суконку, а потом бросал тряпочку в ящик под столом.

Когда тряпочек набиралось много, приносил их домой и сжигал в тигле, на дне его среди шерстяного пепла сверкала маленькая капелька золота.

В тридцать восьмом Пана увели в подвал вместе с корчажкой, в которой хранилась золотая крупа.

— А Лёшку Филимонова помнишь? — спросил Нартов. — Тоже мужик был толковый. Давай-ка выпьем, чтоб земля ему была пухом.

И мы пили за Лёшку. У него отца репрессировали, и в школе с ним никто не дружил, боялись. Он где-то раздобыл трубу, и стал уходить с ней на пустыри дудеть. И здорово наловчился.

Лёшка играл на танцах, а когда подрос, стал ухаживать за девушками.

Под пиджаком к локтям у него были привязаны резинки, а к каждой резинке — по финке. Если парни «возникали», Лёшка встряхивал обеими руками, финки выныривали из рукавов и оказывались у Лёшки в руках.

Он был старше меня лет на пять. Я завидовал его трубе, финкам, отчаянности, длинным волосам, мужскому пиджаку. Мне нравилось, когда на вопрос о жизни он отвечал: «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе».

В институт Лёньку не приняли, и пошёл он в часовщики. И быстро научился делу. Купил бостоновый костюм и женился на первой красавице нашего квартала Гальке Смокотиной.

Обедал он, как многие часовщики, прямо в мастерской. Иногда брал на базаре бутылочку, чтобы встряхнуться. Сидишь с лупой в глазу, час подряд волосок правишь — утомление.

Когда самому на базар идти было некогда, делал пальчиком, и рядом возникал тип. Возле каждой мастерской такие ошиваются. Мастер суёт ему четвертак, тип берёт ноги в руки.

У всех деньги только в получку, а у часового мастера каждый день! Ремонт при заказчике, без квитанции.

И вот так «встряхивался» Филимонов раза два-три в день. А потом стал — чаще. И стали у него пальцы трястись. И волоски править он уже не мог.

И сам не заметил, как это случилось, а только мастером в Лёнькиной мастерской стал совсем другой человек, а Лёнька стал тем самым типом, который за выпивкой и закуской бежит...

Иногда мастер ему давал выпить, а иногда и гнал. Тогда Лёнька шёл на базар, покупал там за восемь копеек стакан гранёного стекла, и говорил выпивохам:

— Налейте, я водку выпью, а стакан съем.

Случалось, наливали. И Лёнька закусывал стаканом. Он его вообще-то не весь съедал, а только краешки обгрызал.

Если не наливали, Лёнька шёл в гастроном, начинал на прилавке уток перебирать:

Они у вас свежие? Вроде с душком? Так и есть! Где заведующая?! — хватал он утку и стучал в магазин с чёрного хода:

— Возьмите протухшую утку и верните деньги!

— Иногда ему «возвращали» деньги, хотя он их и не платил. А бывало, что разоблачали и били.

Иногда он приходил в Петропавловскую церковь и начинал петь «Интернационал». Батюшка давал ему трояк, и Лёнька удалялся. Но однажды батюшка сказал:

— Подожди, чадо, возьму дома деньги, принесу тебе, постой во дворе. Лёнька терпеливо ждал. А батюшка позвонил в вытрезвитель, и оттуда за Лёнькой приехала машина.

Жена от Лёньки ушла, трубу свою заветную он пропил, пиджак тоже. Последние несколько лет он обитал в кочегарке при Герценой бане.

Бутылки по кустам собирал и сдавал. Веники вязал. На базаре пел арии из опер. Пил разную дрянь: стеклоочиститель, пустырник и чёрт знает что ещё. И умер он с бутылкой перцовки во рту.

Дали ему бутылку перцовки на базаре некие ухари с условием, что он перцовку выпьет, а бутылку съест. Он запрокинул

голову и стал пить. Половину уже выпил, но сердце отказало, он и упал, а бутылку из зубов так и не выпустил.

Нет давно той мастерской, где работал Лёнька, нет базара «Хрунзы», газон на том месте и берёзки растут. А мы с Пашей Нартовым вспомнили Лёньку, и, казалось, снова нам спела золотая Лёнькина труба.

Эх, Лёнька! Не повезло тебе. Впрочем, отец мой тоже провёл жизнь в мастерской. И от стопки он не отказывался. Но у него было много всего.

Он жалел, что в сутках двадцать четыре часа, а надо было ещё тратить время на сон. Ему и театр был интересен, и книга, он хотел французской борьбой заниматься, и нырять лучше всех.

А в подпитии он был добродушен и неистощим на фантазии. Покупал на базаре птичек и тут же отпускал лететь, кидал в небеса. И птички улетали в свою птичью жизнь. А понимали они, что освободить их было можно только за счёт пусть небольшой, но жертвы? Впрочем, это уже не так важно.

Отношение к медицине

После трёхлетних скитаний вернулся я в Томск. Ехал в товарняках, углярках.

Вот я и шагаю по Томску!

Возле Ушайки ускорил шаг: лишь перейти через мосток — и наша усадьба.

— Наступи мне на одеяло, так я тя... тётка с вальком в руке вдруг умолкла.

— Смотри-ка, путешественник! Не признал тётю Аганю?.. Не вырос совсем и худой, плохо кормят в жарких странах, что ли? Письмы смешно писал, уморист ты. Вещи где же? Багажом идут?

Вещи... Пусть на мне были заношенные тапочки, заштопанные брюки, но зато какую рубаху я сторговал на карагандинской толкучке! Бумазейная, но с никелированным замочком!

Я взвалил выжатое тётей Аганей одеяло на плечо, и мы прошли в глубину усадьбы, где стояла соседкина изба.

В нашем доме на окнах были видны чужие занавески, на веранде растение в кадке.

— Земземовы в вашей квартире живут, он — завучем в школе, начальник, — сообщила тётя Аганя.

— Юрка ваш где же?

— Работает! — с гордостью ответила она. Телефонист. Домой даже телефон провёл: звонить нельзя, а слушать можно... Ночевать где собираешься?

Я потупился:

— Пустят где-нибудь.

Ну чего я краснею? Я к ней не навязываюсь, да летом в любой кладовке можно спать.

— Паспорт имеешь?

— А как же! — Я достал из брюк изрядно помятый, хотя и новый, паспорт, к мутной маленькой фотографии, первой после войны, прилипли табачные и хлебные крошки.

— Отец твой работник был. Ты ведь мармелад с мармеладом ел, на мармеладе спал. И вот оно чо...

Я протянул руку за паспортом, но она сказала:

— Не пузырись, не гоню ведь. Юрку дождись, рад будет — росли рядом.

Юрка явился в сапогах гармошкой, рубаха расстёгнута до пупа, не выше меня, но коренастый, грудь раздалась и закудрявилась мягкой шерстью.

— Салфет-марафет, тридцать сбоку с кисточкой! — закричал он с порога, глаза его синющие, глубокие, с лучиками.

Юрка говорил такими причудливыми фразами, которые трудно понять, а может, вообще нельзя расшифровать. Иных это сбивало с толку, иных восхищало, а тётю Аганию, видно, сердило:

— Пошёл чёрт по бочкам! — хмурилась она.

Юрка говорил, а рука так на коленке лежала, чтобы я видел сделанную на ней наколку. Пунктирная бабочка, словно из синих порошинок, сделана она на тыльной стороне ладони, чтоб видели лишь те, кому Юрка сам покажет.

Тётя Агания позвала нас ужинать, она налила нам борща и ушла куда-то.

Юрка мигом извлёк из-под половицы флакон одеколona, отвинтил пробку, высосал ровно половину прямо из горлышка, передал флакон мне:

— Керосинишь ведь? Дави, керя, обмывай приезд.

Я не смог. Юрка ухмыльнулся:

— Тебе не пить, а дерьмо ись. На вот, в стакан вытряси, дёрнешь, водой запьёшь — и проскочит.

— Без наколки тебе не жизнь, — стал убеждать меня затем Юрка. — Ездишь вот, наколку покажешь, фрайер сдрейфит, свой — накормит и напоит. Наколка лучше всякого паспорта!

— Не хочу, что я, папуас, что ли?

— Не сыпь горох! Мне сапоги лижут, только бы сделал. Наколка в ладонь стоит кусок, в четыре ладони — четыре куска! А тебе-то — даром! Не больно колю, ну воспалится на денёк и заживёт, зато — красота. Хочешь, кочегара тебе сделаю?

— Какого ещё кочегара?

— С лопатой. На лопате уголь, ты идёшь, а он шурует, подбрасывает! Многие мечтают. Подумай!

Наколок я не хотел. Одеколон выветрится и всё, а наковка на всю жизнь. Но было интересно насчёт кочегара. Попросил Юрку нарисовать его на мне просто так, чернилами, чтобы посмотреть, что получится.

Юрка нашёл перо с шишечкой.

— Ты не коли, ты рисуй! — дёрнулся я.

— Да я — чуть, под вид наковки изображаю. Главное в этом деле — штрих, понял?

Он деловито обмакивал пёрышко в чернила, убирал лишнее концом носового платка, отходил от меня, оглядывал критически и вновь принимался колдовать.

Потом он снял со стены зеркало, поднял его и сказал:

— Сам иди, сам оглядывайся.

Я пошёл, кочегар ожил. Юрка осматривал своё творение, как истый живописец. А рисунок был мастерский. Кочегар такой характерный, с мускулистыми длинными руками и, наверное, с красным носом, хотя Юрка пользовался только синими чернилами, но вот сумел даже ощущение этого красного запойного носа передать. Вообще же было не столько смешно, сколько жутко. Я хотел поскорей стереть этого кочегара мокрой тряпкой, но в этот момент тётя Агния прошла за окном.

— Чего смурной? — спросила она меня, войдя в избу.

— Квартиру бы свою посмотреть.

— Попросись. Земземов человек важный, не нам чета, но, может, и дозволит.

Я подошёл к знакомым дверям. Тут — нижние сени, из них крутая лестница ведёт к верхним сеням. Отец придумал проволочный блок, чтобы можно было открывать дверной крючок с верхней площадки, не спускаясь. А вот кольцо той проволоки, что идёт к звонку, Я дёрнул за него, услышал, как вверху открылась дверь и незнакомый голос спросил:

— Кто?

Вот те раз! Одним словом не скажешь, а объясняться, крича во всё горло, как-то неудобно. Я крикнул:

— Откройте. Поговорить надо.

Этот Земземов не стал открывать крючок при помощи блока, но спустился вниз и осторожно приоткрыл дверь:

— Чего тебе?

Я стал терпеливо объяснять.

Зря я гордился рубахой с замочком. Земземов, вон, в халате, как барин, туфли у него, как у Хоттабыча. И я вдруг осознал, как неприглядно выгляжу в грязной измятой одежде, с воспалившимися от бессонницы глазами. Да ещё одеколоном изо рта несёт.

Я постарался вспомнить все интеллигентные слова, я сыпал книжными фразами. Кажется, переубедил его немного, успокоил.

— Романтическая история, принц без королевства и в рваных тапочках, — сказал он иронически, и добавил со вздохом:

— Я же там перекрасил всё, интерьер другой, что смотреть-то? Ладно, заходи ненадолго...

Мы поднимались по лестнице, а я уже вспоминал. На каждой ступеньке что-то когда-то происходило, каждая дощечка что-нибудь да помнит.

Вспоминалось всё какое-то неподходящее.

До той ступеньки дошла вода во время наводнения, тогда к нам переселили соседей из полуподвала, мне было весело, а мать была мрачной и пила валерьянку. А там, в кладовке, однажды загорелась варившаяся на примусе олифа. Отец накинул на примус одеяло.

Веранду Земземов перекрасил, ободрал обои, под которыми я однажды обнаружил целые рулоны мильённых денег.

Надо было вспомнить главное. А что главное? В потолок всё ещё был ввинчен крюк, на котором когда-то висела моя зыбка. А там, у окна, однажды отец повесил нечто вроде бумажной тарелки и важно сказал:

— Репродуктор!

Я вставал на табурет, прикладывал к чёрной бумаге ухо. Вскоре я научился разбирать сквозь шум и хрип отдельные слова, мелодии. Я готов был слушать радио дни и ночи. А однажды уже другой репродуктор, говоривший более разборчиво и громко, известил нас о том, что началась война...

Я бы ещё что вспомнил, да Земземов сказал:

— Ну, насмотрелся?

Я возвратился в избу. Хотелось спать. А Юрка хорохорился:

— Хильнём на пятак? Там на трофейной голяшке инвалид знаешь, как даёт? Аккордеон — три регистра! Да ты можешь ли танцевать? Хочешь, научу по кресту? Меня так девки на чести рвут: Юрий Васильевич, Юрий Васильевич!

— Молчи уж, Юрий Васильевич! — злилась его мать. — Заглотнул уже чего-то, завтра опять на работу проспишь.

Мне постелили на кухне, на лежанке. Я лёг и сразу провалился в сон. Особенно сладко спится под утро. Юрка дёрнул меня за ногу, я лягнул его. Он вдруг дёрнул за ногу так, словно хотел её выдернуть совсем.

— Ты чо! — заорал я, открыл глаза и обомлел: меня держал за ногу милиционер. Может, сплю? Откуда он здесь? Чего надо? Спать бы, спать...

— Одевайся, живо! — скомандовал усач. — Постой, руки покажи, грудь. Повернись! Товарищ лейтенант, у этого вроде наколок нет.

— Ты его всего осмотри!

Усатый обнажил меня и радостно гаркнул:

— Есть наколка, да ещё какая! Художественная. Волк со стажем, сразу видно.

Теперь я уже совсем проснулся, начал соображать, Юрка, может, что-то натворил. Они явились, думают, если я тут сплю, то и соучастник.

Не волк, постарался я переубедить их, и наколки нет, это картинка чернильная.

— Во, — поплюнул я палец, — стирается.

— Не накололи, так собирались колоть, — сказал усатый, — какая разница? Руки назад! Выходи во двор!

Юрка привычно заложил руки за спину и в тон милиционеру сказал:

— Шаг вправо, шаг влево — считается побег!

На дворе было по-утреннему зябко. Возле милицейской машины стоял ещё один милиционер с огромной овчаркой на поводке.

Несмотря на ранний час, в ограде толпился народ. Ну, конечно, и знакомые среди них есть! Вот вернулся я в родной город! Я весь дрожал не то от страха, не то от холода.

Милиционеры привели пьяненького кладовщика кондитерской фабрики дядю Пашу, ещё двух похмельных мужчин. Выстроили нас в кружок.

Оказалось, что будут пускать овчарку, а она определит по запаху, кто же залез ночью к Земземову в окно и упёр швейную машинку.

У меня в животе похолодело: собака сдуру на меня кинется, доказывай потом, что не виноват. Ещё и покусать может, вон какая зверюга лохматая!

Милиционер ощупал у меня и у Юрки карманы:

— Так и есть, махры насыпали, чтоб собаку с толку сбить. Марш к забору, высыпать всё до крошки!

Снова становясь в круг, заметил я в сторонке Земземова. С мольбой я посмотрел на него. Я же всё рассказал ему про нашу семью, как жили мы хорошо до войны, он всё понял, умный же человек. Сейчас и милиционерам всё объяснит.

Милиционер что-то спросил у Земземова, и я услышал, как он громко и зло ответил:

— Ну да, этот чернявый ко мне и заходил, квартиру ему надо было посмотреть, видите ли!

Проводник дал овчарке команду:

— Искать!

У меня коленки вибрировали! Ну конечно! Собаки и бросаются на тех, кто их боится. Проводник как раз и пускал овчарку на меня, но всякий раз, подойдя ко мне, она брезгливо отвора-

чивалась. Неожиданно она кинулась к дяде Паше и вцепилась ему в ногу повыше колена и зарычала.

В толпе зашумели. Земземов покачал головой:

— Ну, соседи-соседушки.

Юрка побежал к забору собирать высыпанную нами махру, успел скрутить и закурить там огромную сигарку, и теперь по-свойски расспрашивал милиционера:

— Сколько Паша барахла взял, товарищ начальник? По какой статье идёт, на какой срок тянет?

— Много будешь знать, скоро состаришься.

Дядю Пашу усадили в машину рядом с овчаркой. Машина умчалась. Я ушёл из родной ограды, тщательно пытаюсь разгладить ладонями вконец измявшиеся брюки. Да, выгляжу не очень. Чёлка вот ещё. Надо бы волосы назад зачёсывать, так не ложатся они назад-то.

Через неделю знакомые мне дали домовую книгу, лишь для прописки, а жить у них было негде. Может, знакомые мне книгу дали потому, что думали: всё равно его не пропишут. Однако прописали. Перед этим я битый час рассказывал начальнику паспортного стола о своей жизни, и не только о своей. На моё счастье, начальник этот оказался из семьи томских старожилов. Он понял, что я коренной, на свою землю вернулся, кровную. И он сказал: «Была не была!» — и вляпал мне в паспорт жирный штамп, и расписался.

Возле милиции я неожиданно столкнулся с дядей Пашей.

— Вас на поруки взяли или Земземов простил?

Дядя Паша разразился замысловатым ругательством. Оказалось, что молодая милицейская овчарка очень любила конфеты, а дядя Паша, когда идёт со смены, во-первых, всегда выпивает спиртовой конфетной эссенции, во-вторых, всегда накладывает в карман конфет, себе на закуску и детишкам в гостинец.

Овчарке захотелось конфет, она и стала кусать за карманы. Настоящих воров нашли позже, когда дядя Паша безвинно томился в милицейском подвале.

Однажды я заштопал, отчистил бензином и отутюжил свои брюки, и вечером отправился на «пяттак», о котором мне говорил Юрка. В саду как раз зацвела черёмуха, так, словно спешила показать себя.

Аккордеонист отбивал такт протезом, но всё же сбивался. На танцплощадке было полно моих сверстников, многие из них давно работали, и потому считались как бы вполне взрослыми.

Откуда-то вывернулся Юрка, в чёрном костюме, в рубаше с отложным воротником, по последней тогдашней моде. Оттянул штанину двумя пальцами, похвалился:

— Шивьёт! Настоящий, только перелицованный. А ты чо не танцешь? Марухи тут фартовые, приглашай!

— Говорить с ними не умею, — сознался я.

— Пенёк! Чего говорить-то? Ты её спроси: мол, вы имеете отношение к медицине? Ну, спросишь, а дальше само пойдёт.

— Что пойдёт?

— Всё! — крикнул он, убегая.

Я так никого и не пригласил. Неподалёку от меня стояла зеленоглазая с белым бантом в светлой косе. Я уж хотел было спросить её, имеет ли она отношение к медицине, но тут хлынул дождь, как из ведра. Все бросились бежать врассыпную.

Вот хорошее дерево, никого под ним нет. Прислонился к шершавой коре, и лишь тогда заметил с противоположной стороны ту, зеленоглазую.

— Зарядил, и когда кончится — неизвестно, — сказала она. — А уже и так поздно.

— Я провожу! — вырвалось у меня.

Она промолчала, и, когда стих дождь, мы пошли вместе. На Тверской через заплот свешивались ветви могучей черёмухи с удивительно крупными кистями. Я нагнул ветвь, и незнакомка взяла кисть губами.

Спустились под гору, и возле нашего дома она сказала, отрывая с губ лепестки:

— Я здесь живу, спасибо.

— Как твоя фамилия?

— Земземова.

Она ушла. В пустынной тишине на безлюдной улице я пробовал сложить стихи.

Имеете ли вы отношение к медицине,
Сердце у меня теперь болит отныне...

Оно и вправду болело, оно болело обо всём, что могло бы быть в моей жизни, в жизни Юрки и многих других наших сверстников и чего уже никогда (я это знал) не будет.

Герценовая баня

Тем давним летом, когда я окончательно вернулся в родной город после многолетних странствий, возвращений, новых отъездов, ноги сами понесли меня на улицу Герцена, к бане. Там жил и работал мой двоюродный брат Коляша.

Человека с сырым веником под мышкой и блаженно розовым, распаренным лицом у нас, на Тверской, обычно спрашивали:

—В Герценой был? Ну, как парок?

Баня стояла в ложбине возле быстрой реки Игуменки, по которой плавали домашние утки, разводимые абorigенами, в том числе и моим двоюродным братцем.

Коляша к должности кочегара никак себя не готовил. В канун войны он неплохо учился в школе, в начале войны устроился учеником в часовую мастерскую, обнаружил там удивительные способности, но вскоре его мобилизовали для работы на военном заводе. Что он там делал — тайна, знаю только, что он отравился там кислотой. С завода его отпустили, часовщиком он уже стать не мог, вот и подался в эту баню, в кочегары.

Женился он на немке, Виктории Адамовне, девушка это была красивая, черноглазая, добрая и удивительно трудолюбивая. Она была в бане и уборщицей, и сторожем, и банщицей, и ещё бог знает кем. Поволжская немка, она, может, вышла за русского ещё и потому, что хотела преодолеть стену отверженности, которую создали власти вокруг высланных. Работала она с остервенением.

Коляша от жены не отставал. Он был не только кочегаром и сантехником, но и ремонтировал мебель и банный инвентарь, электропроводку, клепал, паял, лудил, сверлил, фуговал.

Директор бани, женщина типа комиссара времён Гражданской войны, только что не носившая кожанку, Коляшу ценила. Летом, при реконструкции бани, Коляша решил расслабиться после адских трудов. Побегал он с ведром на «Фрунзу», ближайший базар, дабы обратить половую краску в какой-либо крепкий напиток. Но на банный двор вернулся в сопровождении милиционера, облив этой краской свои сапоги и брюки.

Директорша увидела это в окно, вышла поругать Коляшу — мол, она дала ему эту краску в виде премии за хорошую работу, а он, вместо того, чтобы жене отнести...

Милиционера пригласили заходить мыться в номер-люкс, обещали бесплатно лучшие веники...

Коляша, женившись, на задах бани из отходов выстроил времянку в одну комнату. Почти каждый год летом Коляша что-нибудь к времянке пристраивал, то сени, то крыльцо. Потом пристроил ещё одну комнату, потом — ещё. Вика рожала детей, и времянка как бы тоже плодилась.

Неловко было обременять большую семью, но только у Коляши и Вики я чувствовал себя свободно и хорошо. Когда бы я ни появлялся, Вика меня обязательно усаживала за стол. Стелила мне на кровати, а себе и Коляше на полу.

Вот и в этот свой окончательный приезд в Томск проснулся я на мягкой перине, соображая: где я, что со мной? Со всех других кроватей, лежанок, и с постелей, лежавших прямо на полу,

на меня смотрели Коляшины «короеды». Один из них, Мишка, всю ночь бродил, как лунатик, подходил к буфету, открывал его, жевал с закрытыми глазами. Забегая вперёд, скажу, что вырос он могучим парнем, не зря, в общем-то, жевал.

Вика вставала раньше всех. И, когда я проснулся, она уже успела не только поработать в бане, но и приготовила завтрак, и на стол накрыла.

Я позавтракал в непривычной для меня большой компании. У Коляши был выходной, но пришла директриса и сказала, что Коляшин сменщик напился. Коляша стал собираться в кочегарку.

Благодарный Вике за вкусный завтрак, я отправился хлопотать о трудоустройстве. Домой постарался прийти попозже, понимал, что у Вики с Николаем дел по горло.

Вернувшись, заглянул в кочегарку. Коляша обрадовался:

— Посиди, эта волына... сейчас угля в люк накидаю...

Волыной он называл любое муторное дело либо незнакомую вещь. Управился он с углем, полез за котёл, где висели ряды берёзовых веников. Смотрю, поллитровку несёт, поставил её на застеленный газетой стол, порезал сало, лук, хлеб. Стаканы посмотрел на свет: чистейшие!

— Садись, братан, сейчас только задвижку закрою...

— Вику боишься?

— Да нет, скоро клиенты пойдут. Какие? Пишешь, а не знаешь. У кочегара бывает клиентура. Так, народец, выпить надо, а негде. А тут — стол, лавочка, стаканы, и милиция не потревожит. Ну, идут. Меня угощают, а то оставят в бутылке мою долю, если мне некогда или неохота. Верись-нет, даже один профессор ходит.

В кочегарке было уютно, глухо, пахло берёзовыми вениками, умиротворяюще тикали ходики. Кран, раковина, зеркало, все удобства. Сало просто таяло во рту, так только Вика и умеет солить во всём этом несчастном Томске.

— Погоди, — сказал я. — Мы балдеем, анекдоты травим, а котёл топится. Он может перекалиться и взорваться?

Коляша поглядел самодовольно:

— Может, если салага его топить будет. А мне и на манометр смотреть не нужно, я его нутром чую: когда клюкой ткнуть, когда угля подбросить, когда вентилятор включить. Видишь палец? Рубец? Вентилятором, лопастью. Рубануло. На ниточке висел. Скорая приехала: укол будем делать от столбняка. А я этих уколов до смерти боюсь. Идите, говорю, к такой маме. Обиделись, уехали. Я его бинтом замотал — и всё. Сам обратно прирос. Только немножко криво. Видишь?

В дверь затарабанили. Коляша спрятал стаканы и бутылку в тумбочку, схватил клюку и стал у топки:

— Отопри!

Оказалось, пришла Вика. Принесла кастрюлю, в которой дымилась горячие котлеты и картошка. Вика насмешливо сказала Коляше:

— Маскируешься? Я — чо? Дурнее паровоза? Сколько лет живёт, и всё за дуру держит.

— Ни в одном глазу! — сказал Коляша. — Хочешь, по одной досточке пройду, а на другую не наступлю?

Вопрос был риторический, ибо пол в кочегарке был не из досок, цемент сплошь. Вика позвала меня ужинать. Я хотел идти, но Коляша не пустил:

— погоди, не договорили ещё, в кои-то веки с брательником потолковать.

Вика ушла. Коляша спросил:

— А про зрителей знаешь? Тоже не знаешь? Ага! Думаешь, зрители — только в театре. А ты повнимательнее будь, если писать берёшься. Ты замечал, что в каждой бане окна женского отделения обращены внутрь двора. А почему? Ага! Не знаешь. Окна до половины закрашены извёсткой или краской, так зрители эти что делают? Приносят табурет или стремянку, влезут повыше и заглядывают, а то ещё иной и голову в форточку засунет.

Увидишь такого, лопатой по спине перетянешь — докладывай, мол, кто и откуда... Один преподавателем оказался. На коленях умолял, чтобы в институт не сообщали. Я, говорит, иначе удовлетворяться не могу. Не может он! А почему я — могу? Деньги обещал большие заплатить. Не нужны, говорю, мне твои деньги...

Простил я его. Так он после полгода коньяком поил, аж пить надоело...

В дверь постучали. Коляша впустил двух небритых типов. Они о чём-то пошептались с моим двоюродным, подозрительно поглядывая на меня.

— Дёргайте по-быстрому, — сказал им Коляша, — пейте, не засиживайтесь.

Типы присели к столу. Выпили. Один после водки как бы расправился, осмелел, уставился на меня липкими глазами:

— Ты — начальник? Начальник, в рот тебя...

Коляша ухватил его железной рукой за запястье:

— Говорил — не возникать?

Тот замахнулся грязным, мокрым кулаком. Брат боднул небритого в подбородок, развернул и дал ему пинка в самое неудобное место, причём удар был просто снайперским.

Небритый быстро засеменил к двери, уже открыв её, обернулся:

— Понял! Он оттуда.

— Понял и сваливай! — сказал Коляша, обернулся ко второму типу и добавил:

— Ты тоже вали!

После ухода клиентов Коляша сказал:

— Замаешься с ними. Общественное место, разный народ. Тут один повадился в общую моечную ходить. Приглядится, кто там в хорошей одежде в раздевалку зашёл, а в моечной или в парной ненароком у него тазик подменит. По его тазикую хорошую одежду получит, а тому, когда помоемся, банщик какую-нибудь рвань выдаёт. Скандал!

Ладно. Приходят агенты. В штатском, конечно. Раздеваются — и шасть за этим типом в моечную, и следят. Только он тазик подменил, они его за руки — хватить! А он мыльный, скользкий, вырвался и — тягу на улицу. Агенты — как были, голые — за ним. Одеваться-то некогда. Народ балдеет: три мужика голых в гору бегут и орут. Чудо!

Да что говорить, пожил бы тут подольше, много чего для себя взял бы... Жизнь, она везде бьёт ключом, и всё — по голове.

В кочегарку пришли Коляшины короеды: симпатичные девчонки, остроглазые, шустрые пацаны. Они помогали Вике убираться в общих отделениях и номерах. Один из короедов показал мне полную горсть мелочи:

— Во! Под решётками насобирали. Растеряли, раззявы. А в мужском отделении я раз целый червонец нашёл...

Я знал, что они во всём помогают отцу и матери. Старшая девочка, Валя, сказала:

— Хотите помыться? Мамка вот прислала вам полотенце, мочалку, мыло, идёте, провожу.

Она привела меня в предбанник:

— Хотите, закройте на задвижку, но теперь и так никто не зайдёт.

Мылись вы когда-нибудь в городской бане в полном одиночестве? Огромная гулкая моечная, каждый шаг и шлепок множатся, как в ущелье. Пустые скамьи, ряды кранов. Теплынь, потоки из золотистых горлышек. Плеск, розовость мыла и тела. Темень за окошками. Я чувствовал себя дикарём на необитаемой планете. Как в первый день творения.

Как давно это было!

Недавно спустился с Тверской по догнивающей лестнице к «Герценой бане».

Там, где была Коляшина времянка, громоздятся бетонные гаражи. От извилистой речки Игуменки не осталось даже следа. А как тихо и успокоительно булькала она вечерами среди трав и черёмух! Как славно плавали и ныряли в ней Коляшины утки! Асфальт — и всё. Ушла речка под землю. В земле — и

Вика, и Коляша. Вика много, очень много работала, дети у неё всегда были одеты, сыты, ухожены.

А разве это было просто? Она заболела той страшной болезнью, которой часто болеют люди в городах, расположенных вблизи от ядерных объектов. И умерла. А Коляша не захотел без неё жить.

И вот ни Игуменки, ни Вики, ни Коляши. Мимо «Герценой бани» проносятся один за другим огромные грузовики, обдавая всё сизым чадом. И всё страшнее мне жить здесь, на родине своей.

Коляшины короеды давно выросли, и сами имеют детей. О! Его потомков столько, что я их всех уже и упомнить не могу. Живут в разных концах города, вижу их редко. Придёшь в гости — и с трудом вспоминаешь, кого как зовут, их уж за три десятка перевалило. Бывало, гляжу на них и думаю: кажется, эта девочка смотрит глазами Вики, а у этого пацана глаза Коляши.

«Фин Шампань»

Я вернулся в Томскую область давно, но всё никак не мог выбрать время и навестить дядю Саню. В последний раз я видел его ещё до войны, когда мне было всего десять лет. Перед войной он предусмотрительно уехал на север Красноярского края. Войну пережил среди оленеводов в тепле и сытости, заведя поселковой почтой.

Мой отец ушёл на фронт молодым и вскоре погиб. Теперь мне очень хотелось взглянуть на дядю Саню: глядя на него, я смогу представить, каким мог бы стать мой отец в старости.

Дядя Саня, вернувшись с севера, поселился в дачном городке за рекой Томью. Я быстро нашёл его небольшой домик. Его жена, тётя Фрося, двигалась по комнате, переставляя табуретку.

— На шести ногах ходит, — усмехнулся дядя Саня.

Бывший брюнет дядя Саня стал совершенно белым, а от былой тётки Фроси остались только её глаза с маслянистым живым блеском.

Я выставил на стол бутылку шампанского, но дядя Саня сказал, что шампанского он не пьёт, и достал из подпола банку с домашней наливкой.

Сидя за столом, я чувствовал, что родственник — это больше, чем просто приятный собеседник. Гены! Нечто, определяющее саму судьбу.

— «Фин Шампань»? — воскликнул дядя, пригубив золотистую рябиновую влагу. — Вот почему я пью домашнее!

Рассказчик дядя Саня был великолепно. Мы перенеслись в 1917 год, когда в один из февральских дней состоялось освящение нового здания томского вокзала, на станции, которая с той поры стала называться Томск-1.

О, новый вокзал был кусочком Европы на томской земле! Здесь были и ряды сверкающих касс, и залы для ожидающих, и носильщики с бляхами на груди, и швейцары в ливреях, и ресторан. И даже телеграф, куда и был определён телеграфистом юный Александр Климычев, только что окончивший с отличием училище. Это было высоким доверием начальства.

Дядя Саня сидел за высоким прилавочком строгий, в форменном кителе, с сияющими пуговицами.

К телеграфисту обращались чаще всего важные господа, он к ним быстро привык, и уже почти не робел. Дядя досконально изучил дело, мастерски владел ключом и знал телеграфный устав назубок.

У него тогда была ночная смена. Паровозики за окошком сопели, из ресторана доносилась музыка, гуляли там по обыкновению до самого утра.

Сидел дядя Саня в своём закутке, а мысль была одна: только бы не заснуть, застанут спящим, сообщат начальству, тогда конец!

Вдруг перед прилавком господа в роскошных меховых шубах, шапки набекрень, дымят сигарами.

Описывая этих господ, дядя Саня сказал так:

— Почти такие, как нынче в кино показывают, но только те были лучше, потому что настоящие, не режиссёр их придумал...

Шикарные эти господа, посылая прилавок сигарным пеплом, требовали:

— Господин телеграфист, стряпайте текст: из томского, стало быть, вокзала, в томскую же гостиницу «Россия» от Ивана Смагина, Мусе в четырнадцатый номер. Дражайшая Муся, целую тебя в известное тебе место... Ну и, стало быть, подпись: любящий тебя Иван Смагин.

Дядя Саня ответил довольно твёрдо:

— По телеграфному уставу телеграммы вольного содержания принимать строго воспрещается.

— Помилуйте! — говорит этот самый Смагин. — Господин телеграфист, где же вы тут видите вольность? Это всё от вашей молодости лет. Вы, видимо, не знаете ещё, что у влюблённых бывают только им одним известные места для поцелуев. Так вот, у моей любимой есть одно распрекрасное место, но я его

не желаю расшифровывать. Так неужто я не имею права дать телеграмму своей обоже на свои кровные деньги? Господин телеграфист, я набавлю вам рубль сверх того, что положено за текст.

Господа в дорогих шубах разом загалдели, заплодировали. Дядя Саня подумал и сказал:

— Телеграмму я, так и быть, отправлю, а взятки мы не берём, это вы бросьте.

Смагин Иван ещё пуще развеселился и полез через прилавок целоваться с дядей Саней:

— Какие всё же люди в Сибири замечательные! Широта души! Простор!.. Га-аспада! Вернёмся в ресторан, непременно надо дёрнуть по одной за сибиряков, правильно говорю?..

На некоторое время весёлая компания исчезла, а ближе к утру вдруг объявилась вновь, ещё веселее, чем была. Иван Смагин полез через прилавок к дяде Сане целоваться.

— Господин телеграфист, вы мне понравились чрезвычайно. Фуражечка у вас новенькая, и пуговицы блестят, и весь вы, как новенький полтинник. Уважьте, выпейте с нами, идёмте в ресторашку!

— Что вы! — сказал дядя Саня. — С поста-то? Нельзя никак. При исполнении спиртное пить категорически воспрещено.

А Смагин всё уговаривает:

— Молодой человек, не будьте таким буквоедом. Сейчас ваше начальство десятый сон досматривает, всё равно до утра вас никто не спросит. Идёмте, галопом опрокинем по бокальчику «Фин Шампани».

Прикрыл дядя Саня свою будочку на замочек и пошёл с гуляками в ресторан. На сдвинутых столах валялись остатки различной снеди. Официант притащил здоровенную бутылку с золотой этикеткой, Смагин лично налил из неё в фужер и подал его дяде Сане:

— Господин телеграфист! За дружбу и любовь — единым духом!

Дядя Саня и выпил всё залпом, и чуть не задохнулся, уж очень крепким вино оказалось. Смагин всунул дяде в рот зажжённую сигару, и дядя сразу забыл про телеграфный устав и про всё телеграфное начальство, и про то, что живёт в державе, которая любит порядок и строгость во всех государственных делах.

Вернулся он в свой закуток, сел за прилавок возле аппарата, и так ему весело, словно он не в заснеженной Сибири живёт под сенью Закона, а где-то на необитаемом острове. Показалось ему, что в вокзале пальмы прорастают, и само его здание, словно в вальсе, кружится.

А Смагин дяде Сане текст ещё одной телеграммки подсовывает. На сей раз телеграмма не местная, аж в Москву. Текст там был такой: «Москва. Торговый дом «Смагин и сыновья», Алексею Петровичу Смагину. Ваш сын Иван Смагин застрелился. Скорбим с вами. Томичи».

Дядя Саня — руку на ключ и отстукал всё. Господа смеются, он тоже смеётся. Да какая жизнь без шуток? Никакая не жизнь.

Господа вышли из вокзала, уселись в экипажи и укатили. Дядя Саня тотчас под свой прилавок свалился и заснул.

Утром сквозь сон он услышал сигнал. Вскочил, взял ленту с аппарата и прочитал текст: «Томск. Господину губернатору. По поводу постигшего меня горя прошу распоряжения вашего превосходительства тело сына Ивана доставить в Москву вагоном-холодильником, оплату расходов гарантирую, заранее признателен, коммерсант А. П. Смагин».

Дядя Саня обалдел, припоминая текст, который вчера сам же отправил в Москву. Что же теперь делать? Порвать телеграмму? Но они регистрируются, да и Смагин-отец на этом не успокоится. Может, дать телеграмму, мол, сын жив? Так он не поверит! Вот если бы начальство такую телеграмму заверило. К тому же неизвестно, куда укатил вчера сын Иван, вдруг он и вправду уже застрелился?

Обратился дядя к вокзальному чину, рассказал всё по совести. Тот выслушал его да как заорёт:

— Ах ты, сукин ты сын! «Фин Шампань» — это ж только так называется. Это же коньяк французский такой, в нём, может, все девяносто градусов!

Вышли они вдвоём из вокзала, дал этот бугай дяде в зубы и велел бежать в охранку, сказав на прощанье:

— Стукнул я тебя в качестве закуски к «Фин Шампани».

Дядя Саня бежал трусцой и думал, что только двух зубов и лишился. От тридцати двух отнять два — всё равно много остаётся, только бы в охранке ещё не выбили.

В охранке за столом сидел и что-то быстро писал человек без усов и бороды. Выслушал он дядю Саню, нажал кнопку, из стены появился «ванька».

— Кобылу распрягли?

— Никак нет!

— Подавать!

Помчались в пролётке в гостиницу «Россия», аж ветер в ушах свистел. Поднялись на второй этаж в четырнадцатый номер. Уже на лестнице были слышны визги и крики. Открыли дверь — дым коромыслом! Накурено, наплёвано, бутылки на столе катаются, а среди них дамочка, нагая, в одной только шляпке с перьями, канкан отплясывает.

И господин Смагин, живёхонький, только ещё более пьяный, чем был в вокзале, с друзьями в ладоши хлопает, такт отбивает.

Начальник охраны потребовал у Смагина паспорт. Проверил, хмыкнул:

— Хм... действительно, живой...

Вышли они с дядей из гостиницы, и дядя Саня лишился ещё двух зубов, думая о том, что двадцать восемь-то у него ещё есть в запасе. Хватит ему, куда их больше?

Дядю Саню с работы не уволили, только вычли у него из зарплаты стоимость длиннющей успокоительной телеграммы, которая была отправлена Смагину-отцу.

В Дачном городке дядя Саня теперь доживал свои последние годы среди великолепия сосен. Седенький старичок, неловко переставляющий ноги. Быстроногая юность! Не след поглядывать на таких сверху вниз.

В этих, ныне немощных телах, возможно, было прежде столько энергии, сколько в вас никогда не было и не будет! Не смейся, горох, над бобами! Погоди, государство тебе ещё не так обломает бока! И зубы выхлестнет, и кости все переломает. Да и доживёшь ли ты вообще до дядиных лет? Подумай!

Сутулый, в стёганой самодельной поддёвке, держался он всё же свободно, говорил иронично:

— С тех пор по инерции шампанское не пью. Хотя... зубы теперь мне выбить мудрено: протезы вынул да на полку положил, с этого и поговорка пошла — мол, зубы на полку. Говоришь, и у тебя зубов мало? Болели? Ах, выбили! Страна такая, ни одна власть без зубодробительства не обходится. Ах, в драке! Это хорошо! Самоутверждался, значит...

Проводил меня до калитки седенький старичок-пенсионер. А в нашем семейном альбоме дядя Саня смотрит на мир из новёхонького мундира, и сам он весь новенький, как только что отчеканенный полтинник. Его жизнь — тоже история нашего города, не зря же отметил он освящение нового томского вокзала потерей четырёх своих белых зубов.

Последний визит

Вечно терзают нас заботы о хлебе насущном. Часто ли мы поднимаем голову, чтобы посмотреть в лазурную высь либо в пасмурное небо? Когда в последний раз вы разглядывали звёзды ночью?

Забываем о родных и близких, если они не живут по соседству с нами. Зайти бы, обогреть словом, заглянуть в глаза.

Спихватишься — поздно! И придёшь, и скажешь, а услышит ли он тебя под своим холмиком?

Я мотал себе нервы по райцентрам, по районным редакциям, кровью и потом расплачивался за скудную еду и жалкое жильё. Не так уж далеко от меня, в этой же области жил последний из братьев отца, живая ниточка к прошлому нашей семьи. Я всё думал: сегодня некогда, а вот уж завтра... И побывал я у дяди Сани всего два раза за последние десять лет.

В последний приезд я пробыл у стариков дольше, чем обычно.

— Паралич, — кивнул дядюшка в сторону жены, — током лечу, — показал он мне штуковину с ручкой и двумя припаянными к проводам пластинками.

— Пластинки лекарством смазаны, — пояснил дядя Саня, — накладываю ей на больные места, ручку покручу, ток идёт, она лечится.

— Но ведь ток может быть не той силы? — усомнился я. — Дозировка опять же не та, с врачом бы лучше посоветоваться.

— Чего советовать? К нам «скорая» не едет, да и врач не спешит, раз уж восемь десятков прожили, так, скажут, больше им и не надо. Ей с табуреткой до больницы ковылять? На руках я её туда не дотащу, хотя было время, нашивал.

— Положим, — зыркнула на него тётя Фрося, — на руках ты, наверно, кого-то другого носил, а чтобы меня — не припомню.

— Так ведь склероз, — ответил дядя Саня. — Ты на стол спроворь, соловьёв баснями не кормят. Читаю твои статьи в газетах, горжусь, ведь под ними наша фамилия... Если бы наш Коля не умер, может, инженером стал бы, — вздохнул дядя Саня. — Выпьем в память его по маленькой.

Много было у нас в семье преданий об оригинальном хозяйстве дяди Сани, которое он вёл в своей усадьбе в Казанке, используя свой жизненный опыт и смекалку.

В армии дядя Саня не служил, пытались его призвать колчаковцы. Силой привели на призывной пункт, голову обрили.

Убежать было нельзя, призывников часовые охраняли.

Дядя Саня скупил у товарищей по несчастью махру и папиросы, сидел на нарах и курил всю ночь без перерыва. Потом он семечек нащёлкался, чтобы табачный дух отбить. Утром комиссия была, врач спрашивает:

— На что жалуетесь?

— Лёгкие болят и сердце, — ответил дядя Саня.

Приложил врач к его груди трубку, а там всё хрипело и булькало. Ну и отпустили бедолагу. С неделю он отлёживался, сердце болело, а потом всё в норму пришло.

Дядя Саня мыслил неординарно, из любого положения искал особый выход. Вот и когда туберкулёзом заболел, тоже принял нелёгкое решение.

Оставив тётю Фросю в Томске, ринулся он в казахские степи, нанялся там баранов пасти. Год его не было, а когда вернулся, тётя Фрося его не узнала. Растволстел, румянец по щекам разливается. Сходил к доктору Кузнецову, тот прослушал его лёгкие и говорит:

— Совсем другой человек, чем лечились?

— Кумысом, — ответил дядя. — Наверно, целую бочку выдул за год!

Восстановился он на работе в своей телеграфной конторе и вновь начал заниматься хозяйством.

Держали они с тётей Фросей много скотины.

Бычков и тёлочек дядя Саня называл именами племянников и племянниц, одного пузатенького бычка с белым пятнышком на лбу назвал в мою честь Борей.

Я со своим тёзкой встречался не раз, пытался прокатиться на нём, но он меня сбрасывал. А всё же славное это ощущение, когда обнимаешь и гладишь мягкое, тёплое существо с большими глазами и задорным хвостиком!

Дядя Саня хотел разбогатеть, он решил держать свиней не в хлеву, а на воле. Они у него бродили где хотели, а ели что найдут. Отрубей для них он не покупал, деньги зря не тратил.

— Назьма на дорогах много, нажрутся, — говаривал дядя Саня.

Свиньи у него были поджарые, прыткие, и злые, как собаки, одного из соседей даже чуть не загрызли. Дядя откупился от него, пообещав дать свиную ляжку, когда будет колоть боровка.

Некоторые соседи посмеивались над таким способом откорма, а зря: был в этом всё-таки смысл. Недели за две до забоя дядя Саня начинал поить своих шустрых боровков бардой, и они быстро набирали в весе, хотя, конечно, подлинной упитанности достичь не могли.

У дяди Сани была мания — лечить всех и от всех болезней своими домашними методами. Из всех лекарств самым могущественным он считал дёготь, ибо вырос в лесном посёлке, где как раз и гнали дёготь и скипидар.

Однажды летом приключилась в наших краях дизентерия. Дядя Саня поднёс тётке Фросе и брату Сергею коктейль из денатурата, скипидара и дёгтя. Он считал, что дизентерию такой состав мгновенно убьёт.

Когда тётя Фрося и дядя Сергей свалились без памяти и побелели, как мел, дядя Саня кинулся за доктором Кузнецовым.

— Если ещё кого-нибудь своим снадобьем попотчуешь, в тюрьму упеку, — сказал дяде Сане доктор Кузнецов.

Долго он отваживался с тётёй Фросей и дядей Серёжей. Вызывал у них рвоту, давал им сердечные средства и желудочные микстуры.

Братик Коля часто оставался один, ибо дядя Саня и тётя Фрося вечно были заняты огородом, уходом за скотом, пасекой.

Чтобы Коля не добрался до коробков со спичками, до печи, где в котле прела барда, дядюшка сшил сынку специальный пояс, к которому пристёгивалась цепочка, ограничивавшая Колю передвижение по комнате.

Мать на чём свет костерила родичей за это изобретение:

— Вам ребёнок — собачонка, что ли?!

— Все мы в жизни чем-нибудь ограничены! — оправдывался дядя Саня. — Цепка длинная, даже бегать можно, на ковре — игрушек сто штук!

Я любил играть с маленьким братиком в доме дяди Сани, приглашал малыша к себе, да его родителям всегда было некогда.

Однажды они всё ж привели Колю к нам, пёс Маркиз встретил братца рычанием. Коля заревел, а я стал катать по полу деревянного козлика, пытаясь отвлечь братца: «Смотри, Коля, козёл!».

После, когда мы бывали у дяди Сани и приглашали Колю к себе, он неизменно отвечал:

— Упаси бог, козёл боюсь!

Однажды доктор Кузнецов обнаружил у Коли туберкулёз. Мать моя была возмущена и называла моего дядюшку извергом и козлом деревенским, жлобом. Дядюшка, как мог, оправдывался. Коля вскоре помер.

Горю дяди Сани не было предела. Виноват ли он был?

Он жил хозяйственными химерами. Все мы иногда идём за мечтой, а когда приближаемся, видим: это был мыльный пузырь, а настоящее осталось где-то в стороне, мы прошли и не заметили.

Больше детей у тёти Фроси и дяди Сани, к сожалению, не было.

А тётя Фрося не так просто дяде досталась.

Когда у братьев Климычевых умер отец, они пригласили экономкой шустрюю деревенскую девушку с чёрными маслянистыми глазами.

В один прекрасный день между семнадцатилетним Александром и младшими его братьями Константином и Венедиктом произошла шумная ссора из-за милой Фроси. Возникла драка. Все они претендовали на сердце тёти Фроси. А она никак не могла выбрать из этих трёх сердец одно.

Женился на девушке Фросе всё же дядя Саня. Как старший и обеспеченный.

Когда они жили в Казанке и тонули сверх головы в своих хозяйственных делах, у них прижилась в качестве работницы Дуся.

Впоследствии тётя Фрося ревновала мужа к домработнице. Говорили также, что родила Дуся от дяди Сани ребёнка, но случилось это уже после того, как она ушла из этой семьи.

Стало быть, где-то живёт ещё один дяди-Санин сын, хотя фамилия у него и другая.

Теперь в тихом домике в Дачном городке сидел передо мной седенький старичок, который так заботился о своей старушке.

Дядя Саня привстал, сдвинул в сторону занавесочку, посмотрел в окно, я проследил за его взглядом.

За окном мерцал заснеженный бор. Удивительно прямые и гладкие стволы сосен возносили к небесам свои кроны, стволы были похожи на мачты бесчисленных кораблей, поднявших зелёные паруса перед отплытием в будущее.

И даже сквозь двойные рамы слышалось поскрипыванье деревьев при порывах ветра. Сосна, росшая рядом с домом, тёрлась стволом о крышу, издавая совсем уж корабельные звуки, казалось — и я, и дядя Саня, и тётя Фрося отплываем в неведомую страну.

У основания сосен кора была грубой и пористой, а повыше золотилась тонкой плёнкой, которая шелушилась кое-где, как кожа после сильного загара.

— Очень похоже это на тот сосновый бор, где дед твой основал посёлок, и где потом родились все мы, — и я, и твой батя, и остальные братья.

Дядя Саня вновь наполнил рюмки.

— Хватит! — сказала тётя Фрося. — Завтра опять будешь с головой и сердцем мучиться...

После, укладываясь спать на старую собачью доху, постеленную возле печи, я всё пытался представить деда, который был тогда двадцатилетним парнем, вступившим в самостоятельную жизнь.

Каким он был? Его фотокарточку я видел в детстве у нас дома, но уже забыл его облик, фотокарточка та давно потерялась, у дяди Сани тоже не сохранилась.

Ещё моя память высветила старинные открытки, которые я когда-то читал, лёжа в гостиной на медвежьей шкуре. На красочных кусках картона чёрной тушью были начертаны чёткие бисерные строки. Меня изумляли обращения: госпоже... господину...

Помню, отец объяснял, что так в прошлом обращались друг к другу и люди далеко не знатные. Слышать это было странно... И вот какой-то господин поздравлял госпожу с Рождеством

Христовым, а она его, в свою очередь, — с днём ангела! Может, какую-то из этих открыток и получил дед Николай Фёдорович в ту пору, когда основал посёлок в лесу?

Я заснул, и мне приснился старинный Томск, с купцами, извозчиками, золотоискателями, — такой Томск, каким он был в пору молодости дяди Сани.

Проснулся, услышав голос тёти Фроси.

— Изба-то настыла, господи, боже мой, — трубу-то забыл закрыть, чёрт старый! Сколь дров вчера сожгла, и на тебе!

Я подумал: ладно, хорошо, что холод разбудил меня так рано, поспею к первому автобусу, надо сегодня утром добраться до Шегарки, работа не ждёт.

А к старикам я ещё не раз приеду, буду навещать их каждый выходной, — что мне стоит переехать две великих реки? Помочь старикам по хозяйству, может, дровишек поколоть, то, сё...

Дядя Саня поднялся:

— Ну, не ворчи, не ворчи! Заговорились вчера, бывает, склероз к тому же. Нам-то что? В избе. А вот Лордик на улице ночует, и то не лаётся.

Дядя Саня придержал свирепого Лордика за цепь, я вышел, побряхтывая, дядя Саня двинулся за мной:

Видал, какой у меня Лордик упитанный? Как ты думаешь, отчего?

— Отчего же?

— Дойдём до того бугра, ты встань в сторонке и смотри. Только не подходи, смотри и всё.

Сосновый бор кончился у крутого обрыва, внизу были заливные луга, теперь покрытые высокими снегами, дальше река Томь, за нею городские строения.

Здания, дворцы было трудно узнать отсюда. Дело в том, что в прошлом архитекторы хитрили: они всячески украшали фасады, а обращённые к реке спины дворцов представляли собой просто глухие кирпичные стены.

На высокой, бывшей Воскресенской, а ныне Октябрьской горе поднимала к небу свои купола Воскресенская церковь. Её купола недавно позолотили, они торжественно блестели в разливе зари.

Дядя Саня стоял, сняв шапку, было морозно, я хотел ему сказать, чтобы он немедленно надел шапку: простудится! Он сделал мне знак — мол, говорил же тебе — не подходи.

Дядя Саня придерживал за лямку, надетую через плечо, большую холщовую сумку. Его седые волосы располагались вокруг лысины вроде нимба.

Я увидел, что к дяде Сане подошла старушка, сунула ему в сумку кусок пирога, пробормотала что-то. И пошло. К дяде под-

ходили старухи, старики, женщины, а иногда и дети, и каждый что-либо совал ему в сумку — кусок хлеба, ватрушку, блин. Дядя кланялся и бормотал, по-прежнему глядя вдаль, за реку, на огород. Мне показалось, что смотрит он именно на Воскресенскую церковь...

Кровь прилила у меня к щекам. Что это? Нищенствует?! Да неужто им с тётёй Фросей так уж трудно живётся? У него же, у дяди, должно быть, пенсия хорошая.

Наконец дядя надел шапку и вперевалочку подошёл ко мне.

— Вы что?! — спросил я его сердито.

— Ничего, — ласково улыбнулся дядя Саня. — Я их не ставлял, сами придумали.

— Что придумали?

— Ну, всё это... Лордика подкармливать. Я, понимаешь, дал себе слово каждое утро воздухом дышать. Заставить себя пойти гулять трудно, ноги не гнутся, суставы ломит.

А мне нужен моцион до завтрака. Человеку всегда проще, когда есть цель. Скажем, охотник до сорока километров пробегает по тайге, гонясь за каким-нибудь паршивым рябчиком, так-то он бы ни в жисть эти сорок километров не прошёл.

А мне нынче каждый пройденный метр дорог. Я цель поставил — каждое утро доходить до обрыва и наблюдать восход солнца.

Я стою, смотрю: вот солнце купола золотит, вот поднимается выше. Вот креста коснулось. И всё это так красиво, торжественно, что я снимаю перед солнцем шляпу... ну шапку то есть.

А эти — дядя подмигнул в сторону посёлка — решили, что я вроде блаженного. Просят: помяни рабу Пелагею, раба Ивана, раба Эдика. Я соглашаюсь: зачем людей радости лишать? Я Лордику их постряпушки даю и говорю: мол, это за Пелагею, это — за Эдика. А он, Лордик, хвостом виляет, поминает...

Он проводил меня до остановки.

Я трясся на заднем сиденье и думал: что — жизнь человеческая? Что сделал дядя Саня на свете? Что мог бы сделать? Он так живо вчера рассказывал о своём детстве. Там, под Саратовом, в лесном посёлке, катался мальчик Саня на пони, баловался. Однажды, увидев беременную женщину, подумал, что это урод такой, да и спустил на неё собак. Мать отдала страннице свои старые платья и шали, замазала ей укусы йодом и забинтовала.

В другой раз служанка вздумала ворожить под Новый год. Сделали на воротах для неё ящик типа скворечника, с отверстием посередке. Велели бросать оттуда башмаки, а уж кто

подберёт, тот и суженый. Дядя Саня с дядей Костей тайком от взрослых подпёрли дверцу скворечника, держали девушку взаперти, пока с ней истерика не сделалась.

А теперь вот — такой благообразный старичок.

Не зря дядя Саня свою собаку Лордом назвал. Ясно, что это отзвук тех дней, когда жил он неподалёку от нас в деревушке Казанке, нашу собаку звали Маркизом, а соседскую Милордом, вот дяде Сане это вспомнилось.

Уехал я, закрутился в делах, забыл своё обещание в скором времени навестить престарелых родичей. А когда вновь приехал, то узнал, что дядя Саня и тётя Фрося умерли.

Вспомнил я, что не успел расспросить дядюшку о многих важных вещах, всё думал — успеется. Теперь уж не спросишь... Ведь он был самый старший отцов брат, надолго переживший всех остальных.

Похоронен он на кладбище в Дачном городке. Оно разрослось, подступает к строениям и к дороге. А помню, катался я в этих местах на стареньком велосипеде. Удивительные сосны растут на песчаных, мшистых холмах. Ах, какие мхи здесь! Осенью, когда грязь, среди этих сосен можно ходить хоть в лакированных ботинках.

Холмы, увалы без края и конца. Где по гребню, а где и в низине виляет тропинка, усыпанная хвойными иголками. Спустишься в низину — начинаются заросли подроста, кустарников, осинок, взлетишь, влекомый силой инерции, на холм — вновь замелькают прямостоящие сосняки. А воздух — как масло...

Едва можно было разглядеть несколько кладбищенских холмиков по краю оврага. Теперь тут перенаселённость, яблоку негде упасть. Вот закроют погост — и полезут организации, да и частники строить дома бетонные, заводы, изрыгающие химию.

Наивные аборигены выбрали под кладбище холмы да ямы — мол, строить тут невозможно. Ради места сроят даже горы высокие. Рано или поздно доберутся и сюда.

Люди! Люди! Неужто живём мы, как бабочки-однодневки? Проходим, как трава?

Ау! Дядя Саня! Слышишь ли ты меня?

Не ответит. Только бор шумит величественно и равнодушно.

Прощание с домом

Дом на Тверской, пять я покинул зимой 1942 года. С тех пор в этом доме сменилось много разных жильцов. А дом этот всегда жил в моём сердце.

Жизнь мотала меня из края в край. Жил я на Дальнем Востоке, в Туркмении, на Украине, на Кавказе, на Алтае, в разных российских областях. Жил в городах и сёлах. И нередко мне снился мой дом неподалёку от Ушайки.

Вернулся в Томск, не сразу, но получил-таки квартиру в девятиэтажке, построенной неподалёку от родного дома.

И стал я приходить к нашему старому двухэтажному, наполовину деревянному дому с фотоаппаратом «Зенит». Приду, снимаю. Вышли раз два парня с наколками на руках, стали демонстративно писать на стену дома — вот, мол, снимай! В такие старые дома, без благоустройства, нынче кого только не селят.

Узнал я, что в бывшей нашей квартире живёт Махоня. Служил в милиции, был в чинах, стал «употреблять», расстался с милицией, а заодно с женой.

Я увидел, что жилец он аховый: окно, выходящее к горе, забил наглухо, «чтоб теплее», к стене приделал загон из безобразного горбыля. Окна, глядящие на улицу, были побиты и грязны.

Решил попроситься у него побывать в наших комнатах. У Махони во рту два зуба: вверху и внизу, оба чёрные. Глаза выцвели, в них нет смысла:

— Ты здесь жил? Ты не жил, Федька жил. Раньше? До Федьки Максимовна жила, а тебя не видели. Чо смотреть? У меня нет ничего, нечего смотреть. Нет!

Мозг его был утомлён, и он не мог сообразить, что в этом доме люди жили не только в позапрошлом году. Что ему втолкуешь про детство, про память? У него нет памяти, обходится!

Потом его положили в больницу, а квартиру нашу «забили». Вот, может, кто-то разумный там поселится, так пустит меня подышать воздухом детства.

Однажды пришёл на Тверскую, пять, а дом-то сломан. Лестницу, в которой было тринадцать ступеней, а потом приделали на счастье четырнадцатую, утащили на дрова, ещё бы: древесина — порох! И всё деревянное ободрали. Двух стен нет. Я смог пройти в свои комнаты, поднявшись по косо-гору. Это не комнаты уже, а две уцелевших стены и потолок. Вон крюк, на нём висела моя зыбка. Ай-ай! Скоро дом разберут совсем.

Позвонил я в Новокузнецк Боре Рахманову. Раз в год он обязательно наезжал в наш древний город, чтобы порыться в по-

ломанных домах. То наконечник стрелы найдёт с двумя лезвиями (семнадцатый век), то ещё какую-нибудь старину. Борис сказал, что зимой мой дом доламывать не будут, а уж весной он ко мне прилетит, как ласточка.

Увы, дом разломали зимой. Кругом частники, стройматериал нужен, станет тебе частник весны ждать. А то бы, может, тёзка отрыл бы в полуразрушенном доме что-нибудь из моего детства.

Всё ушло. Хоть бы крюк из потолка мне достался. Так нет! Ничего. Только воспоминания. А сколько тут было в этом доме слёз, горя, радости. Сколько крови пролилось! И нет ничего. Построят другое что-нибудь. Говорят, «Конфетка» будет расширяться в эту сторону. А может, особняк кто забабахает.

Вот тут, во дворе, отец после работы катал ребятню на велосипеде. Сядешь на раму, он тебя придерживает, катает по кругу, тяжело дыша над твоим ухом, покрикивает: «Индия! Америка! Китай!».

Индией был сарай, Америкой сортир, а Китаем называлась та сторона двора, где в избушке жили Ван Дзины. Три круга по двору. Следующий!

Малышня выстраивалась в очередь. Если я пытался проехать без очереди, отец брал меня за ухо и ставил в самый конец её. А мать кричала из окна:

— Сколько можно? Суп уже остыл, что, я без конца его подогревать буду? Вернулся с работы и хреновиной занимается.

Как давно это было! Да было ли? Летишь в поезде, катишь в автобусе, знакомое до боли лицо мелькнёт. И уже фантазия работает: отец вовсе не погиб на фронте, в плену был, потом за границей обитал, а теперь вот вернулся.

Бесплодные мечты! Теперь он всё равно бы уже помер. Возраст. И других нет. Бабушка до девяноста лет держала корову, сама косила сено. Тётя Шура скончалась в Доме инвалидов от старости. Дядя Костя умер от рака, дядя Серёжа от болезни печени и сердца, мать — от инсульта. Давно умерла и Ушайка, стала она городской сточной канавой и смердит.

Я лишь упомянул в повести о дяде Венедикте и тёте Лиде. Так на снимке кто-то получается отчётливо, кто-то не резко — на заднем плане, от третьего торчат лишь один глаз и ухо, а иной и вообще в кадр не попал. Его сфотографируем потом, если, конечно, хватит плёнки.

Дядя Петя преподавал в Новосибирске в военном училище и дослужился до майора.

Однажды в ресторане ему сделал замечание полковник, и дядя избил этого нехорошего начальника. И Петра Ивановича посадили.

Было от него письмо об этом, а потом он как в воду канул.

Но однажды, читая журнал «Огонёк», увидел я на задней обложке цветное фото. На залитой солнцем веранде турбазы стояли красивые девушки, а внизу на тропе стоял с лыжами на плече мой милый дядюшка, заметно постаревший, но по-прежнему мужественный и импозантный. Время как бы говорило: чего вы на меня обижаетесь? Некоторым гражданам я лишь добавляю шарма.

Спортивный костюм на дяде был добротный, дядя делал приглашающий жест рукой, указывая на заснеженные вершины. Фотоэтиюд так и назывался: «В горы!».

Написал я в редакцию несколько писем, мол, не знает ли фотограф человека, которого он заснял? И где именно снимок сделан, и что за горы на нём виднеются? Сообщите — уплачу вам хорошо! Ответа из редакции я не дождался.

Так и живёт во мне дядя Петя в расшитом оленями ярком свитере, с лыжами на плече, он призывно указывает на далёкие сияющие вершины.

Томск, 1994 г.

Прощаль

Роман

1. Зимний Николай

Четырнадцать лет назад в благословенном городе Томске зимней ночью произошёл маленький случай.

Дежурная санитарка знаменитого Мариинского сиропитательного приюта пошуровала в печи. Пора было загребать жар и закрывать трубу. Не сидеть же подле печи всю ночь?

Агафья Данилова с корытом, в котором дымила сырая головня, выскочила на заднее крыльцо. И замерла. На сугробе, который вьюга намела возле крыльца, как на пушистой белой перине, лежал младенец, аккуратно запелёнатый во всё чистое. При свете луны было видно, что младенец морщит губы, словно пытается что-то сказать. Видно, подкинули его совсем недавно.

Агафья воткнула головешку в сугроб и осторожно подняла младенчика. Вернувшись в приют, Агафья разбудила инвалида, Фаддея Герасимовича, который был тут в приюте смотрителем. Следил за порядком. Не пускал в дом чужих. И розги заготовливал, и порки производил, когда это требовалось. Приютские на него не обижались. Дядька потерял ногу на японской войне. И все в приюте знали, что отрезанная нога у него болит, хотя она и осталась где-то под городом Мукденом.

Дядька поворчал спросонья — вот, мол, ни сна тебе, ни отдыха. Но, отошедши от сна, принял в младенце самое живое участие. Он велел распеленать его. Объявил, что младенец этот мужеского пола. На что Агафья отвечала, что глаза у неё и у самой есть.

— Глаза! Глаза! Ты посмотри — что! Пелёнки-то богатейские, кружевные, а метка нигде не вышита. И в колокольчик не позвонили. Ни записки, ничего. И лицо у младенчика благородное, не иначе какая-нибудь дворянская либо генеральская дочка свой грех на наш задний двор скинула. Небось к парадному крыльцу не пошла в колокольчик звонить! Ну, начальство завтра явится, решит, что с ним делать... Ага! Надо же! Золотое колечко к ручонке ниткой привязано. Ну это вроде взятки нам! Начальству не скажем, кольцо сдадим, деньги на двоих поделим. Согласна?

Агафья кивнула. Фаддей Герасимович продолжил речь:

— А ты его с собой положи, да не приспи ненароком...

— Болтай! — сердито отозвалась Агафья. — Я своих пятерых вырастила... Да со здешними сколько вожусь!

Случай был действительно не совсем обычный. Ибо приют сей был создан специально для приёма младенчиков известным купцом-золотодобытчиком Фёдором Харлампиевичем Пушниковым. А то ведь бывает как? Согрешит девица, да и кинет плод несчастной любви в речку, либо, хуже того, куда-нибудь в мусорную кучу или в выгребную яму. Вот Фёдор Харлампиевич и удумал такое заведение. Неподальёку от Белого озера на берегу речки Белой, которая неторопливо несла свои струи в глубокий овраг, в берёзовой роще был выстроен дом, искусно и щедро украшенный резьбой. Он не был окружён забором, а поднявшись по парадному крыльцу, можно было прочесть табличку, что дом этот всегда может приютить младенчиков для заботы и воспитания, и что заведение это носит имя Её Императорского Величества, одобдившего открытие сего дома. Другая табличка просила мамаш, оставив младенца на парадном крыльце, позвонить в колокольчик у двери.

Так многие и делали. Иногда матери, которые были не в силах сами взрастить своего младенца, оставляли записку с указанием — «крещён» или «не крещён». Но в ту ночь случилось небывалое. Младенчика оставили на заднем крыльце. На снегу. И не постучали, и не позвонили. И если бы Агафье не вздумалось пойти вынести никак не желавшую сгорать до конца головешку, младенец наверняка превратился бы в комочек льда.

Так четырнадцать лет назад в приютском доме на тихой окраине Томска появился новый житель этого города. Нарекли его Николаем Ивановичем Зимним. Николай — имя доброе, а Иванов на Руси не меряно, не считано. Вот и дали Коле такое отчество.

Берёзы, ивняки и боярка, и чистейшая, рыбная речка Белая, по берегам которой летом можно смородину и малину вёдрами брать. А зимой — катание с горок на лыжах, на салазках. И всё же приют есть приют. И побить могут, и лишним сладким куском не побалуют. А горче всего — прозвание сироты.

Мальчик рос — на загляденье. Учился вместе с другими по системе Ушинского. Осваивал письмо и счёт, и рисование «по клеточкам», в воскресные и табельные дни вместе с другими ребятами пел в церкви Богоявления. Известно ведь, что именно мальчишечьи голоса обладают особым «ангельским» тембром. Регенты ценят одарённых мальчишек.

Однажды второвский приказчик отдела обуви Семён Петрович Благов явился к приютскому наставнику, учителю Фёдору Ивановичу Голохвостову:

— Желаю взять опеку над Зимним! Как он? Лицом-то смазлив, а сметлив ли?

— Вполне. Хотя и тихоня. В тихом омуте всегда черти сидят...

— Ничего! Воспитаем! Будет мальчиком-грумом. Покупки-то всё больше барыньки-модницы делают, им должны прислуживать эдакие херувимчики. Это тоже, если хотите, коммерческий расчёт. Стульчик подать, покупки до коляски поднести. Пакеты в хрустящей бумаге, по которой сплошь печатано: «Второвъ! Второвъ! Второвъ!». Шёлковой ленточкой всё перевязано. Даме приятно, что такое миленькое существо с её покупками трепыхается. Она в следующий раз только в наш магазин пойдёт! Запомнит это: «Второвъ! Второвъ! Второвъ!». У нас мальчишки имеют домашнюю и служебную форму, бесплатное питание и общежитие с электричеством и душем. И специальность получают. Счастливая судьба для сироты!

— Что ж, оформляй бумаги в суде и забирай. Да мне бутылочку не забудь поставить, всё-таки я начал учить сие существо жизни с самых азоров!

— Ладно! Спору нет! Должен!

Вскоре в суде была оформлена опекунская бумага. И Коле объявили, что очень скоро он переселится из приютских стен в общежитие мальчиков универсального магазина Второва. Он сначала подумал, что над ним подшучивают. Ещё недавно, проходя мимо второвского пассажа, Коля заглядывался на это громадное здание, поражавшее воображение. Он не смел и мечтать, что когда-нибудь сможет войти внутрь этого здания. Это был совсем иной, сказочный мир.

2. Владелец Чуда

Коля Зимний не знал, что его тёзка Николай Александрович Второв свою карьеру тоже начинал мальчиком на побегушках. Вышел в приказчики. А потом завёл своё дело. Приехал он в Томск из Иркутска уже опытным купцом. Неподалёку от табачной фабрики «Самсон» на тихой Большой Подгорной улице построил он себе особняк с балконами на громадных причудливо выгнутых кронштейнах. К этому дому под номером сорок один то и дело подъезжали пролётки. Второв вёл оптовую торговлю мануфактурой. Его агенты ездили в Москву и Иваново, Кремгольдские мануфактуры, Лодзь. Да и сам он часто бывал в деловых вояжах. В этих поездках он европеизировался, сбрил усы и бороду, стал совершенно не похож на купца. Когда его спрашивали, чем он занимается, Николай Александрович обычно говорил кратко:

— Гоню мануфактуру из Европы в Сибирь!

Он вёл дело так счастливо и ловко, что стал крупнейшим коммерсантом не только в Томске, но и во всей России. И захотелось ему, чтобы не было в Томске ни одного более грандиозного здания, чем его, второвское. Второв выкупил два огромных особняка только для того, чтобы снести их и на освободившемся месте построить свой пассаж. Рядом — центральный базар, великая река Томь.

В 1902 году стали рыть огромный котлован, но он заполнялся водой и оплывающей глиной. Тысячи людей поднимали со дна котлована жидкую глину в рогожных мешках. Гигантские плоты из лиственницы один за другим погружали на дно. И лишь потом приступили к кладке каменного фундамента.

С 1904 по 1905 год Россия воевала с Японией. На фронтах старались и томичи. Но это не мешало Второву строить чудоздание, и к концу войны с Японией здание было отстроено. Не выходя из этого углового здания можно пройти квартал Почтамтской улицы и значительную часть Благовещенского переулка.

В 1906 году открылись в этом здании универсальный магазин и гранд-отель «Европа». Газеты извещали, что в «Европе» действуют электрические подъёмные машины, в номерах есть электричество, ванны и душ. Рестораны работают круглосуточно, и всю ночь играют там женский и мужской румынские оркестры. И есть электрический театр, показывающий живые картины.

К зданию с двух сторон примкнули строения различных вспомогательных служб, в том числе — электростанция, дома для служащих гостиницы и приказчиков, пекарни, прачечные, мастерские, общежития для приказчиков и мальчиков-грумов.

На банкете по случаю окончания строительства Николай Александрович под аккомпанемент фортепиано пел вальс «На сопках Манчжурии» и «Врагу не сдаётся наш гордый Варяг». Гости плакали в голос. Построившие здание архитекторы Фортунат Фердинандович Гут и Андрей Дмитриевич Крячков тихо беседовали на диване:

— А ведь правда, обидно? Япошки — маленькие, а всыпали россиянам по первое число! — сказал Андрей Дмитриевич.

— Да! Помню карикатуру в журнале «Нива». Узкоглазая жёлтая лягушка в очках указывает на огромного слона, у которого на боку написано «Россия», и спрашивает другую лягуху: мол, смогу ли раздуться и стать ростом с него? Другая отвечает: лопнешь! Так вот смеялись над узкоглазыми маленькими японцами. А получилось по пословице — большая фигура, да дура!

Второв подошёл с бокалом шампанского в руке к просторному окну, чтобы полюбоваться открывавшейся из него пано-

рамой. И как раз напротив окна, возле Ушайки, были заросли вербы, ивняка, черёмухи, где копошились пьяницы, побирушки, воры. Один выпивоха не мог добрести до кустов, и лежал он на откосе заблёванный, грязный, и сладко спал.

— Гляньте, господа! Сему индивидууму несомненно сейчас снится рай!

Купцы подошли к окну, слышались возгласы — дескать, действительно, сладко спит детина.

— А мы вот сейчас над ним пошутим!

И Второв приказал перенести его в один из гостиничных люксов, обмыть, переодеть во всё дорогое и чистое и уложить на надушенные простыни. Окна в люксе задрапировали, принесли туда горшки с цветами: фикусами, всякими там бегониями, установили во всех углах арфы.

По приказу Второва, как только парень очнётся, арфистки должны были играть самые приятные и нежные мелодии. Хористки и танцовщицы местного театра были одеты в лёгкие муслиновые накидки, распустили по плечам волосы, сквозь муслин проглядывала прекрасная нагота. Едва этот забуддыга проснулся и поразился тихой, нежной музыке, дивным видениям, самая обнажённая и самая красивая танцовщица поднесла ему рог с дорогим заморским вином. Выпил он всё, что было в роге, девицы принялись его обнимать и ласкать. Пытается узнать, куда он попал. Не отвечают. Только целуют да подливают вина. Наконец самая красивая и обнажённая мелодичным голоском сказала ему:

— Ты в раю.

Снова поднесли ему вина, а в бокале на этот раз была изрядная доза снотворного. Выпил юноша содержимое бокала и опять уснул. Тогда его положили в той же самой позе, в какой он и раньше лежал.

Второв с гостями смотрел в окошко, как слуги обливали парня помоями и мазали нечистотами. Парень после не мог понять, то ли ему сон приснился, то ли в самом деле в раю побывал. А в томских салонах ещё долго вспоминали второвскую шутку.

3. Мальчики-грумы

Во дворе второвского пассажа разместилось несколько кирпичных двухэтажных и трёхэтажных зданий. Высокая труба от электростанции, как одинокий перст, указывала в небо. Из пассажа под Протопоповским переулком каменный тоннель вёл к Ушайке. О тоннеле кроме самого Второва и его

управляющего никто не знал. Идя во двор, вы невольно обращали внимание на термометр Реомюра высотой со взрослого человека. Термометр этот был защищён изящной кованой решёткой, которая как бы поддерживалась двумя серебристыми ангелочками.

Пансион школы приказчиков в этом дворе смотрел окнами на гостиницу. Во флигеле неподалёку от квартир приказчиков и общежития грумов была небольшая шоколадная фабрика. И все жители этого двора были пропитаны шоколадным запахом.

В грумы набирали мальчиков по конкурсу со всей губернии. Часто это были сироты. Мальчики должны были быть смышлёными, расторопными, и обязательно хорошенькими.

Когда Коля Зимний стал грумом, ему было семь лет. Он волновался: что ждёт его на новом месте? Но ничего хорошего, кроме запаха шоколада, в этом общежитском доме он не нашёл. Мальчишки здесь отличались от приютских хитростью и бессердечием. Они не жалели друг друга, и видно было, что переняли многое из взрослой жизни. Особенно Коле не понравился Аркашка Папафилов, мальчик с бараньими, выпученными жёлтыми глазами и нагло вздёрнутым носом. Он сразу же заявил:

— Ты будешь заправлять мою кровать и чистить мои ботинки.

— Не буду!

— Ночью оболью чернилами.

— Попробуй.

Пришлось не спать. Аркашка под утро подкрался-таки с пузырьком. Но Коля вскочил, стал вырывать у Аркашки чернила. Оба перемазались. За это им влетело от дежурного дядьки.

Вечерами Аркашка Папафилов нередко отпирал замок на своём сундучке и доставал оттуда подзорную трубу. За копейку он разрешал посмотреть через свою подзорную трубу на шансонеток, которых было видно в распахнутых окнах соседнего здания. Девушки готовились к выступлению в ресторане гранд-отеля. Ввиду жары румынки гуляли по своим комнатам обнажёнными, щёлкали грецкие орехи, пили чай. Разучивали канкан, который должны были исполнить под музыку, сочинённую французским евреем Жаком Оффенбахом.

Загадочная румынка Бела Гелори, совершенно голая, примеряла красные сапожки с кисточками. Она была дирижёром женского румынского оркестра, искусная скрипачка, и говорили, что, возможно, как и танцовщицы, в конце вечера нередко уходит к какому-нибудь денежному постояльцу на ночь.

Мальчики возбуждённо вскрикивали, когда Бела подходила к распахнутому окну и нарочно вставала на стул и ставила но-

гу в красном сапожке на подоконник. Тогда Аркашка вырывал у очередного «зрителя» трубу, смотрел сам, а если кто клянчил «чуть-чуть посмотреть», отвечал:

— Теперь это стоит — пятак!

Коля возненавидел Аркашку с его трубой. Ему нравилась Бела Гелори.

Вставали грумы обычно в шесть утра. Одни служили в универсальном магазине, другие при отеле. В магазине всё сверкало лаком, хрусталём и витринами. Каждый мальчик-грум был одет в костюмчик с блестящими позолоченными пуговицами и маленькую круглую шапочку на голове, похожую на чайную баранку. В обязанности грума входило открывание и закрывание дверей магазина перед посетителями, дабы потенциальный покупатель даже не дал себе труда взяться за дверную ручку.

При гостинице грумы разносили по номерам кофе и газеты, сигары, чистили постояльцам обувь; грума можно было послать на базар за покупкой, с запиской к даме. Грумы дежурили при подъёмной машине, нажимая кнопки, останавливая машину на нужном этаже.

Если барыня желала примерить туфли или боты, к её ногам пододвигали бархатную подставку, приказчик приносил коробки с обувью, а мальчик-грум, став на колени, осторожно снимал с ног покупательницы обувь и надевал новую, магазинскую. Барыни были и капризные, и не очень. Иная перебирала до сотни разных туфелек, ботинок, ботишков. И Коля Зимний, примеряя очередные туфли, осторожно касался ноги покупательницы в шёлковом гладком и нежном чулке.

Однажды Коля обратил внимание, что Аркашка Папафилов, становясь на колени перед барыней, кладёт на пол маленькое круглое зеркальце. И решил и сам проделать то же.

То, что он увидел в зеркальце, его поразило. Он тут же схватил зеркальце и спрятал его в карман. А барыня, стоявшая одной ногой на бархатной подставке, сказала:

— Мальчик, что же ты задумался? Снимай туфли, упаковывай, они мне вроде впору пришлись...

Он быстро и ловко обернул коробку с покупкой хрустящей бумагой с напечатанной на ней серебром наискосок фамилией: «Второвъ-Второвъ-Второвъ...». Затем перевязал шёлковой лентой, красивым бантом.

Нередко барыни бывали не только красивыми, но и добрыми, и тогда Коле перепадал гривенник, а то и целый рубль. Но деньги эти мальчик не имел права взять себе: после работы нужно было отдать приказчику чаевые до последней копейки. Коля так всегда и поступал. Этому удивлялись и мальчики, и приказчики. Можно же часть денег припрятать!

Все грумы уже давно тайком покуривали. Аркашка Папафилов однажды дал Коле сигару, сказав:

— Мне один барин целую коробку подарил. Одному мне не искурить все, уж очень табак крепкий...

Коля спрятался в сортире, достал спички и стал втягивать в себя дым настоящей гаванской сигары. Коля представил себя важным барином: вот он садится в коляску с красивой, как Бела Гелори, девушкой, вот... В это время вспыхнуло пламя, затрещали волосы. Коля с воплями выскочил из дощатого нужника, а возле него уже стояли мальчишки-грумы, и впереди всех Аркашка Папафилов, державшийся за живот и готовый умереть от смеха. Это он искусно нафаршировал сигару порохом. У Коли обгорели брови. Долго не заживали ожоги на лице.

Он стал осторожнее. Взрослее. Оттого, что ежедневно был близок к роскоши, было на сердце ещё тяжелее. Роскошь эта — чужая. Она принадлежит другим людям. Не всегда по праву трудолюбия и таланта, чаще — по воле случая. Иной мальчик просто рождался в богатой семье, и ему ничего не нужно было делать, только расти и учиться. А Коля? Кто подбросил его в Мариинский приют? Почему? Как мать могла это сделать? Или она умерла при родах? Но — всё равно, всё равно...

Эти думы истерзали его. Вскоре он записался в Валгусовскую библиотеку, где в читальном зале книги выдавали бесплатно, он и читал все книги подряд, без разбора, не слушая советов опытных библиотекарей.

Когда Коле пошёл тринадцатый год, Николай Александрович Второв решил экзаменовать его.

Коле завязали глаза широкой и плотной тёмной лентой, и Николай Александрович дал ему пощупать кусок материи. Грум должен был на ощупь определить, что это за материя, какой фабрикой выпущена.

— Английское сукно от Вилкинсона! — чётко отрапортовал он. Угадал и другие образцы. Николай Александрович сказал:

— На днях из мальчишек будешь переведён в младшие приказчики!

У Коли выступили слёзы. Он отвернулся, чтобы никто не заметил его слёз. Теперь он ждал новой должности как некоего чуда. Ведь кто он? Безродный! Не зря он прожил годы в запахе шоколада и в отдалённых звуках румынских скрипок. Он недавно побрил свои небольшие усы. И ему вспоминалось стихотворение Пушкина о паже, хотя Коля был до сей поры всегонавсего грумом.

4. Черёмуха шептала

Весна 1914 в Томске прошла в основном спокойно. По утрам по домам сами печатники разносили газету «Сибирская жизнь». Приработок такой. Всё равно домой идти, почему не занести свежие номера в дома, которые лежат на пути?

Печатники, наборщики на работе дышали свинцовой пылью. Поэтому у них часто болели лёгкие. Учёные люди из университета побывали в типографии, осмотрели цеха, и рабочих через слушательные трубки прослушали. И сказали владельцу типографии, знаменитому просветителю, купцу, торгующему книгами себе в убыток, Петру Ивановичу Макушину, что рабочим надо давать молоко. Пётр Иванович учёным ответил:

— Я сам тут нередко свинцом дышу! Что же делать? У меня есть корова. Никто не мешает каждому рабочему держать в хозяйстве корову. Если кто не держит, только от лени! У нас в городе даже самые бедные люди держат коров, а я своим наборщикам, печатникам плачу большую зарплату.

Некоторые типографские люди держали коров, некоторые обходились самогонными аппаратами. В редкие выходные и праздники дёрнешь пару стаканов самогона, гармонь в руки и — на лавочку. Благодать! Дышишь воздухом. Вообще-то типографские в большинстве люди грамотные, они читали нерусского экономиста Маркса, газетёнку одну запретную под названием «Искра», на папиросной бумаге печатаемую, тоже читали. Знали, что хозяев нужно ненавидеть. Своего хозяина они вообще-то уважали. Норовистый мужик, но справедливый. А всё-таки свинец есть свинец, он оседал не только в лёгких, но и в сердце.

Все большие дома: типография Макушина, литография, магистрат, католическая капелла с её витражами прислушивались слуховыми окнами, глядели оконными проёмами, переговаривались между собой скрипом половиц и лестниц, лязгом запоров, печных задвижек и конфорок — может, они стремились понять надвигавшееся время?

С великой реки Томи с щемящим запахом таянья летел вешний ветер. Город тянулся вдоль реки, вода в которой была необычайно холодной и прозрачной, так что каждый камушек на дне на самой глубине было видно. Реку эту питали ледники Алтая. И когда она застывала, лёд её был особо чист и звонок. И льдины во время ледохода напоминали глыбы хрусталя, и пахли отчаянной свежестью.

Заливались возле реки на разные голоса балалайки, гитары, гармоники, баяны. Гремели медными голосами на берегу

пожарные и военные оркестры, с высокого обрыва Лагерного сада по льдинам палили тяжёлые гаубицы.

Некоторые льдины подплывали близко к берегу. Тогда на льдине разводили костёр и отталкивали багром: плыви дальше! Иные смельчаки вспрыгивали на плывущие льдины, удивляя народ. Потом их приходилось вызволять из воды при помощи плах и верёвок. Почти все жители Томска вышли на берег Томи. Ниже по течению около мельницы Кухтерина пекари водрузили на льдину огромный каравай. И он уплыл в неизвестность. Крики, шум, песни!

Но вот неожиданно взрыв потряс центр города. Господи! Что такое? Опять война? Да какая война в Томске? В таёжной сердцевине России! Опять бунтовщики? Бомбисты? После 1905 года, после всяких бунтов, стрельбы и резни хотелось покоя, тиши и глади. Выяснилось: прислуга аптекарей Ковнацких спустилась по ступеням в подвал с открытым огнём, со свечой, вот и бабахнуло!

Приехала полиция: порох хранили? Ковнацкие клялись и божились, что — нет. Какой порох? Откуда? Зачем? Что же тогда? Учёные облазили подвал, исследовали. Оказалось, дом Ковнацких поставлен на древнем кладбище. В подвалах скопился трупный газ. Результат гниения. Прошлое взорвалось! Оно взрывается, хотим мы этого или нет. А мы редко заглядываем в прошлое, не думаем о нём.

Люди со страхом раскрывали газеты, в них писалось о странных и нехороших делах, происходивших в Европе, на Балканах. Кажется — а нам-то что за дело? Это так далеко, что дальше уже не бывает.

А в квартире генерала Пепеляева по вечерам долго горел свет. Он вчитывался в секретные сообщения, вглядывался в карту, измерял циркулем расстояния между польскими и прусскими городами. Да об этом мало кто знал. Домашние к занятиям генерала привыкли.

Черёмуха и сирень зацвели по обыкновению буйно, дощатые тротуары поскрипывали под ногами молодёжи, щёлкавшей кедровые орехи. А орехи эти, известно, — эликсир любви. И то под одной, то под другой черёмухой слышался звук поцелуя. Не можешь уснуть — закрой окна! Не завидуй чужой весне! На одной лавочке целовались со своими девушками — Ваня, сын знаменитого купца Ивана Васильевича Смирнова, и младший приказчик Коля Зимний.

Ванюша учился на восьмом курсе первого сибирского коммерческого училища. В библиотеке Макушина познакомился он с Колей Зимним. Поговорили. Выяснилось, что им нравятся одни и те же книжки. Потом они вместе встретили двух юных белошвеек, и весна подсказала им подходящие слова. Белошве-

ечки Таня и Надя согласились посидеть на лавочке в укромном месте возле лестницы, ведущей на Воскресенскую гору. Поздно вечером к той лестнице никто не ходил.

И сидели они на скамье, насыпав девушкам в кармашки платьев ядрёных кедровых орехов. И сами щёлкали орехи. И рот был полон терпкой кедровой сладостью, и губы горели от поцелуев.

В полночь гудок прозвучал на фабрике Бронислава. Девчушки засобирались домой.

— Ещё минуточку! — молили Ваня и Коля.

— Нельзя, нам дома попадёт!

— Ты правда любишь Надю? — спросил Ваню Смирнова Коля Зимний.

Купеческий сынок помедлил, потом печально сказал:

— Эх, Коля! Я не волен ни в чём. Мне отцово дело продолжать. И жениться я буду должен по совету отца, как это будет важно для дела. А ты свободен. Я тебе завидую.

— Хотел бы я быть на твоём месте! — запальчиво воскликнул Коля. — Ты богат, имеешь отца. А я даже не знаю, кто я и каких кровей.

— Не грусти. Ты уже младший приказчик, может, ещё учиться пойдёшь. И станешь большим человеком.

— На какие шиши учиться-то? Я бы хотел стать доктором или офицером.

— Ну... может, я когда-нибудь приму отцово дело, тогда я тебе помогу в люди выбиться.

— Когда это будет? Я уж и не дождусь.

— А ты, Коля, любишь кого?

— Сам не пойму. Одна скрипачка из румынского оркестра уж больно мне нравится.

— Ну, брат, удивил! Музыкантши эти все продажные. Что же за любовь? Заплати — и она твоя.

— Да нет, это я так. Пошутил... Просто она красивая, как на картине Венера какая-нибудь... Она всё же не девица в доме терпимости, но артистка. Наше общежитие рядом с жильём хористок. Я вижу. Они много репетируют, работают, а если и пристают к ним богачи в ресторане, так что ж? Всякое бывает. На артистке и жениться не зазорно. Да только никогда у меня не будет таких денег, чтобы её содержать...

А город продолжал жить, шуметь, торговать, воровать, умирать и рождаться. Всё шло своим чередом.

5. Бедный Фердинанд

В газетные полосы всё чаще стали вторгаться непонятные вести с Балкан. И однажды грянуло: «Застрелен в Сараево эрцгерцог Франц Фердинанд. Австрия объявила войну Сербии...». Через какое-то время стало известно, что из тяжёлых пушек обстреляли Белград.

Если какие тётушки до этого вздыхали: «Бедный Фердинанд! Такая душка, судя по портретам!..», — то тут уже пошли иные разговоры. Братьев-славян обижают!

Не успело и лето минуть, а в типографии Макушина сосредоточенные наборщики и печатники всю ночь готовили новый экстренный выпуск газеты. И уже рано утром второго августа 1914 года по центральному томскому базару носились мальчишки-газетчики с истошными воплями:

— Экстренно! Касаемо всех! Германия объявила войну России! Усатый кайзер играет с огнём!

На базаре шарманщики всё ещё наяривали: «Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг», пощады никто не желает!». А история требовала уже новых песен. И они не замедлили явиться. Вести в газетах пошли одна другой чуднее. Власти решили переименовать Петербург в Петроград — нечего столице немецкое имя носить, если немцы оказались такие бяки!

На Тверской возле штаба полка выстроились взводные запевалы, перед ними стоял со скрипкой старичок Благовестов, рядом со старичком два полковых барабанщика с малыми барабанами, и один — с большим. Барабанщики задавали ритм, старичок-скрипач выводил мелодию. По приказу генерала Пепеляева происходило разучивание марша сибирских стрелков. Автора не знали. Слова были народные, и музыка была неизвестно чья, но весела и энергична.

Первая шеренга певцов держала перед собой листки с текстом марша. У этих солдат сзади к рубашам приколоты листки с текстом — для последующей шеренги. Так было во всех пятнадцати шеренгах певцов.

Генерал Николай Михайлович Пепеляев стоял на крыльце и тоже держал листок с текстом. Марш — дело не шутейное. Вот какие строки были в листке:

МАРШ СИБИРСКИХ СТРЕЛКОВ

Из тайги, тайги дремучей,
От Амура от реки,
От Байкала грозной тучей
Шли на бой сибиряки.
Их сурово воспитала
Молчаливая тайга,

Бури грозные Байкала
И сибирские снега.
Ни усталости, ни страха,
Бьются ночь, и бьются день,
Только серая папаха
Лихо сбита набекрень.
Эх, Сибирь, страна родная!
За тебя ль мы постоим,
Волнам Рейна и Дуная
Твой привет передадим.
Из тайги, тайги дремучей,
От Амура от реки,
От Байкала грозной тучей
Шли на бой сибиряки.

Как раз прибыл на каникулы из Петербурга из своего военного училища сын генерала Анатолий. Теперь он стоял возле отца и подпевал славному маршу. Когда репетиция кончилась, Николай Михайлович сказал сыну:

— Как ни жаль, но совершенно очевидно, что твоя учёба нынче прервётся. Ты будешь теперь познавать военную науку на практике, как и многие молодые россияне.

Тревога тронула души и простых томичей. Слово «война» несёт в себе наиболее грозный и страшный смысл для тех, кто не командует полками, дивизиями, а если и пойдёт на войну, то будет под пулями ходить, или гнить в окопах. А дома семьи станут затягивать потуже пояса. Но русский человек не привык прятаться за чью-либо спину! Надо так надо!

А газеты и плакаты в те дни принялись проклинать врага и призывать к сплочению. И как тут было не откликнуться на эти призывы всей душой?

В кинотеатре «Иллюзион-Глобус», размещавшемся в Доме науки Макушина, состоялся показ фильма различных видов спорта, снятый членами сибирского фотографического общества — «Зимняя охота на медведей».

Вот — мы! Ничего не боимся!

А телеграф донёс вести из столицы о том, что там толпы разбивают магазины, владельцы которых — немцы. Телеграмма была зашифрованная. Весть была строго секретная: только для губернатора, начальника жандармерии и начальника охранного отделения. Казалось бы, уж эти люди должны уметь хранить секреты.

Многие томичи тут же дружно принялись переименовывать гостиницы, рестораны. Пивной ресторан Густава Флеера «Вена» переименовали в «Модерн». Гостиница «Берлин» стала «Версалем».

С Алтая пришла весть, что где-то над речкой Бахтармой пролетали два немецких самолёта, летели, летели и растаяли. Словно их не было никогда!

Крестьянка Богородской волости Секлетины Забарина пошла по ягоды на болота, да увидела вдали над болотом ярко освещённую избу, летевшую по небу в сторону Оби и скрывающуюся где-то в бору. Ни дать ни взять немецкий шпионский цеппелин. Да ведь как в такую даль смог залететь? Даль, говорите? А у нас на иных заимках немецкие поместья устроены. Ясно! Говорят, один такой цеппелин над деревнями российские деньги крупного достоинства сбрасывал. А тут вдруг на базаре цены вверх пошли, крупчатая мука стала из продажи исчезать. Вот они немцы-то, что творят!

Возле хозяйств немецких поселенцев стали днём и ночью ходить мужики в штатском, но с военной выправкой, и всё выглядывали чего-то. На всякий случай в университете некоторые учёные немцы стали уверять, что они евреи. Мало ли что — фамилии-то всё равно похожи. А евреи воспряли духом. Теперь уж не они во всём виноваты, что ни случись — а проклятые немцы! Так им и надо! В Томске вдруг невесть откуда возник еврейский театр под руководством режиссёра Карско-го, с популярной пьесой «Гер Гамер фун Левен».

Город удивила ещё одна новость. В расквартированную в Томске четвёртую роту двадцать пятого резервного батальона пятого полка зачислена кавалер-девица Мария Бочкарёва-Фролкова. С личного разрешения его Императорского Величества Николая Второго! Простая крестьянка, говорят. Томские солдаты зовут её Яшкой. Девка, а вот идёт за Родину биться!

Да разве впервые такое на Руси? Грамотные люди, небось, все читали про девицу-кавалериста Дурову. Но всё же странно было. Ведь девица-кавалерист воевала против Наполеона. Нашествие было! Теперь же — совсем иные времена.

Богатые люди, Второв, Смирнов, Головановы, Кухтерины, Гадалов и все прочие принялись жертвовать деньги в фонд победы. В то же время припрятавали ценности, мануфактуру и зерно до поры. Вот уж взлетят цены — тогда...

Генерал Пепеляев перед отправкой на фронт пошёл с сыновьями на кладбище мужского Алексеевского монастыря, чтобы навестить могилу своего отца, а их дедушки. Надо на родную могилу венков возложить, попросить, чтобы отец и дед их благословил на ратные дела.

На кладбище было безлюдно, только на все голоса заливались щеглы, чечётки, синицы. Возле древних могильных плит зеленела ласковая травка. Вот сторона, где хоронили полицейских, судейских и разных чиновников юстиции. Там была простая гранитная плита с надписью:

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ПЕПЕЛЯЕВ
Надворный советник
Томского губернского правления
2 октября 1891 г.

Михаил Григорьевич был интеллигентным тюремщиком. Молодым офицером прибыл он в Томск из Петербурга, чтобы послужить этому городу и оставить ему своё немалое потомство. В доме Пепеляевых в рамках висят вырезки из старых газет. В одной газете напечатано стихотворение Михаила Григорьевича, в другой сообщается: «Поручик Николай Михайлович Пепеляев с успехом был занят в спектакле драматического общества...».

С годами дослужился он до больших чинов. Статский советник. Если правда, что после человека остаётся душа, то душа бывшего помощника тюремного инспектора теперь конечно бы порадовалась. Сын Николай — генерал, внук Анатолий тоже военный, другой внук, Виктор, пошёл по учительской стезе. Михаил — художник, но мечтает о военном поприще. Передались по наследству и любовь к военному делу, и к искусству. Недаром все Пепеляевы рыжеваты, видно, это сам бог войны Марс окрасил их своей огненной краской.

В кафедральном соборе был молебен во славу русского оружия. И полки, стоявшие возле собора, сняли фуражки и крестились. Затем под рёв оркестров двинулись пешим маршем к вокзалу Томск-первый. За полками бежали женщины и голосили, бежали ребяташки и кричали. Генерал Пепеляев с семейством ехал на вокзал в колясках. Потом на вокзале долго грузили в специальные вагоны лошадей и артиллерийские орудия. Усаживались в красные «телячьи» вагоны нижние чины.

Генерал-майор Николай Михайлович Пепеляев расцеловал супругу, дочерей, крепко пожал руки остававшимся в Томске младшим сыновьям, и, взяв под козырёк, на мгновение замер, глядя на Томск. Как много здесь оставалось! Суматошные праздники с ёлочными огнями, с маскарадами в Общественном собрании под стоголосые вздохи оркестра. Кошёвка, уносящая в метель, когда под медвежьей полостью находишь нежную руку. Поцелуй весной в кипении сиреней и черёмух, стихи, расставания и встречи. Умер отец, родились и подросли дети. Так много облетело с листьями, белыми метелями, с тройками, с рождественскими открытками, запахом духов «Шанель», со звоном бубенцов и праздничных колоколов...

Наконец беготня на перроне прекратилась. Важный и толстый начальник вокзала подошёл к большому медному колоколу и с большими паузами трижды ударил железным языком по медной щеке колокола. Тоскливый звук погасил сразу все

остальные, посторонние звуки. Начальник вокзала сделал своё дело, и приложил руку к фуражке. Тотчас засвистели на вагонных площадках поездные кондукторы, свидетельствуя, что путь к сражениям и победам открыт, а может быть, это и путь к смерти.

И колоколу, свисткам, и всем, всем уезжающим и провожающим пронзительным трубным голосом прокричал паровоз, и задорно ухнул клубами пара, и дёрнулись с места колёса. Они закрутились, сперва как бы нехотя, потом всё быстрее и быстрее. И снова на перроне, как бы опомнившись, взревели медные трубы, и взлетели к небу волны плача и стенаний.

6. Красные сапоги с кисточками

Однажды во второвский универсальный магазин пришла покупать сапоги Бела Гелори, улыбнулась Коле Зимнему заговорщицки:

— Я вас знаю, я часто вас вижу. Ещё недавно вы были нежным, как амурчик с пасхальной открытки, а теперь у вас уже усы пробиваются.

Николай невольно покраснел, у него даже голос перехватило от волнения, спросил:

— Чего изволите?

— Какой серьёзус-формалиозус! Изволю примерить сапоги, но только не нужно грумов! Примерьте мне их лично. Ведь мы же — как это по-русски? — Живём по соседству!

— По соседству.

— Вот я и говорю. Снимите с меня сапожки! — поставила она ногу на бархатный пьедестальчик. Николай стал на колени, как перед божеством. Обтянутая французским шёлковым чулком нога явила ему идеальную форму.

— Мне нужны красные сапожки, должно быть легко и прочно. Есть у вас красные сапожки с кисточками?

— Красные, но без кисточек.

— Не важно! Кисточки можно пришить от старых сапог. У них износились только подошвы. Когда каждую ночь танцуешь до утра, за месяц подошва сгорает, как на пожаре! Сгорает, как ваши милые щёчки.

Коле было очень стыдно, что он краснеет, но чем больше он стыдился, тем больше краснел.

— Ничего! Если молодой человек стесняется, это — хороший.

Наконец Бела выбрала сапоги.

«Вот и всё! Кончился чудный сон!» — грустно думал Коля, — сейчас она уйдёт, я не посмею ей ничего сказать, я мям-

ля, рохля, я никчёмное существо, да и что я могу ей сказать? Засмеётся, или — ещё хуже — выругает!..

Но она сунула ему в карман бумажку, перехватила его руку и сказала заговорщицки:

— Хорош сапог! Я довольна! Уйду, потом читай, и решай!

Она ушла. Он зашёл в закуток в подсобном помещении и прочёл: «Венецианская ночь», понедельник, 9 вечера, номер тринадцать! Буду тебя научать!».

И он прошёл вечерующими проулками по Акимовской на Бочановку, где были эти самые номера. Здесь речка Ушайка делала большой извив, образуя нечто вроде озера, заросшего лилиями и осокой. Деревянный дом, в котором размещалась «Венецианская ночь», одной своей стороной нависал над водой, опираясь на витые столбы. Вечером меж этих столбов скользили лодки с девицами и кавалерами. В мансардах были устроены висячие сады. Летом в открытые окна наносило запахи цветов и речной свежести.

Всё тут было загадкой, как и встретившая его на пороге номера Бела, в лёгкой кружевной накидке, через которую просвечивала нагота.

После он не раз спрашивал её, зачем она заказывает именно несчастливый тринадцатый номер?

— Вся жизнь есть — несчастье! — однажды ответила Бела. — Два искорка летят во тьме и скоро гаснут..

С тех пор он ждал понедельников, он молился, чтобы время от понедельника до понедельника шло быстрее. Он не опасался, что об этих свиданиях узнают. Обслуга номеров приучена была хозяевами гостиницы держать такие визиты в тайне.

Для него всё происходящее было чудом, колдовством.

Он вспомнил, как однажды Ваня Смирнов взял два билета в ресторан гостиницы «Европа», как они уселись за угловой столик, пили удивительно вкусное вино, и ровно в двенадцать на эстраде вспыхнул свет, появились красавицы в румынской одежде, зазвучала мелодия.

Впереди всех была Бела Гелори. Она играла на скрипке, дирижировала ею, пела, притопывая красным сапожком. Мелодия дойны была просторной, как молдавская степь, а внутри неё капризным чёртиком бился ритм. Если закрыть глаза, можно было представить, как сияет над холмами и виноградниками южное солнце, как дёргается на ухабах молдавская повозка с кучей чумазных ребятишек.

— Правда ли говорят, что ваш румынский оркестр наполовину состоит из цыганок? — спросил Коля.

— Среди моих девушек есть молдаванки, украинки, русские, еврейки, а цыганка — лишь я одна, да и то на треть. Мой

папа был чистым румыном, а мама — наполовину цыганкой. Они возили контрабанду, их лодку потопили пограничники на Дунае. Они погибли.

Я воспитывалась у тётки у Кишенеу. Мы не любили друг друга. Однажды я прочла в петербургской газете, что господин Анри Алифер набирает хористов для новой гостиницы, построенной в Томске, собрала смелых девушек, и мы двинулись в путь. У тётки я ходила в обносках. Здесь я в своём хоре — главная. Мне нравится, как загораются глаза у слушателей. Иногда они рыдают от моей музыка, так их принимает. Может, это плачет вино, но мне всё равно приятно.

— Я тоже сирота, — сказал вдруг Коля, — но я даже не знаю, кто мои родители. Меня грудного оставили на крыльце приюта зимой, и я чуть не замёрз.

— Ты — не сирота! — ответила Бела Гелори. — Я твоя мама! — возьми в рот мою грудь...

Очнувшись после ласк, Коля задумался. Как же будет дальше? Что? В краях Белы Гелори бушует война. Коля — младший приказчик и получает гроши, а она привыкла к роскоши. Но он на ней женится. Он будет много работать, учиться.

Он ходит в Дом физического развития. Там сейчас созданы курсы для юношей, мечтающих о военной службе. Борец Бейнарович учит парней вольной борьбе и поднятию тяжестей. Прапорщик Никитенко, вернувшийся с фронта без ноги, учит их ползать по-пластунски и стрелять из винтовки. Скоро Коля достигнет призывного возраста и попросится на фронт. Вернётся с фронта он обязательно офицером. И женится на Беле. А что? Она всего на двенадцать лет его старше. И выглядит очень молодо.

7. Конопля на Орловском

Там, где Орловский переулочок от улицы Алтайской поднимается в гору почти отвесно, всё вокруг заросло ивняками, ягодниками, кустарниками, лопухом и крапивой. В одной из оград, прилегающей к Монастырскому лугу, китаец в синем, расшитом пунцовыми тюльпанами халате, в остроносых золотых туфлях и соломенной шляпе полулежит в гамаке, укрепленном меж двух тополей, посматривает на дюжих голых и потных мужиков, которые, как оголтелые, бегают по плантациям конопли. Иногда китаец вынимает изо рта трубку с длинным янтарным чубуком и покрикивает:

— Ваня маленько шибче ходи-ходи! Маленько, маленько шибче!

Мужики уже изнемогают, но продираются сквозь заросли высокой конопли из последних сил. А когда мужики уже совсем обессилевают и валятся на землю, китаец в гамаке делает знак другим китайцам, одетым попроще. Те подходят к мужикам со скребками и берестяными туесами, начинают соскребать с голых спин и животов пропитанную потом коричневую массу, уместяя её в туеса.

— Щекотно! Мать вашу за ноги! — кричит длиннопатлый верзила.

— Это тебе, Федька, не в рай с райскими красавицами шампань пить! — кричат ему товарищи. — Небось больше тебе такого праздника сроду не будет!

Мужики вспомнили Федькины рассказы, как однажды он уснул возле базарного моста пьяный и Бог перенёс его в рай, и какое там было райское блаженство.

Главный китаец, которого зовут Ли Хань, тайный выборный китайский старшина, говорит грузчику Федьке Салову:

— Маленько курить дам-дам, и маленько будешь в рай! У меня рай тута-тута! — ударяет Ли Хань по карману.

Не всякий прохожий, заглянув в усадьбу, смог бы понять, что тут происходит. А дело было простое. Чтобы снять с конопли опиумную пыльцу, не было лучше способа, чем гонять по конопле какую-нибудь скотину, пока она не вспотеет. Тогда пыльца станет прилипать к потной коже. Потом зеленовато-бурый мёд соскребут со шкуры — и всё! Можно гонять по конопле лошадей. Но это дорого, да лошади чересчур плантации вытаптывают. Ли Хань придумал гонять по конопле базарных грузчиков. Они целыми днями таскают на горбу тяжеленные мешки и бочки из паузков, так чего бы им после тяжёлой работы немножко не развеяться? Побегают час-другой — и получают по стакану разведённой ханжи, китайской самогонки то есть. А если приучить их опиум курить, так целыми днями будут бегать за одну самокрутку.

В стране сухой закон. Его Величество Николай Второй приказал: по случаю войны — никаких крепких напитков. Гимнастикой заниматься, тогда побьём кузена Вилли. Он пожалеет, что тронул Россию!

На большом базаре хитрые поляки в европейских котелках, модных чёрно-белых штиблетах, пёстрых галстуках, продают трости со специальным изгибом, чтобы можно было носить, согнув руку в локте. Трости внутри пустотелые. И туда входит как раз бутылка водки или бутылка коньяка. Внизу у трости — медный наконечник-колпачок. Придёшь домой, открутишь его, и — ваше здоровье! Ясно, что цены на трости высоки. Ясно, что которая с коньяком — дороже. Хотя могут и обмануть, могут такую трость подсунуть, в которую просто вода налита.

А у Ли Ханя — без обмана. В сухом законе ничего про коноплю не сказано. К тому же китайцы друг друга не выдают, у них есть своя особая конспирация, которую посторонним не разгадать. У них и администрация своя, законы свои, налоги свои, хотя и живут в чужой стране.

Население Томска возросло раз в шесть или больше. Понаехали беженцы из Галиции, Польши, и бог знает ещё откуда. Еды с собой они не привезли, а привезли деньги. Было среди них множество аристократов, которые привезли ещё и золото, и зашитые в одежду бриллианты. Знатные люди, грамотные, но мест в губернском правлении либо ещё где-то для них не было. Не хватало жилья, даже все нежилые подвалы и чердаки были заняты. Население Томска со ста пятидесяти тысяч человек увеличилось до трёхсот. На базаре шла уже совсем другая торговля: цены утроились, удешевились, и продолжали расти. И случилось так, что старинный сибирский губернский центр вдруг заговорил с сильным акцентом, а то и вообще не по-русски! В толпе мелькали многоугольные шапочки, обозначавшие многогранность польской души.

В эти дни торговля во второвском пассаже не прекращалась, но продавали больше за золото, а также и за драгоценные камни. Только безделицу какую-нибудь вроде рожка для обуви можно было купить за деньги.

Николаю Зимнему и ещё несколькими молодым приказчикам поручено было получить в багажном отделении станции Томск-1 несколько тюков мануфактуры. Наняли на соседнем базаре дюжих грузчиков, в том числе и Федьку Салова, который всё ещё всем встречным-поперечным рассказывал о своём кратковременном пребывании в раю. Двинулись на двух тарантасах к вокзалу.

Багажное отделение оказалось закрытым на обед. Николай прошёл в буфет, чтобы выпить квасу, и вдруг увидел там Аркашку Папафилова. Бывший сосед Николая по общежитской кровати давно уже исчез из общежития и из магазина. И не было от него никаких вестей — где живёт, чем занимается. Сейчас Николай искренне удивился тому, как переменялся Аркашка. Он возмужал. Теперь это был солидный господин в дорогом костюме и с большой сигарой в зубах. Аркашка отпустил пышные усы, они были густо нафабрены, а кончики их лихо закручены вверх.

— Как ты? Где? — спросил его изумлённый Зимний. — Вижу, что живёшь не бедно, чем кормишься в наши трудные времена?

Аркадий выпустил струю дыма, который странно припахивал горелой тряпкой, и сказал, похлопав ладонью по стоявшему возле ноги ярко-алому чемодану:

— Вот этим и кормлюсь!

— Как? Делаешь чемоданы? — опять удивился Коля. — Чемоданный мастер?

— Можно сказать, что дело обстоит именно так! — смеялся бараньими глазами Аркашка. — Я тебе даже готов продемонстрировать своё мастерство, если у тебя есть время. Сигару хочешь?

— Я бы и не против, но у тебя странный какой-то табак, жжёным пахнет.

— Гм. Я за этот запах плачу китайцу Ли Ханю золотом. Мои сигары скручены с опиумом. Лучше нет забавы, если кто понимает.

— Не понимаю. И не хочу понимать.

— Ну я и не навяливаю, тем более, что вещь это очень уж дорогая. Пойдём, я покажу тебе свою работу...

— Кристина! — позвал он кого-то. Тотчас к столу подошла худенькая девочка лет десяти. Одета она была в скромное платье и поношенные ботинки с высокой шнуровкой.

— Айда! — встал из-за стола Аркашка Папафилов. — Как раз поезд прибывает.

Они вышли в вестибюль, где уже толпились встречающие. Поезд остановился у вокзала, тяжело отдуваясь и вздыхая белым паром. Пассажиры с перрона хлынули в вокзал. Аркашка сделал Кристине знак глазами, она подошла к красивому пассажиру в удивительном переливающимся плаще и в сверкающем цилиндре, в зубах его была сигара, в руке он держал новенький коричневый чемодан.

— Прошу пана! — сказала Кристина плачущим голосом. — То есть адрес моей тётки, но я прочесть не могу...

Озадаченный господин поставил свой чемодан на пол, взял записку, но, видимо, она была не очень разборчиво написана, так как господин напряжённо вглядывался в неё.

— Прошу пана к свету! — потянула его за локоть Кристина.

В этот момент Аркашка, проходя мимо их обоих, как бы надел свой алый чемодан на коричневый чемодан приезжего. Раздался щелчок, важный господин обернулся и увидел Аркашку с алым чемоданом в руке.

— А где же... где мой чемодан? Он только что стоял здесь.

— Какого цвета у вас был чемодан? — осведомился Аркашка.

— Господи! Коричневый, новый такой.

— Так что же вы стоите? Только что мазурик с вашим чемоданом скрылся в буфете.

— О боже! — воскликнул господин и побежал в буфет.

Аркашка подмигнул Николаю Зимнему:

— Ну, понял?

— Да, то есть — нет!

— Ну какой же у тебя глаз такой, что ничего не видит? Эх, а ещё второвский приказчик! Мой алый чемодан — без дна, это такой футляр, который я надеваю на чужие чемоданы. Я надеваю его, а пружины плотно захватывают чужой чемодан. Ты же слышал щелчок? Чемоданы делают, как правило, стандартных размеров, мой футляр чуть больше стандарта. Объяснять дальше?

— Нет, ты иди, а то тебя схватят! — сказал Коля Зимний, испуганно отодвигаясь от Аркашки: примут ещё за сообщника!

— Не дрейфь! — рассмеялся Аркашка Папафилов. — Сейчас я растворюсь, сгину и всё. Ты видишь — Кристина уже растворилась. Ну, адыю! — он зашёл за титан с кипячёной водой и словно растаял в воздухе. Коля заглянул за титан, там никого не было.

8. Девятка пик в оправе

В самом центре Томска, напротив кафедрального собора, стоит декорированный разноцветным песчаником громадный и романтический дом. Угловая его башня похожа на шлем древнерусского витязя. А ещё дом украшает множество башенок и балкончиков, неожиданных, затейливой формы. Архитектор Константин Лыгин любил эпатировать. Старался, чтобы дом заставлял мечтать, улетать мыслями от восьмимесячных морозов. Дом строился как доходный, по заказу фирмы «Кухтерин и сыновья». В одной половине разместилось казначейство, в другой — на первом этаже был магазин купца Гадалова, на втором этаже была его квартира.

Магазин был оборудован с западным шиком и вкусом. А во внутреннем дворике хозяин устроил первый в городе частный водопровод. Вода из колодца паровой машиной закачивалась в двухэтажную башню, из которой подавалась в магазин и в квартиру хозяина. Был и пожарный рукав. Горожане сходились со всех концов поглазеть на это чудо, а потом шли в магазин — и покупали что-нибудь. Так что водопровод служил ещё и рекламой.

Иннокентий Иванович Гадалов своим интеллигентным волевым лицом, манерой держаться вполне походил на профессора университета, и одевался соответствующим образом. Уж про него не скажешь — «алтынник». Новая порода купцов завелась в Томске в новом, девятнадцатом веке!

Будучи в Москве, в связи с войной этой самой, Иннокентий Иванович Гадалов умолил художника Виктора Васнецова по-

вторить для Сибири знаменитую картину «Три богатыря». Не копию сделать, а именно повторить! Чтоб сибиряки, видя перед собой настоящих васнецовских богатырей, воодушевлялись на отпор врагу.

Иннокентий Иванович Гадалов доставил картину в Томск. Поместил в своей столовой. И так отрадно было сидеть ему с сигарой после обеда перед этим полотном и мечтать. Вот этот, в центре, Добрыня Никитич, — это, конечно же, верховный главнокомандующий Николай Николаевич, дядя царя. Длинный, что твоя коломенская верста! Такому только и командовать войсками! Молодец.

Царь-то роста невысокого, так не любит рядом с дядей показываться. Ну вон он на картине, царь-то — Алёша Попович! Молодой, симпатичный, добрый. А Илья Муромец — это премьер-министр Горемыкин? Или же сибирский ведун Распутин?

Разобьём колбасников, как пить дать расколошматим!

И — надо же! — только так подумал, сквозь форточку крик мальчишек-газетчиков долетел:

— Пала неприступная австрийская крепость Перемышль! Наши в венгерской долине. Взято в плен сто семнадцать тысяч пленных. Главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, награждён бриллиантовой шпагой с надписью «За завоевание Червонной Руси», — сам царь ездил в город Львов и в Перемышль.

Иннокентий Иванович глянул на календарь: 9 марта 1915 года. Крикнул приказчику, чтобы купил газету. Прекрасно! Гадалов булавку с бриллиантом в галстук поправляет, и приказывает экипаж подать — поедет в Общественное собрание поговорить с другими денежными людьми о помощи лазарету. Надо в такое время помогать стране! Скоро с Германией покончат, надо спешить помогать русскому воинству — зачтётся.

Общественное собрание чуть наискосок от Гадаловского магазина, только через улицу перейти. Но всё-таки он поедет туда в экипаже. Надо и форс соблюдать!

Собрание. Огни, зеркала, фонтаны, китайский фарфор, итальянских, голландских мастеров подлинные картины. Тут тебе роскошь, тут тебе отрада для души. После пунша — в бильярдную. Там бильярды знаменитой фирмы «Гоц», Фрайберга, с двойными скобками в лузах, и дают серебряный резонанс. Будто не шары забиваешь, а музыку создаёшь.

Бац! — Это кайзеру Вильгельму в глаз!

Играют два томских титана, Гадалов и Смирнов. Другие, тоже не маленькие люди, наблюдают пока. На дно каждой лузы партнёры положили по тысяче рублей — целое состояние! Выигравший отдаст эти деньги — на лазарет! Но кто выиграет?

У Гадалова глаз — алмаз, да и у Смирнова тоже. Оба — этакie европейцы, у Смирнова пальцы перстнями украшены, светят рубиновым огнём.

Выиграл Смирнов. Впрочем, выиграло российское воинство! А Смирнову и без выигрышей живётся широко. Его пассаж в городе знают все. Там можно купить всё от иголки до паровоза. Всё, всё, хоть луну с небес и то продадут.

Присели Смирнов с Гадаловым на банкетку, закурили сигары. Иннокентий Иванович спрашивает:

— Ну, как твои итальяшки?

— Ты знаешь, хоть и холодно им в Сибири, но строители они отменные.

— Проект Федоровский делал?

— Ну да, он в одном доме с Пепеляевыми живёт, на Ярлыковской, двенадцать, напротив университета. Заказать проект посоветовал Мишка Пепеляев. Мишка — художник, и рисунку учится именно у Федоровского.

Ну вот. Федоровский спроектировал такой дом, что одна стена сплошь стекло — всё внутри видно. А посмотреть там уже теперь есть на что, внутри-то! Французская мебель с накладками бронзовыми, с изображениями королей, дам-любовниц, Людовика четырнадцатого, короля-солнца. Зеркальные стёкла, гобелены французские, вазы.

За старшего у итальяшек — офицер, строитель с дипломом. В Австрии немало дворцов построил. Строгий. Итальяшки в раствор сыплют тальк. Чтобы, значит, стены в солнечный день сияли особенным сиянием, холодновато-серым. Такой особый, императорский, королевский шик.

— А зачем, ты же не Людовик какой-нибудь? Не Бурбон и даже не Габсбург?

— Зачем-зачем! У меня Ванюшка подрост, его женить надобно.

— И невеста есть?

— Присмотрели.

— А кто?

— Да потом на свадьбу приглашу, и сам увидишь. А пока говорить не хочу, чтобы не сглазить...

В разговор вмешался Григорий Самуилович Кистлер:

— Богатые люди, а играете в бильярд! Настоящая игра королей — это карты. Я выиграл целое состояние на девятку пик, оправил её в серебряную рамку, и держу на комодe. И я вас всех призываю распечатать колоды и сесть за зелёное сукно с мелками. Это будет игра!

— Слушай, Григорий Самуилович! Кто тебя пускает в собрание! — усмехнулся Гадалов. — Полиция жалуется, что твоя квартира превратилась в явку для бунтовщиков. Все твои де-

ти — Василий, Александр, Леонид, Исай, Вениамин и Софья — замешаны в революционных делах. Может, ты и сам немецкий шпион, и ходишь в собрание с особенной целью?

— Ну вы и скажете, Иннокентий Иванович! Какие нынче дети, и как они слушаются отцов? Вспомните Кешку Кухтерина, на него у Кухтериных была надежда — продолжатель дела! Так нет! Надо было ему ухаживать за Ольгой Ковнацкой, надо было ему по пьянке героя японской войны дворянина Лопухина душить? Тот и пристрелил его, как собаку. И дело замяли. И вся беда из-за этих баб, поверьте старому еврею. И вас от этой беды никакие дворцы не спасут. Запутаетесь, как мухи в тенётах.

Смирнов погладил свою холёную бородку.

— А ты не каркай попусту! У нас всё идёт ладом. Ванюшка у меня не пьёт, не курит, коммерческую науку грызёт. Женю, и будет мой продолжатель достойный.

Кистлер побрёл к карточным столам. Но его в игру не приняли:

— Иди! Ты девятку пик в серебряной рамочке держишь. Нам с тобой играть резона нет. Ты, поди, с самим чёртом спутался, он тебе помогает!

Григорий Самуилович перебрался в буфетную. Заказал чаю с ромом, и хотел буфетчика на игру соблазнить:

— Сейчас все в зрительную залу уйдут «Бесприданницу» смотреть, слёзы дешёвые проливать. А мы с тобой и с посудомойщиками префераншишку соорудим? Не хочешь? Ну давай вдвоём в простого «дурака» сыграем. Хоть по пятачку, а? А по копейке? Всё равно не хочешь? Что ты за человек!

Кистлер пошёл в гардероб одеваться, не утерпел, и там предложил партию — в дурака швейцару Ивану Ерофеевичу, на что тот отвечал:

— На службе не могу!

Григорий Самуилович оделся, вышел на улицу, и там пристал к кучеру Гадалова:

— Всё равно же так сидишь, скучаешь? Давай просто так, без денег, в картишки перекинемся?

Кучер не удостоил его ответом.

9. Знакомство в поезде

В январе 1915 года через всю Россию из Москвы во Владивосток шёл скорый поезд, который тащился медленно, как черепаха. На станциях подолгу ждали смены паровоза, стояли в каких-то тупиках, то дров не было, то воды. В при-

вилегированном синем вагоне было душно. Неподалёку от входной двери сидели и курили папиросы «Дюбек» два молодых человека. Они познакомились здесь, в вагоне. Война отразилась и на транспорте. Даже сей «дворянский» вагон был забит пассажирами до отказа. Центр его занимали пожилые люди, среди которых попадались полковники и генералы. Ближе к дверям размещались вояжеры помоложе, по проще.

Один из молодых людей звался Николаем Златомрежевым. Родом он был из Томска, дворянин. Воевал в 42-м полку генерала Пепеляева. Сын этого генерала, капитан Анатолий Пепеляев, командовал разведкой, в которой и служил Николай. Одна из вылазок кончилась для Златомрежева неудачно. Его зацепило немецкой шрапнелью. Четыре месяца пролежал в московском госпитале на излечении. Теперь возвращался на родину. Николай был высок, худ, светловолос, серые глаза его выражали добродушие.

Его собеседником был граф Константин Загорский, брюнет с угольными глазами, с бровями, словно нарисованными на его удивительно белом лице. Молодой граф поведал новому знакомцу свою, тоже не очень весёлую историю. Пять лет назад граф из своего поместья возле Лодзи отбыл в Вену и поступил в тамошний университет, но проучился только один год: не успев даже окончить курс, попал в больницу с жесточайшим приступом чахотки. Лечился на альпийских курортах. Но полностью восстановить здоровье не удалось.

Хотел возвратиться в поместье. Но узнал, что оно разграблено и сожжено немцами, родители убиты. Многие польские дворяне из своих разорённых поместий и городов сейчас перебираются в Россию, в том числе едут и в Томск, где всегда жило много выходцев из Польши. Он имеет письмо к Ольге Ковнацкой-Нейланд, своей дальней родственнице, которую он вообще-то никогда не видел.

— Не знаю, правильно ли я поступаю, когда еду с моей болезнью в Сибирь.

— Не беспокойтесь, граф, — отвечал Златомрежев, — в наше время чем дальше вы уедете от войны, тем лучше. В Томске — университет, там живут многие медицинские светила. Да и климат у нас прекрасный, хвойные боры. Я вот очень тоскую по Томску. По его быстрым рекам, по холмам, на которых сияют купола церквей, по зарослям черёмухи, волшебным лекарственным травам. Ах, как славно бывает у нас в загородных лесах и зимой, и летом! Они не загажены так, как окрестности Москвы или Петербурга. А кедровые орехи — это же бальзам, залечивающий любые раны. Вы станете щёлкать их каждый день, и навсегда забудете про свою чахотку.

— Хорошо, если так! — сказал граф. — Только вот поезд тащится так медленно. Это что там впереди за станция такая?

— О, это Омск, большой губернский город, он правил одно время всей Сибирью, а потом наш Томск сам стал губернским центром. Но Омск — это всё же больше степная столица, а Томск — лесная.

Оба высунули головы в открытое окно, глядя на полосатые будки, шлагбаумы, паровозные горки, маслянистые пятна возле задымлённых зданий депо. Поезд всё медленнее постукивал на стыках, перебегая с одних рельсов на другие. Рельсы двоились, троились. Уже видны были улицы города, где шла своя, непонятная жизнь. Златомрежеву невольно подумалось о том, как велика Россия. И столько в ней городов, и везде живут люди, тоскуют, мучаются, надеются на лучшее. Он сказал:

— Вы знаете, Георгий Адамович, мне кажется, что меня Господь спас для того, чтобы я нёс утешение людям. На войне я видел такие ужасные картины убийств и разрушений, что понял: долг мой — приводить людей к Богу. В Томске я обязательно буду искать своё место в нашей православной церкви.

10. Забрить хотели

Тягунка и мамка Федьки Салова остались где-то за Обью в деревеньке в три двора, откуда тринадцатилетний Федька сбежал от тоски в Томск. Живы ли они — неизвестно. Доехал до города наш Федул с попутной подводой. С тех пор прошло десять лет. Летом он спал по сараям и складам, зимой обретался при банях, где колол дрова для разогрева котлов. Когда подрос, то нередко работал с грузчицкими артелями, но только до первой полочки. Получит денежки — и, пока всё не пропьёт, куролесит на базаре.

Кумушки ближних к базару домов на лавках судачили, что хорошо бы Федьку женить. Росту немалого. Да вот кто за него пойдёт? Дело не в том, что русые волосы всегда торчат колтуном, не в том, что после оспы коряв, а в том, что горло широкое, да ещё болтун. Как выпьет, так и починает рассказывать, что он в раю видел, когда там побывал. Будто бы девки ангельского вида там исцеловали его всего, от ног и до маковки. А если ему не верят, начинает злиться, ударить может. Женить! Единственное и верное средство.

Кумушки высватали ему сорокалетнюю Маклакову, вдову, с усадьбой, с хорошим домом и огородом. Такая усадьба — не хуже рая. Это ничё, что вдова на семнадцать лет старше Федьки. От беспорядочной жизни у него на лбу и у рта морщины

произошли, так что он даже старше этой вдовицы, Евдокии Никитичны, смотритса. Вдовица с дочерьми вяжет с овечьей шерсти тёплые носки да на базаре с рук продаёт.

Единственно, что интересовало Федыку, — а как будет на счёт выпивки? Оказалось — хорошо. Вдова гонит самогон да приторговывает им втихаря, и по праздникам будет давать и Федыке отвести душу. Федыка пораскинул мозгами: у нас, у православных, праздник почти каждый день, не пропаду, дескать.

Новая Федыкина жизнь совпала с войной, он уж привыкать стал к тому, что спать надо ложиться, как все люди, на кровать, на перины пуховые и подушки, обедать — за столом, сидя на стуле напротив супружницы и двоих её дочерей — Катерины и Малаши. Дочки были на выданье, да война всех женихов сгребла в кузовок да высыпала на поля сражений далеко от Сибири. Только листики-конвертики от них приходят по почте иногда.

Привык Федыка и к тому, что вдова Евдокия Никитична, когда её благоверный запивал, связывала ему руки-ноги, да так прочно, что сроду не развязать, окатывала его холодной водой, бросала в сарае на пол и порола лошадиным бичом со всей силы. Немножко обидно было, но зато — одёжа справная, еда — вовремя, работа по хозяйству не такая уж и надрывная. Лошадка в хозяйстве есть, не очень старая, сбруя вся имеется, сани имеются, телеги, ходки. Чего не жить?

Федыка о том, как он однажды побывал в раю, редко теперь рассказывал. И вдруг — пожалуйста бриться! Пришёл мужик с забритым лбом, да Федыке бумагу:

— Распишись!

Федыка грамоты не знает, но прежде, чем поставить в бумаге крест вместо росписи, спросил — в чём там дело? Испугался, конечно. Мужик разъяснил: требуют Федыку явиться в медицинскую комиссию при университете, там томичам лбы забривают.

Федыка потребовал у Евдокии Никитичны самогону — такто, на трезвую голову, страшно идти. Евдокия Никитична накрыла на стол, при такой беде и самой надо выпить. Привыкла она к Федыке, полюбила его. Пригласили за стол и того, кто Федыке бумагу принёс. Евстигнеем его звали. Его уже забрали, да пока отправки на фронт нет, послали по адресам ходить.

— Тоска это! — говорит Евстигней. — Придётся в иной дом, а бабы вопят, на меня с поленьями кидаются, будто я в чём-то виноват. А мне самому не шибко охота в пекло соваться. А что делать? Придётся идти. Хорошо, если ногу поранят одну, или руку, и домой отпустят, а ну как голову оторвёт?

— Да! — подтверждает Федыка. — Без головы быть — хорошего совсем мало.

— Можно сказать, что ни капли хорошего нет, — добавляет Евстигней. — Кто от армии скрывается, тех ловят. И тогда уже в самое пекло посылают, прямо на австрийские штыки. Так и так пропадать!

Сидят, выпивают, солёными салом и капустой закусывают. Самогон мутный такой, как жизнь наша. Первач-то в продажу ушёл.

— Ой, да на кого же ты нас, голубчик наш, покидаешь! — заголосила Евдокия Никитична. — Ой, да убьют тебя ерманцы, и чё же мы будем делать? Ой-ё-ёй!

— Не поеду я! — мрачно сказал Федька, прожёвывая огромный ломоть сала. Не пойду на войну, лучше тут сам повешусь.

— Ой, да что же ты такое говоришь-то, кровиночка моя, золотиночка?

— А вот то самое...

Наелся Федька сала с капустой, аж пузо трещит, решил пойти облегчиться, сказал, мол, погодите, пока облегчусь, без меня не доедайте, не допивайте.

Вышел Федька в сени, до нужника идти в конец усадьбы, далеко. А! — думает, — всё равно погибну скоро, чего я тут буду фасоны гнуть? Тут вот из сеней ход в чулан, там с краюшку и сделаю.

Зашёл в чулан. На полках солёное сало созревает. Окорок копчёный на крюке висит. На верёвках — калина пучками, на гвоздях — вожжи, дуги, шлеи. Эх, жить бы да жить. Присел, размечтался над кучкой своей. Быть бы воробышком, улететь бы от армии этой! Не улетишь. И ведь надо же — гадость какая: только жизнь настоящая началась — а тут война эта!

Надел штаны Федька. И думает: а что если повеситься? Не по правде, а понарошку? Евстигней увидит его повешенным, да и скажет, кому надо, — мол, повесился Федька Салов, чего с него взять? Вот они и вычеркнут его из списка. А он станет тут потихоньку жить. Днём из дома показываться не будет.

Снял Федька пиджак, взял старые вожжи, пропустил их под мышками, связал узел, чтобы он был у него за спиной, повыше узла прикрепил петлю, сделанную им из обрывка вожжи. Надел пиджак. С петлёй на шее стал на чурку, ждёт.

— Где он там запропастился? — забеспокоилась за столом Евдокия Никитична. — Пойти глянуть, что ли?

Вышла в сенцы, видит: дверь в чулан открыта. Заглянула, а Федька в тот самый момент чурку, на которой стоял, ногами отбросил, и повис на подмышках, да ещё для убедительности язык вывалил изо рта.

— Караул! — воскликнула Евдокия Никитична, и упала в обморок прямо лицом в ту коричневую кучу, которую там оставил её молодой супруг.

Ждут-пождут за столом дочери Евдокии Никитичны да Евстигней.

— Теперь и она пропала! — говорит Евстигней. — Пойду искать.

Вышел в сени, видит: из чулана нога Евдокии Никитичны торчит. Заглянул в чулан, увидел повешенного, вонь почувял. И подумал: вон оно как бывает! Сам повесился, хотя со страха обвонялся. Жаль мужика. Баба в обмороке. А вон у них окорок добрый висит на крюке. Это я возьму, пригодится. Возьму да пойду. Пусть Евдокиины дочки с остальным разбираются.

Только руку он к окороку протянул, покойник как заорёт:

— Не трожь, сволочь, чужое добро!

Выскочил Евстигней из сеней — и бегом по двору, со страху не в калитку побежал, через забор прыгнул, упал, ногу сломал. Лежит, орёт.

Встревожились Малаша с Екатериной, вышли в сени и взвыли:

— Ой, с маменькой плохо! Ой, ейный супружник повесился!

От их крика Евдокия Никитична очнулась:

— От горюшко! Да как же сама себе на нос сумела? Со страху, не иначе. Ой, умыться мне надо. А вы, девки, скорей его с петли снимите, а может, оживёт ещё, если водой на него побрызгать?

Малаша по полкам повыше полезла, чтобы до шеи Федькиной добраться, и страшно ей, но лезет. А он сквозь ресницы смотрит: хороша девка-то! Пока живой был, так и думать об этом не мог, а повешенному всё можно. Взял да за попу её тихонько ущипнул!

Малаша с визгом на Катерину упала. Мать вернулась, видит — обе девки лежат без чувств, Федька в петле висит, выскочила и дурным матом на всю улицу заблажила:

— Городового сюда! Убили, зарезали!

Евстигней за забором басом блажит:

— Ох, нога! Ох, нога!

Прибежал Пётр Петрович Аршаулов-младший, двадцатипятилетний красавец, околоточный надзиратель, видит — плохие дела. У одного мужика нога сломана, другой и вовсе повешен. Спросил он у Евдокии Никитичны нож, и ругается при этом:

— Разве непонятно, что первым делом надо было вожжи перерезать, он свалился бы, ну пусть бы ушибся, да зато живой был бы, А теперь, поди, уж поздно, не откачают врачи.

Только околоточный занёс нож, чтобы вожжу перерезать, а Федька и говорит:

— Вожжи-то ноне знаешь почём?

Аршаулов-младший и нож из рук выронил, побледнел, а потом как заорёт:

— Слезай, сволочь! Напугал до полусмерти. Такого даже в рассказах моего папеньки не было! А уж он — полицмейстер, и всякое повидал. Я тебя в тюрьму упеку! Там ты у меня по правде повесишься!

11. Бункера и салоны

Граф Загорский, поигрывая тросточкой, шёл мимо томского главного почтамта, спускался по широкой деревянной лестнице, и вслед ему невольно смотрели все встречные дамы и барышни из-под своих разноцветных противосолнцевых зонтиков. Они раньше никогда не видели столь красивого мужчины.

Около двери, вывеска над которой извещала, что здесь размещается ювелирная и часовая мастерская и магазин, и что здесь же можно починить и купить очки и другие оптические приборы, Загорский остановился. Поправил булавку в галстук и вошёл внутрь мастерской.

— Это ты будешь Яков Юровский?

Кудрявый и не лишённый некоторой импозантности еврей внимательно взгляделся в посетителя и сказал:

— С вашего позволения, я его брат, и зовут меня Эля, а Яша уехал учиться в Екатеринбург, в школу фельдшеров. Теперь война, родине потребуются лекари. Яша считает долгом облегчать страдания людей. Чем могу служить пану?

— Вот тебе письмо, писанное Яшке из Варшавы. Прочти, и ты всё поймёшь.

Эля внимательно прочитал письмо, зачем-то даже посмотрел его на просвет. Потом сказал:

— Что я могу сделать для вас?

Загорский стал расстёгивать и спускать свои щегольские брюки.

— Что пан себе позволяет? — воскликнул ювелир.

— Не вопи, ты прочитал в письме, что мне доверять можно. Так подай мне бритву или небольшие ножницы!

— Нет, пан! Я бедный еврей. И мне не откупиться от полиции в случае если вы себя покалечите!

— Сдурел? У меня в кальсонах защиты бриллианты! Я ж несколько стран проехал, как мне было их сохранить? Давай бритву. Я вовсе себе ничего отрезать не собираюсь, всё, что мне дала природа, должно быть при мне. А вот пару брильянтов у меня ты возьмёшь, а мне дашь злотых... У тебя будет ма-

ленький навар... Я ж не могу в ресторане либо на базаре расчитываться бриллиантами. Поспешите! Вдруг сюда кто-нибудь зайдёт!..

Эля, конечно, внимательно осмотрел камушки, и пришёл к выводу, что они самые настоящие.

Выходя из мастерской, граф столкнулся в дверях со странным человеком. Старик с лицом явно еврейского типа был одет в русскую рубашку с пояском, на голове у него был картуз, а на ногах смазные сапоги. Он был усат и бородат, но это не могло скрыть его еврейской внешности.

«Ряженный!» — подумалось Загорскому.

Старик поздоровался с Элией Юровским и сказал:

— Вы бы, Эля, повесили бы в переднем углу икону, а то православному человеку не на что перекреститься. Икона и ваше заведение оградит от бед.

— Я понимаю, Савва Игнатьевич, — поклонился ему Эля, — я всем евреям говорю, мол, берите пример с Канцера. Он умный человек, взял и перестал быть евреем. А икона у нас тут была, но Яков велел её убрать. Яков, знаете ли, теперь ни в еврейского Бога не верит, ни в русского. Он в какое-то рисидирипу ходит! И что я могу сделать? Он всё-таки старший брат!

— У Якова — мякина в голове! — строго сказал Савва Игнатьевич Канцер. — Разве в девятьсот пятом году эта самая рисидирипа кого-нибудь спасла, когда православные патриоты сожгли здание железнодорожной управы? Сколько людей было убито, и заживо сгорели? Около тыщи. А потом бандиты... тьфу! — то есть патриоты верующие стали еврейские лавки и аптеки громить. И еврейские доходные дома поджигали. А мои дома они не тронули. Потому что все знают: Савва Игнатьевич Канцер — православный человек. Имя-отчество я при крещении изменил. Теперь бы мне ещё фамилию сменить, но полиция не разрешает.

Но я не первый еврей в Томске, который сменил вероисповедание. Всем известный богач Илья Фуксман по закону, как еврей, не имел права курить вино. И что же? Он сделал лютеранином своего сына Григория и сдал ему свой завод. Таких примеров много. Если выгодно, можно стать хоть буддистом, хоть кем.

Так вот, я православный человек, а вы, проклятые иудеи, мне за квартиру не платите. В наше-то время квартиры стали дороже золота. Толпы людей нынче приискивают себе жильё. А Яшка задолжал и в Екатеринбург сбежал. Вы с вашей мамой, пусть Бог даст ей здоровья, уже год не платите. А ведь ты, еврейская твоя морда, при золотом деле состоишь.

— Савва Игнатьевич, вы же знаете, что не я хозяин мастерской и магазина, я только служащий.

— Всё равно! К твоим лапкам прилипают золотишки, уж меня-то ты не обманешь. Или платите за квартиру, или скажу полиции, чтобы вас выселила. Живёте в центре города, в такой-то дом я смогу найти постояльцев побогаче. Нынче столько поляков и евреев от войны в Томск сбежало, что цены на квартиры надо в сто раз поднимать. А вы даже и старую цену не платите.

Эля вздохнул, открыл несгораемый ящик и отмусолил Канцеру долг...

А граф уже стоял на крыльце дома Нейландов. Он постучал висевшим на цепочке деревянным молотком в медную доску, прислуга отворила дверь и доложила аптекарю Петру Яковлевичу Нейланду, что его супруге Ольге какой-то молодой человек привёз письмо из Польши.

Графа пригласили войти. Аптекарь Нейланд годился в отцы своей супруге, но это был брак по расчёту, так как он объединил аптеку Ковнацких и аптеку Нейланда в одно общее дело. Ольга была приятно удивлена письмом от дальних родственников, которые ходатайствовали за графа.

— Что же, граф, — сказала она, — мы с мужем люди не очень влиятельные, но у нас есть свой круг знакомых среди достаточно важных людей. Родственники мне сообщают и о том, что вы перенесли серьёзную болезнь, мы сможем изготовить для вас самые новейшие лекарства, какие только выпишут вам здешние светила медицины. Вводить вас в здешний свет начнём сегодня же. Как раз и погода чудесная! Вот только пообедаем и поедем. Петя, прикажи заложить коляску. Ты поедешь с нами?

Старик Нейланд отговорился занятостью. Обед был по-сибирски обильным, особо графу понравилась стерляжья уха.

И вскоре граф и Ольга уже сидели в коляске. Причём дворник сказал на ухо кухарке:

— И чего этой Ольге неймётся? Из-за неё герой войны с Японией офицер и дворянин Лопухин Иннокентия Кухтерина пристрелил, теперь вот ещё себе кавалера нашла.

— Не говори ерунды! — отвечала кухарка. — Разве она виновата, что старик кроме дома да аптеки ничего знать не хочет? Раньше хоть по ресторанам её возил, а теперь — как отрезало. А красавчик этот уж такой бледный! Больной, что ли?

Коляска миновала мост и подкатила к ювелирной мастерской. Граф увлёк туда Ковнацкую-Нейланд.

— Вот эти серьги как раз будут в гармонии с вашим колье, — говорил Загорский, указывая на Ольгины украшения. Ольга отказывалась принять дар, но довольно щурилась, ей нравилось, что этот Загорский был так галантен. Конечно, она

не могла рассчитывать на его любовь, она не так уж молода для этого. Но его внимание ей было приятно. Загорский всё-таки настоял на своём, и Ольга приняла серьги.

Они вышли на улицу оба очень довольные, сели в коляску.

— Куда теперь? — спросил граф.

— Едем в университет! — сказала Ковнацкая-Нейланд. Надо же отработать ваш аванс. Ваши шесть языков пропадают втуне. Конечно, вас возьмут делопроизводителем в губернскую управу с такими знаниями. Но нужно, чтобы вы пришли туда устраиваться будучи уже известным в городе. Тогда зерно упадёт на удобренную почву.

— Стать известным! — воскликнул граф. — Вы, Оля, шутите. Для этого потребуются годы.

— Отнюдь. Томск не Москва, достаточно вам побывать в двух-трёх салонах, и о вас заговорят везде, в том числе и в управе... Опять забыла, какими именно языками вы владеете?

— Кроме русского — польским, немецким, английским, французским, испанским, итальянским.

— Вот и прекрасно! Сейчас потолкуете с нашими профессорами, и это будет ваш первый шаг к карьере. Как жаль, что вы не хотите продолжить образование в университете!

— Милая Оля! — грустно сказал граф. — Я уже говорил вам, что мне нет смысла продолжать грызть гранит науки. Чахотка сгрызёт меня гораздо раньше.

— Опять эти мрачные мысли! Профессор Курлов вас непременно вылечит! Как? Вы не слыхали про Курлова? Ну, ничего, я вас познакомлю, замолвлю за вас словечко. Он сделает всё возможное и невозможное. Это удивительный специалист и образец просвещённого врача, не эскулап какой-нибудь. Ага! Подъезжаем к университету! Как вам нравятся озеро, речка, роща?

— Да, красиво! — согласился Загорский. Они вышли из коляски. Среди обширной рощи на возвышенном месте как бы воспаряло к небу белокаменное здание, поднятый на шпиле золотой крест сиял на солнце.

Под кронами ухоженных деревьев стояли каменные истуканы.

— Это так называемые каменные бабы, — пояснила Ольга. — Каждая такая баба высечена так, что видно: одной рукой прижимает к груди нечто вроде большой рюмки.

Томские купцы бывают в далёких краях, ездят на Алтай, к хакасам, в Монголию, Китай, Тибет. Первым привёз такую фигуру с востока купец Гадалов, поставил у себя во дворе, и сразу ему стал сопутствовать успех во всех сделках. Прознали про это другие негоцианты, и тоже стали таких истуканов с собой прихватывать во время вояжей. Говорят, их особенно много

в степях Монголии и в Хакасии, где сопки не круглые, как на Дальнем Востоке, а напоминают поставленные на ребро чемоданы.

Короче, каждый купец себе древнюю статую привёз. А когда стало известно о высочайшем повелении строить в Томске университет, то купцы стали жертвовать ему своих истуканов. Свозили их сюда, на берег речки Еланки. Ставили на бережку. Тогда место тут было ещё дикое. Но вот, как в сказке, поднялся в диком лесу белокаменный храм науки, высоко к облакам вскинув золотой крест. Учёный садовник Порфирий Никитич Крылов разбил здесь дивный ландшафтный парк. Древние статуи перенесли в тенистые аллеи, их скоро стало более пяти десятков.

Один из профессоров исследовал сии древности. Он пояснил, что «бабы» — это не бабы, а фетиши такие. И в руках они держат не рюмки, а ритуальные сосуды. Может, кровью причащались во время молений. Каждому такому истукану не менее девяти тысяч лет! Но местные пьяницы говорят своим жёнам:

— Чего шумите — «нализался»! Сходите в рощу, там памятки бабам, жившим девять тыщ лет назад, и у каждой — рюмка в руке!

— Как подумаешь, что девять тысяч лет назад кого-то приносили в жертву, чтобы причаститься его кровью, то и дурно делается, — сказал граф Загорский.

— Вы чувствительны не по годам, — улынулась Ольга, — идолы эти поставлены здесь на счастье. Нужно только к ним хорошо относиться. Случай со студентом Баранцевичем говорит об этом совершенно ясно.

— Что за случай?

— Однажды в хорошем подпитии этот студюоз проходил по роще. И говорит собутыльникам:

— Я уже бывал с двадцатилетними, тридцатилетними и сорокалетними дамами, но с девятитысячелетней не приходилось заниматься. И подошёл к одному изваянию, приобнял, и начал делать движения, обозначающие сами понимаете что. На следующую ночь товарищи по общежитию проснулись от его страшных криков. Он хрипел и просил не давить на него так сильно, он молил о пощаде. Зажгли свет, позвали врача. Но Гена Баранцевич уже испустил дух. Все лучшие медики города пришли на вскрытие, которое производил Попов. И что же? И сердце, и лёгкие, и все остальные органы у Баранцевича были в порядке. И до сих пор никто так и не знает, от чего он умер.

Компания молодых людей в студенческой форме над чем-то весело смеялась в беседке, под ажурным каменным мостом курлыкала речка Еланка, которую студенты давно прозвали

Медичкой, так как университет первоначально имел только медицинский факультет, а река была свежа, чиста, как юная девушка. В отдалении в деревянном доме тьякали десятки собак. Ольга пояснила: медицинский факультет покупает у населения собак, кошек и крыс для медицинских опытов. Поставщиками всей этой живности чаще всего бывают томские мальчишки, а иногда и девочки.

— Так с детства в души закладывается жестокость! — заметил граф.

— Что же делать? — пожалала плечами Ковнацкая. — Наука требует жертв. Впрочем, сейчас мы посетим с вами лабораторию, где обходятся без издевательств над животными.

Они вошли в обширный зал, который был весь занят странным сооружением в виде огромного пустотелого кольца.

Их встретил большелобый крепыш, профессор Борис Петрович Вейнберг.

Он выслушал Ольгу и сказал:

— Ах, это беженец из порабощённой Европы? Ну, так пусть знает, что, перебравшись в Сибирь, он попал не в логово к медведям. Вот, господин Загорский, действующая модель. В вакуумной трубе в экспresse, мчащемся с помощью электромагнитных сил со скоростью восемьсот километров в час, пассажиры будут дышать кислородом, а поезд будет мчать их без рельсов через горы, степи, болота и кусты. За четыре часа можно будет доехать от Томска до Москвы. Купцы меня уже теперь терзают, мол, почём будешь за билет братъ, Борис Петрович? Правда, строительство одной версты такой дороги обойдётся в двести тридцать тысяч рублей, а до Москвы — один миллиард рублей. Но оно и стоит того.

Борис Петрович похлопотал возле трубы, она легонько взвыла, и снаряд, выполненный в виде поезда, с бешеной скоростью помчался по трубе.

— Пока наш поезд мчится по кольцу без пассажиров, но мы думаем вскоре усовершенствовать установку и пустить в пробный рейс в качестве пассажиров белых мышей.

— Ну вот! А я только что похвалила вас за то, что никого не мучаете в ходе научных экспериментов! — воскликнула Ольга.

— Знают ли о вашем изобретении за границей? — спросил Загорский.

— Не только знают, но я получил письмо из Америки. Они собираются прислать в Томск съёмочную группу. Будут снимать фильм о летучем поезде под названием: «Чудесный безвоздушный электрический путь, или Сибирское чудо». Только вот где нам взять переводчика, чтобы объясняться с американцами?

— О, Георгий Адамович говорит на всех европейских языках! — воскликнула Ольга. — Так что вы, Борис Петрович, ангажируйте его, пока он не вошёл ещё в моду.

— Да-да, конечно! — разулыбался учёный. — Буду рад видеть господина Загорского у себя дома. Приглашаю! Вот вам, пожалуйста, моя визитная карточка.

На другой вечер они были уже в профессорской гостиной. Квартира была с высокими потолками, с изящным камином, с картинами на стенах.

Подали чай. За роялем в четыре руки играли художник Михаил Пепеляев и дочь профессора. Комната наполнялась гостями. Появился молодой, крепкий, с загорелыми лицом и руками, Вячеслав Яковлевич Шишков, он был в мундире горного техника.

— Музыка и литература — вот девиз салона, — шептала Ковнацкая на ухо Загорскому. — А человек в мундире горного техника — это автор очень сильных повестей и рассказов. Говорят, что он скоро от нас уезжает. Вам повезло, вы услышите его чтение.

— А что за маленький такой старичок в очках?

— Это наш герой, бунтарь, борец с деспотией, вождь Сибири, этнограф, писатель, путешественник, всё что хотите. Его первая жена в одном из путешествий умерла. Его восьмидесятилетний юбилей был таким праздником, какого в Томске никогда прежде не было. Городская дума сделала Потанина почётным гражданином города. Омск и Красноярск приняли такое же решение... Вот такой гражданин!..

Компанию пополнили поэты. Ольга продолжала давать пояснения Загорскому, указывая глазами то на одного, то на другого субъекта.

— Вот этот изящный господин и есть знаменитый профессор Михаил Георгиевич Курлов, я вас с ним непременно познакомлю, он вас вылечит. Сидят за нашим столом и местные поэты, каждый надеется, что ему дадут возможность прочесть пару новых стихов. Где им ещё найти такую благодарную аудиторию?

Чаепитие началось. Шишков прочитал отрывок из будущего романа, и в отрывке этом многие узнали родные томские улицы. Восторгам не было предела.

— Михаил Георгиевич! — обратился хозяин квартиры к Курлову. — Расскажите что-нибудь интересенькое из вашей практики.

— Ну что рассказать? Ну разве про аппендикс? Есть такой в организме придаток, который может иногда воспалиться. Так вот. Я учился на последнем курсе, летом меня послали практиковать в одну глухую деревню. Прибыл туда. Открыл в избе у

зажиточного крестьянина медицинский пункт. Пошли ко мне больные. Крестьяне вообще-то редко болеют: работают на свежем воздухе, едят здоровую пищу. Поэтому шли с небольшими болячками — кто родинку просил свести, кто чирей вскрыть. И тут приходит крестьянка с четырнадцатилетней дочкой и заявляет:

— У моей Дуськи в кишках червяк воспалился! Ох, мучается!

Начинаю осматривать Дуську, платье снимать не хочет, стесняется. Но как-то всё же осмотрел, понял — на последнем месяце беременности. Ну, что?.. Дуська мне шепчет:

— У нас тятка строгий, убьёт!

Я матери говорю, мол, да, аппендикс воспалился, надо Дуську в город везти, операцию делать. Дали мне подводу, повёз я Дуську в город, сдал в родильное отделение. Родила она, а домой ехать боится. Пожила у меня дома некоторое время. Мальчик немного подрос, отнесли младенца к фотографу Пейсахову, сфотографировали, а фотокарточку с письмом Дуськиному отцу отправили. Смирился он. Велел дочке с внуком в деревню возвращаться. Такой вот «аппендикс»!

Все рассмеялись. Шишков посоветовал профессору писать рассказы.

— России хватит одного пишущего врача, доктора Чехова, — отвечал Курлов, — остальные врачи пусть лечат больных, Чехова им всё равно не переплюнуть.

— Сейчас дадут слово поэтам, — шепнула графу Ольга, — среди них есть и карбонарии. Взгляните-ка на Владимира Матвеевича Бахметьева! Сослан в Сибирь за бунтовские писания. Я чувствую, как колеблется почва под нашими аптекарскими магазинами! Он строг к нам, буржуям. Но не бойтесь!

— Я и не боюсь! — возразил граф. — У меня нет аптеки, нет и магазина. Мне нечего терять, кроме своих цепей.

— Пролетарии людей с графскими титулами не очень-то жалуют.

— Что титул, если нет ни денег, ни родового замка?..

Когда отзвучали поэзы, присутствующие стали просить Потанина дать оценку вечеру. Он сказал:

— Наши писатели хороши. Но они станут ещё лучше, когда озаботятся бедами и нуждами родной Сибири. Мы — кладовка, откуда государству удобно брать золото, алмазы, лес, пушнину. И ещё мы — свалка для человеческих отбросов. Сюда веками ссылали преступников, да и теперь ссылают. Мы бились за то, чтобы в Томске был университет. Он есть. Он и стал причиной того, что можно собирать столь блестящее общество. Вы все творцы. И не забывайте в творчестве, что Сибирь до сих пор

остаётся колонией. Всякий интеллигент должен возвышать против этого свой голос. Вот и всё.

Все дружно заплодировали.

В конце концов Борис Петрович обратился к Загорскому:

— Вы у нас впервые, граф, новички у нас выступают под занавес. Чем порадуете наш салон? Ваша лепта?

Все взоры тотчас обратились к графу. Георгий Адамович прижал руку к сердцу:

— И рад бы, но не пишу ни стихов, ни прозы. Вот разве вспомнить стародавние уроки музыки, которые преподавал мне в Вене один из родственников короля вальсов.

Граф присел за фортепиано и сыграл знаменитый «Последний вальс» Штрауса. Гости были поражены проникновенностью исполнения.

— Но зачем же так грустно, граф! Просто плакать хочется.

— Я только озвучил заложенное композитором...

12. Сатрапы — вниз по трапу

По протекции Ковнацкой-Нейланд граф Загорский поселился во флигеле неподалёку от шоколадной фабрики. И стоило выйти из двора, как он оказывался в центре города. Вот вам музыкальный магазин Ольги Шмидт и фарфоровый магазин Перевалова, второвский пассаж.

В музыкальном отделе магазина Макушина Загорский приглядывал и пробовал рояли Беккера, Шрёдера, Шлиппенберга. Его пальцам отзывались петербургские фисгармонии, органы, фортепьяно и рояли с коваными бронзовыми подсвечниками с двух сторон фабрики Мюнбаха, фисгармонии американской фирмы Стори и Кларк из Чикаго. Графа смешили механические музыкальные приборы: симфонионы, оркестрионы, полифоны, орфенионы... Боже мой! Разве может механизм создавать музыку? Музыка внушаема человеку Богом, а человек соединён с фортепиано душой, посредством собственных пальцев. После он обязательно купит фортепиано. Благо магазин с квартирой рядом, даже лошадей не придётся нанимать, только грузчиков. И работу в губернском правлении Ольга ему устроила. Всё-таки большое дело — протекция!

Первое поручение ему было съездить в местную психолечебницу. Поступило несколько жалоб от больных. Они, конечно, не совсем в своём уме, но, может, и в их словах есть доля правды. Он выехал в собственной коляске, купленной по случаю почти задаром. Жеребчик в яблоках взят в управе. Граф

сам правил лошадьё, на нём был форменный мундир, к поясу был прикреплён эспадрон, имевший скорее декоративное, чем боевое значение. Просто полагалась чиновнику-дворянину при мундире ещё и шпага.

Его предупредили, что придётся в лечебницу ехать лесом, что на дороге этой «шалаят». Ему сообщили также, что дважды в день до лечебницы отправляется пароконный дилижанс. Ехать в дилижансе будет много безопаснее. Но граф сказал, что надеется на своё умение фехтовать. На всякий случай он захватил с собой ещё и заряженный револьвер фабрики Смита и Вессона. Эта американская штучка приятно оттягивала карман сюртука.

Дорога вскоре действительно свернула в густой кедровый и сосновый лес. Солнце едва пробивалось сквозь сплетения могучих хвойных ветвей. И стука копыт было почти не слышно, так как дорогу устилала хвойные иголки, создававшие пружинистый наст. Граф опустил вожжи, лошадь медленно влекла коляску, дышалось легко. Графу подумалось о том, как целителен хвойный воздух для его больных лёгких. Боже мой, как сложно устроен человеческий организм! В грудной клетке тысячи живых пузырьков, собранные в кроны двух изумительных деревьев, должны ежеминутно, ежесекундно наполняться воздухом — затем, чтобы обновлялась кровь, работало сердце. И какая-то невидимая глазу микроба внедряется в пузырьки, и постепенно начинает пожирать человека. И нужно бороться с ней лекарствами, свежим хвойным воздухом. И не всегда человек выходит победителем в этой борьбе. Кто это придумал, зачем?

Вдруг из кустов выскочил человек в грязной хламиде и широкополой шляпе, с топором в руке. Левую руку он протянул, чтобы ухватиться за узду. Граф оглянулся и увидел ещё двоих, бежавших позади коляски, один из них был тоже с топором, другой держал в руке самодельную пику, это была длинная палка с привязанным к ней огромным ножом. Такими большими ножами в сибирских избах бабы обычно скоблят некрашенные полы.

Граф картинно простёр руку, щёлкнул пальцами, властно и чётко произнёс:

— Я доктор, я вижу: у тебя ужасно скрутило живот! Открылся понос! У тебя все кишки выворачивает! Чувствуешь? Тебе надо сейчас же облегчиться!

Мужик сбежал к обочине дороги, на бегу растёгивая штаны. Загорский обернулся назад и так же чётко и внушительно сказал:

— И у вас обоих тоже сильный понос! Ух, как болят кишки! Скорее присесьте, облегчьтесь!

Мужики остановились, как бы в раздумье, поглядели на своего сотоварища и тоже кинулись к обочине, спустили штаны и присели. Было видно, что у них чувствительно расстроились животы.

Загорский перетянул жеребца хлыстиком, и тот понёс его вперёд. «Да, не зря в Вене Франц Бауэр развивал во мне открытые мной ещё в детстве способности к гипнотизму!» — подумал граф. Он был доволен исходом рискованного опыта. Эта проверка многого стоила!

И вот впереди среди леса возникли островерхие деревянные замки со шпильями и величественные корпуса городка лечебницы. Они были причудливо вписаны в местность, воздухоплаватель увидел бы их с высоты, как две скрещённые свастики — древние символы огня и света.

Вскоре Загорский уже был в кабинете профессора кафедры систематического и клинического лечения нервных и душевных болезней императорского университета Топоркова Николая Николаевича. Основатель клиники нового типа был брюнетом с ухоженными усами и бородкой, с остриженной под бобрёк головой. Глухо застёгнутый чёрный его сюртук подчёркивал белизну выступавшей у ворота рубашки. Всем своим обликом он напоминал лютеранского пастора. Профессор окончил казанский университет, и после немало практиковался в европейских странах.

Узнав о цели визита Загорского, он сказал, что графу здесь покажут всё, что только он пожелает тут увидеть. Лишь для начала он даст самые краткие сведения о клинике. Поглаживая бородку и поблёскивая моноклем, он рассказывал:

— Наша лечебница — автономный городок со своим центральным отоплением, электричеством и железной дорогой.

— Фантастика! — воскликнул граф.

— Это ещё не всё, дорогой Георгий Адамович! — воскликнул Николай Николаевич. — Добавьте к сказанному водолечебницу, яблоневый сад. Конечно, городок построен в тайге, здесь и без того много зелени, ягодников, но мы выращиваем и культурные плодовые деревья. Зимой больные рисуют картины и лепят скульптуры. Лучшие из картин висят у нас в залах, в приёмных и в кабинетах. Мы имеем здесь даже театр, актёрами которого бывают и медики, и больные.

— Да! — воскликнул граф. — Пожалуй, такого заведения не встретишь и в европейских странах.

Профессор позвонил по телефону, и вскоре в кабинете появился врач-психиатр Владимир Зиновьевич Левицкий:

— Вот вам и ваш чичероне! — улыбнулся профессор. — Ваша цель — проверка жалоб. Поверьте, вам покажут всё, что вы пожелаете, и если вы отметите те или иные недостатки,

мы отнесёмся к этому серьёзно и примем все необходимые меры.

Владимир Зиновьевич Левицкий повёл Загорского по коридорам, залам и палатам. В просторном вестибюле на стенах висели увеличенные фотографии. На них была отображена жизнь психиатрической клиники. Пациенты были засняты на отдыхе, на лечении. На одной фотографии были запечатлены нагие мужчины и женщины, глядевшие в разные стороны.

— Что за сюжет? — поинтересовался Загорский.

— Дело в том, что в психолечебницу помещают скорбных умом людей со всей Сибири и Дальнего Востока, — пояснил Левицкий. — Они прибывают поездами, большими партиями. Вот вы и видите одну такую партию. Нужно быстро осмотреть, отделить страдающих заразными болезнями. Затем всех остригут и поведут в баню.

— Одна из жалоб поступила за многими подписями, и пишется в ней о том, что больным не дают кроватей, — сказал граф. — Верно ли это?

— Абсолютно верно. Так заведено в подобных лечебницах и в Европе. Днём больные ходят в пижамах и могут отдыхать, сидя на скамьях и диванах. Перед сном они надевают ночные рубашки и стелют на пол матрасы. А кровать — это металл. Буйные больные могут ранить себя, случалось, что и вешались на спинках кроватей.

А вообще человеколюбие, доброта — это наш главнейший девиз. Служащие подбираются тщательно, для них построены хорошие дома, им хорошо платят. Грубость по отношению к больным совершенно исключается.

— У меня одно письмо от некоего Алексея Криворученко, — сказал граф. — Оно полно великого гнева. Ваших врачей он именует не иначе как «врачи-палачи». Он пишет, что его истязают, дают ему какую-то микстуру, от которой у него отнимаются ноги. Я хотел бы поговорить с ним.

— Для этого нам нужно будет спуститься в полуподвал, в тюремное отделение.

— О! Здесь есть и такое отделение?

— Есть. На сто человек. Расположено оно в полуподвале. Окна забраны толстенными решётками. Сильная охрана. Как правило, там помещаются люди, совершившие тягчайшие преступления, но признанные судом невменяемыми.

— Очень любопытно! — сказал Загорский, в самом деле заинтригованный.

— Ваш жалобщик, Алёша Криворученко, имея шестнадцать лет отроду, пристрелил в Чите жандарма. Распространитель листовок, бомбист.

Они спустились этажом ниже. Левицкий постучал в железную дверь. Открылся круглый глазок.

— Чиновник губернского управления господин Загорский желает побеседовать с больным Алексеем Криворученко, — сказал Левицкий.

— Сейчас устроим, Владимир Зиновьевич! — отвечал грубый голос из-за двери. Лязгнули железные запоры, и дверь отворилась. Рослые пожилые охранники попросили подождать, и вскоре вернулись с тощим невысоким пареньком с шалыми белыми глазами, вздёрнутым носом. На нём были ручные кандалы. Он весь дрожал от ярости.

Бородачи охранники посадили его на табурет, стоявший посреди комнаты, а Загорский и Левицкий присели на скамью напротив. Арестант закричал пронзительным голосом:

— Палачи! Кандалы на больного надели! Скоты!

— Не бузи! — примирительно сказал один из бородачей. — Ты ж дерёшься, кусаешься — как же тебя вести к господам без кандалов?

— За всё ответите вместе с вашими господами! Придёт наше время!

Граф смотрел внимательно в глаза Алексею. Хотел воздействовать на него гипнозом, успокоить. Ничего не получалось. Впрочем, Загорский знал, что на душевнобольных воздействовать гипнозом весьма трудно.

— Вы ещё очень молоды, — сказал граф, — у вас вся жизнь впереди, стоит ли усугублять своё положение? Примерным поведением вы могли бы облегчить свою участь. Я хочу выслушать ваши претензии.

— Если ты пришёл защищать палачей-врачей и читать мне проповеди, то катись колбаской по Малой Спасской! — накупился Криворученко.

— С ним не поговоришь! Он лишь вот это понимает! — показал охранник пудовый кулак. — Да и то не всегда!

— Вы пишете, что вас плохо кормят, это действительно так? — спросил граф.

— Иди ты к чёрту! — сказал Криворученко. — Я с тобой и говорить не хочу. Поверяльщик! Я вижу, что ты принадлежишь к чуждому мне классу. Значит, враг! И проваливай!

— Зачем же тогда жалобы в губернское правление писать? Вы что же, думали, что их извозчик приедет проверять? Кстати, я приехал сам, без извозчика. И мне в лесу какие-то ухаи чуть шею не свернули. Но даже с ними я сумел договориться. А с вами — не получается. Почему?

— Ты чуждый элемент! — темнея лицом, закричал Криворученко. — Я с тобой в другом месте поговорил бы, при помощи бомбы или пулемёта! Скоро вас не будет! Я это гарантирую.

— Это вы зря! — усмехнулся граф. — Я беженец, пострадал от войны, у меня ничего нет, но я устроился и работаю. Ну какой же я буржуа? Для вас каждый интеллигент — буржуй? Все должны быть рабочими? Но кто же тогда будет управлять делами страны, двигать науку?

— Сами и будем! По справедливости! Дерьмо ты собачье! Весь мир насилья мы разрушим... Я тебя посажу в этот подвал, и ты тогда узнаешь, каково тут сидеть!

— Но где же логика? Говорите, что весь мир насилья разрушите, и тут же обещаете посадить меня в подвал, то есть совершить надо мной насилие. Получается, что вы разрушите один мир насилия и тут же создадите другой!

— Пошёл ты... знаешь куда? Подставь ухо, шепну на ушко!

— Ни в коем случае не подставляйте ему ухо, — откусит! — вскричал охранник. Граф внял совету, и ухо узнику подставлять не стал.

— Ну, раз вы ругаетесь, я с вами прощаюсь, — сказал граф с любезной улыбкой. Я выясню, каков ваш рацион, если он недостаточен, приму меры!

В одной из клеток сидел здоровенный парень, он попросил Загорского:

— Барин, сделайте милость! Скажите, чтобы меня на фронт забрали. Меня уже хотели взять, а я сделал вид, что повесился. Суд решил, что я сумасшедший. Какой-то комиссии жду. А мне бы лучше теперь же на войну уехать.

Загорский вопросительно посмотрел на профессора.

— Пока ещё консилиум не решил его судьбу, — пояснил Топорков, — но, скорее всего, будет освобождён от воинской повинности. Не в себе человек. Повешение имитировал. Но и раньше за ним наблюдались странности: любил рассказывать, что побывал в раю и райские гурии его там ласкали.

— А если его признают больным, он должен будет вечно находиться у вас?

— Переведём в общее отделение, подлечим, может, когда-нибудь и отпустим.

Железная дверь за Загорским и Левицким закрылась. Врач сказал:

— Вы можете пройти на кухню, там вам покажут все нормы, продукты и готовые блюда. Это же традиция любой психолечебницы — кормить пациентов самым лучшим образом. Считается, что они и так обделены судьбой, лишены многого из того, чем обладают нормальные люди, так пусть хоть поедят хорошо. Теперь война, но мы обеспечиваем им хороший рацион...

Посетив почти все корпуса, граф сделал пометки в тетради. Уже вечерело, и профессора в щегольских сюртуках и ко-

телках, с элегантными тросточками, усаживались каждый в свой экипаж. Граф отвязал свою лошадь, уселся в коляску. Он решил, что ехать вместе с другими экипажами будет безопаснее.

13. Чёрный человек

Коля в очередной раз спешил на свидание с Белой Гелори. В мастерской Элии Юровского он купил для неё браслет матового серебра с жемчугами.

Конечно, Бела стоила более дорогого подарка, но Николай Зимний по-прежнему оставался младшим приказчиком, и все чаевые по-прежнему отдавал старшему приказчику, хотя над ним из-за этого посмеивались товарищи. Да и сам старший приказчик говаривал, что честность и торговля — это два разных полюса. Надо создать видимость честности, а не быть честным.

В подтверждение своей мысли Семён Петрович Благов рассказал о случае, когда глава рода Кухтериных вёз зарплату на свою спичечную фабрику, да обронил по дороге кошель. Какой-то возчик этот кошель подобрал, по монограмме догадался, чьи деньги, а было их несколько тысяч. Возчик ничего лучше не придумал, как поехать и отдать кошель хозяину. Рассмеялся Кухтерин и сказал:

— Эх, ты! Простота! Вот, возьми три рубля, купи себе верёвку и повесься!

Коля, найди он такой кошель, поступил бы точно так, как тот возчик. И шёл он в гостиничный номер, и был грустен, потому что не мог купить более дорогой подарок. Дома казались серыми. Снег падал за ворот. Издали было видно, как блестит лёд возле свай, как тщетно пытаются разорвать мрак фонари. А когда Коля подошёл к порогу гостиницы, то увидел в полумраке в снежном мареве человека в чёрном пальто, тащившего на загорбке чёрный гроб. «Куда он с гробом?» — удивился Коля, и увидел, что человек вошёл в подъезд гостиницы.

Коля пошёл следом, спросил у конторщика, скучавшего за самоваром:

— А этот, чёрный, он к кому — с гробом?

— С каким гробом? — удивился конторщик. — Мы заказывали столяру кедровые перила, так он ещё их не отделил и не принёс. Да и зачем бы он поплёлся сюда на ночь глядя, сейчас всё равно хозяина нет. А из граба разве перила делают? Да у наших столяров, верно, такого дерева и не бывает. Кедр — де-

рево мягкое, тёплое, и везти его через три моря не надо, рядом растёт.

«Ошибка, путаница, — подумал Коля, — я ему — про Фому, а он мне про Ерёму». И опять спросил:

— Разве человек в чёрном пальто сейчас не зашёл сюда? Высокий и сутулый?

— Нет. Вашу милость уже ждут, сами знаете кто. А других посетителей после восьми вечера сегодня не было. Да ведь погода какая!

Коля прошёл в номер, Бела встретила его как всегда радостно. И тотчас заметила, что он не в настроении:

— Что с мальчиком? Я ему надоела, он нашёл другую симпатию?

Он молча надел браслет на её левую руку. Но горький осадок в душе не проходил, мешал ему восторгаться и радоваться...

Коля, как всегда, ушёл из гостиницы на рассвете, дав сонному конторщику на чай. И шёл по заметленным улицам Томска грустный и одинокий. В домах ещё были закрыты двери и ставни. Нигде ни одного следа на снегу. Почему-то подумалось: а вдруг город весь в одночасье вымер, все люди на свете вымерли, и он, Коля, остался один на Земле? Какой ужас! Что бы он тогда стал делать?

Придя в общежитие, Коля впервые в жизни не раздеваясь лёг в постель, только ботинки скинул.

Утром его разбудили полицейские. И велели одеваться, хотя он и так был одет. Ему надо было только обуть ботинки.

— А в чём дело? — спросил Коля.

— Сам знаешь! Из гостиницы когда пришёл?

— Не помню, рассвет был. А на часы я не смотрел. А что?

— Сам знаешь, айда, пошевеливайся!

Общежитские зашумели:

— Вот так Коля Зимний!

— Тихий! В тихом озере все черти сидят.

— Приютские — они такие!.. Ведь ни отца, ни матери не помнит. Наверняка банк ограбил.

— У кого же точнее узнать?

— А чего узнавать, всё в газетах пропишут.

14. Женщина-главнокомандующий

Никто из пассажиров и представить себе не мог, что весенним утром 1915 года из пульмановского вагона на перрон вокзала Томск-1 ступил главнокомандующий всеми пограничными войсками России. Разве можно представить главноко-

мандующего в меховой шубке и с муфтой под цвет, и с французским ридикюлем через плечо? Нет, и ещё раз нет!

Но так было. Начальницу пограничников звали Матильдой Ивановной. Не так давно она была женой премьер-министра России графа Сергея Юльевича Витте.

Вместе с Матильдой Ивановной в Томск прибыл сорокачетырёхлетний выкрещенный еврей Иван Фёдорович Манасевич-Мануйлов. В прошлом — томич, теперь он был личным секретарём Распутина и легендарным автором знаменитых «протоколов сионских мудрецов», над которыми он работал по заданию шефа тайной полиции Павла Рачковского в Базеле. Говорят, что на самом деле «протоколы» были сочинены 1898 году Базельским конгрессом сионистов, — или не конгрессом — дело тёмное. Но Рачковский с целью разведки придумал адски хитрый план: он решил сделать автором протоколов своего подручного. Пусть потом разбираются, где правда. А у Рачковского будет в руках нить от всемирного заговора.

Матильда Ивановна, как и Мануйлов, входила в круг старца Григория Распутина. Она происходила из семьи богатейших томских золотопромышленников евреев Хотимских, естественно, тоже была выкрестом, иначе какая была бы у неё карьера?

Они приехали проведать родину, а ещё — навестить и допросить государственную преступницу. В июне 1914 года в селении Покровском Хиония Гусева набросилась с кинжалом на бедного старца пьяного Григория Ефимовича. Направил её на это дело бешеный монах Илиодор, который теперь сбежал за границу, в Швецию, и кропает там про друга царской семьи крамольную книгу под названием «Святой чёрт». Теперь преступная Хиония помещалась в Томске, в секретном подвале психиатрической клиники.

Манасевич-Мануйлов и графиня, примчавшие к Хотимским от поезда с целой вереницей колясок, всем вручили подарки. Затем с обеда до ужина подробно расспрашивали Хотимских обо всех томских новостях, и что говорят томичи о Распутине, которому теперь присвоена новая фамилия — Новых.

Поздним вечером с чёрного хода в дом Хотимских входили люди для тайных бесед с высокими гостями. Их усаживали на стулья возле двери кабинета. Главнокомандующая пограничными войсками принимала посетителей по одному.

— Приглашается господин Хотизов! — провозгласил лакей.

Желтолицый человек немедленно юркнул в заветную дверь. Матильда сидела в огромном кожаном кресле и нервно курила пахитоску*. Желтолицый распростёрся у её ног.

* Пахитоска — ароматическая дамская папироса.

— Что это за китайские церемонии, Ли Хань? — недовольно сказала Матильда. Карта ваших постов вдоль великой российской железной дороги у вас с собой?

— Така-точна, мадама, карта, списки надёжных людей, которых я расселил около очина важная места...

На следующий день под охраной взвода казаков высокопоставленные гости отправились за город, в психолечебницу. Иван Фёдорович Манасевич-Мануйлов шептал спутнице:

— Нащупать нить... Подходы нужны к логову, выявить пути, наметить, раскрыть, развязать, но как, как?..

И графиня, и Манасевич слышали многое о новой окружной психиатрической лечебнице Томска. Говорили, что это — почти город...

Топорков встретил их на пороге центрального корпуса, поцеловал графине ручку, крепко пожал вялую кисть Манасевича. В своём кабинете он рассказал историю строительства клиник, показал планы, чертежи, привёл цифры.

— Грандиозно! — согласился Манасевич. — Мы восхищены! Поражены, и так далее... Но мы, господин профессор, хотели бы встретиться с некоторыми вашими больными, если это, разумеется, не отразится отрицательно на их здоровье. Например, мы хотели бы побеседовать с ламой, который, как нам стало известно, прибыл из бурятского дацана и секретно содержится у вас.

Топорков не выказал удивления перед осведомлённостью гостей. Он мысленно вычленил тех сотрудников клиники, которые могли быть осведомителями. Но эта мыслительная работа никак не отразилась на лице профессора, он с приятной готовностью сказал:

— Считаю за честь лично вас познакомить с этим замечательным человеком.

Они вышли в обширный сад, в глубине его укрывался отдельный особняк. Возле него мелькали жёлтые халаты, бродили бритоголовые монахи, звучал молитвенный гонг. Манасевич попросил разрешения поговорить с ламой, от переводчика отказался. Оглядевшись по сторонам, он спросил ламу:

— Твои бритоголовые по-английски разумеют?

— Не ругаюсь, но, кажется, что никто английского не знает.

— Тогда давай говорить на эсперанто. Говори кратко всё, что знаешь о Бурятии, внутренней Монголии и Китае.

Манасевич слушал плохой язык эсперанто, чертыхался и записывал донесение ламы невидимыми чернилами на специальной бумаге. Что именно записал Мануйлов, кроме него никто не смог бы прочесть на целом свете. И мы этого тоже не узнаем никогда.

Возле кибитки возникла главнокомандующая пограничными силами России. Спросила:

— О чём толкуете Иван Фёдорович?

— Да вот он рассказывает, что после смерти мы можем стать либо кузнечиками, либо жабами, либо львами. Всё зависит от того, как мы ведём себя в нынешней жизни.

— Мы с вами станем змеями! — не без иронии сказала начальница пограничников.

«Ты будешь гадюкой, это точно!» — подумал Манасевич-Мануйлов, и, улыбнувшись, сказал:

— Вы, графиня, конечно, станете чудесной жар-птицей!

— А вы бывали когда-нибудь в зоопарке на птичьем дворе? Там вонь стоит изрядная! — отвечала Матильда Ивановна. И добавила: — Я предпочла бы стать крокодилом и пожирать мужчин за все унижения женщин, которые они терпят на этой земле.

— Ну зачем же такая кровожадность, графиня? К тому же далеко не все мужчины унижают женщин, есть и те, что их вышагают!

Как бы между прочим перешли в цокольный этаж, где находилась тюрьма на сто мест. Туда на экспертизу привозили заключённых из различных тюрем. Показали там гостям юного бомбиста Алексея Криворученко, который при виде гостей взвыл и сделал вид, что грызёт свои ржавые цепи.

В соседней клетке сидела Хиония Кузьминична Гусева, бывшая сожительница беглого монаха Илиодора Труфанова. Лицо её было испещрено бубонными язвами. Графиня дала ей конфеты, пирожные и иконку.

Но когда графиня начала её расспрашивать, Хиония возопила:

— Отстаньте, ироды! Заплюю гнилой слюной! Зазорной болезнью заражу!

И в самом деле принялась плевать.

Иван Фёдорович Манасевич-Мануйлов и Матильда Ивановна не ожидали такого отпора. Подкупить дуру? Но как? Стали советоваться с Топорковым — дело, мол, государственной важности. Профессор пояснил, что Хиония не притворяется, лучше её теперь не будоражить вопросами.

Из психолечебницы кавалькада направилась в университет. Манасевич был в чёрном смокинге и лаковых штиблетах, сиял набриолиненной причёской с безукоризненным пробором. Он ловко и элегантно представил свою властительную и загадочную подругу профессорам.

Учёные шептались в искусственном пальмовом саду:

— Надо же! Особа приближённая к императору!

— А графиня-то! Пограничница! Главнейшая!

— Вот — выкресты! На какие высоты взобрались.
— Наверняка ещё выше метят.
— Да куда уж выше-то?
— Э, батенька...
— Где американцы снимают фильм? — осведомился Манасевич.

Высоких гостей тотчас повели на кафедру Вейнберга. Профессор был возбуждён. Его изобретение получит мировую известность. Но его смущал Потанин, который только что высказал ему свою точку зрения на происходящее. Он сказал профессору, что эта съёмка — по сути дела кража российского приоритета. Вот если бы Сибирь была отдельной страной, как Америка, тогда не потребовалось бы приглашать в Томск иностранцев.

Теперь Потанин стоял в сторонке, скрестив на груди руки, и недовольно следил за стараниями американцев. Высокие и тощие янки в меховых кепи с ушными клапанами, в куртках на меху и в ярко-жёлтых крагах светили в павильоне магнием и трещали аппаратами. То и дело слышалось:

— О'кей!

— Снимают фильм «Дорога будущего», — пояснил Манасевичу профессор Вейнберг. Пришлось согласиться: после показа фильма в Штатах, возможно, какая-нибудь американская фирма профинансирует мои исследования. К сожалению, от российских министерств я не мог этого добиться. Все ссылаются на финансовые трудности в связи с этой проклятой войной. А это вот наш переводчик — граф Загорский.

— Очень рад! — изобразил улыбку Иван Фёдорович Манасевич-Мануйлов. Он безошибочно узнал в переводчике поляка. Эту нацию он интуитивно недолюбливал. Ибо считал, что поляки в изворотливости в некоторых делах превосходят евреев. Загорский смотрел на него доброжелательно и пристально.

Манасевич-Мануйлов прогуливался по павильону, делая вид, что ужасно заинтересован тем, как молниеносно в стеклянной трубе проносится модель поезда будущего. На самом деле его интересовало нечто другое. Он ждал.

Американцев было человек десять. Они суетились с проводами, перетаскивали ящики с аппаратами, катали тележку, на которой в рупор покрикивал съёмщик фильма. Один оглянулся на Мануйлова и вышел во двор, Иван Фёдорович последовал за ним.

Американец сунул руку в рот, вытащил вставную челюсть, сжал в руках, челюсть щёлкнула, и у американца в руках оказалось удостоверение личности, отпечатанное на тончайшей бумаге, но украшенное самой настоящей печатью.

— Мой мандат вам не нужен? — спросил Иван Фёдорович Манасевич-Мануйлов по-английски американца, которого, судя по документу, звали Джоном Смитом.

— Почему не нужен? — сказал американец. — Очень даже нужен. Вы же знаете, что при нынешней технике можно подделать внешность любого человека. Можно из волос и грима создать Манасевича-Мануйлова, или президента Джорджа Вашингтона, или, наконец, кайзера Вильгельма.

— Хорошо!

Манасевич нажал четырёхугольный рубин на своём перстне и извлёк из тайничка совсем уж малюсенькое удостоверение, но самое настоящее.

— Вот вам, дорогой мистер Смит, моё удостоверение. Вы можете убедиться, что я самый настоящий Иван Фёдорович Манасевич-Мануйлов, друг святого старца Григория Новых, что сегодня в России многое значит. А вот Смитов в Англии и Америке больше, чем звёзд на небе. Бьюсь о заклад, что на самом деле ваше имя совсем иное.

— Может, и так, но для вас это не имеет никакого значения, — отвечал Джон Смит, — из документа вы поняли, что я действительно представляю правительство Соединённых Штатов. Это главное.

— Хорошо! Мы встречаемся с вами в Томске потому, что Петербург теперь наводнён немецкими шпионами. Но у нас есть поговорка: бережёного бог бережёт. Вражеские агенты могут быть даже в Томске. Приезжайте сегодня вечером к Хотимским, да заходите через двор сзади, через калиточку со стороны огорода, чтобы с улицы вас никто не видел. Это не обязательно, но желательно.

— Я понимаю, — отвечал американский агент.

Вечером, уединившись в роскошном кабинете хозяина дома, они продолжили беседу.

— Магнитные дороги Вейнберга — дело далёкого будущего, — говорил, попыхивая сигарой, Иван Фёдорович Манасевич-Мануйлов. — Я вот был вчера в томском отделении Союза русского народа. Идёт война, а наши русские юноши измусолили книги Жюль-Верна. Библиотеки не успевают их латать. Я поставил перед юнцами ясные цели.

Правительства могучих держав тем более не могут быть бесплодными мечтателями. Сегодня, когда немецкие подводные лодки ползают в Атлантике, мы с Америкой имеем общие интересы. Нужен консорциум. Межконтинентальная железная дорога, которая должна пройти через Берингов пролив и соединить четыре континента: Америку, Азию, Европу и Африку. По сто пятьдесят километров в обе стороны от этой дороги должна быть отчуждена полоса в пользу консорциума. И он с

лихвой оправдывает расходы. В Сибири есть алмазы, нефть, запасы леса, редкоземельные элементы. Я берусь убедить нашего государя заключить договор с банками Америки.

— Это очень, очень интересно! — сказал Смит.

— Мы предварительно считали! — кивнул Иван Фёдорович. — Переход через Берингов пролив — девяносто вёрст, глубина там не очень большая. Когда-то континенты были связаны между собой. Индейцы пришли в Америку из Сибири, именно по этому древнему пути пройдёт наша дорога, это будет величайшее событие в жизни землян.

— Да! Это американский размах! — подтвердил Джон Смит. — А скажите, вы часто встречаетесь с Николаем Вторым?

— В любой момент, когда мне это требуется, для Манасевича двери дворца открыты.

— И вы действительно являетесь автором протоколов сионских мудрецов?

— Да, я написал их. Это было дьявольское наущение. Но потом я отрёкся и стал православным, и достиг дружбы со святейшим человеком державы, и с самим государем.

— Я горжусь нашим знакомством! — заявил Джон Смит. — Очень жаль, что о нём нельзя никому рассказывать до поры.

— Да. Но Штаты должны дать мне письменное обязательство. В случае согласия русского правительства на консорциум американское правительство должно будет выплатить мне гонорар в сто тысяч долларов. Ещё я мог бы переговорить с Владимиром Карловичем Дротом, заведующим евразийской континентальной биодинамической станцией. Возможно, мне удастся убедить его переехать в Америку. Он утверждает, что может создать такое химическое оружие, что и кайзеру не снилось. Я докладывал государю, но он говорит так: «Я не кузен Вилли, я не буду воевать запрещёнными газами, я его одолею законными приёмами борьбы...». И царь не дал этому учёному на его исследования ни копейки. В Америке велик интерес ко всему новому, я готов за определённые комиссионные переговорить с нашими учёными. О цене моих услуг договоримся потом.

— О'кей! — кратко ответил мистер Смит.

15. Во дворце мёртвых

Профессор Михаил Фёдорович Попов, создатель кафедры судебной медицины, заказал томским архитекторам строительство здания по образцу Лейпцигского анатомического музея.

Здание в белой берёзовой роще неподалёку от речки Медички и чуть в стороне от других университетских корпусов вызывало у томичей жутковатое любопытство. Именно сюда привозили криминалисты трупы на экспертизу. Помимо мертвецкой, в подвальной комнате разместился музей. Там под стеклом лежали открытые на Воскресенской горе останки. Черепа пробиты, кости переломаны. Учёные изучали черепа, шлемы, кольчуги, копья, сабли, стрелы. Доказали: русские ратники, они обороняли крепость Томскую в семнадцатом веке. Не пощадили жизни своей, не отступили, не спрятались.

В подвале была ещё небольшая часовня, и был при ней орган. Так что можно было отпевать покойников любого вероисповедания. Сторожем при мертвецкой и одновременно дьяконом и органистом был Иоганн Иоганнович Штрассер. В давние годы он попал в Петербург, убил из ревности одного своего соотечественника, был осуждён в каторгу. Отбыл срок, и местом поселения ему определили Томск. Он уже давно чувствовал себя коренным томичом. Иван Иванович, как теперь его называли, взял за обычай играть на органе всякий раз, когда лифт поднимал из мертвецкой в верхнюю прозекторскую залу какого-либо покойника.

Зала эта сияла кафелем, и была ярко освещена электричеством. У стен стояли кадки с фикусами, пальмами и розами из ботанического сада. В тот поздний вечер находились там создатель кафедры судебной медицины и Дворца мёртвых Михаил Фёдорович Попов, его помощник приват-доцент Михаил Иванович Райский, санитар Николай Николаевич Бурденко. Был тут и профессор кафедры лечебной диагностики Михаил Георгиевич Курлов, учившийся во многих странах. Создатель общества по борьбе с чахоткой «Белая ромашка», он читал лекции о борьбе с чахоткой прямо на вокзалах и базарах и носил на груди белую шёлковую ромашку. Присутствовал тут и граф Загорский, который живо интересовался всем неординарным и необычным, что имелось в старинном сибирском городе Томске.

— Коля! — обратился Попов к Николаю Николаевичу Бурденко, — спуститесь, пожалуйста, вниз, и подготовьте пассажиру к путешествию.

Бурденко спустился в подвал и, завидев его, Иван Иванович, седой, с распущенными чёрно-седыми волосами, выпил рюмку перцовки и сел за портативный орган чикагской фирмы «Стори и Кларк».

Внизу Бурденко позвонил. Наверху Попов нажал кнопку электролифта, который тотчас пополз вверх. И сразу же раздался звук органа.

— Ага! Наш Харон запел! — улыбнулся Попов. Возле ног учёного расплзлись жалюзи, и из раскрывшегося прямоугольного отверстия поднялась мраморная столешница, на которой лежало обнажённое тело молодой женщины.

Мужчины все смотрели на него, пытаясь быть равнодушными, но никому из них это не удалось.

— Чёрт возьми! — прервал молчание Михаил Иванович Райский. — Я никак не мог выделить из своих обычных расходов сумму, которая позволила бы мне посетить ресторан гостиницы «Европа» и послушать румынский женский оркестр. Я слышал легенды о красоте этой первой скрипки, и мечтал её видеть. И что же? Я её вижу, и даже обнажённой. Но нет, не радость вызывает это у меня, а сожаление. Печаль, если хотите.

— Мы — медики, и в данном случае должны смотреть на тело с медицинской точки зрения, — сказал Попов. — Подайте мне, пожалуйста, скальпель! — Он обернулся к Загорскому:

— Граф, вам, может быть, неприятно будет это видеть.

— Чем больше видишь, тем больше знаешь, — ответил граф. — Меня интересуют разные науки. Не знаю, почему, но мне всегда хотелось видеть все стороны жизни.

Учёный делал надрезы, отворачивал ткани тела, он ковырлся в теле мёртвой женщины спокойно, словно огородник в своей грядке.

— Прежде всего, имел место половой акт, может, не один раз. Судя по ранке на её шее, по обескровлению, умерщвлена путём укуса в шею и высасывания крови, после очередного сеанса любви. Такой смертельный поцелуй. Потеряла много крови. Пыталась сопротивляться — на запястье правой руки синева и ссадины. Вообще имела хорошее здоровье, хорошие сердце и лёгкие, в порядке зубы, пищевод, желудок и печень, и мышцы упругие, могла бы долго жить...

Закончив осмотр, Михаил Фёдорович пошёл к рукомоинику и сказал Райскому:

— Михаил Иванович, занесите всё, что нужно, в протокол и зовите следователя.

Вошёл следователь Хаймович, карие глаза и орлиный нос его выглядели зловещими, но заговорил он неожиданно тонким детским голоском:

— И что мы имеем с вашим заключением, господа эксперты? Тэк-с, почитаем. Ваше мнение совпало с моим полностью. Я уже пятнадцать лет следователь, и впервые сталкиваюсь с вампиризмом. Как вы думаете, господа, откуда это берётся, такая гадость?

— Я где-то читал, что это бывает врождённое. Впрочем, учёные люди, возможно, меня опровергнут, — сказал граф Загорский. — Вообще-то было бы интересно посмотреть на

человека-вампира. Надеюсь, что господин следователь нам такую возможность предоставит.

Попов пояснил:

— Природа этого явления учёными еще до конца не распознана. Есть предположения. Скажем, знаете, бывает волклюдоед. С чего начинается его людоедство? Он каким-то образом отбивается от стаи, от мест, где находил привычный для себя корм, оленей и прочее. И ему встречается беспомощный ребёнок, которого он загрызает. Он узнаёт вкус человечины. И потом уже от него можно ждать новых нападений на людей. То же и с вампирами. Возможно, в детстве подружка попросила его высосать кровь из ранки на пальце. Высосал. Вкус крови понравился. И он уже не может его забыть. Но это только гипотеза.

Михаил Иванович, накройте, пожалуйста, тело.

— Нет! — возразил следователь Хаймович. — Не накрывайте! Я сейчас приглашу сюда своего вампирчика, пусть полюбуется на своё художество!

— Дементьев! Введите арестованного! — крикнул Хаймович, приоткрыв дверь в коридор.

Дюжий конвоир ввёл тощего, бледного юношу. Он взглянул на тело, вскричал:

— Бела! Бела!

— Смотри. Смотри, негодяй, что ты с ней сделал! — тряс его за плечо Хаймович. Юноша ничего не ответил, он вдруг рухнул на пол.

Райский наклонился, приподнял веко, сказал:

— Обморок, надо ему дать понюхать нашатырного спирта. Кто он такой? Кто он, загубивший артистку Белу Гелори, будучи хлипким и слабонервным?

— Он — младший приказчик из магазина Второва Николай Зимний.

— Неужели? Разве может быть преступником такой юный и нежный? — удивился Попов. Может, вы ошибаетесь?

— Доказательств у нас более чем достаточно, — возразил Хаймович, и свидетели есть, так что не открутится.

Попов сказал:

— Жаль мальчишку. Ей-богу, есть что-то у него в лице такое... благородное. Надо сказать Топоркову Николаю Николаевичу, пусть проведёт психиатрическую экспертизу. Если он даже вампир, это — мания, болезнь. Так уж лучше ему в психолечебнице быть, чем в тюрьме.

— Мне тоже почему-то очень жаль этого юношу, — сказал граф Загорский. — И мне тоже не верится в его виновность. В любом случае его надо спасти от тюрьмы, хотя бы с помощью Николая Николаевича.

— Он приютский! — пояснил Осип Хаймович. — Правильно говорят, что из хама не выйдет пана. Его уже никто и ничто не спасёт.

— Ваш брат в каждом человеке видит преступника, и это можно понять: каждый день — одно и то же! — обратился к следователю молчавший до сей поры Курлов. — Дикость, грязь, мерзость.

— Вы тоже каждый день делаете грязную работу. Чтобы ликвидировать заразу, вы прижигаете её спиртом, йодом или ещё бог знает чем. Если бактерии не ликвидировать вовремя, человечество вымрет. Считайте, что мы — тоже санитары.

Хаймович, конвоир и арестованный удалились.

Попов нажал кнопку лифта, раскромсанная Бела Гелори уехала на лифте вниз, и жалюзи закрылись. Казалось, что в этой зале никогда никакой покойницы не было.

Внизу молодой стажёр Николай Бурденко зашивал всё, что вспорол профессор. Закрашивая специальным составом шрамы и синяки, приводил Белу Гелори в такой вид, чтобы её похоронить было не стыдно. Хвативший с полстакана перцовки Штрассер с силой обрушил десять пальцев на клавиши органа, выжимая из них фугу Иоганна Себастьяна Баха. Он играл, и была в этой музыке безмерная грусть о жизни, прекрасной, неповторимой, и неумолимо проходящей, как сон. Величие и тщета. Божественная красота и дьявольский смрад и ужас. Они рядом. И ничего нельзя вернуть, воскресить. И гневно, и торжественно вздыхали аккорды, и сипло хрипели меха, и какая-то звезда в этот миг покатила за окошком с ночного неба.

16. Семейная скорбь

Где-то гремела война, но её грохот докатывался до Томска лишь стуком инвалидных костылей на томских мостовых да возрастанием базарных и магазинных цен. Манасевич-Мануйлов и Матильда Ивановна с первыми морозами отбыли в Петербург хлопотать на самом вершине пирамиды за тех, кто за хлопоты заплатил. А кто и как платил, и за что, всё это выдохнули паровозы вместе с клубами морозного пара. Вообще в сильные морозы в Томске стоит туман. Как бы в тумане растаяла и эта удивительная пара. Но некоторые следы пребывания всё же оставила.

В Валгусовской библиотеке состоялось собрание местного отделения «Союза русского народа». Раздавали новым членам привезённые Манасевичем-Мануйловым специальные значки. Среди членов ячейки было много грузчиков, извозчиков, мел-

ких лавочников. Были хмурые мужики, только что вышедшие из тюрьмы. Были некоторые местные бакланы. Среди них и Аркашка Папафилов, с гордостью нацепивший новый значок. Шли такие разговоры:

— Краснофлажники после 1905 года приутихли, а ноне опять подымают головы. Всё студенты, всё еврейшки проклятые! Сколько их лавок разбили в девятьсот пятом, девятьсот шестом, а они, смотри, новые магазинищи понастроили больше прежних. Не иначе, немцам нас продают. Ох, креста на них нет! Христопродавцы! Манасевич-то господин — друг самого Григория Ефимовича, к царю-батюшке ходил, тот ему так и сказал:

— Чуть чего — громите!

Саввушка Шкаров в девятьсот пятом году немало побил очкариков, выскакивавших из горящего здания театра Королёва и железнодорожного правления. Савва этот пограбил еврейские аптеки так, что теперь купил скобяную лавку. Он развивал каждый день свою и без того чудовищную силу тасканием ящиков с железом. Подняв большим пальцем двухпудовку, он сказал:

— Чуετε? Силёнка есть! Защитим государя от изменщиков и шпионов. Не только пархатых, но и полячишек будем бить. Они наворовали там, в Польше, золотишка из разбитых банков. А все деньги нашим русским потом заработаны!

Долго, кто как мог и как умел, ругали всяких врагов, внешних и внутренних, пели: «Боже царя храни», собирали деньги в пользу инвалидов войны, а также для помощи вдовам и сиротам.

В то же самое время на Войлочной заимке за речкой Ушайкой в доме Бабинцева проходил всероссийский съезд мазуриков. Понятно, что блатяки и знать ничего не знали о «Союзе русского народа». Они пытались создать свой союз. И съехались сюда паханы, люди в законе. Съехались и воры разных специальностей, чтобы показать своё искусство.

Как всегда, почётом пользовались опытные карманники. А они подразделялись на множество категорий. Кто-то работал только вдвоём, — ширмачи, а кто-то — только в одиночку, — щипачи. Один потрошил карманы, прикрывая лицо жертвы пышным букетом, другой отвлекал внимание клиента другим приёмом. Разных методов можно было насчитать несколько сотен.

Татарин Ромка, например, срезал у барынь ридикюли, одновременно подвешивая к ремешкам ридикюля «куклу», то есть матерчатый узелок с песком, по весу примерно соответствующий срезанной сумке. Барыня потом ещё некоторое время ходила с этим «подарком». Прохожие начинали смеяться, тогда

она и обнаруживала, что ограблена. Случалось, что Ромка ради шутки накладывал в свой подкидной узелок дерьма. И приглашал урок наблюдать, как он прицепит такой узелок вместо сумки самой модной барыне в магазине второвского пассажи.

Томские воруы могли многим похвастать перед приезжими. Здесь в доме Бабинцева собирались на сходки воруы самых разных специальностей — такие, как Аркашка, работавшие на бану*; были поездные воруы. Они считали высшим шиком ограбить едущего в поезде офицера. Для этого стягивали со спящего сапоги. Но не совсем, а лишь наполовину. Затем надо было взять чемодан данного офицера, разбудить его и сказать: «До свидания». Он вскакивал — и тут же падал. Пока полусонный офицер разбирался со своими сапогами, вор выбегал в тамбур, отпирал тамбурную дверь специальными ключами и спрыгивал с поезда на ходу с чемоданом в руке.

Специальная воровская комиссия выезжала вечерним поездом из Томска и ехала до станции Тайга, до которой поезд шёл четыре часа. И где-то в пути экзаменуемый вор проделывал вышеописанный трюк. Работу томского поездного вора комиссия признавала отличной.

В горнице Бабинцева было поставлено чучело, одетое в пиджак и брюки, с карманами, полными денег, и увешанное колокольчиками. И нужно было обокрасть это чучело так, чтобы не звякнул ни один колокольчик. Придумали это, конечно, не сами. Слямзили из известной картины «Школа воров».

Вместе с другими мазуриками выступил и Аркашка Папафилов со своей подручной девчушкой Кристинкой. Он и сюда успел! Союзнародовский значок Аркашка пока спрятал в карман. Настоящим вораам запрещается носить какую-либо форму и вступать в какие-либо организации. А уж если человек в армии служил, или в пожарниках, такого воруы со своей сходки сразу бы на пинках вынесли.

Бандита Цусиму на свой собор воруы не пригласили. Настоящие воруы бандитов как-то недолюбливают. Вообще воруы с Войлочной заимки жили с бандитами в соседстве, общались, устраивали совместные вечеринки и картёжные игры. Но на всероссийский воровской сходняк приглашать бандитов было неуместно.

Аркашка пришёл в воровскую компанию с девчушкой, и показывал не только захват чужих чемоданов, а ещё удивительнейшие карточные фокусы, за что и получил от воровских старейшин поощрительную премию. Выбрать единого пахана на всю Россию не удалось. Выработали такую формулу: «Ростов — папа, Одесса — мама, а Томск — их скрёбанный

* На бану — на вокзале (воровской жаргон).

сынок». На съезде было много поляков-марвихеров, карточных шулеров, они потребовали присоединить к девизу такую фразу: «А Варшава — его родная тётя». Москву и Петербург, несмотря на протесты столичных представителей, решили вообще не считать, потому что они там все «шибко умные». Действительно, чего в столичных городах не воровать. Там всегда можно укрыться от крючков, а фраеров там не мерянное и не считанное число. А вы попробуйте воровать в Томске, где люди все сами — или ссыльные, или беглые, или отбывшие каторгу бывшие кандалники! По всем этим причинам избрали четырёх главных: дядю Костю из Ростова, дядю Петру из Одессы, дядю Васю из Томска и дядю Казю из Варшавы. Хотя дядя Казя был вроде как беженец и жил теперь в Томске временно, на птичьих правах, но надо было уважить польский народ.

Конечно, не обошлось без выпивки, Войлочная заимка — место живописное, здесь маленькие домишки теряются в деревьях и кустарниках; речка, овраги и холмы придают округе живописный вид. Воры наслаждались общением, хвастовством, рассказами о разных хитрых делах и случаях. Играли в карты по-крупному. С речью ко всем обратился дядя Петра из Одессы, он, между прочим, сказал:

— Каждый, кто ворует, должен устремляться стать честным вором. Ге! Это, как говорят у нас в Одессе, просто, как баклажан! Честный вор никогда мешки грузить у порту не станет, и лопату в руки не возьмёт. Честный вор не променяет нашу воровскую малину ни на какую маруху, не прилипнет к её тыльному месту по гроб жизни. Честный вор, если проиграет в карты, обязательно заплатит, или пусть хоть утопится у Черному мори! Да что я вам тут долго буду балакать? На меня гляньте, и вы увидите того честного вора! Всё!

В эту зиму афиши на круглых тумбах и газетные объявления приглашали томичей в Общественное собрание на концерты знаменитого солиста императорских театров Владимира Касторского. Многие воры тоже пожелали услышать знаменитый «бархатный» бас. Скупиться не стали, купили втридорога места в центре второго и третьего ряда, где обычно сидит местная знать.

Сначала выступил Николай Морозов — писатель, поэт, астроном, народоволец-бомбист, отсидевший в крепости двадцать лет, большой друг Потанина. О его жизненном и творческом пути рассказал сам великий сибирский просветитель.

Потанин стоял на сцене уверенно, непринуждённо. Костюм самый простой, брюки не глажены, воротник пиджака задрался. На голове — колтун, борода — клинышком, широкий нос, маленькие глаза — за круглыми очёчками в простой оправе. Однако же аудиторией овладел мгновенно. Гадалов, Попов,

Смирнов, Голованов, Валгусов и другие богатеи смотрели на него с некоторым недоумением. Станный человек. Из казаков, а по службе далеко не вышел. По степям и горам зачем-то лазил, а золотишка вроде не нашёл. Денег не накопил. Бунтовал. А в городе его многие уважают. За что?

Когда Григорий Николаевич сказал, что недавно Морозова избрали профессором Томского технологического института, сидевшие в зале воры бурно зааплодировали. Дескать, этот человек тоже сидел в тюрьме, значит, он нам сродни!

Григорий Николаевич сошёл со сцены в зал, сел в первом ряду. На сцене появился знаменитый бомбист с женой, которая сразу же села за беккеровский рояль.

Морозов читал звёздный цикл стихов, а жена при этом играла на рояле. Воры мало чего поняли, потому что речь шла о туманностях Андромеды, о глубинах Вселенной. На всякий случай хлопали поэту-бомбисту, когда он принялся кланяться. Уважали за то, что против закона пошёл, — дескать, в этом мы схожи.

Морозовы исчезли, а на сцене возник элегантный антрепренёр и рассказал о творческом пути певца Касторского, о его многочисленных заслугах, о том, что сам царь ему пожаловал серебряный сервиз со специальными монограммами. По словам антрепренёра выходило, что Владимир Касторский первый в мире певец после Шаляпина и Карузо.

Наконец появился и сам со своим столичным аккомпаниатором-евреем. Касторский запел, и сразу стало ясно — да, голос! Но ещё было и огромное чувство в его исполнении. Оно приводило сидящих в зале в трепет. Когда Владимир Касторский исполнял «Элегию» Массне, то на глазах у зрителей и у самого певца были слёзы.

Потом свет в зале и на сцене стал меркнуть, и в полутьме зазвучала ария Мефистофеля из оперы Шарля Гуно:

— Люди гибнут за металл...
Сатана там правит бал, там правит бал,
Сатана там правит бал, там правит бал!
Люди гибнут за металл...

Касторский гневно и страшно рассмеялся, шёлковый просторный плащ взмывал за спиной певца, как чёрные крылья, и казалось, что вместе с дьявольским хохотом изо рта Касторского вырывалось пламя. В зале многие ощутили ужас.

В антракте томские меломаны, профессора и некоторые купцы переговаривались удивлённо. Гадалов сказал Второву:

— Я слушал Касторского в Петербурге, в Москве. В Томске он тоже поёт не впервые, но такого чувства, такой подлинной грусти и тоски и гнева в его исполнении я прежде никогда не слышал. Что с ним случилось?

Второв пожал плечами.

Воры слышали этот разговор. Аркашка Папафилов шепнул своим:

— А ведь я у этого певца увёл на бану чемодан, а в том чемодане был и тот самый сервиз, о котором говорил этот кучерявый антрепренёр. Да ещё — фамильное серебро, фотокарточки каких-то женщин в серебряных оправках. Вот почему у него в голосе — настоящая тоска.

Дядя Костя спросил:

— Сервиз-то уже замыл*?

— Да нет, я его себе оставил, больно хорош.

— Отдай! — сказал дядя Костя.

— Потом когда-нибудь! — сказал Аркашка Папафилов. — А то я отдам сервиз, а он петь станет плохо. А я буду ходить на его концерты, пока он не уедет из Томска, наслаждаться буду. А перед отъездом ему в гостиницу этот сервиз подбросим.

— Хорошо придумал, — похвалил Аркашку дядя Костя, — лакшово**! Я думаю, даже и в Ростове таких толковых воров совсем немного...

17. Сладкого захотелось

Шёл апрель 1916 года. На Почтамтской и на Миллионной улицах все магазины закрылись. В окнах магазинов Гадалова, Голованова, Смирнова и других купцов, помельче, были вывески: «САХАРУ НЕТ И НЕ ОЖИДАЕТСЯ».

Толпы бурлили возле главных магазинов города. Были тут рабочие немногочисленных томских фабрик и заводов, работники типографии Макушина, некоторые служащие, много женщин. Слышались крики:

— Кровопийцы! Наши мужья и сыновья гибнут на фронте, а нам даже сахару к чаю не дают!

— Ломайте двери! У них есть на складе!

— Ломайте! — надрывался Аркашка Папафилов. — Крокодилы! Эксплуататоры! Изверги трудового народа!

Воры всегда появляются в толпе во время подобных заварух: вдруг да и удастся чем-нибудь поживиться.

Тут же был и Саввушка Шкаров, на груди у него висела ладанка, в которой была зашита бумага с таким текстом: «Настоящим удостоверяется, что Савва Игнатьевич Шкаров является русским патриотом и имеет благословление Григория Ефимо-

* Замыл — продал (воровской жаргон).

** Лакшово — прекрасно (воровской жаргон).

вича Новых на уничтожение всех врагов российского престола и православия. Что и удостоверяется.

Манасевич-Мануйлов».

Савва по утрам крестился двухпудовкой не менее двадцати раз. Руки у него были такие, что мог лом согнуть. И хоть он и сам был собственником, всегда был не прочь пограбить чужое добро. Он просунул пальцы под железные шторы на окнах, поднатужился и сорвал их. Тут же булыжниками вышибли толстое бемское стекло. Аркашка одним из первых влез в бакалейный магазин Голованова. Сразу кинулся к кассе. Чёрта с два! Пусто! И никаких товаров в витринах или на полках. Вот проклятые купчишки! Всё предусмотрели. Аркашка схватил с прилавка весы — пригодятся. Правда, гири куда-то попрятали. Да некогда тут разбираться, надо ноги уносить, пока конная полиция не подросла. Аркашка выскочил с весами в проулок, и только его и видели.

Ваня Смирнов в это время ехал в лёгкой коляске по весенней грязи в сторону психолечебницы. В кармане на случай у него лежал револьвер, в большом крокодиловой кожи портфеле были две чёрных бутылки с французским вином, несколько колец колбасы, белый хлеб. Ваня ехал навестить несчастливую дружку своего, Колю Зимнего. Его обвинили в страшном убийстве, потом признали невменяемым и отправили в эту самую лечебницу.

И вот показались строения больничного городка в сосняках и кедрачах. Кучер осадил коня возле парадного входа. Молодой Смирнов сбросил пальто на руки подбежавшему швейцару и поднялся по лестнице к кабинету профессора Топоркова. Попросил сестру милосердия доложить.

Через минуту профессор Топорков уже встречал Ваню на пороге своего кабинета.

— Иван Иванович! Дорогой! Какими судьбами? Неужто вас заинтересовала медицина?

— Не называйте меня с отчеством, Николай Николаевич, молод ведь ещё. Я приехал к другу. У вас находится Коля Зимний, мы с ним дружны, что с ним, как его здоровье?

— Ну, можно сказать, что он относительно здоров, мы его наблюдаем. Вы хотите с ним встретиться?

— Не только встретиться, но прокатиться по бору на извозчике.

— Покататься вам с ним, к сожалению, не придётся, он ведь у нас находится в арестантском отделении, под охраной, и выпускать его оттуда нельзя. Вас туда я могу проводить, и беседуйте с ним сколько душе угодно!

— Но, Николай Николаевич, Коля ни в чём не виноват, я ручаюсь, на него возвели напраслину.

— Ну, ручаться ни за кого нельзя. Бывает так, что человек что-то делает в состоянии аффекта, потом сам ничего не помнит. Бывает, на людей затмение находит. Болезнь такая.

— Эх! Николай Николаевич! Болезнь! Вы слышали, что ещё двух жительниц Томска постигла судьба Белы Гелори? Нет? Ну, так я вам скажу. Два дня назад нашли ещё одну девушку из румынского хора, с такой же ранкой на шее, обескровленную. И сегодня нашли служанку Ковнацких, умерщвлённую всё тем же способом. А между тем Коля Зимний сидит у вас под охраной. Он не отлучался в эти дни из лечебницы? Нет? Так как же всё это объяснить? Вы и теперь будете считать Колю виноватым?

— Обвинять и оправдывать — дело суда и полиции. Моё дело лечить. Коля сюда направлен по решению суда.

— Николай Николаевич! Дайте же вы ему подышать свежим воздухом! Отпустите на прогулку, под мою ответственность, хотите — расписку напишу?

— Но, Иван Иванович, вы меня ставите в затруднительное положение. Если Зимний поедет с вами кататься и сбежит, мне никакой вашей распиской не оправдаться.

— Да не сбежит он! Я его успокою, расскажу, что и после его заточения случаи нападений на женщин продолжаются.

— А вот это ему говорить нельзя! Ни в коем случае! От этого его болезнь только обострится.

— Да нет у него никакой болезни! Я же знаю.

— Этого никто не знает, — сказал профессор. — Психические отклонения могут быть у совершенно здоровых людей. В сущности, все люди — психи и шизофреники, только в разной степени.

— Эта ваша теория только подтверждает, что Коля — нормальный человек.

— Ладно, уговорили, разрешу я вам с ним покататься по бору, только про новые убийства вы с ним не говорите, дайте честное слово.

— Даю.

Уже через минуту они забрались в коляску. Коля отвык от свежего воздуха, отвык от своей обычной одежды. После больничного халата ему было странно надеть костюм и пальто. Он втягивал голову в плечи, словно ждал удара, согнулся, обвис, словно из прежнего бодрого и стройного юноши вытащили стержень.

— Вот мы и встретились! — сказал Ваня. — Я бы заехал к тебе и раньше, да папаша меня торопил с подготовкой к свадьбе, всех загонял, и мне не давал ни минуты роздыху. Давай-ка там вон на скамье садовой закусим, я прихватил всё что нужно. Может, вино тебя взбодрит.

Они прихлёбывали вино из чёрных бутылок, жевали колбасу и ситный.

— Ты женишься и ты будешь счастлив, и я тебя поздравляю! А я конченный человек, псих, дурак! На мне пятно на всю жизнь, да я, может, и сгнию в этих стенах... — заговорил Коля, когда вино произвело некоторое оживляющее действие.

— За поздравления спасибо, Ваня. — Но эта свадьба совсем некстати, мне и жениться вовсе не хочется, только воля батюшки. И теперь я очень хочу помочь тебе. И есть у меня все основания думать, что скоро тебя отсюда отпустят. Может, я в тот момент буду не в городе, может, меня батюшка по делам за Урал пошлёт... Так вот... возьми этот бумажник... Тут столько денег, что ты сможешь жить достойно.

— Но на мне пятно на всю жизнь, меня нигде не примут в службу!

— Это, кажется, поверь мне, я знаю, обстоятельства, ты скоро будешь полностью оправдан.

— Как хоронили Белу?

— К чему тебе? Её не вернёшь, ты молод, ты встретишь ещё женщину. Хоронили её хорошо. Два румынских оркестра, мужской и женский, скрипки так и разрывали сердца на части. И провожали весьма достойные люди, в том числе сам арендатор второвской гостиницы господин Алифер!

— Ну, спасибо тебе, Ваня, за то, что навестил, а деньги я не возьму. И дело не только в том, что я не смогу потом отдать долг, но куда же я дену эти деньги в тюремном подвале за решёткой?

— Я отдам бумажник Николаю Николаевичу Топоркову, а в день выписки он тебе его вручит. Ты не веришь, что тебя скоро выпустят? Не сомневайся ни минуты! Я знаю.

— Ты — знаешь. А я своей жизни впереди не вижу. Когда я был мальчиком-грумом, однажды на досуге забрёл я на Вознесенское кладбище. Ты помнишь, какие там роскошные усыпальницы богаческие. Плачут над склепами ангелы, всё сияет позолотой, чудными витражами. Надписи сплошь в стихах: «Прохожий, не топчи мой прах, я — дома, ты — в гостях». И барельефы высечены из белого и чёрного мрамора. Белый ангел и чёрный, а меж ними — душа. Она так растерянно смотрит. И маленькая такая, контуром обрисованная, непонятная. Я кладбищенского сторожа спросил — отчего, мол, душа-то такая жалкая. Тот сторож — спившийся священник бывший. Очень затейливо говорит. И он сказал мне — мол, кто видел душу? Никто. Вот она и контурная. Она знает, что ей предстоит предстать перед судом, потому и напугана. Почему она маленькая? Она — душа, ей тело не нужно, она, маленькая, может вместить в миллионы раз больше, чем тело! Вот! Так сказал!

А я нередко после в пантеон этот приходил. Дивно! Тут богачи. А вдоль ограды древние казачьи захоронения. Простые высоченные кресты. Запомнилась фамилия Волшанинов. Почему? Не знаю. Может, волхвы в ней слышатся. А дальше — еврейское кладбище. Те, чудачки, ветки сосен так постригли и подвязали, что они стали на пальмы похожи. Ну какие же пальмы в стране сорокаградусных морозов? А ещё дальше — утопленники и удавленники отдельно похоронены. И вот там-то я и услышал эту кукушку. И попросил её прокуковать мой век. Она враз умолкла, да и кинулась мне в ноги, так стремительно, что я отскочить не успел. Ударилась о мои колени, вспорхнула и расхохоталась, как женщина. Ну, птицы так не умеют смеяться. Я думал, где-то женщина в кустах притаилась, обшарил всё вокруг — никакой женщины не увидел. Вот и думаю иногда: почему эта кукушка именно в том месте кладбища встретилась? Почему мне век куковать не стала, а рассмеялась человеческим голосом и исчезла? Может, и я стану утопленником или удавленником? И, возможно, скоро?

— Брось, Коля! Это — нервное. Ты столько пережил — смерть любимой женщины, ужасное обвинение... тут как в расстройство не прийти? Но теперь-то всё будет хорошо, поверь мне!..

Они вернулись в назначенный час в клинику. Конвоир отвёл Колю в подвал, а Ваня прошёл в кабинет к Топоркову. И оставил у него деньги для передачи другу в день выписки.

— Вы так верите в его скорое освобождение? — спросил Топорков.

— Как в то, что солнце завтра обязательно взойдёт на востоке.

— Что ж, я этому тоже буду рад! И солнцу! И выздоровлению Коли Зимнего, и вашей женитьбе, которая, как я слышал, на днях состоится.

— Да, и я знаю, что вы папой тоже приглашены на свадьбу. И буду рад вас там видеть.

Возвратившись в город, Ваня увидел бежавшего по улицам мужика с мешком на горбу. За мужиком гнался городской, размахивая револьвером:

— Стой, кому говорю! Стой, стрелять буду!

Мужик только добавил ходу. Тяжело дышавший городской дважды выстрелил. Мужик продолжал бежать, но из образовавшейся в мешке дырки тонкой струйкой сыпался сахар, и сахарный след вилял в разные стороны сообразно с бегом мужика. Было видно, что сахарная струйка сперва побурела, затем покраснела. Мужик бежал всё медленнее, потом упал.

— Что происходит? — спросил Ваня, остановив пролётку возле городского.

— Головановский склад подломили, сволочи...

18. По особо важным делам

Поезд, с которым граф Загорский выехал из Москвы, отправлялся ночью. Ехавший в этом же купе господин сразу стал укладываться спать. Поэтому граф счёл за лучшее тоже предаться Морфею. А когда проснулся, в окно заглянуло солнце.

Граф глянул в окно, увидел быстро убегающие в небытие перелески, берёзовые колки, и под монотонный стук колёс в ушах графа зазвучал романс. И чувство радости и грусти охватило его одновременно. Так всегда бывало с ним в дороге.

Увидев, что сосед по купе проснулся, граф сказал:

— Не правда ли, что в таких поездках в человеке оживает атавистическое чувство, смутное воспоминание о тысячелетних поисках, о дальних кочевьях, обретениях и утратах.

Господин в ночной шапочке и атласном халате сказал:

— Не задумывался над этим. А вы, кажется, поэт.

— Вы мне льстите! — сказал граф. — Я всего лишь чиновник не очень высокого ранга в не очень большом губернском городе. Вы, я вижу, весьма привычны к путешествиям, не забыли даже и шапочку, и халат.

Сероглазый крепыш потянулся так, что кости у него хрустнули, и ответил:

— Да, я езжу часто. И теперь еду довольно далеко, потому и подготовился.

— Я тоже еду не близко, — сказал граф, — может быть, даже дальше вас.

— Куда же именно?

— В Томск!

— По пути! — сказал сероглазый. — Сообразим чайку. Чай помогает скрасить дорогу. Чаепитие — русская забава. Раньше, говорят, самовары в купе подавали.

— Я могу предложить кое-что кроме чая, — похвалился Загорский, — гаванские сигары, банановая водка из Сингапура, портвейн «Порто».

— Вот так скромный чиновник!

— У меня в Польше было много земель, теперь там немцы, а я переселился в Сибирь. Но имею богатых родичей в Швейцарии и Италии, и в других странах. Я — граф Загорский Георгий Адамович, чиновник губернского правления.

Попутчик пожал ему руку, назвав себя:

— Следователь по особо важным делам Кузичкин Пётр Иванович.

— Могу ли узнать, Пётр Иванович, с какой целью едете в нашу глухомань?

— В вашей глухомани происходят дела, о которых давно не слыхивали в обеих российских столицах. У вас произошло уже

шестое загадочное убийство. Кто-то прокусывает горло молодым особам во время любовных ласк, и высасывает кровь. И пока нет никаких концов. Преступника вроде нашли и даже осудили, а убийства продолжают. Следователь Хаймович, видимо, пошёл по ложному пути.

Ваш губернатор обратился за помощью к нам, в Москву. Теперь много людей гибнет на войне, и к этому привыкли. А вот такой случай в таком далёком от войны городе волнует и возмущает обывателей. И начальство вынуждено принимать меры.

— Я готов по прибытии в Томск содействовать вам всем, чем только смогу! — сказал Загорский.

На столике появились портвейн, колбаса; собеседники приступили к завтраку.

— За успех вашей миссии! — поднял свой бокал Георгий Адамович.

— Спасибо! — ответил Пётр Иванович, и спросил:

— А как вам живётся в холодной Сибири?

— Вы знаете, совсем неплохо! Люди в университете — просто уникамы, редкой величины алмазы. Я со своей лёгочной болезнью немало помотался по европейским курортам. Лечили меня известные во всём мире светила. И — никакого толка. А в Томске живёт профессор Михаил Георгиевич Курлов. Этот человек сотворил волшебство! Моя лёгочная болезнь стала отступать. Профессор создал общество «Белая ромашка». Именно по делам этого общества я нынче и ездил в Москву.

— Почему — Белая ромашка?

— Ну, может, символ чистоты помыслов. Весной новым членам общества прикалывают на грудь большую шёлковую ромашку с ярко-жёлтой серединой, снежно-белыми лепестками. «Ромашка» эта достаётся тем, кто пожертвовал на дело борьбы с чахоткой хорошие деньги, или как-то иначе содействовал борьбе с этой болезнью.

Представьте: всё в цвету — черёмуха, сирень... А тут — оркестр, плакаты, доклады; в садах, на площадях, на базарах. Тут же раздают беднякам таблетки, мыло, дают советы, как лечиться.

Михаил Георгиевич курирует детский санаторий в прямостоящем бору за городом, он читает бесплатные лекции сёстрам милосердия в обществе Красного Креста. Из дворян. Такой, знаете, типичный русак. Беловолосый, голубоглазый. Изящен. Почти всегда — фрак, галстук-бабочка. Учился в Мюнхене и в Берлине, стажировался во Франции. Я ему буду вечно благодарен, ибо он, по сути дела, спас мне жизнь. Приедем в Томск, я вас с ним обязательно познакомлю. Да и со многими другими светилами. Кстати, Пётр Иванович, не желаете ли вступить в общество «Белой ромашки»?

— Я не против, но я пока ничем не заслужил такую честь! — улыбнулся Пётр Иванович. — Вот уж поработаю в Томске, тогда видно будет. И вы говорите, в Томске теперь много поляков?

— Много. Но ещё больше их в Новониколаевске. Там теперь как бы сибирская Варшава. Весь город говорит и поёт польски. Всюду — конфедератки на проспектах.

— А чем же так привлек поляков сей город?

— Да он на основной железнодорожной линии, а Томск как бы в тупике, на ветке. Вот и осели в Новониколаевске. Надеялись, что русские удалцы быстро выбьют немцев из Польши и можно будет ехать обратно.

— Значит, Новониколаевск перенаселён? А как обстоит с этим дело в Томске?

— Да вообще-то все квартиры и гостиницы набиты битком, за исключением разве сверхдорогих гостиниц. Таких, как «Европа». Впрочем, для вас, конечно, всегда найдётся хорошее жильё, я сам берусь всё устроить.

— Я не это имел в виду. Я имел в виду не жильё, а жульё. Жульё у вас много?

— Чего доброго, а этого хватает.

— И бандиты есть?

— А как же? Место ссылки и поселения каторжников, а тут ещё с Запада понаехали толпы неизвестных лиц. На меня лично напали за городом, еле ноги унёс, хорошо — конёк в коляску запряжён был добрый. Будь лошадка поплоче, не беседовал бы я с вами сейчас. Но, конечно, в город приехало много достойных людей. Знаменитые поэты, музыканты, художники, певцы. Недавно Касторский пел, так полгорода на его концертах рыдало. И театральные труппы приезжают великолепные.

— Меня, Георгий Адамович, теперь интересуют не труппы, а трупы! — опять скаламбурил Пётр Иванович. — Так что я начну с трупов, а если останется время, тогда и с труппами будем знакомиться. А вообще, я вам заранее благодарен за обещание поддержки. Поверьте, если вы пожалуете потом когда-нибудь в Москву, то я в долгу не останусь. Я вам оставлю свой адрес...

Собеседники вышли в тамбур и задымили там ароматнейшими гаванскими сигарами.

19. В доме под кедрами

Федька Салов, сидя в подвале за решёткой в арестантском отделении психолечебницы, всё время просился на прогулку. Иногда в подвал приходил профессор Топорков, тогда Федька падал перед ним на колени и говорил:

— Не сумасшедший я, вот вам крест святой! Я больше не рассказываю о том, что в раю был, мне это, может, приснилось. Да и вешался я же понарошку, за что же меня-то сюда определили?

— Ты пойми, — внушал ему Топорков, — лучше тебе сумасшедшим побыть, чем тебя осудят как дезертира. Ты тут просто так сидишь, тебя щами дважды в день кормят. Кашу дают, чай с сахаром. А в каторге будешь ломом мёрзлую землю долбить, и кормить будут редко.

— Да уж лучше — в каторге, чем так, в подвале, света белого не видишь...

Однажды потребовалось собрать группу крепких телом больных для заготовки дров. И Николай Николаевич вспомнил о Федьке, тоскующем без свежего воздуха. Здоровенный же детина, вот где сила-то зря пропадает. Федька смиренный, небось не убежит, да ведь с охраной будет.

И на другой день Федька с десятью психами под охраной двух санитаров и одного вооружённого конвоира отправился в лесок на берегу речушки Керепети. Надо было свалить несколько добрых берёз, раскряжевать и вывезти, пока ещё снег не стоял, — дело уже шло к весне. «Вешние» дрова кололи всем миром, давали подсохнуть в кучах. Затем выкладывали в некотором отдалении от корпусов в аккуратные поленницы, чтобы за лето к новой зиме дрова высохли как следует.

Ехали по лесной дороге на двух розвальнях, лошадки были запряжены сильные — немецкие битюги, такой на любую гору вытащит. Однако быстрого бега от них не жди. То и дело обгоняли их крестьянские подводы, по случаю воскресенья спешившие на базар по последнему санному пути. И психи, пуская сопли и слюни, принимались вопить:

— Копеечку! У-у-у! Как мы без ума, так все — мимо. Убогоньким пирожка охота! Краюшки кус, сальца шмат! Куриное крылышко, коки-яйки. Вам Бог на базаре удачу пошлёт! Ну хоть картошек пару! От вас не убудет, а Бог-то — он видит всё!

Федька заругался на дураков, а конвоир ему сказал:

— Пускай! Они дураки, но они не дураки. Небось ты и сам не прочь будешь пожрать в лесу-то на свежем воздухе!

Федька вник:

— Христьяны! — присоединился он к хору просителей. — Нам на психе жрать не дают! Впору собственное дерьмо ло-

пать! Кишка кишке кукиш показывает, и хрен собачий сулит! Как послушаешь своё брюхо, словно в нём летает муха! Пожалуйста!

— Ты што орёшь-то! — возмутился конвоир. — Да тебя за такие слова в тюрьму надо!

— Ну вот! Всем можно орать, а мне нельзя?

— Надобно думать, чего ты глаголешь! Али ты и вправду дурак?

Федька обиделся, замолчал.

Но как до деляны доехали, то выяснилось: насобирали целый сидор всякой всячины, больше подавали картоху да ржаной хлебушек, но кто-то и творожком угостил, какие-то добрые люди не пожалели бутыль самогона. Сумасшедших русские люди почитают близкими к Богу. Таким не подать — грех.

— Ну что, — сказал конвоир Осип Федосеев, — сначала выпьем, закусим, а тогда уж вы и пилы возьмёте в руки.

Всем не терпелось выпить, и все дружно согласились. Выпили, закусили. Закурили. Федосеев сказал:

— Тут заимка рядом, там можно самогону выпросить. Нам, конвоирам, по нашей службе это не положено. Полных дураков туда посылать нельзя. Толку не сладят, да еще заблудиться могут. А пошлём-ка мы за самогонкой Федьку Салова.

Вот тебе, Федька, денежки, но ты их сразу не вынимай, попробуй за так бутылок пару выпросить. А уж если там народ неподатливый будет, тогда купи. А вы, мужики, выберите берёзы потолще да начинайте валить потихоньку. Ты, Степан, догляди, чтобы наши психи... тьфу! — хотел сказать — больные, как нас Топорков Николай Николаевич учит их называть — клин правильно забили. Посмотри, чтобы дерево кого не прибило. Ну, начали! А ты, Федька, — одна нога здесь, другая — там!

— Да! Может, до той заимки шагать да шагать! Лес густой, а ну как — волки! Да кто живёт на заимке — ещё неизвестно.

— Кто живёт? Известно — крестьяне! Да не засиживайся там!

— Не учи учёного!

Федька зашагал по тропе, вилившейся среди вековых кедров, пихт и елей. Лес был тёмный и мрачный. Но Федьке было весело. Сам он крестьянскую работу и жизнь забывать стал. Работа крестьянская — известно: гни хребет от зари до зари. Да и живёшь в грязи, в невежестве. Упадёшь на полати, а уж вставать пора. Хватит, поковырялся в назъме вилами. Устроился в городе,хватило ума. Вот от армии, от фронта и то отвертелся. Дураком признали. И кормят, и работать почти не заставляют.

Тропинка то пропадала, то вновь оказывалась. Федька оглядывался — теперь уж не деревья были вокруг, а сказочные ве-

ликаны. Кедры упирались ветвями прямо в небеса. Сплошная стена хвой. Где тут заимка? Да и есть ли вообще? Заблудился, что ли?

И вдруг увидел в просвете меж деревьев ручей, а возле него дом, обнесённый высоким забором. Из трубы дым идёт, значит, варят что-то, пекут, ядрёна в корень!

Толкнул калитку — заперто, собака во дворе залаяла, но из дома никто не вышел. А забор-то! Мать твоя была бабушка! Федька подпрыгнул, подтянулся на руках, мягко спрыгнул, оглянулся. Собака была здоровенная, но привязанная цепью к будке. Он понял: привязали, чтобы не мешала в нужник пройти. Значит, не одни хозяева дома, а с гостями. Ишь, увлеклись, не слышат даже, что собачонка беспокоится.

Федька смело ступил на крыльцо. Слышно было: в доме гармошка наяривает и люди песни орут. Гуляют! Вот и не слышат ни собаки, ничего. Ну что ж, прекрасно! Полиции заботятся. Самогоном откупятся. Эх! И сам напьётся, и своим лесоповальщикам принесёт!

Федька рывком отворил дверь, из горницы выглянули две кучерявых головы и что-то звонко выкрикнули, оглядываясь в горницу. Тотчас на пороге показался странного вида мужик. Федька хотел было обратно выскочить из избы. Ведь мужик тот был совершенно голый и поросший шерстью, как большая обезьяна, которую Федька однажды видел в зоопарке. На голове у нагого незнакомца была бескозырка. На чёрной ленте было начертано «Варяг». И роста в мужике было много, и руки, как брёвна, как у борца циркового. Только видел Федька и понимал, что никакой это не борец, никакой не матрос. У мужика глаза были наглые, и страшные рубцы-шрамы под глазом и через всю щёку до самого рта. Казалось из-за этих шрамов, что мужик одной половиной лица всегда смеётся.

Но мужик не смеялся, он перехватил руку Федьки со словами:

— Чего задницу чешешь? Видишь — я голый. Айда в горницу... Смотри — гармонист тоже голый. Да у нас все голые, чего же ты один будешь одетый?

— Я насчёт самогону. Я бы купил бутылку... — заговорил Федька, пытаясь отступить обратно в прихожую.

— Дам самогону. Сперва пальто и штаны, и всё прочее сними. Эй, Васёна! Подай бутыл да стакан, али не слышишь — гость самогону требует!

Подошла Васёна, она была в чём мать родила, только через плечо у неё было закинута полотенце, другим концом которого она прихватила бутылку. Известно, деревенские женщины всегда подают бутылку, прихватывая её полотенцем. В левой

руке Васёна держала надетый на вилку ядрёный белый пласт солёной капусты.

Федька вынужден был принять стакан с самогоном из её рук в то время как здоровенный этот «облезьян», как его мысленно окрестил Федька, сдирал с нежданного гостя пиджак и штаны. Федька чувствовал — вырваться не удастся. Его раздевали, как ребёнка. Этот длинный, сняв с Федьки штаны, ловко обшарил карманы, подержал на ладони несколько монет. Однако же ничего не сказал, деньги положил обратно в Федькин карман, а всю одежду сложил стопкой на комод.

«Будь что будет!» — решил Федька, и выпил стакан самогона. Принял от Васёны вилку с капустой, закуска так и захрустела у него на зубах.

— Меня зовут Цусима! — сказал «облезьян». — Запомнил? Айда теперь в другую горницу!

— Мне только самогону купить! — напомнил Федька.

Даром дадим. Всё дадим. Вот тут тебе будет игра! — сказал Цусима, указывая на диван, на котором сидело шестеро девок. Четверо были нагие, как Васёна, а на двух были нижние рубахи.

— Вы это... Занавес-то откройте! — приказал им Цусима-«облезьян». — Гость играть станет.

Девки тотчас приподняли рубахи.

— Вот, начинай с любого края. На каждой канонерке должен немного покачаться. На которой канонерке твой снаряд взорвётся — твоя навек.

— Но это... но я же... только самогону хотел, — залепетал Федька, подозревая какой-то подвох. Он заметил в боковой комнате ещё трёх мужиков, один из них был почему-то одетым, и с бритвой в руке.

— Ты вот что! — крикнул Цусима. — Поспеш. Тебя дамы ждут! Они обидятся, что ты отказываешься, а уж что тогда будет, не поручусь!

— Я это... Я воды нынче много пил, и пива! Мне отлить сходить, тогда уж... Терпеть нет никакой возможности.

— Ну, сходи отлей! — согласился Цусима. — Только быстро! Сам понимаешь! Стой! Ты куда штаны хватаешь? А ну брось! Беги, как есть, быстро отливай, небось не замёрзнешь.

Совершенно голый, Федька выскочил во двор, собака дёрнулась на цепи, свирепо рявкнула. Федька махом одолел забор и помчался, ударяясь о деревья, даже кожу на боку ободрал, потом ему стало не только страшно, но и холодно, и обидно. Он забыл обратную дорогу, но и на заимку возвращаться не мог. И чувствовал, что выбьется из сил и замёрзнет в этом чёртовом лесу. И бежал, и бежал, сам не зная — куда.

20. Во тьме эмбриональной

Есть у людей деньги, нет денег, всё равно им хочется где-то собраться вместе. Показать друг другу. Богатые похвалятся своим богатством, бедные — честностью, умом, да мало ли чем? Каждый хочет со стороны казаться лучше, чем он есть на самом деле. Хочет и всё тут!

Общественное собрание давно стало в Томске таким зданием, куда люди стремятся. Но не всех принимают, а иных за какую-нибудь бузу, за неприличие выдворяют из этого дома, кого временно, кого совсем.

Иным сюда вообще нет ходу. Было так, что опального писателя Станюковича сюда не пустили, как политически неблагонадёжного. Он давно ссылку отбыл, уехал, но обиду затаил, написал о том, что томичи в общественном собрании друг другу откусывают носы. Клевета, конечно! Никто никому ничего не откусывает. Картины по стенам — подлинники, творения великих голландцев, фламандцев, итальянцев и французов. Китайские вазы с живыми розами. Позолоченные стулья, хоть и дворцу царскому подстать.

Игровые кабинеты, буфеты, ресторация. Театральная зала. Всё, как в Европах: зеркала, фонтаны, всё сверкает, искрится и пенится, как шампанское.

Иннокентий Евграфович Кухтерин, царствие ему небесное, на спор выдул подряд семь бутылок шампанского. Выдул, спуститься в подвальный этаж к туалетам ему было недосуг, он выскочил на балкон общественного собрания. Стал писать с третьего этажа красивой мощной струёй, но с высоты до земли струя добиралась в виде дождевой капли. Шла вниз по панели дама в мехах, чует — сверху каплет дождь, не по сезону тёплый. Глянула вверх — мать моя родная! Это и не дождь вовсе. Заметалась дама, стараясь из-под капли уйти, где там! Кеша свой шланг направляет, как хочет. Дама кричит:

— Мерзавец! Нахал! Подличина!

А Иннокентий Евграфович сверху так вальяжно и добродушно:

— Мадам! Не извольте беспокоиться, туча в моих руках, куда захочу, туда дождик и направлю!

Ну, Иннокентий, известно, чудил. В ресторане «Медведь» однажды закусывать изволил. И по обыкновению своему выпил изрядно. Официант подбегает на цыпочках:

— Чего ещё изволите, ваше степенство?

— Ничего, — говорит, — сыт! Прodelайте мне дверь рядом с моим столиком, да велите к этой двери экипаж подать.

— То есть как? Это же капитальная стена!

— Ну, а я капитально за всё заплачу! Прodelайте дверь, да побыстрее! Я не хочу выходить через ту дверь, через которую — все!

И явились каменщики, и скоренько сделали дверной проём, через который Кеша вышел, ни на кого не глядя. В другой раз этот озорник сказал крестьянам, которые ехали с возами сена на базар:

— Поворачивайте все за мной, я покупаю всё ваше сено!

И поехал в пролёточке на гору Каштак, где было пустое, лысое место. Там он сказал:

— Теперь из всех сорока возов смечите мне большой стог! За это я дополнительно заплачу.

И пошла тут невиданная работа. Сметали крестьяне такой огромный стог, какого никогда не видели нигде на свете. А Иннокентий приказывает:

— Вы его хорошенько вилами причешите, а то абы как сделали!

Те стараются, а он всё недоволен:

— Правый бок выпирает. Вы мне сделайте стог ровный, как пасхально яичко!

Сделали. Взял он у приказчика бидон с керосином, полил на сено, а потом спичку кинул, и запылало во всё небо!

Крестьяне, конечно, обложили Кешу матом. Некоторые даже плакали. Добра-то сколько пропало! Трудов-то! Но и сказать нечего — за всё заплачено!

Нет теперь Кеши. Его брат Александр правит фирмой тихо и спокойно. И купцы, которые имеют билеты на вход в Общественное собрание, такие стали франты, что их не всегда от профессоров отличишь. Правда, в крови что-то от прежних замашек осталось. Пришли вроде вечер музыки и поэзии в себя впитать всеми порами, а всё тянет их в буфет, тянет в игорные кабинеты.

Профессора чинно беседуют в курительной комнате, не всё им в своих квартирах читать стихи и концерттировать, надо посмотреть современную молодёжь. Много едет в Томск людей с Запада, обожжены огнём войны, заражены новой европейской модой. И в музыке, и в литературе. Конечно, до Томска докатываются только отголоски.

Гадалов приехал в коляске, запряжённой орловскими рысаками, вышел, оглянулся. Смирнов Иван Васильевич подкатил к крыльцу на «огненной колеснице». Машина «Форд» из самой Америки доставлена! Стоит, как десять табунов лошадей. Спереди к машине музыкальная труба приделана, на мундштук трубы надета резиновая груша. Шофёр грушу три раза нажал, труба трижды на всю улицу крякнула. Машина остановилась, обдав крыльцо сизым дымом.

Гадалов поморщился:

— Фу! всю улицу провонял! У меня рысаки аж на дыбы встали! Охота тебе, Иван Васильевич, на такой вонючке кататься, лошадей и детишек пугать? Гляди — взорвёшься!

— Машина на ходу шевяки хозяину под нос не мечет, а с лошадьми это случается. Между прочим, у меня от думы билет имеется на право езды по городу, целых двести целковых заплатил. И не взорвусь! В Америке все деловые люди на машинах ездят!

— Это ещё неизвестно! Ты сам там не был. А мы видели фильму, как ихние ковбои скачут на лошадях. Значит, и там без лошади не обойтись. А уж если ты любишь форс, то так и скажи.

Они вошли в Общественное собрание, Гадалов оставил жеребцов на попечение кучера, а Смирнов машину — поручил шофёру, который был похож на марсианина — в кожаном шлеме с огромными очками, в кожаной куртке и штанах, в кожаных же перчатках с раструбами. Около машины тотчас собралась огромная толпа томичей, разглядывая машину со всех сторон. Некоторые ложились на землю и пытались увидеть машинное брюхо.

Войдя в буфет, где в огромном аквариуме, не мигая, глядели на посетителей красные и жёлтые рыбы, приятели увидели там чёрно-седого арендатора гостиницы Анри Алифера. Он сидел один, за столиком, который почти весь был заслонён пальмой.

Друзья прошли за столик поближе к буфетной стойке и стали ругать француза. Ни один человек их не смог бы понять, потому что говорили они по-китайски, причём говорили свободно, бегло. Они выучили этот язык в молодые года во время коммерческих вояжей в Китай. Нынче же поддерживали в памяти китайскую речь, посещая слободку Ли Ханя. Китайцы хвалили их за чистоту произношения. И вот теперь они воспользовались знанием непонятного для остальных языка.

— Когда человек пьёт один, это сволочь, а не человек! — сказал Смирнов.

— Ещё какая сволочь! — поддержал его Гадалов. И ты заметь: нос, как у коршуна, глазки чёрные, острые, чёрно-седые волосы длиннее, чем у иной бабы.

Смирнов сказал:

— Слушай! А не он ли кровь высасывает из баб, горла им прокусывает? Ты погляди на него — как есть вурдалак!

Гадалов стукнул кулаком по столу и ответил:

— А ведь точно! Там парнишку сопливого поймали для отвода глаз. Этот французский кровосос наверняка следователю на лапу дал! Вот почему он второй месяц нам карточный долг

не платит! У него ведь в гостинице хороший доход, а не платит гад! За пальмой прячется!

— А давай-ка мы его напоим, как следует, как говорится, до положения риз, да прикажем поместить в камеру должников? Согласен? — спросил Смирнов приятеля.

— Замётано!

Гадалов подозвал кельнера:

— Три кружки пива с музыкой и вяленого омулька на столик за пальмой!

Кельнер умчался выполнять заказ, а Гадалов со Смирновым подошли к содержателю гостиницы:

— Пардон, мусье! Как говорится, — один в поле не воин, а три — число святое, оно же Троицу обозначает.

— Я не хотел пить! — ответил Алифер. — Я и в карты не хотеть. Я думать, смотреть эти приезжие люди, можно ли приглашать в концерты гранд-отеля? Какой тут есть стихи и песни, какой тут резон?

На стол были поставлены три литровые кружки, в них пенилось светлое томское пиво. И стоило взять кружки в руки, они начинали тихо, но точно наигрывать мелодию гимна «Боже царя храни». Гадалов и Смирнов пили и подпевали гимну. Алифер медлил, устало моргал чёрными глазками.

— Пей, Антанта! За государя императора, мать твою в бабушку!

Алифер вынужден был взять кружку. Это была только заправка. Затем на столике появилась водка, выпили за Пуанкаре, за всех родственников французского президента, за всех братьев русского царя, затем за всех великих княжон. Кончились княжны, стали пить за членов российского и французского правительств. Алифер уже еле ворочал языком:

— Не надо водк! Не надо пив! Не надо тост! Нет резон!

Гадалов позвал дюжих лакеев:

— Берите сего господина, тащите, куда покажем, получите на чай с коньяком!

Лакеи быстро потащили Алифера вниз по лестнице. В подвале было много коридоров, разветвлявшихся, заводивших в неожиданные тупички, к откидным столикам и банкеткам, к малым игорным столам, к курительным комнатам. К туалетам. Причём на двери дамского отделения был изображён велосипед, а на двери мужского — поднявшая одну ногу ушастая собачонка. И человек, впервые попавший сюда, мог бы подумать: а то ли это, что мне теперь нужно?

Алифера приволокли в тёмный тупик, где не было ни одной электрической или керосиновой лампы. Один из лакеев зажёг свечу, и при её свете Гадалов большим ржавым ключом отпер толстую железную дверь. Алифера втолкнули

в комнату без окон, похожую на пещеру, закрыли дверь, повернули ключ.

Гадалов и Смирнов поднимались по лестнице вверх к концертной зале, тихо беседуя на китайском языке. Теперь они могли вслух гадать: сойдёт Анри с ума к утру или же нет? Камера, куда посадили господина Алифера, была не простая. В стену, обращённую к великой реке Томи, были вмазаны особенным образом бутылочные горла. Стоило подуть с реки ветру, в тёмной, холодной камере поднимался жуткий стоголосый вой. Уже немало должников сошло в этой камере с ума. А один вообще умер. Но карточные игроки держали это в страшном секрете. Ставки в Общественном собрании были большие. И к этому месту очень подходила известная пословица о том, что трусы в карты не играют.

Ну и хорошо, если Анри сбесится. Тогда его запрут на психу. Вот тогда-то и выяснится, он ли действительно загрызал бедных красавиц из румынского оркестра и прекрасных томских барышень? Ведь если Алифер будет изолирован, а убийства не прекратятся, то значит, он был ни при чём.

Жестоко? Может быть. Но купцы считали, что карточные долги надо платить. Если человек долги не платит, его и жалеть нечего. Да и вообще души в этом французике было мало, размаха...

Ни Гадалов, ни Смирнов не обратили никакого внимания, что за ними давно уже наблюдал господин в приличном, но скромном костюме, приятной, но не броской наружности. Господин этот следовал за ними всюду, но глядел на них лишь краем глаза, а если они оборачивались, то господин этот исчезал за пальмой, за колонной. Он видел всё, что они делали, слышал всё, о чём они говорили, оставаясь незамеченным. И в зале он занял место в последних рядах партера, в стороне от настенных светильников, так, чтобы видеть всех, а его самого видели бы немногие. Это был Пётр Иванович Кузичкин. Билет в Общественное собрание он купил по документам нижегородского купца первой гильдии Фёдора Ивановича Самсонова. И никого это не удивило. Куда деваться богатому деловому человеку вечером в чужом городе? Конечно же, идти в Общественное собрание! Но Кузичкин был разочарован тем, что эти проклятые купцы говорили на каком-то тарабарском языке. Он только мог догадываться, что это или корейский, или китайский, Кузичкину было грустно, потому, что он не знал ни того, ни другого.

А зала уже до отказа заполнилась празднично одетой публикой. Тихий гул прокатывался по рядам. Все ждали чего-то необычайного. Должен был выступить какой-то фронтовой офицер, душка, красавчик, израненный, талантливый, как бог, с дивными стихами.

Сначала оркестр пожарников сыграл вальс «На сопках Манчжурии», это было не ново, но задало нужной настрой. Публика примолкла. В зале погас свет, где-то в центральном проходе застрекотал аппарат, и по белому полотну экрана забегали тени. Вот механик подкрутил объектив, добиваясь резкости изображения, и стало ясно, что это летят цеппелины, идут страшные, как движущиеся железные дома, танки. А вот солдаты, куда-то бегут и почему-то хватаются за горло. Ага! Солдаты надевают противогазы и становятся страшными круглоглазыми чудищами. «Газ! Газ!» — идёт гул по рядам, и кажется, что в зале стало душно. Какая-то дама упала в обморок. Но аппарат перестал стрекотать, в зале стало чуть светлее, открылся занавес. На сцене стоял граф Загорский, в смокинге, с галстуком-бабочкой на шее.

— Господа! — сказал граф Загорский. — Суровые лапы войны обняли и терзают земли Галиции, польские, югославянские земли. В это время, когда мы тут в безопасности, в светлом зале, дышим духами, где-то люди вдыхают газ и умирают в страшных муках. Я не поэт, господа, у меня нет слов. Я скажу, что у обеих выходов из зала сейчас установят два вазона. Когда после концерта будете выходить из зала, бросьте в эти вазоны, кто сколько может, в пользу славного русского воинства. А теперь слово поэту! Подпоручик Геннадий Голещихин!

И тогда в круг света, прихрамывая, вошёл кучерявый, голубоглазый подпоручик в новом мундире, с белым Георгиевским крестом. Он обвёл зал строгим взглядом, чуть запрокинул голову и стал читать:

Из этих боёв не выходят живыми,
Одеждою трупов, как скорлупою,
Засеяв поля, и ногами босыми
По лестнице смерти взойдя над землёю,
В астральном пространстве — феерии духа,
В пространство астрала идут батальоны,
Туда, где гуляет железная вьюга,
В которой, сгорая, пылают знамёна.
Вращенье земли — электричества сила
Заставит утихнуть смертельные стоны.
И в небо уходят, идут легкокрыло,
Уже неземные идут батальоны.

Подпоручик картинно поклонился, щёлкнул каблуками. Зал взорвался овациями!

Жалко было молодого человека, опалённого боями, раненого.

— Россия! Государь император! Православие! Мы победим! — мужские голоса. И женский, звонкий, все эти голоса перекрыл:

— В астральном пространстве — феерии духа! Как это сказано! Ах, как сказано, боже ты мой! Поручик, вы — гений!

На сцене поставили стул, и граф Загорский, взявший на себя роль конференсье вывел и усадил на этот стул молоденького слепого баяниста.

— Выступает Ваня Маланин!

— Выборный баян! Марковы делали! — шепнул Гадалов Смирнову.

Слепец всей пятернёй пробежал по клавишам, и знакомые мелодии народных песен оказались изумительно полными и потрясающими душу.

— Глубоко копает, чёрт! — выдохнул Смирнов. — По-нашему, по-русски!

— Ну вот, а ты на американской машине приехал! — укорил его Гадалов.

— А-а! При чём тут машина!

Ведущий тем временем сделал приглашающий жест, и на сцену вышел человек в синем плаще до пят, в кружевном жабо, его рыжее и скуластое лицо контрастировало с нарядом. Загорский объявил:

— Сейчас вас ознакомит с новым движением в литературе поэт Леопольд Калужский.

Детина басом запричитал:

— Вы не заметили, а мы пришли! Мы запредельные, живём вдали. Вы мыши тихие, в глуши, в траве, поэзой трахну вас по голове!

И новый человек стал читать, сильно подвывая:

— Палёной водкой полон серый дом.
И серый дым упал на пол палёный,
Где сочиняет кучер палиндром
От шала палого шальной и опалённый,
И пенится в бокале шалый пал,
Змеёй шипящею скользит по палиндрому,
И кучер занемог, и кучер пал
На серый дым, что стелется по дому.
И возвращенье к памяти его,
К исходу сна и тьме эмбриональной.
И льётся пал, и больше ничего
В картине этой экзистенциальной.

— Ни хрена не понял! — сказал Смирнов, и оглянулся на сидевших неподалёку профессоров — может, те поняли? Профессора сидели спокойно.

— Чего тут непонятного? — ответил Гадалов. — Палёная водка! Государь император сухой закон ввёл, а эти калужские гады палёную водку тоннами гонят!

— Ну, ты как хочешь, а на меня эти поэзы хандру навевают. Поеду я, пожалуй. Надо во дворце последние приготовления к свадьбе произвести.

— Да, отхватил ты Ваньке невесту. Анастасия эта прямо — ангел во плоти. Только от одного смотрения дрожь в конечностях идёт.

— А что? И отхватил! — улыбнулся Смирнов, поправляя перстни на пальцах. Она красива, но и наши денежки тоже неплохо выглядят.

— Значит, скоро погуляем?

— Погуляем! Ваньку я за реку послал, чтобы там в нашем дачном летнем дворце порядок навёл. Начнём свадьбу в здешнем дворце, а потом туда, в боры переедем, за реку. Весной, брат, там просто как в раю, о котором на базаре болтал грузчик Федька Салов. Будто бы сподобился он в раю побывать. А по мне, без денег в раю не шибко побываешь. Пойду я.

— А я уж дослушаю, досмотрю всё. А потом, может, ещё музыкального пивка дёрну. Ну, бывай.

Смирнов сунул в вазон для пожертвований толстую пачку денег, бегом сбежал по лестнице, вышел на крыльцо Общественного собрания. Всей грудью вдохнул медовый весенний воздух. Ранняя весна, лопаются почки. Вербой пахнет прекрасно, тревожно и щемяще.

Автомобиль быстро летел по ночному городу, время позднее, экипажей на Почтамтской было не видно.

— Погоняй! С ветерком! — крикнул Иван Васильевич мотористу. Тот надавил грушу, автомобиль крякнул и понёсся уже с необычайной скоростью.

«Эх, живём!» — пронеслось в отуманенном вином и весной мозгу славного томского негоцианта. Свернули в переулок и подъехали к дворцу, который в свете луны нефритово светился. Это действовал вмазанный в стены тальк.

— Езжай, механик! — приказал Смирнов водителю. — Завтра часов в десять подашь.

Машина развернулась в полутьме переулка и исчезла. Смирнов вынул тяжёлый позолоченный ключ от парадной двери. Вставил в замок, повернул, замок пропел песенку: «Чижик-пыжик, где ты был?».

— Где надо, там и был, — сказал Иван Васильевич, — не твоё собачье дело!

Сквозь стеклянную стену дворца он видел лестничные марши, витражи, колонны, балюстраду. Нигде не видно было ни души.

Смирнов поднимался по лестнице, сняв модные штиблеты и сунув их в вазон с розами на первом этаже, чтобы не разбудить стуком каблучков кого-нибудь из прислуги. Затем он снял душивший его галстук, скинул сюртук. В таком облегчённом виде он прокрался к комнате, которая была отведена Анастасии. Он настоял на том, чтобы будущая сноха ещё до свадьбы переселилась бы во дворец и привыкала к новому жилью, руководя меблировкой.

Он уже несколько раз шутливо целовал это удивительное создание в яркие сочные губы, когда дарил Настюшке всё новые браслеты и кольца. Она смущалась, отказывалась.

— Ты стоишь больше, драгоценная моя! — повторял в таком случае будущий тесть.

Он вошёл в спальню и увидел её при свете луны, она разметалась во сне, одеяло сползло с кровати, и это ему придало решимости...

В это самое время от парома прискакал в коляске Ваня. За рекой в деревянном дачном дворце его всё мучила мысль об Анастасии. Была какая-то странность в том, что за день до свадьбы его, жениха, отправили за реку, в бор. Зачем? Разве слуги не смогли бы сами сделать всё в загородном доме как надо? Уже поздним вечером он не вытерпел, велел заложить коляску.

И вот он — у парадной двери. Вставил ключ в скважину, и замок пропел песенку про «Чижика», ибо других песен он не знал. Ване было не до песен. Он бегом взбежал на второй этаж. Дверь в комнату Анастасии была открыта. Ваня застыл на месте. Он как бы превратился в библейский соляной столп.

— Не горюй, милая! — слышал он голос отца. — Ванюшка что понимает? Ты познала настоящего мужика, я же чувствую, что тебя проняло. Что случилось? Да ничего, драгоценная! Завтра свадьбу справим. И заживёте вы с Ванькой, как голубок с голубкой. Снизойдёшь когда ещё до меня, восприму тебя, как божество неземное, благодарен буду до конца. Мои года уходят, закатываются. Посвети на мой закат хоть немножко, озолочу, не только тебя, всю родовую твою. Молиться на тебя буду. Что Ваня? Он и не узнает ничего. Парень он добрый, будете жить душа в душу...

Ваня стянул с ног сапоги, и на носках пошёл спускаться по лестнице. Только бы не услышал кто! Не услышали. Отвязал жеребчика от столба, сел в коляску, поехал не спеша к реке. До утра придётся ждать перевоза, тепло, уже и первые комары стали зудеть.

21. Веснянки

Федькина судьба делала зигзаги. В армию хотели взять, а чёрт его дёрнул притвориться повешенным. Попал на психу, сидеть бы смиренно, так напросился ехать по дрова. И что вышло? Послали на заимку за самогоном, а выскочил с той заимки без самогона и нагишом.

Так и бежал голый неведомо куда, оберегая ладошкой нежное место, думал: «Замёрзну!». Вдруг свалился в овраг, а там из какой-то ямины высунулась лохматая рука и потянула Федьку под землю. «Ладно, в раю я уже был, теперь меня, наверное, в ад помещают!» — подумал тогда дрожавший и от страха, и от холода Федька Салов.

Ад не ад, но в ямине, куда попал Федька, было много теплее, чем на улице. Тот, кто заволок его туда, возжёт тонкую свечку, и Федька разглядел в полумраке медвежьей шкуры на стенах и овчинные тулупы на лежанке. За притолоку были заткнуты связанные венниками душистые травы. На малой печурке стояли кастрюли и жестянки.

Кривоногий и криворукий мужик напоминал мощную корягу. Очень длинные тяжёлые руки, короткие ноги; сутулый до того, что согнут пополам. И волосат, как первобытный человек. Лицо всё словно из белых и красных заплат состёгано. Однако непонятного цвета глаза его глядели цепко, хитро:

— Далеко ли путешествуешь? — спросил он Федьку.

Федька не знал, что и сказать.

— Ладно, после расскажешь! Бери тулуп, стели у печки, отдыхай пока, грейся. Парень ты мускулистый, будешь у меня в услуженье. А то я-то, вишь, немолод, и главную жилу надорвал. А ты наверняка от кого-то бежишь, от чего-то скрываешься. Вот и посиди в моей дыре, отдохни. Да и мне подмога. А сейчас спи...

Федька, уже привыкший к частым переменам судьбы, свалился на тулуп и захрапел. Утром он открыл глаза и не поверил им. Сутулый склонился над горшочком с землёй, в который был посажен человеческий палец. И стал беседовать с отрезанным пальцем, словно с человеком:

— Я тебя поливаю! Настояем тринадцати трав. Я тебя удобряю костяной пылью. Скоро солнышко взъярится, я тебя на грядочку высажу. Буду холить, удабривать. Глядишь, побеги пойдут, вырастет у меня мизинцевое дерево...

Федька кашлянул, мужик, не оглядываясь, сказал:

— Я уж чую, что ты проснулся. А ты не удивляйся. Осенью колья тесал, да мизинец себе скобарём* отсек. Выбрасывать

* Скобарь — самый большой хозяйственный нож-тесак.

было жалко — свой мизинчик-то, не купленный. Я его в горшочек с чернозёмом высадил. С наговорами заветными зельями поливал — он и подрос, и боковые побеги наметил. Пускай растут — пригодятся.

— Мне вашу милость стеснять невместно! — с душой сказал Федька. — Я бы одёжку у вас признал, да пошёл бы обратно к себе на психу.

— Спужался! — сказал странный человек. — А пужаться-то и нечего. Мало ли что — мизинец! Я его обратно приращу, да ещё два запасных будет, а потом, может, и головы приращивать научимся. Слышал, ноне война идёт?

— Да как не слышать? — сказал Федька. — Сам было на ту войну загремел, да дураком признали, на психу отправили. Вот что со мной получилось, ваше степенство, не знаю, как вас звать-величать.

— А величать меня каждый месяц по-разному. Сейчас — Василием, пока май месяц не кончится, в июне уже Егором буду, а в июле — Афоней. Ну и так далее.

— Как-то всё интересно очень! — заметил Федька.

— А разве не интересно, что ты голый на ночь глядя в мою келью свалился? Что же, вас с психи голыми выпускают?

Федька рассказал дядьке, которого в данное время следовало называть Василием, о дровяной экспедиции, о неудачной попытке купить на заимке бутылку самогона.

— Ну, хорошо, что лишился ты только одёжки. Сдаётся мне, что на той заимке ты мог бы и самой жизни лишиться. Там тебя раздели, а я тебя одену. На психе тебе делать боле нечего. Дуракам и на воле хорошо живётся. Ты погляди — в Томске возле церковей сколько попрошаек толчётся? Один себе на ногах язвы рисует — и сидит, костыли к ограде прислонив, другой талдычит, что у него вся деревня вместе с церковью сгорела, и жена и дети сгорели синим огнём. А я знаю, что хромой уже второй дом строит, а который погорельцем обзывается, уже может хоть купцом первой гильдии стать. У нас народ жалостливый. Но мы с тобой милостыню просить не будем.

— А что же будем есть? — спросил Федька заинтересованно. Хотел спросить и о выпивке, но воздержался пока.

Дядька Василий усмехнулся и сказал:

— А выйдем-ка на вольный воздух!

Они вышли из избы. Вчерашнего холода как не бывало. На вербах жёлтые, как цыплята, распустились почки, из тополиных почек выглядывали пахнущие весенним зелёным клеем листочки. Солнце пригревало, ветерок высушивал лужи, пуская по ним ребристые волны. От земли поднимался дрожащий парок. За зелёной речушкой, в коей ещё белели остатки

льда, в деревушке из труб текли вкусные дымки, и кричали петухи, созывая свои гаремы.

— Что есть будем? — иронически переспросил дядька Василий. — А вот этого, который там горланит, и пустим на уху!

— Что? Кур воровать? Этого я не могу. Я деревенских знаю, они за это стягами все кости переломают. У них городских нет, они сами себе городовые. Да что! С городовым ещё говорить можно, а эти сразу убьют.

— Экий ты какой, парень! Посмотреть на тебя — борец! А трусишь, как заяц! — сердито сказал дядька Василий. — Да кто тебя воровать заставляет? Это грех! Нет, мы грешить не будем. Этот певец сейчас сам к нам придёт! Да как! Кустами будет красться, чтобы хозяева не видели, куда он пошёл.

Василий воззрился в сторону деревни и вполголоса стал приговаривать:

— Петя-петушок, золотой гребешок, шёлкова бородушка, масляна головушка. Беги сюда, а не то беда...

И вновь Фёдка глазам своим не поверил, потому что из кустов выбежал здоровенный петух с алым гребнем, с огненным пером. Он добежал почти до ног Василия, и тут вдруг остановился, как вкопанный, словно на него озарение нашло. Он косил глазом, явно намереваясь дать дёру.

— Падай на его! — прохрипел Василий. — Падай, мать твою! Ломай ему шею, пока он не опомнился совсем — уйдёт!

Фёдку не надо было долго просить, он распластался в прыжке, упал на петуха, и живо свернул ему голову.

— Поди в избу, и там ощидай, да смотри, чтобы ни пёрышка ни пушинки никуда не улетело, всё в печку суй, в огонь. Голого петуха хозяева небось не признают. Я тут на пригорке постою, а ты ощидай его по-быстрому и — в котёл. Сварится — съедим, и кости сожжём. А ты говоришь — кур воровать. Чего их воровать? Только позови — сами бегут.

Минут через двадцать петух уже варился в котле. Вернулся дядька Василий, сутулости у него стало меньше, а росту больше. Фёдка решил больше ничему не удивляться. Чего себе даром душу мотать?

Петуха они съели с большим аппетитом. Кости дядька засунул в плиту, и подбросил сухих дров, чтобы лучше горело.

— К такой закуске да ещё бы бутылку! — сожалеюще вздохнул Фёдка. Он подумал: а не сможет ли сей чудила скомандовать четверти самогона, чтобы она от какой-нибудь самогонщицы прилетела сюда по весеннему небу и плавно опустилась возле дядькиного жилища.

Василий как-то прочитал его мысли и сказал:

— Ты это брось! Самогон по небу летать не может, и ходить по земле тоже. Да это и не нужно. Когда будет надо, я тебя и так

сделаю пьяным, безо всякого питья. Скажу, чтобы стал ты пьяным и — станешь. А сейчас возьмём верёвки, пойдём на берег реки искать всякие бревёшки, которые нанесло половодье.

Федька подумал, что можно было приказать бревёшкам приползти к избе — и делу конец. И опять дядька понял его мысли и сказал:

— Не выдумывай, чего не следует, а делай, что тебе говорят. У меня сильно не переработаешься, а питаться будешь хорошо. Опять же воздух какой! Простор!

В землянке Василия Федька быстро отъелся, похорошел. Мало ли что — хозяин странный, зато еда всегда есть. У Василия то и дело сама собой изменялась внешность. То у него выростал нос с горбинкой, а наутро тот же самый нос принимал вид картошки. Глаза то синели, то зеленели, а то становились жгуче-чёрными. Всё это Федьку удивляло, но постепенно он к этому привык. Чего не бывает на свете! Однажды разговорились.

— Ты, дядька Василий, давно в этой келье проживаешь?

— Да нет, осенью сам землянку вырыл да зиму здесь переживал, а то в Томском жил.

— А чё в Томском-то не пожилось?

Оно, может, и пожилось бы, если бы одну сволоту чёрт на мою шею не принёс.

— Это какой же чёрт?

— Безрогий. Попом Златомрежевым именуется.

— А чем он досадил тебе?

— Чем-чем!.. Был я псаломщиком. Хороший был настоятель. Сычугов. Водку пил. Раз прямо в храме помочился, и просит сторожей, чтобы обсушили его. Они и обсушили.

Раз младенца крестить принесли, а Сычугов и заявляет: «Годите, выйду в оградку, испражнюсь, тогда и крещение совершу». А родитель был — лавочник со скобяного магазина, пошёл к епископу жаловаться. Ну и выгнали Сычугова, куда-то в далёкий сельский приход загнали. И тут и объявился этот самый новый настоятель. Златомрежев, значит. При прежнем-то попе я как у Христа за пазухой был. И с певчих имел, и с крестиков и свечек. Мне бы образованию какую, я бы и сам попом стал. Златомрежев этот, вроде как ранетый, вернулся с фронта. Поди, сам себя подстрелил, паразит! Его в эту церковь и назначили.

Ну и стал он под меня яму копать. Доходов лишил. То не трогай, это не бери! А сам золотой крест здоровенный на груди носит. Ну что? Не вытерпела моя душа. Ночью я к нему пробрался в фатеру, да крест его золотой и спёр. И чёрт меня дёрнул нести тот крест сдавать к Юровскому. Ну, прихожу в магазиницу, говорю — так и так, память родителей. По случаю

крайней нужды дёшево уступаю. А эта еврейская образина и говорит: посидите в кресле, я сейчас из сейфа деньги принесу. Я сию, отворяется улична дверь, входят городовые и хватают меня за белые руки. У пархатого в магазине в задней комнате телефон был, вот и позвонил гад крючкам.

Да... И тут мне надпись на кресте прочитали. Оказывается, на обороте креста по просьбе купцов ещё полгода назад этот самый Фимка Юровский начертал резцом, дескать, от благодарных прихожан священнику Златомрежеву за усердие и благочестие! А я-то надпись не понял, грамоте не обучен. Думал молитва какая там написана.

И понял я, что надо вырваться мне, а то в каторгу ушлют. И как шли по улице, я на городских морок напустил. У них подошвы к земле прилипать стали, так что и оторвёшь с трудом. Тут я вырвался и дал стрекача. Теперь вот здесь и живу. Обличия меняю. На всякий случай. Ведь надо такое дело сделать, что я землянку свою построил аккуратно напротив деревни, в коей у Златомрежева дача куплена. Весна наступила. Того и гляди, мерзавец явится землю под огород копать. Пусть попытит. Я уж постараюсь, чтобы у него ни одно семечко не взшло. Монах хренов!

— Ваша милость с тёмной силой знаетса? — спросил Федька.

— А ты испугался? — усмехнулся Василий. — Не бойсь! Я не чёрт, и не дьявол, и даже не ихний слуга. От Господа Бога нашего дано мне по страданиям моим. Жил ведь с малолетства трудно. Бывало, целый день кишка кишке кукиш сулит. Отец мой каторжник, а и мать каторжанка. Они меня в каторге и прижили. А потом им вышло жить на поселении в маленькой северной деревушке. Там и коренные жители маются. А нам какво пришлось?

Хлеб с мякиной ели, а то травку куколь сушили, мололи да отрубей подмешивали, чтобы мучицы больше было. Ну, поешь лепёшек с куколем — и полдня ни рукой, ни ногой двинуть нельзя: отнимаются. Зато маленько живот набьёшь.

Однажды что вышло? Мать с тятей за сеном поехали, я — один, на полатях под потолком лежу, лепёшек с куколем наелся — ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу. Лет десять тогда мне было. И уголёк горячий из печки выпал, пол в избе загорелся. Что делать? Сгорю вместе с избой! Как-то покатился на манер бревна, полетел с полатей, да головой попал прямо в котёл, в котором отруби запаривали.

Одно дело, что голову зашиб, второе, что отруби горячие мне рожу ошпарили. Тятка с мамкой вернулись и не узнали меня. Две недели выл. Глаза ослепли, думал, что уж света божьего никогда не увижу. Но в ту пору стал всё внутренним

оком зреть. Бывало, дома на лавке сижу, отец приходит и рассказывает, что кто-то у соседей корову Пеструху свёл. А я вижу эту корову в стайке на краю деревни у Тимохи-бобыля. И вижу, что Тимоха большой ножик точит — Пеструху колоть. Ну, тятке и рассказываю. Он меня ругает:

— Чего ты можешь видеть, если по избе на ощупь передвигаешься? И окна наши все в куржаке*, и пурга на улице.

А я говорю, чтобы соседи побыстрее к Тимохе бежали, если свою Пеструху живой застать хотят.

Ну, отец пошёл к соседям, и говорит, что мой Васька хреновину такую выдумал. Но всё жё проверить не мешает, мало ли что. Ну, собралось мужиков человек десять, да к Тимохе пошли. По дороге-то толкуют, дескать, и дураки же мы будем, если там никакой Пеструхи нет и не было никогда.

А только пришли они и увидели, что Тимоха Пеструху привязал и за ноги, и за рога сыромятными ремнями, чтобы не брыкалась, и уже заколоть хотел. Тут у них битва произошла при Порт-Артуре. Тимоха вместо коровы чуть мужика одного не запорол, однако же повязали мужики бобыля, да и рожу разукрасили, так что не хуже моей стала. Вот с той поры и вижу всё сквозь стены. И простое зрение ко мне тоже вернулось. Хотя рожа моя с тех пор вся в пятнах пребывает, но я из деревни в город переехал, по духовной линии пошёл. И петь хорошо могу, и молитвы знаю. Так что тебе меня бояться сезона нет.

— Да я ничего! Я просто так спросил, — ответил Федька.

На улице совсем потеплело, и как-то раз в землянку заглянула красивая девка в цветастом платке. Федька обрадовался:

— Пожалуй, к нам красавица-девица!

— Деда Василия видеть желаю! — сказала девица. — Он мне свистульку обещал.

— Заходи, Алёна! Свистульку я и слепил, и обжёл давно, да покрасил, так что будешь женихов высвистывать, — сказал Василий, вставая с лежанки, и глаза его стали голубыми, волосы кучерявыми, а пятна на лице стали еле заметными. Федька хоть уже и привык к таким переменам, но всё равно удивился, уж больно быстро дед в одну минуту помолодел.

Василий заметил, как Федька воззрился на девку. И сказал:

— Ты не очень-то! Она мне во внуки годится, а тебе в дочери. Ты её ничему научить не можешь, а я её учу травы полезные брать, наговоры читать. Она уже может лихорадку убирать, килы заговаривать. Со временем дельная знахарка получится. И всегда у неё кусок хлеба будет, и почёт от народа. И петь я её учу. Не горло драть, а по правилам, как в церк-

* Морозный нарост на оконном стекле.

вах и театриях поют. И ей всё полезно и интересно. Правда, Алёна?

— А то! Ты, дед Василий, как солнце тут взошёл. Я чё тут видела до тебя? Мужики наши да парни только водку пить могут да по матушке разговаривать. А ты мне столько всего показал и рассказал! Дай свистульку-то спробую!

Василий передал ей свистульку, сделанную в виде змейки с зелёными лукавыми глазками. Алёна взяла хвостик «змеи» в свои свежие губки, подула, и «змея» запела — с соловьиным посвистом и клёкотом. И дверь землянки сама собой отворилась, и стая скворцов уселась на рябиновое дерево, что росло недалеко от порога землянки. Федька почувствовал, что воздух стал душистым, как ладан. И глаза Алёны стали больше в два раза, и голубее. И сквозь сарафан Федька вдруг увидел ту девку голую всю. И груди, с сосками яркими, как пенки в топлёном молоке, и лобок, и волоски над ним русые, так мило кудрявившиеся. И Федька вспомнил красоток, которые когда-то целовали его в раю. И он подумал: «Разве то рай был? Вот он рай-то, настоящий!». Федька уже было потянулся руками к Алёне, но почувствовал, что руки у него отнимаются, и услышал голос Василия:

— Я тебя предупреждал!

— Мало бы что предупреждал. Я вольный казак! Я, может, на ней женюсь! — сердито воскликнул Федька, но тут и ноги, и руки у него у него отнялись.

Алёна рассмеялась и убежала со свистулькой. А Василий сказал:

— Последний раз предупреждаю: полезешь к Алёне, у тебя женилка напрочь отпадёт!

Федька похолодел. Вот гад-колдун! И сделает! Для себя, видно, девку бережёт старый чёрт, ему ведь никак не меньше шестидесяти. Но лезть к Алёнке нельзя. Нет, лучше потерпеть. Маленько пожить ещё на лёгких хлебах, да смотаться куда-нибудь подальше от Василия.

Дни шли. Становилось всё теплее. Парни и девки всё чаще собирались у околицы. Первыми гулянку начинали гармонисты. Их было трое. У одного была гармонь с жёлтыми мехами, у другого — с красными, у третьего — с голубыми. Играли они сначала по очереди: один устанет, начинает играть другой. У каждого была своя мелодия. Потом, перемигнувшись, рвали меха одновременно, и округу оглашала заливчатская мелодия:

Ты Подгорна, ты Подгорна,
Широкая улица,
По тебе никто не ходит,

Ни петух, ни курица.
Если курица пойдёт,
То петух с ума сойдёт!

Девки все были обуты в новые ботинки с высокой шнуровкой, только у одних ботинки были чёрной кожи, у других — коричневой. И танцорки так долго и часто дробили каблуками, что прибрежная ярко-жёлтая глина утаптывалась до плотности камня. Это был «пяточок».

Гармонисты враз оборвали мелодию и стали требовать, чтобы каждая девка их поцеловала, иначе им тяжело играть. Девки целовать их отказывались. Парни сказали, что в таком случае они играть больше не будут.

— Шут с ними! — вскричала Алёна. — Мы и без них обойдёмся.

В это время из землянки выглянул дед Василий и окликнул Алёну. Она подбежала, разрумянившаяся, ароматная от помад.

— Возьми вот лагушок! Тут квасок на приманной травке настоян. Пусть каждая девка хоть глоток да испробует. Тогда у вас от парней отбоя не будет! Поняла?

Алёна приняла лагушок, сама отхлебнула, затем передала посудину девкам:

— Пейте, вкусно!

Девушки быстро опустошили лагушок.

— Теперь айда в хоровод! — позвала Алёна. Девчата образовали круг. Каждая девушка была в цветном сарафане, у каждой в косе — лента. Чувствовалось, что заводилой среди девчат была Алёна. Она и выдала первую частушку:

Наша Керепеть в лесу,
Девоч хвалят за красу,
Все, больши и маленьки —
Как цветочки аленьки!

— И-и-х! — взвизгнула Алёна, увлекая круг за собой. И хоровод закружился на фоне зелёной травки и прибрежных кустов, как дивный живой венок из пёстрых цветов.

Мы не станем брагу пить,
Котора брага пенится,
Мы не станем тех любить,
Которы ерепенятся!

С каждым новым куплетом девчата кружились всё быстрее и подпрыгивали всё выше.

— И-и-их!

С порога землянки впился взглядом в этот хоровод Василий и шевелил губами, словно что-то жевал. Федька тоже смотрел на этот хоровод, и его мучило сожаление, что он этим девкам — не ровня, его года уже ушли. А ведь такие милушки, такие хорошки! Ну ничуть не хуже тех райских девок, которых он когда-то лобзал.

— Мы девчонки-керпетянки,
Мы отчаянные в дым!
Если речка на дороге —
Через речку полетим!

— И-и-их!

Сильно раскрутившийся хоровод подпрыгнул и под взорами изумлённых парней перелетел на другую сторону реки Керепети. Вот он дробит каблуками уже на другом берегу.

— Запросватали телегу
За дубовый тарантас,
Слёзы горькие закали
У лошади из глаз!

— И-и-их! — хоровод закружился так, что уже и лиц девок было не разобрать, и, разом подпрыгнув, перенёсся обратно на тот берег, где стояли, разинув рты, обалдевшие парни. Они кинулись было ухватить девок за руки, остановить — где там! Хоровод снова подпрыгнул и, беспрестанно кружась, перелетел на противоположный берег, причём девки на лету выдали ещё частушку:

— Я сама гулять не буду,
И подругу уведу,
Все ребята — финтиль-винтиль
На резиновом ходу!

В это самое время по тропинке от деревни медленно брёл Николай Златомрежев, размышляя о своей судьбе, о том, что было прежде, и стало теперь. Вспомнился ему московский университет, который он окончил по экономическому отделению как раз в четырнадцатом году, словно только для того, чтобы сразу же уйти добровольцем на фронт. А война... Это было подобие ада. Танки, танки, газы. Запах горелого человеческого мяса до сих пор иногда тревожит его.

Выписавшись из госпиталя и вернувшись в родной Томск, он не без робости пришёл к епископу Анатолию Каменско-

му. Рассказал, что прошёл огонь и воду, смотрел смерти в лицо, и дал Богу обет до конца дней молиться за людей, чтобы стали они добрее. Он знал закон Божий, знал службу, так как в роду его были священники. Это решило дело. Епископ определил его настоятелем в большой каменный красивый Преображенский храм на улице Ярлыковской. Правя службу, исполняя требы, он оттаял душой. Если крестил младенца, то от души желал ему мира и счастья. И жизнь его обрела порядок. Купил маленькую дачку в деревеньке неподалёку от Керепети и старой архиерейской заимки. Можно было вырваться сюда на несколько часов, погулять среди реликтовых сосен, подышать лесными ароматами. И это было такое блаженство!..

Никто из парней не заметил, что из деревни к месту гулянки тихонько подошёл в простой чёрной рясе Златомрежев и остановился возле двух разлапистых кедров, глядя на всё происходящее. Но Василий как-то почувствовал присутствие священника. Быстро юркнул в дверь, и Федьку позвал:

— Зайди и дверь закрой!

— Зачем? — сказал Федька. — Чего в избе делать, когда можно дышать вольным воздухом?

— Сказано тебе, зайди! — свирепо воззрился на него старик.

Федька понял, что дело нешуточное. Зашёл и дверь закрыл. Василий прижал нос к тусклому оконцу и что-то быстро зашептал.

Хоровод всё быстрее перелетал с одного берега на другой.

Златомрежев хотел закричать, потом одумался и стал читать молитву святому кресту:

— Да воскреснет Бог, расточатся врази его и побегут от лица его все ненавидящие его, яко тает воск от лица огня. Како да бегут беси от любящих Бога и знаменующих себя крестным знамением!..

Хоровод в этот момент перелетал через речку Керепеть. Девки крепко сцепились руками, на лицах их было написано дикое блаженство. Алёна как бы соединяла их всех невидимой прочной нитью. И вдруг она охнула, девки расцепили сплетённые пальцы и с воплями ужаса попадали в зелёную воду Керепети.

Некоторые поплыли, а две из них начали нырять, вопя о том, что плавать они не умеют. Тотчас в Керепеть нырнули парни — как были, в пиджаках и брюках, в сапогах, даже картузы снять у них времени не было. Они быстро вытащили на берег перепуганных и промокших девок.

Один из гармонистов, отряхнув воду с пиджака, схватил гармонь и пропел:

— Девка села в решето,
Поехала по озеру,
Посерёдке озера
Ноги отморозила!

Девушки быстро побежали в деревню — сушиться.

Парни никуда не пошли. Они скинули с себя всю одежду, выжали её, развели костерок, и над ним стали сушить исподнее и верхнее. Один ругался больше всех:

— Вот сволота! Из-за них всю махорку промочил и спички. Нынче это денег стоит, да и курить хочется — страсть!..

Златомрежев вышел из своего убежища за деревьями, перекрестил поляну, речку. И потихоньку пошёл вдоль берега реки.

В избе у малого тусклого оконца дядька Василий насыпал в кружку синего порошка и велел Федьке:

— Шагай за попом, да сыпь этот порошок тонкой струйкой в его след! Понял? Иди!

Федька вышел из землянки. Кружка с порошком словно жгла ему руку. Он шёл и шептал:

— Салфет вашей милости. Порошок! Девки летающие! Нет уж, довольно!..

Когда избушка скрылась из вида, Федька кружку с порошком кинул в Керепеть. Она с бульканьем пошла на дно. Вода в реке посинела, и тотчас бесчисленное количество рыбы всплыло вверх брюхами.

— Ух ты! — сказал Федька. — Вот это рыбалка! Да тут на всю деревню уху можно сварить, и ещё рыба останется. А только от такой ухи того гляди рога вырастут! А может, вырастет ещё и длиннющий хвост, и копытца. Бежать надо отсюда, и как можно дальше. Хотя и бежать-то мне, бедолаге, вроде уже некуда.

22. Шпага на память

Когда солнечным утром из города на пароме, прозывавшемся Самолётом, в несколько приёмов через великую реку Томь переправлялся праздничный кортеж, господа и дамы говорили, что сама погода благоприятствует свадьбе.

За рекой кортеж направился в сосновый бор, к замку-даче Смирновых. Был конец мая, и по краям дороги буйно цвели черёмухи, рассыпая над коричневыми озёрками свой щемящий аромат. Красавица невеста сидела в автомобиле рядом с буду-

щим тестем Иваном Васильевичем Смирновым. В её волосы были вплетены живые цветы, и сама она гляделась большим нежным цветком.

Чуть отстав от машины, мчались подрессоренные кареты и коляски с купцами, чиновниками, важнейшими томскими людьми.

— Сейчас заберём жениха, и помчимся обратно к перевозу. Какой подходящий день для свадьбы! Какая красота! И я так завидую этому Ване! — говорил граф Загорский, целуя руку сидевшей рядом с ним в коляске Ольге Ковнацкой.

— Георгий Адамович! Нехорошо завидовать! — отвечала Ольга. — Не зря же говорят в народе: на чужой каравай рот не разевай.

— У этой пословицы есть продолжение, — сказал граф. — Полностью пословица звучит так: на чужой каравай рот не разевай, а лучше свой дома затевай...

— Ну так и затевали бы!

— Ах, Оля, вы же знаете, что и пекарь я никудышный, и дрова сырые. Вы сыплете на мои раны соль...

Парк при деревянном замке Смирновых был полон щебетом птиц. Иван Васильевич вылез из машины вперёд водителя и распахнул дверцу перед невестой. Анастасия осторожно сошла на землю, глядя под ноги, чтобы не запачкать белых туфель. Но от самой калитки до крыльца дачи была положена ковровая дорожка.

— Ну, где же наш жених? — возгласил весёлый Иван Васильевич, взбегаая на крыльцо. Высокий лакей доложил:

— Иван Иванович легли спать поздно, и к чаю не выходили. Они, возможно, отдыхают.

— Ну, так его, засоню, враз разбужу! Разве можно не встретить на пороге своё счастье?

Иван Васильевич кинулся в комнаты сына, но его нигде не было. Он потребовал, чтобы слуги обыскали замок.

— Где его экипаж?

— На месте, — доложил лакей, — и лошади все в стойлах.

У старшего Смирнова засосало где-то под сердцем. Он был в ярости. Кто смеет перечить его планам?

— Ищите его, дармоеды! — закричал он на дворню. — Не видели, не слышали! Человек не иголка.

Гости, недоумевая, стояли возле экипажей.

Ваню Смирнова нашли в бору неподалёку от дачи. Висок у Вани был прострелен, а мёртвая рука его крепко сжимала браунинг. Слуги клялись, что выстрела не слышали. И в ужасе смотрели на разгневанного хозяина. Кто-то позвал с соседней дачи профессора Германа Иоганзена. Он еле смог втолковать взволнованной прислуге, что был он хоть и профессор, но

не медик, а зоолог, а вообще-то даже и медики ещё не умеют оживлять мёртвых.

Смерть Вани наделала шуму в городе. Но кем-то были распушены слухи, что Ваню убили бандиты, ограбившие дачу. Именно так и объясняли лакеи, горничные и повара. Дескать, их всех связали бандиты, а Ваню утащили в бор, потом раздался выстрел. Что взяли бандиты? Прислуга говорила, что, видимо, бандиты взяли деньги, потому что маленький сейф в кабинете Вани был взломан, и бюро с документами тоже вскрыто отмычкой.

Сыщики записали показания прислуги. И уехали в город. Сыщики были довольны. Теперь у них есть нужные показания. Иван Васильевич хорошо заплатил, кому надо, чтобы следствие списало гибель сына на разбойников. Конечно, не преминул он «заклеить» рты прислуге крупными ассигнациями. Но люди есть люди. Недаром же есть пословица: «По секрету — всему свету». И вскоре весь город знал, из-за чего именно застрелился Ваня Смирнов.

На пышных похоронах было полгорода. Кряжистый бородач папаша Смирнов шёл за гробом, набычась, исподлобья поглядывая на людей. Несчастной Анастасии даже во дворец войти не позволили, чтобы постоять у гроба, и уж тем более на похороны не пустили, хотя она рвалась изо всех сил.

Рыдала старшая сестра Вани — Клавдия. Горе сжимало ей сердце. Но она чувствовала: что-то ей мешает по-настоящему горевать. Она сама себе не могла признаться, что где-то в потаённых углах её души теперь телепается подлое удовлетворение. Она гнала это чувство, но не могла прогнать. О Боже! Даже в такую минуту она не могла не думать о том, что теперь, когда Вани нет, она осталась единственной наследницей всех смирновских богатств. Как отец ни крепок, но всё же он очень пожилой. Всё, всё скоро будет принадлежать ей. Все магазины, товары, склады, дачи. И этот шикарный дворец, который отец выстроил для своей подлой любовницы Анастасии, тоже будет принадлежать только Клавдии! Только ей! Анастасия теперь — никто! Ничтожество! Уж Клава постарается, чтобы отец отписал всё на дочку, единственную и любимую.

Среди провожавших Ваню шёл следователь по особо важным делам Пётр Иванович Кузичкин, хотя все в Томске думали, что он представитель граммофонной фирмы. Ко многим организациям и частным лицам он не раз обращался с рекламными проспектами, и заключал договора на поставки граммофонов. Пётр Иванович успел допросить Колю на психолечебнице, успел составить списки всех томских сластолюбцев, чересчур активных охотников до молодых красавиц.

Шагая среди провожающих, он приглядывался к Ивану Васильевичу Смирнову, а заодно и к Анри Алиферу. Оба они были в следовательском списке. Пётр Иванович знал, что Смирнов не так давно чуть не погубил Алифера, заперев его на ночь в комнату ужасов. Следователь сам побывал в этой комнате. Кузичкин не исключал, что причиной заточения дамского угодника француза могла быть жестокая ревность.

Очень часто Кузичкин бывал в ресторане гостиницы «Европа», в номерах «Венецианской ночи», во многих других, как говорится, зланных местах. Перед каждым таким походом он до отвала наедался жирного творога и глотал пару особых таблеток. Это позволяло ему пить вино и не пьянеть. Притворяясь пьяным, он расспрашивал своих случайных собутыльников, что они слышали или знают о погибших томских красавицах. Пока ничего полезного для себя в таких застольях он не услышал. Но опытный следователь знал, что иногда совсем неожиданно может показаться кончик ниточки. Но для того, чтобы он показался, его надо день и ночь искать, даже там, где вроде бы искать совсем бесполезно.

Война с Германией, между тем, получалась ничуть не лучше войны с Японией. Только в начале её русские войска одержали несколько побед. Затем всё полетело в тартарары.

Николай Второй давно сместил с должности главнокомандующего своего дядюшку Николая Николаевича, взялся командовать сам, а толку не было никакого. Царь показывал солдатам своего сына, юного царевича Алексея. Думал — войска воодушевятся. Но всё было напрасно. Солдаты были грязны, оборваны и злы. В Петербурге и Москве толпы женщин и детей громили магазины.

Томские власти не очень-то жаловали газеты, в которых появлялись мрачные сообщения. Но что делать? Не прежние времена! Телеграф все новости доносит до сибирской глухомани в момент! Да разве только в телеграфе дело? Кто-то ночами расклеивал по томским заборам листовки со зловредными стихами:

Пишет, пишет царь германский,
Пишет русскому царю:
Я приду к тебе, коллега,
Всю Россию разорю.

В некоторых листовках писалось и в прозе:

«Ужасная война, начатая капиталистами, должна окончиться победой рабочих над капиталом».

Неожиданно вернулся с фронта Николай Михайлович Пепеляев. Соединение, которым он командовал, начинало бои под

Варшавой, затем сражалось в Прибалтике, и отступило под Псков. Официально генерал-лейтенант прибыл лечиться после ранения и готовить резервистов. На самом деле он тяжело переживал свои военные неудачи.

Томичи не узнавали своего прежде блистательного генерал-лейтенанта. Из дома Николай Михайлович теперь выходил редко, благородное собрание не посещал. А когда жена и дети расспрашивали его о военных действиях, он отмалчивался. Лишь иногда с горечью говорил о том, что кругом — измена, армия предана. Но имена предателей не называл.

Он прожил после возвращения из армии всего несколько месяцев и умер в конце ноября. Отпевали его в церкви Александра Невского при следственном замке, ибо это было рядом с домом. На грудь генералу положили обнажённый меч, гроб был поставлен на лафет пушки. На воинском кладбище прогремел прощальный салют. Стиснув зубы и кулаки, стояли сыновья — Михаил Николаевич, Логин Николаевич. Анатолий был на фронте, а Виктор после учительства в Бийске был избран в Государственную думу и находился в Петрограде.

И всего через месяц после этих похорон телеграф принёс из столицы удивительную весть: в Петербурге, на Мойке, во дворце князя Юсупова убит был любимец царицы Григорий Ефимович Новых, бывший Распутин! Но ещё более скандальная весть пришла после похорон старца. На ту самую могилу, к которой в эти дни приходила молиться царская семья, офицеры вылили из ассенизационной бочки чуть не тонну самого свежего дерьма!

Газеты эту новость напечатать не могли, мешала цензура. Зато все томские заборы заклеены соответствующими листовками. И всё чаще в листовках звучали призывы: «Долой самодержавие!».

В заметённом сугробах Томске возле университетской ограды ректор сего заведения Михаил Фёдорович Попов повстречал следователя Петра Ивановича Кузичкина.

— Здравствуйте, Пётр Иванович! — приветствовал следователя руководитель кафедры судебной медицины. — Как дела? Не пора ли вам обратно в Москву? Что толку теперь искать бедного вампира, если кровь россиян течёт вёдрами, а судя по всему, вскоре хлынет рекой? Хотя вообще-то я надеялся, что вы всё же разгадаете эту загадку. Вы же — московский специалист. Но похоже, что не всякая тайна по зубам и московским пинкертонам!

— А вот и ошибаетесь! — рассмеялся Кузичкин, потирая замёрзшие уши. — Я ведь именно к вам и направлялся. Берите с собой Бурденко и прочих ваших студентов — им, думаю, тоже

будет интересно посмотреть на этого уникама. Медикам ведь полезно посмотреть на вампира, тем более, что, может, больше никогда в жизни и случая не будет. Сейчас зайдём в полицию, захватим с собой пару полицейских чинов, и двинем прямо к вампиру.

— Значит, тот юноша, который парится теперь на психе, ни в чём не виноват?

— Абсолютно ни в чём!

— Я так и знал! Его глаза мне ясно сказали, что он тут ни при чём. Но кто же — злодей?

— Наберитесь терпения.

Вскоре толпа студентов шагала за Кузичкиным, Поповым и двумя полицейскими чинами по Почтамтской улице. Вот они уже спустились по лестнице и подошли к дворцу Второва.

— Понятно! — сказал Попов. — Алифер! Про него уже давно идут тёмные слухи.

Но Кузичкин прошёл мимо входа в гостиницу.

— Да куда же вы нас ведёте, в конце-то концов? — воскликнул Попов.

— Тут — рядом! — отозвался Кузичкин, достав из кармана пальто револьвер и проверив патроны в барабане.

Вот они миновали здание с термометром Реомюра, книжный магазин Макушина. Вошли во двор, пахнущий шоколадом.

— Сюда, пожалуйста! — сказал Кузичкин, направляясь к флигелю возле шоколадной фабрики. — Господа студенты и медики, следите за всеми окнами, а я с полицейскими войду внутрь!

— Но это же квартира графа Загорского! — удивился Попов.

Кузичкин приложил палец к губам, затем быстро и легко взбежал на крыльцо, рывком отворил дверь, полицейские ринулись за ним. Прихожая и две комнаты были пусты. Повсюду были видны следы поспешных сборов. Кузичкин тотчас крикнул полицейским, чтобы срочно позвонили полицмейстеру, дабы было установлено наблюдение на вокзале и на всех выездах из города. Сам же он схватил кочергу и принялсяковырять её в топке печи-голландки:

— Вот чёрт! Дотла сжёт все бумаги. И что за нюх! Я ведь не дал ему ни малейшего повода для подозрений. Был уверен, что застану его врасплох. Ага! Он бросил свою дворянскую шпагу. И костюмы все свои оставил. А это что? Парики! Усы и бороды! Всех сортов! Ну, ясно! Оделся попом или простолюдином, загримировался. Одного не пойму — как он опасность учуял? Был бы суеверным, подумал бы, что это — сам дьявол. Но я, увы, не верующий, вульгарный атеист, и нет мне прощения ни

на том, ни на этом свете. И чашу позора мне придётся испить до дна. Не зря же говорят, что и на старуху бывает проруха. Я, конечно, постараюсь, чтобы и в нынешней неразберихе его хорошо поискали по всей стране. Но что-то мне говорит, что шансов почти нет.

23. Садиза, садиза!

Федька Салов на окраине Томска нашёл китайского старшину Ли Ханя.

Глинобитные и приземистые избушки тут образовывали такие ходы и лабиринты, что посторонний человек обязательно заблудился бы, рискни он зайти в эти китайские кварталы. Но Федька уже бывал здесь раньше, и, хоть и не сразу, но нашёл нужную землянку.

Ли Хань встретил его в маленькой устеленной коврами комнатушке. Здесь над порогом висели полосы рисовой бумаги с красными иероглифами, а над тёплой лежанкой, под которой был пущен дымоход, висел узорчатый китайский фонарь.

Ли Хань не удивился Федькиному приходу, приказал слуге, чтобы подал зелёного китайского чаю, усадил Федьку в плетёное кресло, и спросил:

— Твоя дизертира с фронта?

— Что ты? Какая дизертира?

— Такая. Грузчика начальника шлёт туда, туда, фронта-фронта. Война конца нету, рука-нога целый, почему — Томска?

— Меня в армию не взяли. Меня на психу сдали, а я оттуда ушёл, надоело.

— Психа-психа, голова больная, гулять Томска нету. Ли Хань тебя прятать нету. Ли Хань начальника уважай! Ли Хань закона — уважай!

— Я к тебе пришёл, как к отцу родному! Куда мне ещё идти? Спрячь, помоги, я за тебя век Бога молить буду, я отслужу! Отработаю!

Ли Хань внимательно глядел ему прямо в глаза своими раскосыми непонятными глазами. В них было темно, как в чёрном колодце, только чувствовалась тайная сила, и мрачная угроза. Федька совсем заробел. Ли Хань сказал:

— Китаиса тебя прячет, твоя клянись головой. Давай рука!

Он надрезал бритвой кожу на Федькином пальце, достал толстый лист бумаги с синими иероглифами и прижал к этому листу Федькин большой палец, оставив на листе кровавый оттиск. Ли Хань помахал этим листом:

— Документа-документа! Твоя ходи, обезьянка корми, клетка убирай. Там печка есть! Зима будет — дрова много. Совсем не замерзай. Обезьянка тепло надо! Шибко хорошо есть!

— А выпивка-то будет?

— Хороша работай — травка кури. Ханьшин, выпивка — нету. Обезьянка запах не любит.

Когда стемнело, здоровенный молчаливый китаец увёз Федьку в фэнтоне в Заисточье. Там неподалёку от озера стоял китайский обезьяний питомник. В этом странном заведении содержали и обучали обезьянок для всей Сибири и Дальнего Востока. Обученная обезьянка продавалась своим же, китайцам, по дорогой цене. И потом китайцы выступали с этими обезьянками на всех больших станциях великой сибирской железной дороги. Зарабатывали они немалые деньги.

Обучение, впрочем, было не очень сложное. На обезьянку надевали красную соломенную шляпу. В землю втыкали кол, к верху которого была прибита небольшая круглая фанерка. Обезьянка была в ошейнике, от которого железная цепочка тянулась к колу, и была закреплена там с помощью вертлюга.

Китаец давал команду:

— Ходи! Ходи!

Обезьяна бегала вокруг кола. В нужный момент китаец кричал:

— Садиза-садиза!

Обезьянка вспрыгивала на площадку на колышке. Снимала шляпу и протягивала её к зрителям — дескать, кидайте деньги!

Одни обезьянки обучались быстрее, другие дольше. От их способностей зависела их цена.

В обезьяннике кроме того держали собак, которых китайцы отлавливали по всему Томску. Собак частью продавали, а тех, которых никто не покупал, обдирали и шили из их шкур сапоги, шапки, тулупы и одеяла. Если вы никогда не спали в морозный день завернувшись в одеяло из собачьих шкур, то вам бесполезно объяснять, как это приятно и полезно.

Ловили китайцы и кошек, и крыс. Всю эту живность продавали в университетские лаборатории для опытов. Ничего тут даром не пропадало.

Федьке быстро надоела работа в этом заведении. Выходить за территорию обезьянника ему запрещалась. В основном он был занят чисткой и мытьём клеток, развозкой корма, и ещё строительством и ремонтом бараков и вольер.

«Эх, — думал Федька, — у Василия было куда веселее, хотя и страшновато! Там кормили хорошо, да хоть издали на девок удавалось посмотреть».

Китайцы были здесь как бы на временных заработках. Утешение они находили у русских «Марусек» в бардаках на Бочановской улице. Некоторые из них привели себе жён именно из этих бардаков. Но абсолютное большинство их предпочитали жить холостыми. Как понял Фёдька, их цель была скопить побольше денег, вернуться в Китай, и уже там жениться. Они очень ценили эту свою родину, где было много народа и мало денег. И если какой-либо китаец умирал в Томске, они везли его за тысячи вёрст хоронить в Китай.

Все китайцы помаленьку покуривали травку. Предложили попробовать и Фёдьке. Он выкурил здоровенную самокрутку. Но ничего особенного не произошло. Правда, когда пристально смотрел на угостившего его травкой китайца Ван Ху Сина, то казалось, что голова у того была размером с двухэтажный дом. Рот был, как пещера. Китаец скалил зубы, смеялся, и казалось, что эти зубы — размером с человека. Но стоило моргнуть — всё становилось как всегда, только в висках шумело.

— Лучше стакан самогона, чем мешок твоей травы! — сердился Фёдька.

— Твоя не раз кури, твоя шибко много раз кури, тогда будет шибко хорошо! — возражал Ван Ху Син.

Фёдька копил комочки сахара, которые ему давали к чаю, воровал мятные конфетки из рациона обезьян, и втихаря ставил брагу в своём закутке. Но эта редкая и бедная выпивка только сильнее разжигала его желание хорошенько напиться.

К осени Фёдька уже проклял тот день и час, когда связался с Ли Ханем. Ах, зачем же было ставить кровавый отпечаток пальца на синюю китайскую бумагу!

Сбежать? Страшно! Фёдька уже знал, как китайцы казнят своих собственных предателей и ослушников. Китайский старшина своей волей назначает им смертную казнь. Осуждённый сам себе роет яму в рост человека, садится там на корточки, его живого забрасывают землёй. Ещё и попляшут по этой земле, чтобы утрамбовать её покрепче. Бежать? Но если и набраться смелости, решиться, то куда бежать?

В разгар зимы появился в обезьяннике странный китаец. Держался он не по-китайски прямо, голову гордо откидывал назад. Халат у него был не хуже, чем у самого Ли Ханя, из нового синего шёлка, и расшит красными драконами. Грязной работой он не занимался. С китайцами объяснялся больше жёстами, лишь изредка произнося несколько китайских фраз.

Поселился он в одной из крохотных комнатушек в бараке, примыкавшем к обезьяннику. И в его жилище никто не имел права входить. Этого китайца звали так же, как и знаменитого китайского поэта — Ли Бо. Он занимался с одной из самых способных обезьянок, говорили, что он её купил у Ли Ханя за

большие деньги. И говорили ещё, что с наступлением весны он двинется со своей обезьянкой на заработки. И это удивляло Федьку. Такой важный — и будет бегать с обезьянкой по вокзальным площадям?

Была у служителей обезьянника своя китайская баня. Это была небольшая избушка, где в закопченном котле кипятили воду, а затем наливали её в большую бочку, добавляя холодную родниковую воду и целебные травы. Первым мылся самый важный китаец, за ним — все другие по очереди. Причём вода в бочке не менялась.

И вот однажды в банный день Федька решил идти мыться сразу, как только вылезет из бочки Ли Бо. Федька разделся в предбаннике и нетерпеливо ждал своей очереди. Ли Бо долго не выходил, Федька решил поторопить его: не велик барин, если будет с обезьяной по вокзалам гроши собирать. Помылся — дай другому.

Федька распахнул дверь и замер в удивлении. Китаец Ли Бо — был не весь жёлтый. Жёлтыми у него были лицо и шея и руки до локтей, остальное тело поражало белизной. Он только что вылез из бочки, вздымал свои до локтей жёлтые руки вверх, чтобы вода с них быстрее стекла.

— Ах ты сволочь! — воскликнул Ли Бо на чистейшем русском языке. — Как ты смел врываться в баню, когда я ещё не вышел из неё?

— Я не знал, что ваша милость не совсем китаец, а только частями! — воскликнул ошарашенный Федька. — Знал бы, ни в жисть не посмел бы.

— Хорошо. Я тебе дам денег, и ты будешь молчать о том, что здесь видел, — сказал Ли Бо. Если же проболтаешься, то Ли Хань прикажет тебя зарыть живьём. И заруют. И не думай, что сможешь убежать, найдут. Молчать! — воскликнул Ли Бо, и прищёлкнул пальцами, уставясь Федьке в глаза.

— Молчу, молчу! — залепетал Федька. Он словно в туман окунулся, шатаясь на ватных ногах, кое-как нашёл дверь, которая вела в предбанник. В висках у Федьки стучало одно слово:

— Молчи!

Ли Бо вскоре тоже вышел в предбанник, одел халат и обул тёплые войлочные туфли, протянул Федьке сотенную ассигнацию:

— Помни о том, что я тебе сказал, крепко помни!

— Так точно, ваша милость.

— И не разговаривай со мной, я по-русски не понимаю, понял?

— Так точно, ваша милость.

Однажды принесли с базара семечки для обезьянок, завернутые в кульки, сделанные из страниц «Сибирской газеты».

Федька высыпал из одного пакета семечки обезьянкам, и увидел в газете портрет человека, который был теперь частично китайцем, хотя на газетном портрете он был вовсе не узкоглаз, а вместо короткой стрижки имел пышные кудри. Вот тут Федька сильно огорчился, что в грамоте не силен.

Через неделю в обезьянник весёлый русский бородач привёз в коробе ореховый жмых. Федька кинулся разгружать вкуснейший этот жмых, на ходу отгрызая крепкими зубами то от одной глыбы жмыха, то от другой. Бородач-возчик усмехнулся и сказал:

— Я его и сам целый день жую! Пользительно для желудка, да и силу мужскую увеличивает. Па-алезный корм для ваших животин! А в наше время, когда лавки хлебные не работают и муки ни за какие деньги ни на одном базаре не купишь, так этому жмыху будешь рад за милую душу.

Тогда Федька спросил возчика — обучен ли тот грамоте?

Оказалось, что тот окончил три класса церковно-приходской школы.

— И мелкие буковки в газете можешь читать?

— А то как же! — гордо ответил возчик.

Федька вытащил из-за пазухи газету и подал её мужику:

— Вот тут господин изображён, чего про него пишут?

— А, этот-то? Про него мы давно уж читали. Газета-то старая. Сбежал сей господин. Кровь, вишь, из баб высасывал, да так, что до смерти! Как? Обнаковенно! Целует, целует в шейку, возьмёт да и прокусит. И сосёт. Ну и сбежал этот кровосос, когда его арестовать хотели. А ты что? Встречал его, что ли? За него награда большая назначена...

Федька хотел что-то сказать, но слово у него застряло в гортани. Он увидел, что с крыльца барака на него пристально смотрит Ли Бо. Лжекитаец вывел во двор погулять свою обезьянку, держа в руке конец цепочки. Он смотрел через Федькино плечо, отлично видел свой портрет в газете и слышал всё, о чём говорили Федька и возчик.

Федька сник. И хрипло и громко сказал:

— Ерунда всё! Если и был такой господин, так уж давно укатил к чёрту на кулички. Да разве такие вахлаки, как я, с господами встречаются? Наше дело дерьмо топтать, грязь чистить.

— И то правда! — ответил возчик. А Федька изорвал газетину в мелкие клочья. Оглянувшись на крылечко, где только что стоял поддельный китаец, он не увидел там никого.

А на другой день, выйдя утром из барака, Федька услышал какой-то шум на улице. Выглянул в калитку, увидел толпу народа с красными и бело-зелёными флагами. Люди кричали, смеялись, у многих на пальто и тужурках были приколоты алые и бело-зелёные банты. Толпа прошла мимо питомника

и поднялась в гору к губернскому правлению. Где-то вдалеке слышались звуки оркестра и одинокие выстрелы.

Федька стал думать: какой такой приходится праздник на четвёртое марта 1917 года? Но ничего не мог придумать. По Московскому тракту со свистом и гиком промчалось несколько троек. В колясках сидели подвыпившие мужики, они держали в руках чёрные флаги и транспарант, на нём было начертано: «Анархия — мать порядка!».

— А ну, ходя! Отпирай ворота! — закричали приехавшие мужики. Китайцы незнакомым людям и не подумали открывать. Тогда один из мужиков сунул под ворота связку гранат и крикнул неизвестно кому:

— Ложись!

Грохнул взрыв, раздробив нижнюю часть ворот. Китайцы поспешили спрятаться кто где. Федька охнул и свалился возле калитки, нога у него стала горячей и занемела, словно он её отсидел.

— Анархия — свобода! Свобода всем, без границ! — кричал мужик в кожаном пальто и в каракулевом «пирожке». — Я — Михаил Кляев, и это я вам говорю! Свобода животным! Ломай клетки! Долой тюрьмы! Долой оковы! Смерть тюремщикам!

Пьяные анархисты принялись ломать клетки ломami, рубили саблями. Некоторые бросали в клетки гранаты. Одного из анархистов чуть не загрызли выпущенные им же на волю собаки. Тогда анархисты открыли стрельбу по собакам. С истошными воплями учёные обезьянки вырвались из клеток и поскакали по деревьям вверх к университетской роще.

Китайцы поспешили покинуть обезьяний питомник, проделав дыры в заборах. Они скакали по холмам среди кустов не хуже обезьян, но только молча.

Анархисты остались в пустом разгромленном помещении. Пошарили по каморкам.

— Ни хрена у них тут хорошего нет! — сказал вожак. — Известно — ходи!

Он заметил лежавшего возле калитки в луже крови Федьку Салова. Склонился над ним:

— Ты кто такой? Ты ведь русский? Чего ты тут делал?

— Батрак был ихний, — хрипло отозвался Салов. — Мне ногу, кажись, оторвало.

— Ничего не оторвало, — опроверг его анархист. — Сейчас — свобода, товарищ. Мы поскачем в университет. Пусть сделает тебе операцию наилучший профессор! Долой эксплуатацию! Да здравствует революционный, анархический порядок!

Минут через двадцать Федька Салов уже лежал на операционном столе в факультетской клинике. Анархисты с маузера-

ми в руках хотели наблюдать за ходом операции, но профессор выгнал их, сказав:

— Мои сёстры милосердия вас боятся. Для вашей анархии будет лучше, если вы подождёте конца операции в коридоре.

На лицо Федыке водрузили маску с хлороформом, профессор начал медленно и монотонно считать:

— Один, два три...

Он досчитал до пятнадцати, и Федыка увидел огромную голову китайца, во рту у ходи были зубы размером с человека. Китаец пугал Федыку: «Я тебя съем!». Федыка ему отвечал: «Садиза-садиза!». И китаец исчезал.

24. Адью, господин губернатор!

В тот самый день, когда Федыка Салов лежал на операционном столе в университетской клинике, действительный статский советник Михаил Николаевич Дудинский, начальник громадной Томской губернии, в своём особняке, расположенном в соседстве с губернским правлением, предавался горьким раздумьям.

Уж как он старался, чтобы крамола из центральной России не могла перекинуться в далёкий Томск! На телеграфе и на почтамте жандармы проверяли все частные телеграммы и письма. Доставлялись адресатам только самые невинные послания, вроде поздравления с днём ангела. Со всеми приезжавшими из Петербурга и Москвы беседовали полицейские чины, и предупреждали, что о тамошних волнениях в Томске говорить никому не полагается.

А как он заботился о поддержании патриотического духа томичей! Жена покойного генерала Пепеляева вместе с младшим отпрыском своим Логином Николаевичем съездила на фронт, отвезла целый вагон подарков офицерам и младшим чинам, призванным на войну из Томска. Были собраны немалые средства в помощь госпиталям.

Между прочим, война добавила много других небывалых забот. Мало того что шайки бандитов и воров плодились, как собачьи блохи, преступления стали совершать даже дворяне! Ещё с неделю назад Михаил Николаевич был озабочен бегством графа Загорского. Чиновник губернского правления оказался вампиром, и Михаил Николаевич был ошеломлён, переживал, мучился сознанием, что на его правление поставлено некое несмыслимое пятно. Но сегодня это кажется таким пустяком! Сам Государь император отрёкся от престола. И что

же теперь такое будет? И какие возмутительные стихи напечата-
ла в местной газете поэтесса Мария Потанина!

Дудинский взял газету со стола и ещё раз перечитал стихи:

Сибирь! Свободная Сибирь!
Гремит победный клич: «Свобода!»,
И раздаётся вдаль и вширь,
И ввысь летит до небосвода.
Сибирь, огромная страна,
Ещё вчера страна изгнания,
Всю боль извела она,
Все бездны мрачные страдания...
Кошмарные былые сны
Сменились чудом возрождения...
В лучах сияющей весны
Горит заря освобождения.

Ах, чёрт возьми! Вышла замуж за старика, за смутьяна, по-
валандалась с ним по Алтаю, и вроде бы им не пожилось. Да и
как бы пожилось-то? Потанин — Мафусаил, реликт, древность,
антик. И смутьян, каких мало! Был в каторжных работах.
И трогать его не могли — заслуг много. За свои исследования
Востока получил Константиновскую золотую медаль Импера-
торского русского географического общества и пожизненную
персональную пенсию. Ему бы сидеть на печи, а он влезает во
все дела губернии, по слухам, собирается отделить Сибирь от
России, как американские штаты отделились от Англии. Да
его в Петропавловку заточить надо! А он возмутительные ре-
чи говорит, женится в таком-то возрасте! И за всё губернатор
будет в ответе.

Разумеется, Дудинский дал жандармам указание просле-
дить, чтобы в газетах правильно писали, и чтобы специально
в народ были пущены правильные слухи. Дескать, ничего осо-
бенного не случилось. Отрёкся император в пользу брата Ми-
хаила, и теперь будет царствовать Михаил Второй! Вот и всё!
А то ведь разболтались до того, что полицмейстер представил
в губернское правление список работников правления, кото-
рые должны были платить налог за своих собак. И список был
составлен так:

Губернатор — собака,
Главный архитектор — собака,
Санитарный врач — собака...

Ну и так далее. Вот и гадай теперь: то ли полицмейстер так
составил список по глупости, то ли он большевик. Или вот га-
зета «Сибирская жизнь». Взяла вдруг и сообщила — дескать,
царя прогнали, министров его упрятали за решётку. Говорят,

около редакции в Ямском переулке бушуют толпы. Толкуют про какое-то временное правительство, и какой-то там Совет депутатов. Провокация, не иначе. Редактора надо арестовать, и вообще — всю редакцию...

Пока Михаил Николаевич размышлял подобным образом, он услышал доносившиеся из прихожей молодые зычные голоса:

— Мало ли что никого не принимает! Пойми, бестолочь, нам не нужно, чтобы губернатор нас принял, нам нужно сообщить ему, что он получает большое перо в зад, чтобы лететь на все четыре стороны, ясно? А себя, бестолочь, можешь считать уже уволенным, собирай свои манатки и — марш из этого дома на все четыре стороны!

От услышанного Дудинский вскипел гневом, и тотчас в губернаторский кабинет вошли молодые люди в кожанках. Без приглашения расселись в кресла. Без разрешения закурили папиросы. Один даже ему протянул портсигар:

— Закуривайте!

Представились, назвали свои должности. Они из какого-то временного комитета общественного порядка и безопасности. Он даже не понял, кто из них — кто. Тогда один из них, одетый в чёрное пальто и с красной повязкой на рукаве, представился:

— Аркадий Фёдорович Иванов, комиссар временного отдела милиции временного комитета общественного порядка.

И положил на стол предписание — освободить помещение. На предписании — лиловая печать, без орлов, неизвестно что обозначающая.

— Но как же, господа? Где же я должен жить? У меня семья, прислуга. И такая масса вещей, мебели. Быстро собрать всё просто невозможно! Кроме того, я могу подчиниться только предписанию из Петербурга. Меня Петербург назначал.

— Вас назначал не Петербург, а бывший царь, теперь царя нет, и в Томске осуществляем власть мы.

И самый молодой и наглый подошёл к форточке и крикнул:

— Заходите, товарищи мужики, мебель выгружать! До свидания, гражданин Дудинский, адью! Вас ведь выгружать не нужно? Сами из помещения выйдете?

Дудинский хотел попросить у лакея валерьянки, но не успел ничего сказать, как в кабинет вбежали грузчики, от них несло спиртным.

— Граждане начальники! В окна мебель выкинуть можно?

— Можно!

Затрещали оконные рамы, полетели на улицу стулья, столы, диван в окне застрял и грузчики страшно матерились, не обращая на бывшего губернатора ни малейшего внимания.

Дудинский, полный, статный, сразу будто стал меньше ростом, вышел на улицу. Увидел толпу народа, все над ним смеялись. Он втянул голову в плечи, поспешил спрятаться за горой сундуков. В голове пронеслось: «Ещё и расстреляют, пожалуй, или только арестуют?».

А пьяная толпа солдат, мещан и непонятно каких людей орала и вопила новую частушку:

— Бога нет, царя не надо!
И без них мы проживём.
Золотые зубы выбьем,
На монеты перельём!

Два молодых человека артистической внешности осторожно несли огромную оранжевую вывеску, на которой алыми буквами было написано:

«ДВОРЕЦ СВОБОДЫ».

Губернатор из-за своих сундуков краем глаза увидел, как солдаты, без шапок, в расстёгнутых не по уставу шинельках, пьют что-то из огромной бутылки по очереди.

Один из солдат восхищённо сказал:

— Ну, братцы, хороша брага! Настоящий стенолаз!

Пьяные мужики влезли на крышу железнодорожного управления и, поддевая ломami, свергли вниз двуглавого орла. Он упал с грохотом, едва не прибив толстую даму с собачкой. Отчаянный маленький кобелёк с рычанием ринулся на обломки царского герба, попытался откусить кусок, но понял, что жёсть ему не по зубам, задрал ногу и демонстративно пустил жёлтую струю на обидчика.

В этот момент к груде вещей, возле которой в кресле сидел взъерошенный Дудинский, подошёл крепкий мужик, по виду приказчик, и тихонько сказал:

— Иннокентий Иванович предлагают вам помощь. Вещи ваши мы отвезём сейчас на наш склад, а вы пожалуйста к хозяину, он рад пригласить вас.

— Так вы — от Гадалова?

— Именно! Иннокентий Иванович видел всё это форменное безобразие, и считает за честь помочь вам. Пожалуйста в пролёточку, за вещи не беспокойтесь, я тут — с лошадьми и работниками...

Сердце у Дудинского с бешеных скачков перешло на более умеренный ритм. Он сел в пролётку и прикрыл лицо картузом. Кучер знал дело и свернул ближе к роще, где народу в этот момент было меньше. Ехать было недалеко, сразу за собором открывался вид на дом Гадалова.

Иннокентий Иванович встретил Михаила Николаевича на крыльце.

— Проходите, проходите, Михаил Николаевич! О времена! О нравы!

— К чему это всё может привести, как вы думаете? — спросил Дудинский. Ему хотелось узнать, что будет с царскими чиновниками. — Вас-то, деловых людей, кажется, не трогают?

— Из домов пока не гонят, — улыбнулся Иннокентий Иванович. — Дома-то у нас, слава богу, не казённые, как у чиновников, а свои собственные. Об остальном — думаем. Как раз ко мне коллеги пришли посоветоваться, как быть. Чай пьём да кумекаем. Почаёвничайте с нами, у нас от вас секретов нет.

— С удовольствием попью чайку! — согласился Дудинский. — А как вы думаете, что мне следует теперь предпринять?

— Прямо, скажу, Михаил Николаевич, вам следует немедленно теперь же уехать вместе с близкими с вечерним поездом. Я слышал, что могут вас арестовать. Возьмите в багаж самое необходимое и отправляйтесь. Мебель я вам потом постараюсь переслать.

Дудинский прибодрился и пожал Гадалову руку.

В обширной комнате под картиной Васнецова «Три богатыря» за столом сидели давно знакомые Дудинскому томские торговые люди. При виде бывшего губернатора некоторые привстали и поклонились, а некоторые сделали вид, что они с Дудинским никогда не были знакомы. Это его поразило: «Вот сволочи! Прежде дрожали, входя ко мне в кабинет!».

Гадалов занял место в центре стола. Если раньше на картине «Три богатыря» для него Добрыней Никитичем был дядя царя Николай Николаевич, Алёшей Поповичем — сам царь, а Ильёй Муромцем — Распутин, то теперь — Временное правительство было ни на что не похоже. Видел он уже портрет Керенского. Ну какой же из него богатырь? Глиста в суконном френче! И глаза сумасшедшие.

Впрочем, посмотрим, посмотрим, лишь бы нас не трогали...

Разговор за чаем шёл о городских делах. Конечно, всякие перемены власти для торговых людей — риск, а может, и разорение.

Сопливый комитет общественного порядка вдруг отменил карточки на хлеб и разрешил его свободную продажу. И что? И цены подскочили, и хлеба не стало. Тогда ихняя молодая милиция стала лазить по купеческим подвалам: где тут у вас зерно спрятано? Нашли шиш да маленько.

Кинулись искать и ломать самогонные аппараты. В городе почти ничего не нашли. Горожане просто не отпирали двери, и грозили, что будут отстреливаться. И называли представите-

лей новой власти бандитами. В окрестных лесах милиционеры нашли избушки с перегонными аппаратами и самогоном, сожгли их. Да что за беда? Кому надо — гонят самогон из свеклы и картошки.

В феврале у Дома Свободы стали собираться митинги в поддержку учредительного собрания. Никто толком ничего не знал, но в народную милицию записывались толпами, в неё записывались и эсеры, и большевики, и уголовники, и представители «Союза русского народа», и «Союза сионистов». А вот жандармов, полицейских стали всех поголовно отправлять на фронт: хватит, попили нашей крови, сатрапы!

И вот — опытные полицейские на фронте, а милицейская шантрапа ничего с уголовниками не может поделывать. Милиционеры одеты, как простые солдаты, в самое дешёвое хэбэ*, и на рукавах носят белые повязки с личным номером. А раньше личные номера имели только извозчики. И ведь как с пьянством борются?

Всегда много было народа в ресторане «Славянский базар» на берегу реки Томи, где когда-то обедал сам Антон Павлович Чехов. Хозяин заказал восковую фигуру. Изваяние писателя посадили за специальный столик, перед «Чеховым» всегда стоял стакан с вином, чтобы можно было с ним чокнуться любому посетителю. Некоторые заказывали этот столик, и весь вечер пили с Чеховым, беседовали с ним, фотографировались на память.

В один из вечеров кляевские анархисты явились в ресторан «Славянский базар» с милиционерскими повязками на рукавах и реквизировали всю дневную выручку, как они заявили — в пользу народа. Кроме того, взяли на кухне двух огромных копчёных осетров, корзину лицензионного вина, а из зала прихватили с собой статую Чехова. Ресторан закрылся, хозяин был разорён.

И до чего дошло? Каждый себе армию создаёт. В еврейской слободке по ночам в чёрных твёрдых шляпах, в чёрных пальто, с красными повязками на рукавах, вышагивают молодые евреи с подбритыми тонкими усиками. У каждого в кармане — наган, у кого нет нагана, у того — пест или гирька на цепочке. Патруль. Самооборона. Евреи в карауле! Кошмар! Армянская сотня. А есть ещё тюркско-татарский отряд — идут в чалмах, с кинжалами, палками... Ни хрена себе — полиция!..

Гадалов призвал всех богачей брать пример со Второва. Он прислал из Москвы своим подчинённым тайную инструкцию, как действовать. В его Пассаже была объявлена распродажа

* Хэбэ — хлопчатобумажная материя защитного цвета, из которой шили форму для солдат.

всех товаров по самой дешёвой цене, но не за деньги, а за золото. Приказчики проверяли его кислотой и взвешивали на малюсеньких весах. В течение недели были распроданы почти все товары громадного магазина. И главный приказчик с набитым золотом тугим кожаным мешком спустился в подвал, отпер там дверь в подземный ход, и ушёл в неизвестном направлении. Больше этого приказчика никто никогда в Томске не видел. А подземный ход был сразу же завален камнями и глиной работниками пассажа. Теперь это — почти пустое здание, и там уж невозможно что-либо реквизиловать в пользу народа.

— Ну, посмотрим, посмотрим, — сказал Иван Васильевич Смирнов, — не станет же новое правительство рубить сук, на котором сидит? Куда оно без нашего брата купца? Но надо нам пойти навстречу новой жизни. Как? Сейчас стали возвращаться в Томск политссылные из нарымской ссылки. Здесь их встречают как героев. Устраивают для них концерты и приёмы. А это всё карбонарии! Большевики там, эсеры, меньшевики, и чёрт их там ещё разберёт! Главное в чём? Разве нам надо, чтобы они тут у нас оседали, в городе? Да нет, если мы не совсем дураки. Они тоже небось по своей Европе соскучились. Давайте соберём хорошую сумму, пойдём в их комитет. Вот вам денежки. Езжайте в свои Петербурги, Тамбовы, или хоть в Крым, на Кавказ. Поправляйте здоровье!

— Есть примета, — сказал купец Голованов, — подавать нищим деньги — это к слезам, к несчастью. Нищим можно подавать жратву и одежду.

— Ты не прав, — улыбнулся Гадалов, — в данном случае эта примета не подходит. Слезы могут быть, если эти бывшие ссылные накопят в Томске в большом количестве. Тут у нас и так кого только нет! Вот я сейчас сделаю подписной лист, давайте все друженько поможем страдальцам. Лишь бы из Томска быстрее умотали. Ветер им в зад!

25. Летние грозы

Грозы грохотали над Томском, и сыпали огромные градины, убивавшие зазевавшихся цыплят во дворах. Летели ужасные шаровые молнии. Дочку вдовицы Евдокии Никитичны Маклаковой, Малашу, гроза стукнула неподалёку от Преображенского храма. Убило молодую женщину насмерть, а ребёночек, которого она несла на руках, жив остался, только ботиночек с левой ноги у него слетел, да чуть-чуть пяточку дитятку обожгло.

Вдова Евдокия Никитична теперь каждый день свечки в этом храме ставит, хоть и не близко живёт. Ведь это, может, знамение божье? Мальчик-то сураз был, неизвестно от кого Малаша его прижила. Вот, мол, бабушка, воспитывай внука!

Ну, стала ходить Евдокия Никитична молиться в Преображенский храм. Там и батюшка такой благолепный, хотя и молодой, но мудрый. Он по поводу молоньи целую проповедь сказал. Дескать, десница Божья знает, куда метит. Между прочим, сам-то батюшка нынче летом громоотвод на куполе, на самом кресте, установил. Потому что он ещё и грамотный человек. И опять проповедь сказал: Бог не против науки, он против всякого бесовства.

Всё больше прихожан стало в Преображенский храм ходить, батюшку Златомрежева слушать. И голосом, и волосом приятен, и обходителен, всем взял.

Однажды вышла Евдокия Никитична из храма, вся после моления размякшая, благодатная, глядь — возле церковной ограды на старой армейской шинели её бывший приёмный муж лежит, Фёдор Салов. Рядом с ним крест-накрест два костыля лежат, а левая нога у него по самое колено отсутствует. Тут же на траве у Федьки картуз вверх дном перевёрнутый, и в том картузе пятаки и рубли лежат. Впрочем, рублей-то всего два, а пятакон много.

— Федюшка! Да как же это? Ты на психу в арестантское отделение как дизентир был определён! А ноженька-то, что же такое с ней случилось? Неужто психи отломили?

— Молчи, дура-баба! Не видишь, что ли, перед тобой фронтовик заслуженный находится? — вскричал сердито Федька. — Вон же на груди кресты георгиевского кавалера! Так подай увечному воину Христа ради!

— Феденька! Может, домой пойдём? Ты же видишь, на руках у меня твой внучек! Его Петей зовут. Знамение было, его тоже в ноженьку, как тебя, молоньей ударило!

— С тобой говорить, что со старой лужёной пуговицей! Какой такой внучек, если у нас детей не было? И в ногу меня не молоньей ударило, а германской шрапнелью. Я геройский воин! А вы мне на психу даже передачу ни разу не принесли, хотя в кладовке и окорока были, и сало!

— Феденька! Носили передачу, так ведь нам сказали, что сбежал ты!

— Ну и сбежал! На фронт сбежал, за родину страдать! А ты, старая образина, иди своей дорогой, ты раньше не краше помела была, а теперь тебя и кобель шелудивый не станет!

— Ах ты!.. — вскипела Евдокия Никитична. — Не будь рядом храма, я бы тебе такое сказала! Вор! Фармазон!

— Иди-иди! — не то сейчас костылём между глаз засвечу!

Всю эту картину наблюдал юноша в модном костюме, худой, бледный, больной по виду. Он стоял возле церковной калитки, но внутрь не входил, словно ждал чего-то. Глаза его блуждали. И когда Маклакова с внуком скрылась за углом, юноша поздоровался с Фёдором, сказав:

— Вы меня не узнали? Мы с вами вместе были под стражей на психолечебнице. Я — Коля Зимний.

— А-а! Я тебя сразу не признал. Там ты в халате был, а тут таким франтом ходишь. Тебя выпустили? Сейчас ведь свобода пришла, всех выпускают!

— Да нет, не всех. Уголовные сидят. Просто с меня обвинения сняли. А политических — да, выпустили всех. Этот Криворученко, что пытался цепи грызть, пообещал врачам, что всех их отдаст под суд.

— Лихой, лихой парняга! А ты — что? Куда идёшь?

— Мне нужен священник Златомрежев.

— О! В дьячки решил податься?

— Да нет, просто совета хочу спросить.

— Ладно, иди спрашивай! А как разбогатеешь, так подавай мне не меньше рубля, как израненному воину!

К удивлению Феды, Коля дал ему целых два рубля. Но Коля и сам был удивлён тем, что бывший сокамерник успел побывать на фронте, и даже заработал Георгиевский крест.

Коля Зимний вошёл в церковь, медленно озирал всё вокруг. Смотрел как колышутся язычки над свечами. Вот горят свечи во здравие, а вон за упокой. Но это чужие огоньки, чужая жизнь, чужая смерть. Кто-то о ком-то заботится, страдает. Только он ни о ком не заботится. Один. Всегда. Везде.

Он вздохнул, отступил к выходу, перекрестился и вышел. На дворе присел на скамью и стал ожидать, когда батюшка выйдет из храма.

Священник появился неожиданно, и разговор начал сам:

— Я вижу, что вы устали, что вы хотите поговорить со мной, что вам нужна помощь.

Коля поднялся со скамьи навстречу ему. Он поведал вкратце предысторию своего определения в психолечебницу. Его освободили только день назад. Он вышел из своего зарешеченного подвала в калошах-опорках, в халате, полы которого мели лестницу. У него до сих пор синие круги под глазами и коротко стриженная голова. Ему было стыдно заходить в кабинет профессора Топоркова, он стеснялся своего вида.

Когда он всё же вошёл в кабинет, профессор извинился, что не мог раньше выпустить Колю. Хотя стало известно, что убийца Белы Гелори совсем иной человек, судебные власти всё никак не могли оформить нужные документы. Топорков извинительно говорил, что режим арестантского отделения,

да и всей лечебницы установлен не им, а вышестоящими инстанциями.

Больше всего измучили Колю таблетки, которые изнурили мозг, и всё тело делали свинцовым. Санитары строго следили, чтобы больной не спрятал эти таблетки за щеку, чтобы потом при удобном случае выплюнуть их. Так и жил Коля долгие месяцы, словно поленом по голове ударенный. Но вот его не только освободили, но Топорков ещё передал Коле деньги, оставленные для него Ваней Смирновым. Профессор сообщил о страшной гибели Вани...

— Ваня был моим единственным на свете другом! — сказал Златомрежеву Коля. — Я в отчаянии: почему всё так страшно и дико?

— Да, жуткого и дикого на свете — премного. Надо смириться, — сказал Златомрежев. — Господь испытует нас, а мы должны служить смягчению нравов по мере сил наших. Я должен вам сказать, что, когда я возвращался из госпиталя домой, то ехал из Москвы в одном поезде вместе с этим самым графом Загорским, который оказался вампиром. И, знаете, я даже чувствовал доброе расположение к нему. Он очень умело притворялся честным, порядочным человеком. В нём чувствовалась интеллигентность, изысканная аристократичность. Я был поражён, когда узнал, что он скрывал под этой своей великолепной личиной.

— Его поймали?

— Увы! Но Божьей кары ему не избежать. Давайте переменим тему, вы же не о Загорском пришли меня спросить?

— Да, конечно! Я раньше работал младшим приказчиком во второвском пассаже. Нынче я был там. Должность моя сокращена. И не только моя. Почти все отделы закрыты за неимением товара. Поселился в общежитии, где я прежде жил, там теперь — беспорядки. Проживают разные подозрительные люди. Я ночевал там три ночи, и почти не спал, потому что боюсь за свои деньги. Мне очень неудобно, но я хочу вас просить взять мои деньги на сохранение до того времени, как я обрету более надёжное пристанище. Знаете, что меня мучает более всего? Могу я быть полностью откровенным?

— Как же иначе, если я священник?

— Я покажусь вам глупым и смешным. Меня младенцем подбросили в приют. Я не знаю родителей. Но приютские служители говорили, что я был завёрнут в очень дорогие пелёнки и одеяльце. Я чувствую в себе что-то такое... Но я не получил образования. Я был грумом, надевал на покупательниц сапожки. Стал младшим приказчиком, а потом заключённым. Вот и всё. Мне во сне снится, что отец мой был офицером... Дворянином... Красавцем... Смешно, правда? Но я за своих родителей

даже свечку поставить не могу! Куда её помещать? За здоровье? За упокой? Живы ли они, где они? И как жить мне теперь, что делать? Я решил проситься отправить меня на фронт! Пусть лучше погибну. А может, получу чин, если повезёт, и останусь живым.

— Сколько вам лет?

— Увы, мне уже семнадцать!

Златомрежев грустно улыбнулся:

— Подумать только — какие лета! Я чувствую — вы добрый юноша, искренний. Я мог бы поговорить с епископом, чтобы он рекомендовал вас в духовное училище.

Ваня сказал:

— Я хотел как-то по-иному повернуть свою жизнь к лучшему.

— Что же! Можно пойти ко мне в храм псаломщиком.

— Я имел в виду не это. Значит, вы стремление моё попроситься на фронт не одобряете?

— Вы такой добрый, нежный юноша. А сейчас идёт такая непонятная война, что и генералы от огорчения умирают. Можно ведь поискать карьеру в другом направлении. Вам ещё не поздно себя искать... Знаете, есть идея. Был в Томске такой князь, по фамилии Долгоруков. У него остался сынок, с матушкой которого я знаком. Володя по годам близок с вами. Сейчас они на даче в Заварзино. Кедры, ключи целебные. Я дам вам письмо к Долгоруковой. Вас примут на лето. Отдохните в эту летнюю пору, парного молочка попейте. Нужно отойти от страданий, оттаять душой.

Коля сказал:

— Я бы поехал. Но то, что у меня в подкладке пиджака зашито двести тысяч, меня с ума сведёт. Тогда уж я попаду на психу точно по назначению. Я ведь так и спал эти три ночи, не снимая пиджака. Вернее, не спал, а только дремал. У меня никогда не было таких денег. Возьмите, ради бога, их у меня на сохранение. Мне и расписки не надо! — при последних словах Коля покраснел.

Отец Николай улыбнулся:

— За доверие ко мне, Божьему слуге, спасибо. Но боюсь, что ваши деньги в одночасье превратятся в бесполезную кучу бумаги. Время такое смутное. Я слышал, что новое правительство собирается выпустить другие, новые деньги. Купцы нынче бумажные деньги и в руки не берут. Только серебро и золото. У вас-то бумажные купюры.

— Что же делать, сдать в банк?

— Не поможет. Чтобы спасти бумажки, надо купить ценную вещь. Кольца золотые или ещё что.

— Но я не сумею. Я и цен не знаю. Не поможете ли вы мне?

— Священнику этим заниматься не полагается. Но отдайте ваши деньги моему прихожанину, купцу Степану Туглакову. Он простой, но честный человек, по моей просьбе сделает всё бескорыстно...

В то время, когда Коля беседовал с настоятелем храма, к церковной ограде со страшным треском и дымом подкатил на двухколёсном самокате «Фильдебранд» человек в кожаном костюме. На ногах у него были кожаные краги, руки были в чёрных перчатках. Шлем и телескопические очки придавали ему вид неземного существа. Приделать бы ему хвост — ни дать ни взять сатана, явившийся из ада.

— Ну, — сказал он Федьке, — сколько намолотил?

Федька протянул циклисту завязанные в грязный носовой платок деньги.

— Или половину затырил, или спишь тут целый день на солнцепёке! — сердито сказал самокатчик-циклист. — Смотри! Ты наши законы знаешь!

Адская машина заурчала, задёргалась, громко выстрелила и выпустила при этом из зада вонючую струю дыма. Аспид умчался.

— Кто это был? — спросил вышедший из калитки Коля Зимний.

— Да так, чудак один, — нехотя ответил Федька.

26. Ночь абсолютной свободы

Удивительная жизнь началась в Томске. Про такую жизнь в народе обычно говорят: «Хоть есть нечего, зато жить весело». У пристани валялись калеки, бездомные, по ним толпами путешествовали вши. Оравы полуголых ребятишек, по которым можно было изучать анатомию, объели в скверах всю боярку и стручки акаций. Появились первые тифозные больные. Появился и первый тифозный барак.

Неслыханные вольности позволяли себе газеты, которых становилось всё больше и больше. Они не стеснялись, пользовались такими странными заголовками: «За мои мильёны — снимите панталоны!», «Бандит-привидение на Обрубке», «Пароход! Поцелуй меня в задний проход!».

В книжных магазинах появились романы о похождениях Григория Распутина, а также пикантная книжечка неизвестного автора о кругосветном путешествии балерины Матильды Кшесинской в кортеже наследника престола, переодетой пажом, и прозывавшейся Юрием Ордынским. Там было много откровенных сцен. И всем хотелось узнать, как в юности раз-

влекался бывший царь-государь. В тех же магазинах можно было купить и книги немецкого экономиста Карла Маркса, ранее запрещённые цензурой.

В театрах чего только не показывали — и фараонов с обнажёнными наложницами, и даже слона, который влюбился в куртизанку и вступает с ней в связь! Ресторан «Альказар» на Бульварной оформили в виде Толедской башни замка Карла Пятого. И танцуют там фламенко, гремя кастаньетами, натуральные испанские цыгане. Как они попали в Томск? Вы не знаете?

Приехала в город некая труппа Эрнова. По рекламным тумбам распластались афиши: «Бесстыдница», «Ночь новобрачных», «Тайна спальни хорошенькой женщины», «Не ходи же ты раздетая!».

У каждого были свои заботы. В один душный и прекрасный от запахов цветов и трав поздний вечер, когда в омутах Ушайки тяжело всплёскивали свинцовые таймени, купец третьей гильдии Степан Туглаков бежал по Миллионной улице с огромным рулоном на горбу. Издали казалось, что мужик тащит бревно. Притормозив возле Туглакова на своём моторе, Иван Васильевич Смирнов спросил:

— Ты что же, Стёпка, по ночам брёвна таскаешь?

— Не! — поставив рулон на попа и отирая со лба пот, ответил Туглаков. — Я в Общественном собрании был. Там они зачем-то у самого потолка рояль подвесили. Я всё боялся, что роялина эта сорвётся и на голову мне упадёт. И я там картину купил у этого... как его? Из Москвы приехал, новомодный такой мазила. Забыл, как он называется. Выставку в Общественном собрании сделал.

— Художник, что ли?

— Художник, но как-то чудно называется. Как?... Фу... фу... фуфурист!

— Футурист! — поправил Смирнов. — И зачем тебе его картина? Наверняка гадость какая-нибудь.

Ничо не гадость. «Прощаль» называется.

— Проща-аль? А кто с кем прощается, а ну покажи!

— Так ведь грязно, развернёшь картину да запачкаешь, а ей цены нету.

— А ты на сиденья в моей машине рулон клади, и разворачивай потихоньку.

Туглаков, сопя, положил рулон в машину и стал осторожно отворачивать край картины, Смирнов надел очки и смотрел. В загадочном свете луны показался огромный глаз, висевший на зелёной ветке берёзы, из глаза капали крупные хрустальные слёзы. Внизу была птичка, привязанная за ножку то ли проволокой, то ли верёвкой к фонарному столбу, она рва-

лась к глазу, очевидно, желая клюнуть его. Всё это было страшно и непонятно.

— Сколько дал?

— Золотой браслет. За деньги он не продаёт, гад! В его картине — тридцать два оттенка.

— Ты, Стёпка, очумел! Дорого дал!

— Он сказал, что через сто лет эта «Прощаль» будет стоить миллионы.

— Так ты ж не доживёшь.

— Так у меня ж дети...

— Ладно, садись, подвезу, а то с такой дорогой картиной, в темноте... Ещё отнимут. Нынче на мосту, говорят, раздевают...

Мотор крякнул грушей и помчал двух купцов и картину за мост...

Подвозя малахольного купчишку, Иван Васильевич почувствовал, что ну никак не жить ему без этой «Прощали». Он сказал:

— Тебе, Стёпка, такую большую картину даже и повесить негде. Продай её мне, я тебе дам браслет такого же веса, как был у тебя.

— Не хочу!

— Как это ты не хочешь? Ты с кем разговариваешь, я тебя разорить могу!

— Теперь, Иван Васильевич, — свобода.

— Какая ещё свобода? Да и на хрен тебе эта картина? Ты что? Я тебе два браслета золотых дам и кольцо в придачу. Молчишь? Ты чего же, сволочь, молчишь? Ну, хорошо, я тебе жёлтой пшенички* половину чайного стакана насыплю!

— Останови машину! — сказал Степан Туглаков. — Я дальше пешком дойду.

Степан вылез из машины, подкинул плечом тяжёлый рулон.

— Ну, ты, Стёпка, попомни! — в гневе вскричал Иван Васильевич. — Купец — без году неделя, третьей гильдии, а туда же! Давно ли лаптем щи хлебал?

— Не твоё собачье дело! — донеслось из тёмного переулка, и Туглаков канул в ночи.

Иван Васильевич, вернулся в свой полупрозрачный дворец, сунул в скважину ключ, прослушал всегдашнюю песенку замка. Прислугу будить не стал, тихо поднялся к себе в опочивальню.

Ночь была такая густая! Луна запуталась в ветвях тополей у самого окна, и словно дразнилась, подмигивала. Смирнову

* Жёлтая пшеничка — россыпное золото, более крупной фракции, чем золотой песок.

стало жаль своей уходящей в неизвестность жизни. Вспомнил Ванюшу, сдуру наложившего на себя руки. И Анастасию пришлось от себя отдалить, чтобы не было лишней болтовни в городе. Боль утраты уже прошла. Но всё же под сердцем что-то ныло. И сына было жалко, и себя.

Кто понимает пожилых людей? И морщины не разгладишь, и печень больную не исправишь. Что ни съешь — колом под ложечкой торчит. Да ещё скребёт там, так противно! И одышка мучить стала. И всё равно хочется сладости — так, как никогда здоровому и молодому не хотелось!

Да молодые-то разве понимают, чего хотят? Он, молодой-то, ещё и не ведаёт, что под одежкой у женщины таится, не знает, как толком этим богатством воспользоваться. Напортит только. А пожилой всё знает, ведаёт, какой восторг можно испытать, и как его достичь. Оттого так и тянется к молодому телу. Но боишься завидующих глаз и длинных языков. Пословицы ядовитые по лавочкам всё лето вместе с кедровой скорлупой от бабьих языков отскакивают. «Седина — в бороду, бес — в ребро!»

Седина... В тёмное время суток приходится через задний двор к еврею незаметно ходить. Иудей за хорошую плату тайно подкрашивает ему волос. А часы ведь не остановишь! Вон маятник позолоченный — туда-сюда, туда-сюда! Тик-так! — Будто гвозди в гроб вколачивают! И пожаловаться никому нельзя. Скажут: чего ты? Ведь пожил!

А разве пожил? Смолоду бился, как рыба об лёд. Копеечку к копейке, всё — в дело! Недоедал, недосыпал. В Кяхту ездил, во Владивосток, в Монголию, в Китай. Как бы повыгоднее сделку устроить, как бы копейку лишнюю сшибить. Всё думалось: придёт мой черёд! И вроде черёд-то пришёл. И что? Добро приходится прятать в тайники, в подвалы. Соборную площадь называли площадью Свободы. Митинги идут там почитай каждый день. Ораторы от самых непонятных партий. Чего они хотят, все эти — бритые и с усами? О какой свободе толкуют, если у иного за душой и гроша ломаного нет?! Некоторые очень даже ясно высказываются. Отобрать всё у богатых. Общее будет всё! Всё? Значит, и бабы будут общие? И выдадут бывшему купцу Смирнову какую-нибудь старуху — пользуйся! Ты хоть и крашешься, а мы твой возраст знаем!..

Куда идём? Что за жизнь такая готовится?.. А тут — Туглаков с картиной этой. Почему-то кажется, что стоит принести эту «Прощаль» в свой дворец, повесить в кабинете, и случится какое-то чудо. Не то прощение грехов, не то ещё какое добро. А Стёпка!.. Да как он смел перечить?..

Смирнов ворочался, постель казалась горячей, неудобной. Всё — не так. Работал, копил, мечтал..

Но в эту ночь на первое июля не спал не только Иван Васильевич Смирнов, не спали и многие люди в недостроенных казармах неподалёку от станции Томск-второй.

Нынешний руководитель страны, бывший адвокат Керенский, носивший полувоенную форму, придумал, как можно быстро пополнить российскую армию. Из ссылки и тюрем стали забирать людей в армию. Вот и в Томске таких рекрутов разместили в недостроенных казармах. Сразу же им оружие выдали. Чтобы в два-три месяца они его пристреляли на стрельбище, немножко подучились воинской дисциплине, и можно было бы отправить их на фронт. В Томске особо опасных рецидивистов приковывали к тачкам. Куда бы они ни шли, они обязаны были тащить за собой тачку. Ложась спать, они клали тачку под нары. И то-то были рады они неожиданному освобождению! На войну идти? Да хоть к чёрту в зубы!..

Вот к этим-то полууголовным воинам в казармы тайно являлись агенты анархиста Кляева и объясняли, что на фронт бедолагам ехать совсем не обязательно. Все советы, комитеты и партии — врут! Человек рождается свободным, это потом на него навешивают погоны, надевают мундиры. Заставляют козырять, маршировать. А человек — он должен жить, как ему нравится! Любое государство — инструмент подавления. Так завещали великие анархисты: Кропоткин, Бакунин и многие другие. Долой муштру! Новобранцы должны восстать вместе с анархистами в ночь на первое июля 1917 года. Надо захватить власть в Томске, и сделать всех людей абсолютно свободными. Сделаем свободным Томск, потом всю Сибирь, потом — весь мир! И Томск будет анархической столицей мира.

Иван Васильевич Смирнов уже стал задрёмывать, когда громыхнуло в районе Томска-второго. Ударили пушки. Пулемёты принялись строчить не хуже швейных машинок «Зингер».

Услышав все эти звуки, Иван Васильевич вскочил с постели, хотел нажать кнопку звонка, но вспомнил, что золото всё переправлено в надёжные места. Товары спрятаны так, что не вдруг их найдут. Ну пусть возьмут то, что на виду лежит. Да и вообще — непонятно, кто стреляет. Не иначе как эти разномастные партии перессорились, чёрт бы их всех взял! Иван Васильевич выкурил сигару и снова прилёг — будь что будет.

А возле недостроенных казарм пули посекали кисти черёмухи и ветки акаций. Пахло их ароматом и тёплой человеческой кровью. В панике бежала земская милиция совместно с милицией советов депутатов, или как их там ещё! Нет милиции. Огромное чёрное знамя вплыло в рассвет, на знамени серебря-

ный череп с перекрещёнными берцовыми костями и золотая надпись: «Анархия — мать порядка!». Знамя укреплено было на броневике, который захватили анархисты.

Кляевцы нашли скульптора — австрийца Генриха Бермана, и этой победной ночью привели его во двор на Ефремовской улице. В тот самый двор, где когда-то во флигеле жил сам Бакунин. Михаил Кляев поставил возле Бермана охрану из двух анархистов с кольтами в руках и шестерых анархистов — с мотыгами и штыковыми лопатами. И сказал Михаил пламенную революционную речь:

— Ты, скульптор! В данный момент времени надо народу дать символ. Надо спасти народ! За ночь сделай нам памятник Бакунина! Не возражай! Требуешь материал, помощников, но не возражай. Откажешься — вон те шестеро моментально выроют тебе могилу на том самом месте, где ты стоишь! А те — с кольтами — расстреляют тебя! Мы засыплем яму, и тут же найдём другого скульптора. Думай! Даю минуту и пять секунд!..

Скульптор-австриец изваял памятник великого анархиста Бакунина из алебаstra ещё до рассвета. Ему светили автомобильными фарами и керосиновыми лампами. Он изобразил Бакунина в рост с рукой, зовущей на свержение всех мировых правительств. Памятник был тонирован под бронзу. Бакунин был не очень похож, но красив.

И вскоре этот памятник стоял уже перед Домом Свободы, а Михаил Кляев кричал с трибуны:

— При освобождении города погибло немало анархистов! Молодые люди отдали жизни за дело революции и свободы жителей всего земного шара! Мы помним своих героев. Мы нашли могилу Александра Кропоткина около женского монастыря и засыпали её живыми цветами. Мы переименовываем Томск в город Бакунинбург, это теперь — столица мировой анархии!

Граждане, выпускайте канареек и щеглов из клеток! Не должно быть в Бакунинбурге ни одного заключённого! Свобода, граждане! Сейчас наши летучие отряды идут громить тюрьмы, присоединяйтесь, граждане! Вперёд! Темницы рухнут и падут оковы с наших рук, ну и так далее! Никаких командиров, никаких господ и лакеев! Все равны! В этом и есть счастье! Ура!

Кляев трижды выстрелил вверх из кольта, и толпы кинулись громить тюрьмы и выпускать всех подряд: политических, уголовников... С наступлением ночи армия анархистов пополнилась бандитами всех мастей. И тут же пошли к Лагерному саду громить винную монополию, где в глубоких подвалах хранились здоровенные дубовые бочки со спиртом. Они хра-

нились там много лет, выделяли в спирт дубильные вещества. Получался как бы коньяк. Кляев объявил анархистам, что надо непременно и немедленно уничтожить это огромное социальное зло.

Когда кое-как вскрыли железные кованые двери и ворвались в подвалы, то увидели, что зло это поистине огромно. Почти на два километра тянулись подземные галереи, где на стеллажах уютно прикорнули огромные дубовые бочки.

Кляев прострелил одну из бочек, из дыр ударили тугие струи, мужики подставляли под струи раскрытые рты. Глотали. Отирали рукавами небритые подбородки. Но большая часть спирта проливалась на землю, пропадала даром.

— Выкатывай бочки наверх! — прозвучала команда. Кряхтя, катили вверх по крутой лестнице. Наверху бочка застряла в двери. Пришлось ставить её «на попа». Толкали дружно, а бочка упала, покатила обратно в подвал по ступеням, подпрыгивая и сшибая полупьяных анархистов.

Кляев матерился. Потом успокоился. Похороним, как героев, борцов за свободу! Пусть томичи видят, кто за их счастье свои молодые жизни отдал.

И были пышные похороны героев. И вино текло рекой. Памятник Бакунину перенесли с площади Свободы ближе к реке Томи, к пристани. Установили в пристанском сквере. Тут — речные ворота города. Тут простор и вольность, и свежий ветер с реки. Тут и стоять великому анархисту.

27. Молитвенный барабан

Григорий Николаевич Потанин быстро дряхлел, он терял зрение, перебеливать рукописи ему помогали добровольцы из томских курсисток. И, конечно, он говорил им о значении Сибири, о том, что живёт здесь народ, в корне отличающийся от людей, живущих в европейской части России.

Говорил и о том, что на свете много красивых городов, но Томск — всех прочих красивее. Смотрите: вот полноводная река Томь, а город стоит на холмах, одетых лесом и кустарниками, с гор текут малые речки и ручьи, много озёр больших и малых, каждый холм венчает церковь, и многие дома этого центра великой губернии смотрятся, как картины, вырезанные из дерева. Здесь свой говор, свои нравы и обычаи, и развлечения свои... В деревнях даже малые дети привычны влезать на высоченные кедры, сбивая с ветвей шишки, они при этом проявляют чудеса ловкости. Где ещё можно видеть, как во время ледохода люди перебегают с одного берега на другой

по льдинам, плывущим по великой реке? И когда застывают реки и озёра, их превращают в катки, и каждый человек умеет скользить на коньках, а уж лучших лыжников, чем сибиряки, во всей России и во всём мире не сыщешь. Ловкость и сила. Телесное и духовное здоровье, это всё — сибиряки.

И город влияет на характер людей. Здесь даже ворота имеют своё особенное лицо, отражающее характер Сибири. Взгляните-ка на въездные усадебные, и церковные, кладбищенские ворота! Они необыкновенны! Есть ворота с личинами, похожими на лики степных монгольских истуканов, есть ворота с имитацией кровли китайских дворцов. Таких ворот вы не увидите в срединной России...

Закончив свои занятия и проводив курсисток, Григорий Николаевич клал в карман блокнот, карандаш, и выходил из дома еврейки Сарры Каруцкой. Он снимал здесь квартиру, потому что из окон открывались чудные виды. Одни окна смотрели на речку Ушайку и на мост, в другие — видна была Воскресенская гора с костёлом и каланчой на её вершине.

«По крайней мере, если будет пожар, то пожарная команда — рядом», — думал Потанин, глядя на каланчу.

Он шёл отнюдь не старческой походкой. Встречавшиеся прохожие все, как один, с ним здоровались. Он опять удивлялся этому. Его знает весь город? И вспомнился ему девятьсот пятый год. Тогда росло революционное движение. Осень прошла в стачках. Бастовали студенты, рабочие, часть служащих. Власти безумствовали. Губернатор наблюдал с балкона, как черносотенцы подожгли театр Королёва и соседнее здание, и убивали всех, кто пытался спастись из огня.

В конце октября начались погромы. Били евреев, студентов, могли убить всякого, кто имел интеллигентный вид и носил очки. Но митинги не прекращались. В публичной библиотеке заперлись студенты и гимназисты, а в здание ломилась желавшая расправиться с «бунтовщиками» толпа.

И тогда он побежал туда, без шапки, от холодного ветра копна его седых волос вздыбилась. И пропустили его казаки, и пьяные грузчики, и извозчики. «Защитники царя и отечества» почувствовали, что он может тут распоряжаться, хотя он не выделялся ни ростом, ни одеждой. И он вывел из здания студентов и гимназистов, как Моисей вывел свой народ из Египта. Он гневно твердил:

— Стыдно! Это же наши дети! Как можно?

Газеты потом писали об этом, как о подвиге. Спасённые им дети давно выросли. Он их не узнает, их ведь было много. А они все его запомнили, вот и здороваются.

И опять в его памяти ярко нарисовалась Мария Григорьевна Васильева, поэтесса. Когда она выпустила свою первую кни-

гу «Песни сибирячки», он написал о её стихах взволнованную статью. Это же так важно, что у Сибири есть свои замечательные поэты! А потом женился на этой поэтессе, когда ей было всего сорок восемь, а ему семьдесят шесть лет.

Они тогда сели в Томске на роскошный пароход и отправились в Барнаул. Горной рекой и хвойным шелестом отшумел, отзвенел медовый месяц. Были походы, костры, мёд в сотах, стихи. А через пять лет они разошлись. Это был последний пожар сердца в его жизни.

Первая его супруга скончалась давным-давно, когда они вместе были в экспедиции на Алтае. Теперь главная его любовь — Сибирь, куда попал он в давние годы. Уже далёким сном кажется Омский кадетский корпус, куда он, сын казака, прибыл из станицы Ямышевской Семипалатинской области. Он подружился там с Чоканом Валихановым, казаком из знатного правительствующего рода. Этот аристократ, оказывается, мечтал о великой справедливости. Столица, забирающая из далёких сибирских окраин всё, взамен не даёт ничего. И разве можно справедливо и правильно руководить таким далёким краем из Петербурга? Сколько же можно держать богатейший край, Сибирь, в дикости и нищете?

Речи Чокана были опасны, и вселяли в юное сердце тревогу. Его слова были как зёрнышки, лежащие в тёплую рыхлую почву, чтобы после дать обильные всходы. Позднее Потанин учился в университете в Петербурге. На третьем курсе он был одним из застрельщиков студенческих волнений, и попал в Петропавловскую крепость. С тех пор много воды утекло, куда его только судьба не носила. Старость он встречает в Томске. А дети? Все дети Сибири — его дети.

Лучшим отдыхом Потанин считал пешие прогулки по закоулкам великого города Томска. Ведь даже мебель томская несёт на себе черты этого дивного края. И во многих томских домах стоят огромные, до потолка, буфеты, по дверцам которых раскиданы резные цветы, тихие заводы с кувшинками и глухари на кедровых ветвях.

Последнее время он часто отдыхает в роще на берегу Ушайки в маленьком буддистском монастыре. Два прислужника день и ночь крутят молитвенный барабан Хурдэ, в котором — свитки с текстами. Звонят мелодичные колокольчики. Старик-монах, одетый в жёлтый плащ, наигрывает заунывные мелодии на тибетской флейте, сделанной из человеческой кости.

Здесь Потанину хорошо вспоминать свои путешествия. Из трубы монаха выплывают раскалённые пески Средней Азии и Монголии, странные горы Тибета, загадочные пейзажи Китая. Переводчик, фольклорист, натуралист, этнограф, писатель, он давно понял, что у Сибири — особая миссия.

Великий старик спустился к речке, вежливо по-монгольски поздоровался с монахом и прислужниками. Они долго кланялись, пригласили его к своей обеденной трапезе. Потанин знал, что отказ был бы страшной обидой, и согласился отведать самодельной брынзы, которую запивали жирным монгольским чаем.

Григорий Николаевич уже собирался прощаться с гостеприимными обитателями монастыря, когда в ограде появились два новых посетителя. Это были симпатичные, хорошо одетые юноши. Одного Григорий Николаевич знал. Это был Володя Долгоруков. Григорий Николаевич вздохнул, глядя на него.

Отец Володи, князь Всеволод Долгоруков, попал в Томск так же, как и многие его нынешние жители. Когда ему было примерно столько же лет, сколько теперь его сыну, он был отдан под суд по делу орудовавшей в Петербурге шайки «бубновых валетов». Фальшивые ценные бумаги, облигации, миллионные дела...

В Сибири князь не сгинул, не потерялся. Он служил присяжным поверенным в губернском суде. И кроме того был редактором первого в Сибири журнала «Сибирский наблюдатель». Он был поэтом, писателем, публицистом, читатели ждали его новых статей, печатавшихся в газетах «Сибирская жизнь» и «Сибирский вестник». Первое время он подписывался псевдонимом Северянин, потом подарил этот псевдоним столичному поэту Лотареву. А сам стал издавать статьи и стихи под своей собственной фамилией. Он вообще опекал молодых литераторов. Был в Томске способный молодой прозаик Валентин Курицын. Долгоруков правил его криминальные романы и печатал в журнале под псевдонимом Не-Крестовский. У Валентина был несомненный литературный дар, но его свела в могилу известная российская страсть к горячительным напиткам. Когда в 1912-м году на Вознесенском похоронили и Долгорукова, то могилы ученика и учителя оказались рядом.

Потанин смотрел на Володю Долгорукова и узнавал в нём черты покойного князя. Но было и ещё нечто в облике юноши. Многие он взял и от матери, урождённой Аршауловой. Князь в своё время женился на сестре полицмейстера, она окончила Петербургскую консерваторию, великолепно пела и играла на фортепиано. И была красива, как и её брат — полицмейстер.

Пётр Петрович Аршаулов-первый носил на указательном пальце золотой перстень с бриллиантом, подаренный ему Александром Третьим. Аршаулова называли томским Пинкертоном за то, что он изумительно ловко распутывал самые запутанные уголовные дела. Извозчики говорили, что полицмейстер всегда платит честно, но имеет привычку чиркать шпорой по лакированному кожуху, который укрывает колёса

от грязи. Поцарапает кожух и доволен: роспись свою оставил! Короче — это была артистичная натура.

В 1890 году приезжал Чехов, и в это время полицмейстер выпустил книжку «Воспоминания, от Гельсингфорса до Константинополя». Это — о войне на Балканах, в которой Аршаулов участвовал в чине подпоручика. Принёс он великому писателю ещё и рассказы из жизни городского «дна», напечатанные в «Сибирском вестнике». Чехов признал рассказы недурственными. Затем они вместе посетили публичные дома на Бочановке. Что там видел Чехов и воспользовался ли услугами томских вольных дев — истории неизвестно.

— Как поживаете, Владимир Всеволодович? — поинтересовался Потанин. — Занимаетесь музыкой, или же литературой? Или же тем и другим? И то и другое вам должно передаться по наследству от ваших родителей и родичей.

— Я пока ищу себя, — ответил Володя, — как и мой спутник, Николай Зимний. Ему труднее, у него нет родителей... Увы, он вырос в приюте, но он на удивление деликатный и интеллигентный человек.

— Вот как? — сказал Потанин, внимательно вглядываясь в Колю Зимнего. Вы уроженец Томска?

— Вы угадали.

Да угадать нетрудно, томичи имеют особенную печать. Может, будет нужна моя помощь?

— Не знаю, не думаю... — смущённо ответил Коля. Он знал, кто такой Потанин. Видел портреты в газетах. Слышал его выступления на митингах. Было неловко обременять собой такого знаменитого человека, и такого уже немолодого. Григорий Николаевич достал записную книжечку, написал свой адрес, вырвал листок и подал Коле:

— Здесь мой адрес. Да, вы молоды, а я, как видите, совершеннейший мастодонт. Но у меня много знакомых, и молодых, и старых. И мы, конечно, что-нибудь придумаем. Я знаю, такие, как вы, должны вовремя получать опору в обществе. И помочь вам я считаю своим долгом. Обязательно приходите. Не стесняйтесь...

Буддисты продолжали мерно раскручивать молитвенный барабан, колокольцы звенели. Коле почему-то казалось, что в этом барабане вращается его судьба.

28. Войлочная заимка

Федька Салов жил теперь на Войлочной заимке, удивляясь поворотам судьбы. Почему оно так получается? Только человек нашёл дармовую кормушку, начал вполне самостоятельную жизнь, как сразу является кто-нибудь и заявляет, что за всё в жизни надо платить, и что Федька сам по себе жить не имеет права.

До того, как он попал на постой на Войлочную заимку, Федька просил милостыньку просто: сидел у церкви и ныл:

— Ради Христа, помогите убогому.

За день набиралось на горбушку хлеба да на кружку стенолаза, да на то, чтобы рассчитаться за ночлежку. Он и доволен был.

Но однажды к церковным воротам с треском подкатил на самокате неведомый человек в кожаном шлеме и больших чёрных очках. Притормозил он так, что передним колесом едва не переехал Федьку. Соскочил с сиденья, отряхнул пыль с сапога и сердито сказал:

— Разве же так просят, Федя? У тебя ж ноги нет, это ж золотое дно! А ты сидишь тут, талы-малы, понт раскинул, как последний партач. Айда на хавиру, прибораклим, тот ещё жох будешь!

Салов ничего не понял, странно было: откуда этот рыжий наглый парень знает его имя?

— Молчишь? По фене не ботаешь? Научим. Я тебе сказал, что зря ты тут губами шлёпаешь, задарма штаны протираешь. Пойдём к нам на Войлочную, мы тебя так переоденем, что ты только успевай деньги хватать! Понял? Я — Аркашка, Папан. Тебе тоже кликуху дадим.

— Не хочю я, — сказал Федька, — отвяжись!

Парень тотчас хлопнул его ладонями по ушам, так что Федька оглох, на миг даже ослеп, потом из глаз потекли слёзы. Аркашка ухватил его за ворот, подтащил к самокату искомандовал:

— Позади меня садись на сиденье, да костыли крепче держи.

Старушки-нищенки запричитали:

— Ой, да куда же его, убогого?

Они причитали просто так, на всякий случай, по привычке, ибо в глубине души были рады тому, что у них теперь не будет конкурента. Но старушки в своём предположении ошиблись.

Всего через час самокатчик привёз Федьку обратно, но теперь Салов был одет в военный мундир, шинель, на груди у него сияли Георгиевские кресты.

Федька постелил шинель, уселся на неё, положил картуз возле себя и принялся озвучивать только, что заученные на заимке слова:

— Братья и сестры! Пострадавшему на германской войне герою, ради Христа нашего! Я это... грудью родину закрыл! Шрапнелью ногу оторвало! Я кровь проливал, босиком по трупам бегал!

Подошёл Аркашка, сказал:

— Не бегал по трупам, а от врага по горам трупов к своим пробирался, усёк?.. Ну, в общем, так, в таком духе... Возьми вот луковицу, как народ к обедне пойдёт, ты луковицу раздави и соком глаза натри, про фронт им рассказывай, и плачь, и плачь! Как? Да очень просто. Артисты в театрах плачут же? Плачут, потому что жрать хотят. Вот и ты плачь, а то — смотри у меня!

Аркашка укатил, а Федьке что было делать? Стал учиться плакать. И стало получаться. Ему понравилось, он артистом себя почувствовал. Ему-то понравилось, а старушкам — не очень! Они стали гундосить:

— Обман, православные! Он и не герой совсем. Ему, может, поездом ногу срезало, это ещё разобраться надо!

Федька вскочил, заревел:

— Ах вы, сикухи! Меня кайзер газом травил, мне снарядом ногу отшибло! Мне от царя-батюшки крест даден! Как сейчас перетяну по дурной башке костылём! — и замахнулся. Старухи увидели, что Федька трясётся весь, слёзы текут, и слюна брызжет. И умолкли нищенки. А шут его знает? Может, и правда, на войне пострадал. Да вот просить-то рядом с ним плохо. Вся крупная денга Федьке идёт. А им теперь только мелочь перепадает, и то не всегда.

Кормили на заимке Федьку хорошо, и выпить давали. Но иногда ему было там страшновато. В доме Ивана Бабинцева, кряжистого, угрюмого, старого мужика жили главные томские воры. И жил там не кто иной, как Цусима, от которого Федька еле спасся, когда был вроде как сумасшедшим и забрёл за самогоном на таёжную заимку. Цусима теперь, к счастью, его не узнал. Времени много прошло, да и прежде Федька был на двух ногах.

Воры нередко устраивали сходки, на которых разбирались непонятные Федьке дела. Говорили вроде бы по-русски, но понять что-либо было невозможно. Однажды во время разборки Бабинцев подошёл к одному из воров сзади и вонзил ему финку под лопатку. Тот издал хрюкающий звук и свалился под стол. Никто не кинулся упавшего поднимать, все продолжали курить, пить вино и разговаривать, как ни в чём не бывало. Только один из воров отпихнул мёртвое тело подальше под стол, чтобы его не было видно. Федька тогда подумал, что у

колдуна-то было куда безопаснее, чем на этой заимке. Но он понял уже, что отсюда, как от колдуна, не убежишь. Эти найдут, со дна моря достанут. И зарежут, как пить дать. Вот влип так уж влип!

Рядом с домом Бабинцева жили тоже воры. Детишки в люльках там лежали с перебинтованными левыми ручками. Федька однажды спросил у Аркашки Папафилова, зачем руки младенцам бинтуют, и обязательно левые. Аркашка пояснил:

— Младенцам этим будут левые ладошки бинтовать, пока они не вырастут. У каждого из них будут на левой руке узкие ладони, длинные пальцы. Раза в два длиннее обычных. И парнишки эти, и девчонки станут карманщиками и карманщицами. Никто не ждёт, что к нему в карман полезут левой рукой, а они именно левой и будут работать. Вот затем-то и бинтуют теперь ладошки

Аркашка не объяснил — чьи это младенцы. Но со временем Федька больше пригляделся к воровской жизни и многое узнал. На заимке всякие воры жили, но больше уважали воров-домушников и карманников. Эти должны были иметь особую ловкость и большие знания. Домушники-потихушники влезали в квартиры через форточки, окна, кладовки. Скокари знали конструкции всех замков, могли вскрывать их не только отмычками, но и специально отточенным длинным ногтем. Были и карманники разных специальностей, работавшие в одиночку или группами, резавшие карманы и сумки остро заточенным пятаком или бритвой.

Ворам всех специальностей не полагалось жениться, им дозволялось лишь иметь «марух». А это были такие женщины, с которыми можно только потешиться, пропивая добычу. Так, временная подружка. Но рожать детей «марухи» не могли. А если бы и рожали, то эти дети были бы безнадежно больными. «Марухи» ведь все до единой пили водку, курили табак и нюхали кокаин. Его обычно берут из маленькой вазочки длинными тонкими деревянными щипчиками, подносят к ноздре и вдыхают. Во время пьяных оргий здесь нередко звучал романс:

Перебиты, поломаны крылья,
Дикой злобой мне душу свело,
Кокаином — серебряной пылью —
Все дороги вокруг замело...

Какие уж тут могут быть дети! Поэтому были среди воров и такие, которые воровали не только лошадей, коров, коз и свиней, но и ребятишек. Эти спецы выглядывали зазевавшихся няnek и матерей, иногда крали младенца прямо из зыбки, проникнув в квартиру через окно или дверь. На заимке младенцы

получали новые имена, и вырастали, не зная родства своего. И становились классными ворами-специалистами.

Можно спросить, куда же смотрела прежняя полиция, и куда смотрит нынешняя милиция? Да. Случалось, что полиция устраивала в слободке облавы. Но о каждой такой облаве вору узнавали заранее, имея своих платных осведомителей и в полиции, и в жандармерии. Всё лишнее в момент пряталось в тайных укрытиях, подвалах, пещерах. У всех были на руках документы, по которым они числились мастерами — войлочниками, пимокатами. В каждом дворе была глухая изба — вальня, где полицейским могли показать станок для сборки пимов, там стояли и бутылки с кислотой, необходимой для валяния шерсти. Была и шерсть.

— Войлочники мы! — и всё тут.

Ну а когда старых полицейских отправили на фронт и пришли в милицию люди неопытные, слабые телом и духом, кого было ворами и бандитам бояться? Не таких за нос водили!

На лавочках в слободке можно было видеть уже подросших пацанов. Вот один, лет десяти, сидит на лавке, положив ладонь на неё и растопырив пальцы. И со страшной быстротой вонзает финку, раз — рядом с ладонью, другой раз — меж пальцев. Прошёл все промежутки меж пальцами в одну сторону, и направляет удары финки обратно, только треск стоит: тра-та-тата! Заметил Федькино изумление и говорит:

— Возьми финку, сделай! Сделаешь — червонец плачу. Не получится — ты мне червонец отдашь.

Федька в испуге замахал руками:

— Что ты, что ты! Я и так хромой, да ещё мне пальцев лишиться!

— Ну и кати, фрей, мимо! А не то финачём на пузе расписку поставлю!

Федька поспешно отскочил от пацана. Да тут и восьмилетка зарезать может, а уж десятилетний и подавно! Ох и страхи! Не только взрослых бояться приходится, но и детей. Их жестокости ещё в люльке обучают. Только начнут ходить — дают кошек, чтобы убивали, дают собак, чтобы резали, привыкали к крови.

После, на своём посту возле церкви, он механически повторял свои байки про германскую шрапнель, про горы трупов, а сам думал, как ему спастись. Вот влип так влип! Затащил его Аркашка Папан, чёрт рыжий, в такую пропасть, что из неё и выхода нет. Выручку всю забирают, и утаить нельзя — убьют! Только кормят, да иногда выпить дают, но ему уже и кусок в горло не лезет! Вот обрядили в мундир!

29. Дети мои!

Томск так и не стал столицей мировой анархии. Новая власть собралась с силами. Солдаты гарнизона совместно с милицией направились арестовывать анархистский штаб, но были встречены огнём. Анархисты забаррикадировались в казармах на «втором Томске», отстреливались из пулемётов и даже артиллерийских орудий. Тогда к вместилищу анархии подтянули артиллерию. Поручик Леонид Андреевич Говоров командовал мортирами, с помощью которых прежде всегда весной кололи лёд на реке Томи, чтобы не было заторов и наводнения. Теперь мортиры принялись посыпать шрапнелью казармы, где засели анархисты.

Кляев материл самыми грязными словами Керенского, а также и Говорова, и в страхе смотрел, как разрушаются баррикады и стены. И в конце концов дал команду всем поскорее смываться.

— Мы ещё встретимся! Мы победим! — пообещал он, и на самокате отбыл на вокзал, где его ждала скороходная дрезина. Анархисты стали убегать. Смываться — дело было для многих привычное. Одни бросили оружие и побежали в соседнюю рощу. Бежали, прячась за деревьями, к Ушайке и далее — за город, в лес. Иные с оружием уходили в сторону свечного завода и кухтеринской пасеки. Одни решили спрятаться в охотничьих избушках, а кто-то пробирался в родную деревню.

Милиционеры обыскали казармы и никого не нашли. Так кончилась в Томске анархия.

В разгар осени Коля Зимний перешёл через новый мост, который называли томичи Каменным, хотя на самом деле он железобетонный. Стараниями архитектора, профессора Константина Константиновича Лыгина и военнопленных австрийцев, которые возводили сей мост, ему был придан такой колер, что его перила и колонны казались сделанными из песчаника.

Лыгин установил четыре обелиска-столба, предназначенных для устройства на них фонарей, и четыре монументальные колонны, поставленные попарно с каждого берега реки Ушайки. Колонны были украшены корабельными носами и личинами драконов. И это придавало мосту вполне петербургский облик.

Под мостом волны Ушайки несли золотые осенние листья, кружили палую листву в водоворотках, вода была то зелёной, то тёмной, в зависимости от туч или облаков, проплывавших в небесах. Золото роняли деревья к подножью костёла на Воскресенской горе, листва шуршала в канавах, воздух был свеж и настоян на хвое. Пихты, сосны и ели, и кедры показывали свой

сибирский характер. Они не облетали, не увядали, жили как бы вне времени.

Коля сразу нашёл дом на спуске от костёла. Постучал молотком в медную пластину. Отпершая дверь горничная спросила Колю, к кому он пришёл. Он протянул ей бумажку, на которой рукой Потанина был начертан адрес:

— Вот, меня Григорий Николаевич приглашал.

— Назовите себя, я хозяина спрошу.

Она вернулась, и пригласила Колю в дом. Когда поднимались по лестнице, немолодая эта рябоватая женщина сказала:

— Он не очень здоров сегодня, так что уж вы долго не задерживайтесь. Он не считается со здоровьем, принимает всех подряд, доктора потом ругаются.

— Я недолго! — успокоил её Коля. Он готов был отказаться от визита: в самом деле, зачем он вторгается в жизнь пожилого больного человека? Пригласил? Мало ли что! Форма вежливости. Кстати, приглашение давнее, Потанин, может, уже и забыл о нём. Ай-ай! Как неловко!

Но горничная уже сказала, отворяя дверь:

— Сюда пожалуйте!

На пороге кабинета Колю встретил Потанин. Он был в простой фланелевой блузе, полосатые брюки были заправлены в старые валенки. Потанин поздоровался с Колей и сказал:

— Прошу прощения за непрезентабельный вид. Ревматизм. Сказываются мои давние путешествия в горах. Знаете, какая ледяная вода в них? А ведь не раз приходилось переходить реки вброд. Ледяная вода, но зато изумительно чистая, кристальная! В городах, да и в равнинных сёлах такой воды никогда не бывает. Очевидно, горцы отличаются долголетием потому, что пьют целебную горную воду.

— Вы предлагали зайти, и... — Коля смущённо умолк.

— Да, я ждал вас гораздо раньше. Но, очевидно, там так хорошо в Заварзино у Долгоруковых, что вы только теперь собрались зайти. Как здоровье замечательной Володиной матушки и его самого?

— Они здоровы. Но живут трудно. Я хорошо провёл у них лето, а теперь перебрался в общежитие мальчиков-грумов, где жил в детстве. Теперь там нет грумов, а в магазине Второва нет товаров. Я ищу себе какое-нибудь дело.

— Присаживайтесь! — сказал Потанин. — Я скажу, чтобы нам принесли чаю, и мы всё с вами решим. У вас хороший почерк?

— Мне трудно судить, но вроде неплохой.

— Возьмите вот эту страницу из моей будущей книги, и перепишите. Вот вам чернила и бумага.

Коля обмакнул перо в чернильницу, снял лишние чернила тряпичной перочисткой и принялся писать. Ещё и чай не принесли, а страница уже была готова.

Потанин взял лупу и стал рассматривать написанное. Наконец он воскликнул:

— Мой друг! Это прекрасно! Ни одной ошибки, и такой почерк! Подождите некоторое время, и место делопроизводителя вам в любом случае будет обеспечено. А пока вот возьмите самоучитель стенографии. Это такой способ записывать двумя-тремя значками целые слова и даже предложения. С помощью стенографии хорошо записывать лекции и речи ораторов. Это пригодится во многих случаях жизни. Не пожалейте усилий, чтобы этим овладеть.

— Обязательно постараюсь! — искренне отвечал Коля.

В этот момент горничная водрузила на стол небольшой медный самовар, повесив на его кран сдобный калач. Затем принесла заварной чайник, вазу с комковым сахаром и сахарные щипцы.

Они разлили чай по чашкам, Коля сказал:

— Я вообще-то мечтаю стать военным. То есть или пропасть на войне, или получить чин. Ибо я ощутил, что жить и далее в унижении, в приживальщиках больше не смогу. Я не окончил никакой школы, ни тем более гимназии. Меня не примут даже в промышленное училище, не говоря уж об университете. И мне так тяжело думать, что до самой смерти я должен буду жить на дне жизни. Правда, мне Ваня Смирнов перед смертью подарил двести тысяч рублей царскими, но вы же знаете, что на них сегодня в городе ничего не купишь. Вот я и передал эти деньги купцу Туглакову, чтобы он их обменял на золото. Но сейчас такое время, что уже перестали золото продавать, так мне сказал Туглаков, но обещал хоть какую-то часть денег всё же сменить.

— Зачем же вы связались с купцом?

— Мне священник Златомрежев посоветовал.

— Он, видимо, сам не очень понимает наше время. Сейчас всё меняется быстро, как погода за окном. Но вы не отчаивайтесь. Пока будете переписывать мои рукописи и изучать стенографию. Возможно, скоро произойдут такие перемены, что я смогу вам предложить хорошую должность. А потом... У меня много знакомых преподавателей, профессоров. Я похлопочу за вас. Вы сдадите экзамены экстерном за гимназию. А на будущий год поступите в университет. Вы, кажется, мне не верите?

— Я себе не верю.

— Верьте и себе, и мне. Я один из тех, кто хлопотал, чтобы в Томске был открыт университет. Вы честный и хороший юно-

ша, как я понимаю. Коренной сибиряк. Метрополия — монополист. Узурпатор. Злодей. И вы хотите погибнуть за её интересы?

— Я хочу стать человеком.

— Вы станете им здесь, в Сибири. Вот, возьмите пока рукопись, вот вам деньги на бумагу и чернила, и аванс. Очень скоро я пришлю посыльного в ваше общежитие. И ваша жизнь переменится... Да, я недавно напечатал статью в газете «Сибирская жизнь». Сейчас сложная политическая обстановка, различные партии рвутся к власти. Вам сложно ориентироваться. Вы, может, вообще о политике не думали. Но зато она думает о вас. И так или иначе касается вашей жизни. Я дам вам номер газеты со своей статьёй, почитайте на досуге, может, что-нибудь поймёте...

— Да, я о политике не думал. Не понимаю. Вот шёл к вам — на улице Почтамтской, номер один, на доме Бернштейна, в котором сионистский клуб размещается, увидел огромный лозунг: «Готовить народ для страны, страну для народа». И портрет, под которым написано: «Теодор Герцль». Кто такой этот Теодор? И как это — готовить страну для народа? Убей — не пойму.

— Всё просто. Герцль — проповедник сионизма. В 1880 году барон Ротшильд купил куски земли у арабов для переселения евреев. В томском клубе сионисты вербуют добровольцев для выезда в Палестину через Владивосток. Вам до того — какая забота? Вы же не еврей!

— Я о том, что политику понять трудно. Даже лозунги не всегда ясны.

— Надо любить Сибирь, свой народ, тогда всё станет ясно...

Коля расположил бумаги Потанина на колченогом столе в комнате общежития. Прежде всего он прочитал статью в газете «Сибирская жизнь». Там Григорий Николаевич писал: «Строй, который готовят нам большевики, не на тех ли началах построен, как только что низвергнутый монархический строй? Если бы проекты Ленина осуществились, русская жизнь снова бы очутилась в железных тисках, в ней не нашлось бы места ни самостоятельности отдельных личностей, ни для самостоятельности общественных организаций. Опять бы мы начали строить жизнь своего отечества, а кто-то другой думал за нас, сочинял для нас законы и опекал бы нашу жизнь...».

Коля прежде почти не читал газет. А если открывал иную, то скучно ему было читать о каких-то партиях, которые борются за то или это. То ли дело — Фенимор Купер! Или, скажем, Жюль Верн. Капитан Немо боролся за свободу своей нации. Но он, кажется, был индийцем. И ещё — американцы,

смелые и свободолюбивые, летели на воздушном шаре. Но это было где-то далеко, где плещут волнами тёплые океаны, на таинственных островах, полных разных чудес. В его жизни было одно чудо — Бела Гелори, но у него это чудо отняли. И он не мог себе представить дальнейшую жизнь, но хотелось быть свободным, самостоятельным, уважаемым.

Коля тщательно переписывал рукописи Потанина. Упрямо изучал неподатливую стенографию. Просил кого-нибудь из соседей по комнате рассказывать, читать что-нибудь из книги. Ему читали, а он стенографировал. Потом расшифровывал значки, и сверял написанное с книгой. Каждый раз получалось всё лучше.

Но жизнь в общежитии теперь была трудной. Многие окна в здании были выбиты, входная дверь оторвана, очевидно, её сломали, чтобы истопить печь. По коридору гулял сквозняк. В комнате, где расположился Коля, жили теперь беженцы из Польши, это были еврей-портные, но заказов они почти не имели. Центральное паровое отопление давно не действовало. В комнате стояла металлическая печка, которую называли буржуйкой, её труба была выведена прямо в окно. Когда темнело, Коля выходил на промысел. Бродил по переулкам и смотрел, где можно отодрать плаху от тротуара или от забора. И заборов, и тротуаров в городе оставалось всё меньше. Если удавалось раздобыть плаху, обитатели комнаты радовались. Хоть на час, на два да нагреется комната. На дворе с каждым днём становилось всё холоднее.

Однажды Коля услышал шум на улице, вышел во двор, выглянул в калитку. По Благовещенскому переулку бежали мальчишки и вопили, извергая пар из юных глоток:

— В Петрограде — переворот! Красногвардейцы захватили Зимний дворец! Их штаб — в Смольном!

Со стороны Почтамтской послышались крики. Подняв воротник пальто, Коля пошёл туда. Он увидел колонны людей с красными повязками и красными знамёнами. Они несли транспаранты с надписью: «Землю — крестьянам, хлеб — голодным, мир — народам!». Коля узнал нескольких бывших второвских приказчиков. Вдруг его окликнули. Коля увидел Аркашку Папафилова. Он нёс красное знамя. Этот бывший грум, а теперь — «чемоданный мастер» сказал удивлённому Коле:

— Айда с нами!

— Но что это всё значит? — спросил Коля. Ему невольно подумалось о том, как отнёсся бы к этому Григорий Николаевич. Как жаль, что его нельзя спросить, уж он-то знает!

— Демонстрация! Солидарность трудящихся! — пояснил Аркашка. — Кто был ничем, тот станет всем! Да что ты смо-

тришь на меня, как баран на новые ворота? Разве нас с тобой не эксплуатировал Второв? Разве не пил нашу кровь? Теперь рабочие и крестьяне восстали, и миру эксплуататоров пришёл конец! Не будет больше богатых и бедных, и все будут равны! Понимаю, ты сейчас вспоминаешь тот случай на вокзале! Да, я воровал! Но кто меня довёл до этого? Они, кровососы-буржуи! Я не хотел работать на них! На мерзких, разложившихся негодяев. Ведь что творили? Тот же Смирнов — спал с невестой собственного сына! И загнал его в гроб! С жиру бесились! И если я украл у проклятых буржуев десяток-другой чемоданов, они от этого не обеднели. Я покупал на эти деньги продукты для сирот Бочановки и Войлочной заимки. Ты тоже обездолен, так что — айда с нами! Слезами залит мир безбрежный! Алон занфан де ла патри! — и Аркашка стал размахивать красным флагом.

Коля поднялся в гору вместе с демонстрацией. Было ясно, что она движется к площади Свободы, где произойдёт митинг. Там в этом тысяча девятьсот семнадцатом году прошло множество митингов. А что изменилось? Товары исчезают, а цены поднимаются всё выше и выше. Коля подумал о том, что он должен поскорее закончить переписку рукописи для Потанина. Он потихоньку отстал от колонны, свернул в переулок.

На следующее утро он уже был близок к завершению работы над рукописью. Руки коченели, в комнате было так холодно, что даже чернила застыли. Коля поставил самовар, чтобы развести чернила кипятком и согреться чашкой горячего чая.

В этот момент в комнату вошёл незнакомый усатый мужчина в непонятной форме. На шинели у него были петлицы с изображением кедровых ветвей, на голове тёплая полосатая фуражка, полосы были белыми и зелёными. Человек сказал:

— Меня прислал Григорий Николаевич Потанин. Срочное и важнейшее дело. Одевайтесь! Едем!

— Но я ещё не закончил работу над его рукописью, как же покажусь я ему на глаза? Может, немного позже? До вечера я бы эту работу закончил совершенно.

— Милейший! Никакого вечера! Велено доставить вас тотчас же! Идём же!

Во дворе незнакомец подошёл к самокату, предложил Коле сесть на заднее сиденье. Мотор загрохотал, самокат затрясся. Через несколько минут они уже были возле дома Потанина. Коля увидел стоявшие у дома многочисленные экипажи. Из дома вышел Григорий Николаевич, сопровождаемый штатскими и военными людьми. Потанин увидел Колю и сказал:

— Прибыли? Отлично! Освоили стенографию? Сейчас поедем на съезд, вам дадут столик и тетради, будете стеногра-

филировать речи. Ошибётесь? Неважно. Там будут две стенографистки, потом вы все записи сведёте в одну и перебелите. Вы будете нашим делопроизводителем.

Потанин пригласил Колю сесть к себе в коляску.

По дороге он рассказал, что ещё в октябре состоялся первый сибирский съезд, который принял решение о созыве учредительного собрания для рассмотрения Конституции Сибири. С принятием её медлить больше нельзя. В центре власть захватывают силы, которым судьба Сибири безразлична. Они хотят, чтобы сибирские парни умирали за мировую революцию. А сибирякам надо строить свою Сибирь — богатую и просвещённую. Накануне на рекламных тумбах были расклеены плакаты. Огромные красные и чёрные буквы кричали: «Чрезвычайный Сибирский съезд!».

На углу Жандармской и Никитинской улиц высился забор, поверну утыканный большими острыми гвоздями, он спускался по склону оврага вниз. Здания семинарии примыкали к обширному семинарскому саду. Были тут тополя, липы, хвойные деревья, встречались посадки черёмухи, рябины. Коля слышал, что иногда семинаристы, здоровые, крепкие парни, во тьме прокрадываются через сад к забору, с помощью верёвочных лестниц преодолевают «непреодолимую» преграду, уготовленную для них начальством. И бегут в Бочановку, где расположены дома терпимости. Бес силён!

Тёмно-зелёные пихты в семинарском дворе повелевали помнить о вечном. Мирно шумела под мостом ещё не замёрзшая речка Игуменка, пересекавшая территорию сада и нырявшая под забор. Вымощенная дорога вела к главному корпусу семинарии.

Вот экипажи — у подъезда. В актовом зале слышен нестройный гул. Ряды кресел быстро заполняются. Коля, волнуясь, прошёл за служителем к столику для стенографии, который был у самой сцены. За двумя такими же столиками уже сидели две белокурые курсистки. Бело-зелёные флаги и множество хвойных ветвей украшали сцену. За столом президиума были посланцы сибирских регионов и Горного Алтая. Готические своды огромного зала церкви были украшены фресками. Строго взирал с высоты на собравшихся лик небесного покровителя всей Сибири святителя Иннокентия Иркутского. Впрочем, горожане о происходившем в семинарской церкви ничего не знали. Город жил обыденными делами.

Коля вспотел, записывая фамилии ораторов и тексты речей, боясь ошибиться. Ему некогда было смотреть на сцену, он испещрял бумагу значками, которые должен был потом расшифровать. Зал загредел аплодисментами. Казалось, вот-вот рухнет крыша.

— Свершилось, дети мои! — воскликнул Потанин. — Конституция Сибири принята. Мы свободны! — Григорий Николаевич поправил очки и после длительной паузы добавил:

— Сибирь войдёт составной частью в Российскую Федеративную республику как автономная область, с большими правами в экономическом и культурном самоопределении, это будет новая эпоха сурового края, это будет пора его расцвета. Предлагаю принять текст телеграммы Верховной раде Украины. Читаю текст:

«Все народы от Урала до Владивостока приветствуют украинскую раду. Слава вольной Украине, слава великой Федеративной России! Слава автономной свободной Сибири!

Чрезвычайный съезд Сибири».

— Кто — за?

— Против?

— Принято!

Затем председательствующий огласил:

— Чрезвычайный съезд принимает постановление: Сибирь объявляется автономной. Советская власть и её декреты не признаются!

С волнением Коля записывал значками итоги голосования. Ещё бы! Председателем сибирского областного Совета был избран Григорий Николаевич Потанин. Этот человек был лучше всех, кого он до сих пор знал. Так внимательно к нему отнёсся.

В зале загремел оркестр. Все встали и пели гимн независимости Сибири на слова Георгия Вяткина. Только теперь Коля увидел, что за окнами сгущается вечер. Тот же самокатчик отвёз Колю к общежитию. На прощанье сказал:

— Григорий Николаевич велел мне завтра в десять утра отвезти вас в университет. Там состоится первое заседание совета, вам опять придётся стенографировать. И потом вам покажут комнату и ваш стол, за которым вы будете постоянно работать.

Утром газетчики в Благовещенском переулке кричали:

— Сенсация! Соединённые штаты Сибири! У нас есть свой президент!..

В Ямском переулке извозчики удивлялись:

— А что оно такое — резидент? И на кой он хрен нужен?

Случившийся там почтовый чиновник пояснил:

— Президент — это вроде как американский губернатор.

— Мериканский? На хрен нам мериканский, нам своих хватает, нам лишь дороги бы отремонтировали, да овёс дешевле...

Проходили мимо два подвыпивших студента, услышали эти разговоры, и спели песенку:

— Один американец
Засунул в попу палец,
И думает, что он
Заводит граммофон!

Через некоторое время в местных газетах появились стихи, подписанные: «Васильева-Потанина». Она давно уже не жила с великим старцем, но фамилией его гордилась, и приставила — через чёрточку — к своей. А эти стихи её были тогда в Томске у всех на слуху, они рождали прекрасные и заманчивые надежды:

Сибирь! Свободная Сибирь!
Гремит победный клич: «Свобода»!
И раздаётся вдаль и вширь,
И ввысь летит до небосвода.
Сибирь, огромная страна,
Ещё вчера — страна изгнанья.
Всю боль извела она,
Все бездны мрачные страданья...
Кошмарные былые сны
Сменились чудом возрожденья...
В лучах сияющей весны
Горит заря освобожденья.

30. Духи в городе

Художник Гуркин из своих экспедиций на родной Алтай всегда привозил новые картины. Его признавал в своих статьях лучшим сибирским художником Григорий Николаевич Потанин. Полотна уроженца Горного Алтая пользовались всегда огромным успехом у знатоков, и не только у томичей. Его давно признали и Москва, и Петербург. Его любили томские литераторы, журналисты, чиновники и купцы. Инородец — да! Но Григорий Гуркин доказал, что инородцы могут быть талантливы не менее, чем русские. Ученик знаменитого академика Шишкина, он великолепно писал пейзажи. Но что это были за пейзажи! Величественные горы, пади и отроги Алтая. Таинственные озёра, нехоженная тайга, дымки над крышами чумов, туманы в горных долинах, горные водопадные речки с мириадами мелких брызг, образующих радугу. Путешественник, этнограф, писатель, рыболов, охотник, он открыл россиянам окно в Алтай. Смотрите! Его пейзажи были лиричны и дышали глубинной мощью. Полотно «Хан Алтай» было грандиозным и по размерам, и по силе впечатлений от него. Были

среди полотен и жанровые сцены из быта алтайцев. Можно было видеть, как алтайцы камлают, готовят араку, ловят маралов.

И смотрели, восторгалась, покупали картины. О Гуркине писали, восторженно, в захлѐб. Он мог бы устраивать выставки хоть в Париже. Но для него столицей был город Томск. Город на холмах, возле полноводной реки Томи, дно которой было усыпано самоцветами, принесѐнными мощным течением с далѐкого Алтая. Все эти камушки было видно сквозь толщу воды, так как она была кристально чистой до озноба. Здесь Гуркин чувствовал себя как дома: холмистая таѐжная местность, много рек и озѐр. Похоже на алтайские предгорья.

Каждую свою выставку Гуркин устраивал с выдумкой, оригинально. На сей раз он привѐз разную алтайскую утварь и сорок камов с бубнами и в особенных одеяниях. Где он их набрал столько? Неизвестно. Видимо, собрал из всех алтайских отдалѐнных аилов. В афише так и было написано: «Только семь дней! В Общественном собрании г. Томска. Выставка живописи Григория Гуркина при участии сорока алтайских шаманов, которые будут показывать своё искусство камлания».

Несмотря на смутное время, несмотря на дорогие билеты, зрительный зал общественного собрания был набит до отказа. Публика была более пѐстрой, чем это было раньше. Теперь сюда пускали и простолюдинов. Будь ты хоть трубочистом — пожалуйста, только умойся, будь чисто одет и покупай билеты. Что ж поделаешь, если в далѐком Петербурге что-то такое свершилось, и, говорят, скоро не будет ни богатых, ни бедных, ни знатных, ни изгоев? Говорят, все будут равны. Что-то в это слабо верится, но... посмотрим, посмотрим! А пока — на всякий случай — проходи в зал любая скотина.

И вот что странно. Пришли на вечер Гуркина даже некоторые извозчики и грузчики. А что они понимают? И как это на билеты разорились?

Гуркин вышел на авансцену и коротко рассказал о своём летнем путешествии. Он сказал:

— У меня есть картина о камлании. А сейчас пред вами предстанут на этой сцене сорок алтайских камов. У нас шаманы прозываются камами. У каждого на груди вы увидите девять кукол, символизирующих девять великих и волшебных вершин Алтая. Каждый из этих прорицателей имеет собственный рисунок костюма и бубна. Я бы сказал, все они в мастерстве индивидуальны, дополняют друг друга. Для алтайцев они — врачи, советчики, защитники от всех напастей, посредники между этим миром, средним и верхним. Не беспокойтесь! По-

казывать своё искусство будут не все сорок шаманов, это заняло бы слишком много времени. Камлать станут трое сильнейших. Остальные, как говорят у вас в университетах, станут ассистентами. Итак...

Гуркин быстро ушёл за кулисы, а оттуда тотчас с гиканьем, подвыванием и стуком бубнов выскочили люди в расшитых бисером мехах. Они закружили по сцене подобно снеговому вихрю, от грохота бубнов заложило уши у тех, кто сидел впереди. Смирнов сказал Гадалову:

— Ну и черти! Я нанял бы парочку косматых, чтобы комиссаров от моего дворца отпугивали.

— Милый! Комиссаров бубнами не проймёшь! Для них нужно такое колдовство, которое не только грохочет, но ещё и свинцом плюёт! Мы потом с тобой поговорим об этом более серьёзно. Нас с тобой никто не защитит, если мы не потратим на свою защиту изрядные деньжата, золотишко, конечно... Ладно, пока молчу, всё внимание — сцене!..

Коля Зимний сидел во втором ряду рядом с Потаниным. Он смотрел вокруг с восторгом. Он прежде и не мечтал попасть в зал Общественного собрания. А теперь он — здесь на равных со всеми. А может, и чуть выше многих других. Он — служащий сибирского областного Совета, близкий к президенту Сибири человек. А потом он сдаст за гимназию, окончит университет, и перед ним откроются и не такие горизонты!

В центре зала сидел Аркашка Папафилов. С ним было ещё несколько воров. Эту публику привлекало всё чудесное, а некоторые по-настоящему любили искусство и живопись. Сзади, в дешёвых рядах, поместился дед Василий, который когда-то приютил в избушке возле речки Керепети Федьку Салова. Поскольку бывший Василий каждый месяц должен был именоваться по-иному, теперь он звался Ашурбанипалом Даниловичем. Волосы его были пострижены французским парикмахером и расчёсаны на пробор. Вместо прежней окладистой бороды он носил профессорскую козлиную бородку клинышком и усы пиками. Рядом с ним чинно сидела Алёна. Она, по приказу Ашурбанипала, прозывалась ныне Элеонорой-девственницей. И была одета по городской моде, как одеваются девочки-подростки, гимназисточки: в тёмном платье с белой кружевной пелеринкой и с голубым бантом в пышной косе. Алёна-Элеонора в наряде гимназистки была трогательно красива, никто и не поверил бы, что эта девочка ещё недавно жила в глухой деревушке.

Дело было в том, что Ашурбанипал Данилович снял комнату в доходном доме в центре Томска. И дал объявление о том, что в доме Безхадорнова на Никитинской улице под руководством мага Ашурбанипала ясновидящая девственница пред-

сказывает будущее любому желающему. Блаженная может находить потерявшихся людей, лечить болезни. Есть рекомендации от титулованных особ и справка от профессора Курлова о том, что Элеонора является именно девственницей. А это — важно. Как только выйдет замуж, утратит девственность, она утратит и свою магическую силу. Но из сострадания к людям самоотверженная Элеонора дала обет безбрачия.

Три шамана с бубнами выскочили в центр сцены, закружились, ударяя колотушками в бубны и выкрикивая что-то на странном наречии. Остальные сели полукругом, и помогали танцующим горловыми звуками, похожими на клёкот орлов.

Лампы на сцене сами собой стали меркнуть, по залу пролетали невесть откуда взявшиеся то ли блики, то ли лучи.

— Алнгумна-тамм! — тянул басом один из шаманов.

— Нгнаглумнндмна! — отзывался другой.

— И-их-и-и! — визжал третий.

Мельтешение бликов усилилось. Танцоры закружились ещё быстрее и подскакивали всё выше. Наконец все трое повалились на сцену, у двоих изо рта пошла пена, третий икал.

Свет вспыхнул снова. Шаманы исчезли. На сцене стоял только Григорий Гуркин. Он объявил:

— Шаманы побывали в другом мире. Они спросили о важнейшем, что должно случиться. В другом мире сказали, что Сибирь должна быть свободной навечно!

— Протестую! — крикнули из среднего ряда. — Под видом камлания вы протаскиваете чуждые российскому рабочему классу и крестьянству националистические взгляды! Моя бы воля, я бы вас — к стенке! К чёртовой матери!

В зале раздался возмущённый гул. Гадалов и Смирнов обернулись на крик.

— Криворученко кричит! — шепнул Смирнов. — Со психи выпустили, и сразу стал важнейшим комиссаром. Придёт вот такой губошлёп, сопляк, и отберёт у нас всё собственным горбом нажитое имущество.

— Это мы ещё посмотрим! — отвечал Гадалов. — Если полезет, мы ему сопли-то утрём. Из молодых да ранний, не таких видали! Комиссары, секретари, председатели... Откуда что взялось!

Гуркин пригласил всех пройти в картинную галерею. Публика застучала креслами, зашумела. В зале, где разместилась выставка, шаманы сели под картинами Гуркина прямо на пол, и все разом закурили трубки. Напрасно побледневший служитель кричал, что в зале курить строго воспрещено, что ниже этажом есть специальная курительная комната. Камы не обращали на него ни малейшего внимания. Они смотрели сквозь него, как сквозь стекло.

Гадалов изобразив пальцами трубку, смотрел сквозь сей импровизированный окуляр то на одну, то на другую картину. Смирнов говорил ему на ухо:

— Талантище у этого эскимоса поразительный, чёрт бы его побрал! Это совсем не то, что Мишка Пепеляев пишет, или Вучичевич. Это природное, искреннее. А всё же мне больше по душе картина под названием «Прощаль», здоровенная такая, что в аккурат — для моего дворца. Глаз на ветке висит и, понимаешь, плачет... Стёпка Туглаков, стервец, купил её тут в собрании у одного футуриста. Я его просил продать, хоть за две цены, не отдаёт. То ли послать людей на Войлочную, чтобы Витьку Цусиму наняли? Он-то не побоится самого чёрта. Только уж лют чрезмерно. Он не только картину возьмёт, он всю семью вырежет, все манатки заберёт, да ещё и дом сожжёт, чтобы следов не было. Боюсь брать грех на душу.

— Плюнь! — сказал Гадалов. — На кой тебе ляд эта «Прощаль»? Ты попроси Гуркина, пусть он тебе копию с картины «Хан Алтай» снимет. Тоже картина внушительная.

— Нет, я ту хочу...

Гуркин отвечал на вопросы собравшихся, рассказывал смешные эпизоды из алтайской жизни. Люди подходили к толстенной книжище в бархатном переплёте, оставляли отзывы.

Купцы после обозрения выставки спустились в подвал к привычному занятию — к бильярду, картам и вину. Смирнов пил в этот вечер много. Его мучили недобрые предчувствия. Что-то там в центре страны стряслось. Была одна революция, вроде всё обошлось. И на подрядах для армии заработали, и так по мелочам торговлишка шла. Конечно, тревожно было бумажные деньги держать. Слухи шли, что появятся новые деньги. Верховный правитель должен выпустить их, вроде уже печатали вовсю. А старые обесценились совсем. Ладно, сбыли их, золотишко спрятали. Товар, который может долго храниться, в подземельях укрыли. И вдруг — вторая какая-то революция. Новые комиссары появились, кричат в зале! Молодые, горячие. Может, обойдётся? Неизвестно. Слухи ползут, что тех, кто живёт в просторных квартирах, уплотнять будут. А он-то не просто в просторной квартире живёт, а во дворце! Вдруг да и его уплотнят? Подселят какую-нибудь вшивоту? Да как же он с чужими людьми жить станет? Он с ума сойдёт! И ведь можно, наверное, откупиться?

Ему стало душно. Он, ни с кем ни попрощавшись, ушёл, как говорится, по-английски, незаметно. Вроде бы в туалет, а сам шмыгнул в чёрный ход и — на улицу. Подошёл к мотору, сказал шофёру, чтобы ехал без него, а он пешком пойдёт, прогуляться хочется.

Прошёл по улице Почтамтской, никого не встретил, через мост перешёл, какая-то пара шла навстречу, завидев Смирнова, эти двое, мужчина и женщина, шмыгнули в проулок. Он вспомнил, что сейчас после одиннадцати вечера ходить опасно: могут раздеть, могут и убить. Но он силу имел немалую, двухпудовой гирей по утрам крестился, а кроме того, в заднем кармане брюк у него лежал миниатюрный наган под названием «бульдог».

Ему вдруг очень захотелось взглянуть на Белое озеро, и не только взглянуть, но попить из него, ополоснуть лицо. Смыть все тревоги, смыть нездоровый хмель. Озеро это располагалось в старинной части города на Воскресенской горе. Первые томичи из него пили воду. Было это ещё при царе Борисе Годунове. И вода в озере была целебной. Умывшись ею, слепые прозревали, хромые отбрасывали костыли. Легенды — легендами, но томские профессора исследовали воду в озере, и нашли, что вода действительно целебная. На дне озера били минерализованные источники. Вода была близка по составу к курортным водам Карлсбада. Но какой тут, к чёрту, курорт, в такой дали от Европы? А томичи без всякого пиетета к целебным свойствам воды бросали в озеро всякий хлам, старые тазы, вёдра, сваливали в него прошлогоднюю солому с навозом. Купали в озере лошадей, пригоняли к нему скотину на водопой. Бросали в озёрные воды дохлых кошек и собак. И всё-таки озеро как-то находило в себе силы самоочищаться. Лежало в окружении бесчисленных ровных берёз, действительно белое от отражённых в нём белых стволов.

От крутого подъёма в гору уже начинающий полнеть Смирнов запалённо дышал. Вот уже дохнуло в его разгорячённое лицо озёрной свежестью. «Сейчас искупаюсь! Сперва попою, потом плесну воду пригоршнями в лицо, потом...» Он вдруг замер. Похоже, влип! Его окружала целая шайка. Человек двадцать, никак не меньше. Да! Он слышал про белозёрских. Отчаюги! Сорвиголовы. Впрочем, и заисточные не лучше, и бочановские, и пристанские. Но что делать? Отстреливаться? Ну, двоих, троих он угробит. А пока он это делает, другие зайдут со спины и зарубят. У них почему-то у всех топоры в руках. Да и топоры-то странные какие-то. Ого! Факелы зажгли. Один, другой! Похоже искали именно его. И главное — молчат, гады! Понимают: так-то — ещё страшнее. Неужто Витька Цусима? Будут пятки поджаривать: скажи, где золото прячешь? Нет, не Витька! Не похож. И что это за одёжи на них странные? Ну, было: бегали урки возле кладбища в вывернутых наизнанку шубах, с огненными головами. Тыкву выдолбят, дырки в ней прорежут, пугают до полусмерти и раздевают. Дураков раздевают, разумеется. Тех Смирнов бы не

испугался, он бы им задал перцу. Завернул бы ноги к голове. Но это — другие. И много их, шельмецов. Откуда столько набралось? Целая рота.

Смирнов изловчился, подтянулся на руках, через забор перемахнул. Во дворе взлаяли собаки. Может, хозяин выйдет, всё лучше, хоть свидетель будет. Но никто не вышел, темно в доме, глухо. Дрыхнут, гады! Ай-ай! А эти все уже — во дворе, и с топорами, и с факелами. А как прошли, как проникли? Не видно было, чтобы через забор лезли. И собаки на них не лают. Вот странность! Ощущая на спине липкий пот, Смирнов шмыгнул в старый каретник, на сеновал. Глянул, а эта компания — уже в каретнике, и по лесенке на сеновал лезут с факелами и топорами, один за другим. С факелами! К сену! Смирнов завопил:

— Куда прёте, сволочи, с факелами на сеновал! Все сгорим, выскочить не успеем!

А они шли молча прямо на него с мрачными бородатыми лицами, с факелами, с топорами на длинных древках. И вдруг он вспомнил, как это называется. Не топоры это — алебарды! Мужики молча прошли сквозь него и сквозь сено. Когда мимо него проходили, он сунул палец в огонь факела. И ничего не почувствовал: огонь не обжёт ему палец. Это был мертвенный, призрачный огонь. «Не может быть! — пронеслось в голове Ивана Васильевича. — Я сплю!» — Но он не спал. Нет, не спал, и даже хмель выскочил из головы.

И тогда он вспомнил картину «Утро стрелецкой казни». Суриков Василий Иванович! Они, стрельцы! У стрельцов на кафтанах — застёжки, как на той картине, и шапки такие же. Впрочем, один почему-то без шапки был. Да какая разница! Стрельцы прошли! Тени их, из Томска семнадцатого века! А расскажи кому, так ведь не поверят. Засмеют, скажут, Смирнов до белой горячки допился. А он видел, только что видел!

Смирнов огляделся и понял: надо скорее слезать с сеновала да опять через забор прыгать, обратно теперь. Не дай бог, хозяева проснутся да его тут застанут. Оправдывайся потом. И ведь не докажешь, что от привидений спасался. Могут и рёбра намять. Он вышел из каретника, собаки опять залаяли. Смирнов перемахнул через забор и начал быстро спускаться с горы. Ну его к лешему, ночное купание! Пусть купается, кто хочет, а он расхотел. Ещё какие-нибудь русалки на дно затянут, будь оно всё проклято!

Через два дня он прочитал в «Сибирском обозрении» статью о выставке Гуркина. Неизвестный, скрывшийся под псевдонимом «Доброжелатель», писал: «Выставка картин именитого мастера произвела на нашу публику, в этот раз, как и всегда, громадное впечатление. Новые картины господина Гуркина полны первородной мощи, великой любви к родно-

му краю. Какие бы превосходные степени ни употребил я для оценки его творчества, всё будет мало, ибо перед таким искусством все слова ничтожны. Мы обратили внимание и на великолепные наряды алтайских шаманов и их исступлённые пляски. Это было живое дополнение к картинам г. Гуркина, хотя они и не требуют дополнения. Печально то, что эти горные колдуны, кажется, в самом деле владеют особенной магией, и в самом центре губернской столицы выпустили на волю своих не всегда безвредных духов. У проживающих неподалёку от здания Общественного собрания господ Смоленцевых попугаи в клетках вдруг все разом стали произносить самые ужасные ругательства, которых прежде не знали, и никто не мог их научить этому. Более того, в ресторане «Медведь» обслуга и посетители в день камлания шаманов увидели вдруг призраки раненных охотниками медведей. Призраки злобно сверкали глазами, замахивались лапами и разевали пасти. Как бы в дополнение к этому медвежьему концерту в буфете сама собой полопалась вся посуда, отчего ресторану нанесён значительный ущерб. Ходят слухи, что призраки после выставки г. Гуркина появлялись в разных видах и в разных местах города. Похоже, знаменитый художник, сам того не желая, очень зло пошутил над гражданами Томска...».

31. Смерть Леонеля

В разгар январских морозов, которые в Томске поднимались выше сорока градусов, в пору, когда воробьи замерзали на лету и со стуком падали маленькими ледяными комочками на промёрзшую землю, в кабинете, сев на кожаный диван, застрелился преподаватель технологического института Леонель Леонельевич Мовий.

Его избрали депутатом сибирской областной думы. Областной совет и дума поручили ему организовать обеспечение топливом и дровами всех эвакуированных. Мовий не спал ночей. Он ездил на вокзалы, ругался с железнодорожниками, организовывал бригады на валку деревьев и раскряжёвку, ходил с милицией реквизировать излишки топлива у богатых томичей. Но топлива в зиму тысяча девятьсот восемнадцатого года в Томске оказалось совсем мало. Эвакуированных было много. Были это поляки, литовцы, белорусы, украинцы, молдаване и прочие западные люди, отнюдь не привыкшие к сибирским морозам. Ютились они в развалюхах, питались плохо. И стали умирать даже не десятками, а сотнями. Случалось так, что и могилы им копать было некому. В лютые морозы земля дела-

ется стальной, поди-ка подолби её. Могильщики требовали большие деньги. Их не было. Случалось, мертвецов прятали в кладовках, в сараях, в конюшнях, на сеновалах, это грозило при потеплении эпидемией. Дума обвинила Мовия в бездействии. Потанин укорил его.

Леонель Леонельевич Мовий по происхождению был англичанином. И, как полагается истинному англичанину, он был неимоверно горд. Он не вынес позора. Он делал всё, что мог. Носитель гордого английского духа не мог знать, что будет дальше. А если бы знал, то, вполне вероятно, не стал бы стреляться. Да многие самоубийцы, всех времён и народов, если бы могли заглянуть вперёд лет на десять, двадцать, тридцать и дальше, то не стали бы вешаться, топиться, резать вены на руках и всякое такое прочее совершать над собой. Потому что многое, что теперь нам кажется совершенно невыносимым, ужасным, через десять лет, или даже через пять, не будет для нас иметь никакого значения, или станет просто смешным. А то, что нам казалось прекрасным, через какое-то время, наоборот, станет ужасным. Скажем, вы повесились из-за того, что вам не ответила взаимностью красавица. Лет через двадцать она может стать похожей на облезлую курицу, спрашивается, зачем же было из-за неё вешаться?

Ну ладно ещё — застрелиться или повеситься из-за красавицы. А вы-то? Бедный, бедный Леонель Леонельевич! Угораздило же вас иметь в организме такие чуждые России гены! Тысячи российских чиновников и народных избранников и в давние времена, и ныне всегда сытно и вкусно ели и пили, вовсе не думая о том, что где-то, кто-то в этот момент бедствует. Им в голову не придёт из-за такого пустяка покончить счёты с жизнью. Вот ещё! Что за глупости! И это в такое трудное время, когда местные газеты дали тревожное сообщение: «Министр томского облсовета Геннадий Краковецкий отправил представителей на Запад. Сибирские дивизии возвратятся в Томск и защитят от большевиков областное правительство!».

Коля Зимний по просьбе думцев сочинял эпитафию для газеты. Он почти не знал Леонеля Леонельевича, и эпитафию сочинял впервые, потому испытывал неимоверные трудности. Его просили написать так, чтобы было понятно, что жизнь Леонеля Леонельевича оборвалась внезапно и трагически, но при этом ни в коем случае нельзя было упоминать о самоубийстве. Коля написал: «Жизнь его оборвалась, как ломается ветвь яблони под тяжестью плодов...». Коля вздохнул и зачеркнул написанное. Яблони в Сибири не растут — раз, и нельзя считать плодами замёрзших беженцев — два. Хороши плоды! Не то, не то!

Коля снова взялся за перо, и тут кто-то кашлянул над его плечом. Коля обернулся, и увидел незнакомого седого старца, который кланялся, плакал и сморкался в большой цветастый носовой платок.

— Кто вы такой? Что вам нужно? Я занят, приходите после!

— Не узнаёт, не узнаёт! — вскричал старик. — Ай, нехорошо! Ведь это я тебя вскормил, вспоил. Прочитал в газетах — делопроизводитель! Я так и знал, что ты далеко пойдёшь! Не зря тебя принесли в кружевных пелёнках!

Коля смотрел на старика недоуменно, потом вспомнил, спросил:

— Неужто это вы, Фаддей Герасимович? У вас же ноги не было! И вообще...

— Ногу мне приезжий немец протезную сделал. Понимаю, изменился, узнать трудно. Седина, лысина, сутул сверх меры. Старость — не радость, дорогой ты мой Николай Иванович! Я, значит, долго не задержу. Корову у меня на той неделе свели. А у меня внуки малые. Чем кормить-то их теперь? Я ведь не служу ныне, стар стал, сыновей на войне угрохали. Снохи с малыми ребятами. И дома — шаром покати. Прочитал в газете — делопроизводитель. Вот, нашёл тебя, пришёл. Взаимы деньжат попросить, чтобы купить другую корову. Время-то какое! Во всём — нехватки, чёртовы мазурики меня обездолили. Теперь корову куплю, прямо в избе стойло сделаю, чтобы больше не свели уж.

Коля не мог отказать старику, но у него денег не было. Здесь ему зарплату ещё не выдали. Он за делами и забыл о деньгах, которые отдал Туглакову для обмена.

— Ладно, Фаддей Герасимович, вы там же живёте?

— Там, там, в той самой избе за Белым озером.

— У меня денег нет, сейчас нет, но я достану. Через день, два буду у вас, верьте моему слову. Сколько лет прошло, а я помню. У вас и прежде коровка была, и вы мне парного молока давали. Вы добрый человек, я вам обязательно помогу.

— Жду, жду! — сказал Фаддей Герасимович, кланяясь. Он уже хотел уйти, но в комнату стремительно вбежали люди в военной форме, без погон:

— Стоять! — вскричал один из них, размахивая револьвером. — Оружие на стол! Потом оба — лицом к стене.

— Вот я вам, варнакам, покажу оружие! — вскричал Фаддей Герасимович, заноса над головой незнакомца тяжёлый кулак. — Я ногу под Мукденом оставил, награды имею, а он...

Фаддей Герасимович не договорил. Его стукнули рукояткой по голове, он упал.

— Что же это вы, господа, с инвалидом японской войны так обращаетесь! — воскликнул Коля. — Кто вы такие?

— Руки назад и шагай, вздумаешь бежать — пристрелим!

— Да кто вы такие? В чём дело?

— Молчи, а то тоже рукояткой по башке схлопочешь. Теперь наше время спрашивать пришло.

Прямо за бывшим губернаторским домом, ныне именовавшимся Домом Свободы, располагался Дом абсолютной Несвободы. Это был построенный во времена царизма-деспотизма тюремный замок, красивый, украшенный домовою церковью, в которой арестанты могли молиться, не выходя из замка. Окна строения были забраны толстыми и частыми решётками. Коля слышал, что в глубоких подвалах этого замка заключённых в прошлом приковывали к стенам толстенными цепями, концы которых были намертво вделаны в стену. Рядом с домом Несвободы бежала говорливая речка Еланка, словно специально для того, чтобы несвободным людям за толстенными стенами и решётками было ещё горше сознавать свою несвободу. Даже сейчас, подо льдом, Еланка ласково курлыкала, а там, где были проруби, можно было видеть, что вода бурлит, как кипятки. Настолько быстрой, стремительной была эта река.

Дверь замка лязгнула запорами. Зимнего поторопили пинком в зад, а вслед за Колей в тюремный коридор втащили под руки упиравшегося Фаддея Герасимовича. Дед, вздымая палец к потолку, кричал:

— Бог, он всё видит! Он вас, стервецов, рано или поздно накажет!

— Бога нет, папаша, — отвечал ему один из конвоиров, — есть революционная необходимость.

Другой прокричал в глубь коридора кому-то:

— Ещё двоих буржуйских сепаратистов привели, куда их помещать?

— В шестую тащи их. Надо их по раздельности всех сажать, чтобы не сговорились.

Через минуту Коля и Фаддей Герасимович оказались в большой комнате, в которой было много людей разного возраста и вида.

— Ха! Ещё двоих постояльцев привели! — воскликнул кто-то из них. — Тут и так дышать нечем... Ба! Да это Коля Зимний! Ну молодец! Наш пострел везде поспел!

Коля увидел, что через толпу к нему пробирается Аркашка Папафилов.

— Ты как тут? — спросил Аркашка.

— Да уж не по собственному хотению! — хмуро отвечал Коля. — А ты давно тут? Сколько народу набили, только стоять можно, не присесть, не прилечь. А ночью как же будет?

— А так же и будет! Революция в опасности! — весело улыбаясь, отвечал Аркашка.

— Какую же опасность представляет для революции старый инвалид на одной ноге, я его знаю, он в приюте работал, где я рос. Как же он ночь-то на протезе будет стоять?

— Да не волнуйся ты! — отвечал Аркашка. — Будут допросы, разберутся, социально близких отпустят. Если этот дед не контрреволюционер, ему ничто не грозит, как и мне. Я всей душой приветствую революцию! Я даже на демонстрации знамя нёс. Я им так и скажу. Мы с подельником сгорели* на ограблении одного купчишки. На гоп-стоп** хотели взять, а тут откуда ни возьмись, крючки*** выскочили. Вот теперь и паримся здесь. Ну ничего, ночь настанет, поведут на допрос, я им всё скажу. Классовая ненависть заставила нас напасть на купца. А как иначе? Вот... А ты беспокоишься — как ночью твой дед спать будет. Спать не дадут. Они по ночам, суки, допрашивать любят. Ты измученный, спать хочешь, так ты быстрее расколешься****. Тебя за что взяли?

— Да ни за что. Я в сибирском совете работал, речи стенографировал, бумаги переписывал.

— Ну, ты залетел! Политику шить будут. Ты покайся, заложи***** всех своих руководителей. Упирай на то, что ты сирота, тебя богачи эксплуатировали, тебя Второв мучил. Ты — социально близкий, маракуешь? И ничего не подписывай, никакие бумаги. Ты вот ещё что им толкуй: ты же на психе лежал. С психического какой спрос? Ты глаза закати, затрясись и со стула упади. Психика, она многих спасала.

— Не буду я глаза закатывать и со стула падать! — сердито отвечал Коля.

— Ну и дурак! Вас учишь, учишь... я ведь по-дружески, так как мы вместе в эксплуатации у Второва были...

Лязгнули дверные запоры и в комнату втолкнули ещё несколько человек.

— Салфет вашей милости! — приветствовал их Аркашка.

Новые обитатели этой комнаты резко отличались от всей прочей публики. Они были одеты в дорогие костюмы, аккуратно подстрижены и побриты, пахли коньяком и парижскими духами. Это были богатейшие люди города, среди них были и Гадалов, и Смирнов, и Вытнов.

— Вот тебе и Прощаль! — сказал Гадалов Смирнову. — Что-то господа-товарищи сильно широко размахнулись, нас прежде ни одна тварь руководящая не трогала. А эти не успели

* Сгорели — попались (воровской жаргон).

** Гоп-стоп — внезапное нападение (воровской жаргон).

*** Крючки — милиционеры, представители власти (воровской жаргон).

**** Расколешься — сознаешься (воровской жаргон).

***** Заложи — выдай (воровской жаргон).

власть взять, и так круто завернули. Без нас-то они в момент до разрухи дойдут.

— А ты им поди объясни, соплякам...

К коммерсантам подошёл Цусима:

— Вот что, господа хорошие, граждане эксплуататоры. Денег при вас нет и часов тоже, это мы понимаем. Крючки шмон* навели, конечно. Они в камеру никого с драгоценностями не пустят, факт. Но костюмчики у вас хорошие. Так что начнём переодеваться.

Он повернулся к Смирнову:

— Вот ты, снимай пиджак, жилетку и брюки. Мы с тобой одного роста, одной комплекции, так что будет в самый раз.

Иван Васильевич согласно кивнул:

— Оно, конечно, почему же не снять, если одной комплекции и рост одинаковый?

Он снял пиджак и протянул Цусиме:

— Вот пиджачок, примерь, пожалуйста.

Довольный Цусима скинул свою засаленную кацавейку и продел руку в рукав смирновского пиджака. В этот момент Смирнов нанёс ему в челюсть мощный удар-крюк, повернувшись всем телом. Цусима упал в толпу, упершись в чей-то живот головой. Он был без сознания. Смирнов взял свой пиджак, брезгливо отряхнул, надел на себя и спросил:

— Есть ещё желающие переодеваться?

Желающих не нашлось. Аркашка на всякий случай стал проталкиваться в толпе подальше от Смирнова.

В первую же ночь Колю вызвали на допрос. И была уже третья ночь, третий допрос. В камере удавалось только подремать стоя. Здесь Коля сидел на узком стуле, который был привинчен к полу. Глаза закрывались сами собой, но следователь кричал:

— Не спать!

Вопросы были всё о Потанине. Что он говорил? Где прятал секретные бумаги? Коля отвечал, что не знает. Следователь пугал расстрелом.

В комнате, где допрашивали, было два следователя. Перед другим следователем сидел Иннокентий Иванович Гадалов. Краем уха Зимний слышал, о чём он говорит со своим следователем.

— Шестнадцать богатейших людей города должны дать нам выкуп двадцать миллионов рублей золотом. Тогда мы всех отпустим, если, конечно, за вами не числится каких-нибудь особенных преступлений. Мы это проверим. А сейчас как самый богатый посоветуйте своим арестованным друзьям постараться, чтобы нам поскорее принесли выкуп.

* Шмон — обыск (воровской жаргон).

— Молодой человек! — отвечал следователю Гадалов. — Вы что же, полагаете, что мы храним золото в бочке из-под селёдки? Ввиду смутных времён золотые запасы многие купцы и промышленники давно отправили в надёжные зарубежные банки. Чтобы получить их обратно, потребуется немало времени. У меня, например, на крупную сумму закуплены товары в Харбине и Париже. Но чтобы получить эти товары и продать какую-то их часть, и выплатить вам выкуп, я должен быть освобождён из этой вашей кутузки. Я могу дать вам расписку в том, что выплачу свою долю через пару месяцев после освобождения.

— Сбежать хочешь? А твоей бумажкой тогда хоть подотришь?

— Подпись честного коммерсанта не требует печатей и адвокатов.

— У коммерсантов не бывает чести! Ты капиталистическая акула! Какая может быть у акулы честь? — стукнул кулаком по столу дознаватель. — У акулы есть только хищные острые зубы. Но акула попала в стальные сети! У нас есть распоряжение свыше. Если за вашу свору срочно не выплатят названный мной выкуп, мы вас отправим в Анжеро-Судженск на шахту Михельсона, и вы там будете ломать обушком уголь до той самой поры, пока этот выкуп не ляжет на мой стол.

— Понял, — отвечал Гадалов, — но не вижу в этом здравого смысла. Мы будем работать в шахте, а вы не получите выкупа. Кстати, мне лично к работе не привыкать. Я в молодости и лес валил, и землю копал. Да и сейчас не только мозгами работаю. У меня дома столярная мастерская. Я мебель делаю не только себе, но и многим моим друзьям. Эко, работой решил напугать! Я вижу, что вы приезжий. Если бы вы были местный, вы бы знали, что сибиряков работой не испугаешь, и вообще ничем.

— Я тебя вот этим испугаю! — воскликнул следователь, достав из ящичка стола револьвер. — Ты — гидра! Ты кровосос. Мы вас всех выведем под корень. Ликвидируем. Нам надо жизнь в городе и губернии наладить. Без капиталов это невозможно. Говори, где золото!

Гадалов молчал.

— Я тебя спрашиваю?

— Я вам уже пояснял, молодой человек. Ликвидируете нас, а чего этим достигнете? Сейчас, в связи с войной и с переменами властей, товарооборот из мощной реки превратился в ручеёк. Без нас, без специалистов, этот ручеёк совсем пересохнет, и тогда вы самоликвидируетесь в своих застеночных кабинетах.

— Молчать! — завопил военный, вышел из-за стола, приотворил дверь крикнул:

— Крестинин! Отведи этого гада в подвал, пока я его не шлёпнул! Скажи там, чтобы его приковали к стене цепями, которые остались от царского режима. Там уже пятерых таких приковали. Буду прочих допрашивать, кто откажется от немедленного взноса, всех посадим на цепь! Уведи его с глаз долой!

На крик в кабинет заглянул ещё один человек в военной форме без погон. Но форма у него была из хорошей английской шерсти, ремни новой офицерской португалии скрипели и блестели, словно их маслом намазали.

— Что за шум, а драки нет? — сказал этот молодой человек, почти мальчик. И Коля вдруг узнал в нём Криворученко, того самого, который был когда-то прикован цепями к стене арестантского подвала психолечебницы.

Криворученко взглянул на Колю и тоже узнал его.

— Ага? Знакомый? Ты чего здесь?

— Сепаратист он! — отвечал следователь.

— Такой молодой? Я же его знаю, он — приютский, со мной на психе был по ложному обвинению. Какой из него сепаратист? За что тебя взяли, Коля?

— Бумаги Потанину переписывал, стенографировал съезд. Григорий Николаевич обещал к экзаменам подготовить за гимназию экстерном.

— Ладно. Я всё понял! — сказал Криворученко. Обернулся к подчинённому:

— Его дело ты закрой. Я его беру на поруки. Он социально близкий, обездоленный. Ему наша власть даст образование, я сам позабочусь об этом. Так что это дело закрыто, ясно?

— Слушаюсь, товарищ, комиссар! — поспешил согласиться хмурый и серьёзный следователь.

— Ну вот! Как говорится, дело в шляпе! — улыбнулся Коле Криворученко. — Тебе повезло. Я недавно назначен комиссаром по борьбе с контрреволюцией. Так что могу освободить тебя своей властью. Идём!

Они стали спускаться по лестнице куда-то вниз. Криворученко шёл легко, весело, в конце концов сел на перила и покатился вниз. Дождался Колю. Поправляя португалию, кобуру, спросил:

— А ты — чего же? Не хочешь вспоминать детство? Серьёзный такой?

— У нас в приюте перил не было, — хмуро отвечал Коля.

— Ладно, не хмурься. Тебе повезло, что я тут оказался. Зловредный старикан твой Потанин, за восемьдесят, а туда же — во власть полез. Ну, заслуженный, не спорю. Путешественник, писатель, то, сё. Но его самого, что говорится, подвели под монастырь покакать. Знают, что его даже посадить нельзя, еле жи-

вой. Президент, ядрёна вошь! Мы его держим под домашним арестом. Пусть посидит, подумает.

А буржуям вроде Гадалова и твоего Второва, конечно, выгодно Сибирь отделить. Для них тут — золотое дно. Черпай-успевай. А того в расчёт не берут, что вся Россия эту самую Сибирь обживала. Короче: тебе с ними не по пути. Ты с нами шагай. Добьём буржуев, и пойдём с тобой вместе учиться. А пока я тебя устрою, ну хотя бы тем же писарем в одну из наших контор. И паёк, и звание дадут.

Они спустились в сводчатый подвал без окошек, пошли мрачным коридором и прошли в длинную комнату, где сидели и стояли люди, прикованные к стене толстенными ржавыми цепями, оставшимися еще с царских времён. Среди закованных узников Коля узнал и Смирнова, и Голованова, и других богатейших людей Томска. Как раз в это время надевали на руки и на ноги тяжёлые оковы Иннокентию Ивановичу Гадалову. При этом он обратился к Смирнову:

— Ну что? Дождались свободы?

— Бог терпел и нам велел! — отвечал Иван Васильевич.

— Ничего, потерпим! — отвечал Гадалов. — И тебе, и мне жирок сбросить не мешает. Да и подвал вполне приличный: при царе строили. Добротно. И цепи ладные, и звенят красиво.

— Ну, ты! Шутник! Погоди, через неделю-другую по-иному запоёшь! — сказал тюремщик.

— Меня зовут Иннокентий Иванович, а твоё как имечко будет? — спросил его Гадалов.

— Обойдёшься без имечка.

— Обойдусь! — согласился Гадалов. — Я тебя и так запомню.

— Ладно! Идём! — сказал Коле Криворученко, и они вновь вышли в подземный коридор.

— Нехорошо как-то с ними обошлись, такие солидные люди! — сказал Коля.

— Ты — что? Богатеев пожалел? А они нас жалели? Эти изверги рады задушить революцию, не дают новой власти ни товара, ни денег. Всё попрятали. Но мы их... но я их!.. — У Криворученко задёргалась щека. Он сунул руку в планшет, вытащил оттуда газету «Знамя революции», подал Коле:

— На! Прочитай про то, кому ты служил! Вот здесь, во втором столбце...

Коля стал читать:

«Жалкий призрак буржуазной власти. Час падения буржуазной думы есть час торжества революционных народов Сибири. Задушить революцию не удастся. Богатые должны отдать сбережения на благо народа...»

— Ну, я не знаю, — сказал Коля, — Григорий Николаевич иначе говорил. Опять же богатеи... Тот же Смирнов в думе состоял, жертвовал деньги на сирот... А Гадалов из своих служащих оркестр создал, и они играли в городском саду. Я тоже там танцевал. Выходит, Гадалов для всех постарался.

— Чудак! — усмехнулся Криворученко. — Оркестр! Он этим оркестром тебе глаза отвёл. Ты Маркса не читал. Не знаешь, что такое прибавочная стоимость. Представь, что Смирнов в молодости попал на необитаемый остров. И вот стал бы он себе там строить дом. Прожил бы он при этом, ну, скажем, до ста лет. И всю жизнь бы строил. Смог бы он себе при этом возвести такой дворец, в каком он нынче живёт? А ведь кроме этого дворца за рекой у него ещё один дворец, который он дачей именует. А ещё он имеет магазины, катера, конюшни и много чего. Разве мог бы он всё это заработать своими руками? Нашими руками, твоими, моими и руками прочих простых людей нажили они свои богатства, и жируют, и Гадалов, и Смирнов, и все прочие. Несознательный ты ещё, Коля! Я тебе потом дам Маркса почитать, а что не поймёшь, спросишь, объясню...

— Вы бы старика Фаддея Герасимовича выпустили, это мой приютский воспитатель, он инвалид японской войны. Он ко мне в совет за помощью пришёл, корову у него свели. Ну его вместе со мной и забрали.

— Ладно! Я пошлю нарочного с приказом. Пошли!

Криворученко отпер ключом в стене маленькую дверцу и потянул за собой Колю. За дверью обнаружился другой коридор, низкий, в рост человека, и узкий. Алексей Криворученко запер за собой дверь и сказал:

— Этим коридором я тебя выведу из дома заточения в Дом свободы, то есть в бывший губернаторский дом. Губернатор мог проникать по специальным подземным ходам и в следственный замок, и в Троицкий собор. Когда он появлялся в Троицком соборе в морозный день без пальто, прихожане удивлялись, откуда он взялся. Никто не видел, чтобы он входил в соборную дверь.

Ну, мы, атеисты, в собор не ходим. А вот следственный замок навещать приходится. Когда революция победит окончательно и в этом подземном ходе надобность отпадёт, мы тогда засыплем все подземные ходы окончательно. И люди будут ходить только по земле, и будут парить над ней на крыльях, как птицы. Счастливые, смелые, свободные!

Они шли по тайному ходу, пол которого был вымощен гранитом, а стены и своды были выложены из кирпича. Криворученко нажимал пружину фонаря под названием «летучая мышь». Фонарь таинственно жужжал, и пятно света мерцало, то увеличиваясь, то уменьшаясь.

Коля думал: кто же прав? Действительно, разве можно построить в одиночку такой дворец, как у Смирнова? Но зачем же его цепями — к стене? Что-то тут не так. Добрее надо быть. И опять же Григорий Николаевич... Он о свободе для сибиряков радеет. Почему Криворученко этого не понимает? Он же сам сибиряк? Надо будет в этом во всём разобраться, кого-то ещё спросить такого... Но кого?..

32. Алёна-Элеонора — девственница

На Никитинской в доме Безхадорнова великий ясновидящий предсказатель и знахарь Ашурбанипал Данилович вместе с девственницей Элеонорой принимал делегацию женщин. Они вошли, и в комнате пахло дорогими французскими духами. Женщины были в шляпах с вуальками, держались просто и с достоинством, и видно было, что знают себе цену. Они внимательно осмотрели приёмную Ашурбанипала. По стенам были развешаны знаки зодиака и большие стеклянные шары неизвестного назначения. В глазницах человеческого черепа, который лежал на комод, полыхал огонь. Окна были зашторены, и в комнате было сумрачно, несмотря весну.

Старшая из женщин осмотрела стул, вынула из сумочки платок, отёрла им сиденье стула, присела на краешек:

— Ашурбанипал, если не ошибаюсь, был каким-то царём? Вы, вероятно, его родственник?

— Все люди на земле — родственники, — отвечал Ашурбанипал Данилович. — Если вы не верите в меня, то для чего же вы пришли?

— Утопающий хватается за соломинку, — отвечала она. — Сейчас газеты пестрят объявлениями об услугах различных кудесников, мы выбрали вас за ваш удивительный псевдоним.

— Псидоном? Да слышал я такое городское словечко, означает оно кличку, — отвечал Ашурбанипал Данилович. — Но вы это — совершенно напрасно. Меня обидеть невозможно. Вы ещё не успели что-то подумать, а я уже знаю, что вы подумаете. У меня это — не кличка. Моё имя меняется каждый месяц. Как буду я прозываться в следующем месяце, мне внушает некто свыше. И я знаю, что вы сейчас думаете. Вы решили, что, меня имена, я скрываюсь от полиции, её теперь кличут милицией, хотя хрен редьки не слаще. Нет, я не скрываюсь. Я ставлю перед домом невидимую черту, и ни один человек, желающий мне зла, не переступит её.

— Вот как? — сказала собеседница. — А это ваше украшение на комод, в его глазницы вставлены свечки? И ваша Элеонора действительно имеет справку от Курлова?

— Справка вон она — висит в рамочке на стенке. А в черепе горят не свечи, это холодный огонь, сторонний, не тутошный. Суньте в него палец и полюбопытствуйте.

— Стану я палец марать! — капризно сказала визитёрша. — Так вы с Элеонорой можете видеть на расстоянии?

— Я знаю, зачем вы пришли. Элеонора уже получила сигнал и передала его мне.

— Вот как? Откуда же берётся сигнал? И зачем же мы пришли?

— Сигнал поступил от вас к ней, а от неё — ко мне. Вы пришли узнать, где же теперь находятся арестованные ваши мужья, самые богатые в Томске люди. Мы это можем узнать, но вы должны дать в аванс золотое кольцо, а после, как всё проясним, — ещё два золотых кольца. Бумажных денег не принимаем.

— Мы согласны дать вам три золотых кольца, но не раньше того, как услышим ваши сведения.

Ашурбанипал Данилович нахмурился и сказал:

— Элеонора! Напрягись!

Элеонора встала со стула, закрыла глаза, медленно переступая, поворачивалась слева направо. Потом вдруг замерла, словно во что-то вслушивалась.

Ашурбанипал положил руку на мёртвый череп, огонь в глазницах засиял сильнее.

— Всё ясно! — сказал колдун. — Ваши мужья находятся в бараке в шахтёрском посёлке Анжеро-Судженске, возле копей Михельсона. Их хотят спустить в бадье вниз, в глубину шахты, а они говорят, чтобы пока их оставили в покое. Они клянутся, что вы соберёте двадцать миллионов, хотя и не сразу. Попросят подождать. Но без дела они там не сидят, они создают чертёж подъёмника для одной из шахт. И, слава богу, пока здоровы.

— Значит, их уже нет в подвале следственного замка? — воскликнула женщина, сразу забывшая своё неверие и свою иронию.

— Их увезли на копи недели две назад!

— Всё правильно. Так и написал Иннокентий в переданной мне с оказией записке.

— Ты — Гадалова?

— Это неважно, возьмите свои три кольца, хотя это очень дорого.

— Приходите ещё, мы всегда готовы услужить.

— Спасибо! — сказала женщина. — Мы уже начали выплачивать выкуп, но нужную сумму нам никогда не собрать.

— Старайтесь, бабоньки, старайтесь!

Женщины удалились. Ашурбанипал Данилович, засунув крюк в петлю, запер дверь. Облапил венозными корявыми руками Алёну:

— Ах ты девственница моя драгоценная! Ведь превзошла меня самого в науке. И как это у тебя получается?

— Сама не знаю! — сказала Алёна, освобождаясь от гимназической пелеринки и скромного тёмного платья. Ашурбанипал Данилович дважды плюнул в глазницы черепа, и огонь в них погас. Через минуту диван в комнате заскрипел всеми своими пружинами.

— Девственница ты моя! — хрипел Ашурбанипал Данилович.

— А то как же! — отвечала запыхавшаяся Алёна.

В это же самое время в небольшом городе Анжеро-Судженске в бараке с зарешеченными окнами томские богачи сидели и лежали на деревянных нарах. Узники выглядели иногда сквозь решётки. И что же видели они? Известные им прибыльные копи Михельсона из заточения виделись адом. Сколько мог захватить взор, всюду были видны чёрные горы угольных отбросов, пустой породы. Скрипели лебёдки и транспортёры, мальчишки, почерневшие от угля, как негры, сортировали его. Чёрные горы породы при каждом дуновении ветра извергали из себя тучи грязной пыли. Угольная пыль посыпала примыкавшие к терриконам убогие мазанки. Возле жилищ сидели на лавках деды в украинских расшитых рубахах и курили казачьи люльки. Деды эти вышли погреться на солнышке, подышать свежим весенним воздухом. А воздух был спёртым, дымным, словно весь город поместили в гигантскую печь. Бельё, вывешенное после стирки для просушки, чернело мгновенно.

Василий Вытнов обратился к товарищам по заточению:

— А шахтёришки-то живут грязно. После нашего Томска это — суший ад.

— Что же, они сами выбрали свою судьбу, — философски заметил Смирнов, — могли бы жить в деревне, пахать, сеять, дышать свежим воздухом, но приехали сюда за длинными рублями.

— Молчи, гидра капиталистическая! — воскликнул конвоир.

Барак охранялся снаружи, но несколько охранников находилось внутри барака. Опасались того, что арестованные богатеи сделают подкоп или сделают пролом в полусгнившей стене и сбегут. С тех пор, как в Анжерке появились знатные арестанты, местные большевики потеряли покой. Им хотелось поскорее поставить врагов рабочего класса к стенке, или

по крайней мере спустить на дно самых глубоких шахт и заставить рубать уголёк, пока не сдохнут. Телеграф мгновенно передавал это желание в Томск, но из губернского центра отвечали о революционной необходимости. Расстрелять богачей могли и в Томске, дело нехитрое. Но надо их напугать, чтобы они отдали необходимые революционной власти деньги. Вот уж деньги дадут, тогда видно будет.

На злобную тираду конвоира Гадалов ответил примирительно. Он предложил сыграть в карты, ведь внутренним конвоирам осточертело сидеть без дела в бараке вместе с заключёнными.

И вот богачи уже играли с большевистскими конвоирами в карты. Коммерсанты ставили на кон пиджаки и штиблеты, конвоиры при проигрыше должны были отнести на местную почту письма арестантов. И коммерсанты всё время выигрывали, что вводило в азарт конвоиров. Богачи были более искушены в картёжных играх.

В конце концов проигравшийся вдрызг старший конвоир, беря письма у богачей, сказал:

— Не радуйтесь шибко-то, я ваши письма проверю, и лишь потом отправлю. Пеняйте на себя, ежели что худое написали. Морду набью.

Он распечатал конверт Гадалова и прочёл: «Дорогая, немедленно собери и уплати властям требуемую сумму. Твой Кеша».

Примерно то же было написано в других письмах. Конвоир сказал:

— Это ничего, это можно отправить. Так и быть...

Он не знал, что ещё во время сидения в томском следственном замке Гадалов через зарешеченное окно показал старшему приказчику секретные знаки, которые посторонний человек ни за что не разобрал бы. Этот шифр придуман был Гадаловым. Он знал: приказчик его письмо подержит над тёплой плитой, и на бумаге проступят слова, написанные молоком между строк: «Дорогая, ни в коем случае не давай комиссарам ни копейки. Твой Кеша». Тайнописью были снабжены и все другие письма. Но простодушные большевистские конвоиры не могли даже предположить такое коварство.

33. Скворцы летят мимо

Благодаря Природе, Господу Богу или же Мировому разуму, что, очень может быть, одно и то же, в Сибири всегда вслед за зимою является весна. И мы с детства помним эти ликующие строки: «Зима недаром злится, прошла её пора...».

Всю зиму в домах у томичей в деревянных клетках живут жуланы, щеглы, чечётки. А весной и взрослые, и дети строят и прикрепляют к шестам, а то и прямо к домам своим домики для скворцов. Считается: если в усадьбе живёт хоть один скворец, жильцам будет счастье.

Но в весну 1918 года ни взрослые, ни дети в Томске скворечников не строили. Город смотрел хмуро. Обедневшие жители завидовали птичкам, которые могут крохой прокормиться, летящей каплей дождевой напиток. Многих умерших за зиму беженцев некому было хоронить. Война аукнулась и в глубоком тылу. Стали возвращаться с фронтов солдаты и офицеры. Впервые томичи услышали страшное слово «сыпняк». Да и немудрено было заболеть тифом: ехали тысячи вёрст, через разорённую войной Россию, в телячьих вагонах, без мытья в бане, почти без еды.

— Смотрите! С них вши валяются! — крикнул кто-то в толпе встречавших.

Понурившись, шли фронтовики, не строем, а странной толпой, шли в размахившихся, грязных шинелях и гимнастёрках.

Ещё в марте большевики заключили с немчурой мир в Брест-Литовске. Проклятый договор подтвердил захват Германией многих земель Польши, Прибалтики, Белоруссии и Закавказья. Россия обязалась выплатить противнику шесть миллионов марок. Это тоже угнетало.

Анатолий Николаевич Пепеляев поспешил в отчий дом, пригласив в гости Алексея Николаевича Гришина. В доме всё было, как и прежде. Чинно и спокойно отсчитывали время громадные напольные часы. Пушистые кошечки сидели на диванах на специальных подушечках. На стенах висели пейзажи, написанные Михаилом Николаевичем, а в окнах сквозь уютный узор тюлевых штор рисовался контур университета. Приняв ванну, переодевшись во всё чистое, два подполковника прошли к столу, где исходило слезой жёлтое сливочное масло на тарелочке, и серебряные сахарные щипцы как бы приглашали откусить от сверкающего, как снежная вершина, сахарного конуса какую-то его часть. Были тут буженина, икра осетровая.

Старый дом коренных томичей ещё мог блеснуть перед гостями остатками прежнего благополучия. Из запотевшего графинчика мужчины налили по рюмке водки, и Анатолий Николаевич сказал:

— За что же выпьем? За возвращение? А ведь могли бы выпить за победу, если бы нас не предали.

— Пять миллионов погибших на этой войне россиян вопиют к нам: отомстите за нас, за украденную победу, за несосто-

явшийся парад в Берлине, накажите предателей! — воскликнул Гришин. За отмщение!

Вешний ветер врывается в форточки, и, залетая внутрь лежавшей на диване гитары, заставляет петь её трепетные струны. И долго, долго молчали подполковники. Каждый думал о своём. Анатолий Николаевич вспоминал отца, совместную с ним отправку на фронт. Отец не смог вынести позора отступления. Это было свыше его сил. И вот отца нет — есть холмик рядом с могилкой деда. А сын бесславно возвратился в отцовский дом.

Потомственный дворянин и бывший доцент Технологического института Гришин вспоминал неудачную русско-японскую войну, в которой он принимал участие. А теперь ему пришлось пережить ещё одно поражение! Что за рок? Что за насмешка судьбы? Тогда японскую кампанию провалили бездарные царские генералы, теперь не дали побить врага большевики. И вспоминались окопы, засыпанные трупами, газовые немецкие атаки. Не трусили, стояли насмерть. И всё — зря. И водка не пьянила, не облегчала голову, а от выпитого становилось ещё противнее и тягостнее на душе.

Гришин в тот же день уехал на свою загородную дачу в село Аникино. А через несколько дней порог дома Пепеляевых переступил ещё один из братьев — Виктор. Окончив в тысяча восемьсот восемьдесят четвёртом году юридический факультет Императорского томского университета, он работал в Бийске учителем. Должность, казалось бы, невеликая, но надо знать Пепеляевых. Виктор быстро стал одним из первых граждан маленького городка. Вскоре его избрали депутатом государственной думы четвёртого созыва.

В семнадцатом году он стал комиссаром Временного правительства в Кронштадте. Когда восстали большевики, матросы подняли на штыки представителя Керенского — адмирала Роберта Николаевича Вирена. Виктора Николаевича, как штатского, не тронули, лишь объявили ему, что он свободен от должности, ибо она упразднена. И вот он снова видел из окон родного дома крест на церкви томского университета, с другой стороны дома вскинула свой крест Преображенская церковь.

Анатолий Николаевич пригласил Виктора Николаевича съездить на дачу Гришина в село Аникино. После всех передряг и перипетий надо было вдохнуть сибирского хвойного воздуха. На томских взгорьях солнце подсушило глину, и там пробилась первая зелёная травка. Листки тополей и берёз исходили зелёным клеем.

В церквях звонили колокола. Афиши на тумбах извещали, что в театральном кафе Василия Гранина ставят пьесу «Дочь каторжника, или Царь иудейский». Сообщалось также, что

спектакль этот будет идти с продолжением в течение пяти месяцев, и каждый раз после спектакля танцы будут продолжаться до трёх часов ночи.

— Я был там! Смотрел «Смерть Антуанетты». Это какой-то пир во время чумы, — заметил Виктор Николаевич, протирая очки. — Представьте: гильотина. Главный герой — палач Самсон. Панорама Гревской площади. Настоящие факелы и барабаны. «Пусть железный меч равенства пройдёт над всеми головами!»

Падает нож, палач за волосы поднимает муляж окровавленной головы. Зал ревёт. И после — танцы до утра... Ужасно...

А вот ещё афишка. Это художник Казимир Зеленевский к революции приобщился. Недаром живёт он в доме по Тверской, шестьдесят шесть, построенном в тысяча восемьсот девяносто девятом году. Это же число дьявола! Не зря Казимирчик в изъятом особняке Смирнова открыл сибирскую картинную галерею. Изю всех особняков волокли картины и мраморные скульптуры.

Между тем мальчишки-газетчики вопили:

— Пасхальный номер газеты «Знамя революции»! Сегодня отмечается 100 лет со дня рождения большевистского комиссара Карла Маркса! На тему святой Пасхи и Маркса отозвался революционный поэт Пётр Устюгов! Спешите купить газету! Спешите, а то будет поздно!

Анатолий Николаевич Пепеляев был в военной форме, но без погон. Виктор Николаевич был в суконной новенькой «тройке», в сером плаще, на голове его была мягкая серая шляпа, его пенснец поплёскивали на солнышке. Перед выходом из дома он предлагал и своему брату, полковнику, надеть всё штатское, на что Анатолий Николаевич отвечал:

— Я военный, я родину защищал, чего мне прятаться?

Теперь, купив у мальчишки газету, он прислонился к рекламной тумбе и стал вслух читать стихи Устюгова:

ВЕЛИКОМУ МАГУ!

— Ты первый нас позвал к борьбе с Ваалом!
Тобой осмеян золотой телец.
Ты добрый друг, Учитель и Отец,
Судьбы слепой ты сбросил покрывало!
И солнце новое над миром встало —
Глухому рабству наступил конец!
Великий Маг, любимейший Мудрец,
Тебе плетём венки на перевале,
Твой дух встал снова над землёй —
И новые пути перед зарёй

Он указал измученным народам!
Волшебник, ты развеял злой туман!
И пролетариям народов, стран
Открыл могучий, яркий свет свободы.

Дочитав это стихотворение, Анатолий Николаевич сказал Виктору:

— Удивительнейший этот революционный поэт! Похвалив Маркса, он в этом же номере газеты и на этой же странице отдаёт должное и Иисусу Христу. Вот послушай:

УТРО РАДОСТИ

Заря сияет с радостных небес,
И медь поёт о Светлом воскресенье:
Христос, принявший муки за ученье
Воскрес, воистину воскрес!
Долины, горы, шелестящий лес
Сияют в ярком новом озаренье,
И больше нет в душе моей сомнений,
И жизнь прекрасна и полна чудес!
И льётся звон на солнечной дороге
От города, оркестр колоколов,
Поющих с радостной тревогой,
Зовёт забыть кошмары чёрных снов.
Победный звон у ветхого порога —
И верю снова в Братство и Любовь.

— Оригинал! Оригинал! — похвалил поэта Анатолий Николаевич, выбрасывая газету в мусорную урну. — И как это у него ловко получилось! Всем сестрам — по серьгам. Но ведь господа-товарищи граждане большевички бога отрицают! Куда же редактор смотрел?

— Я этого не знаю, — отвечал Виктор, — но думаю, что вон того извозчика можно подрядить отвезти нас за город. Эй! Кирюшкин! В Аникино!

Извозчик остановил свой экипаж возле тротуара:

— Грязновато ещё, дороги не высохли, до Аникина повезу только за двойную плату, и желательно серебром, берём также екатеринки, петровки.

— Ладно! Погоняй! Будем тут торговаться! — оборвал его Анатолий Николаевич.

Крылья пролётки предохраняли седоков от грязи. Виктор Николаевич бережно закурил сигару. Светловолосые, голубоглазые братья были сильны и изящны, в них чувствовалась нерастратченная энергия, сила духа.

Проехали березняки, осинники, и смешанный лес сменился хвойным бором. Холмы, увалы, обрывистый берег Томи, нередко спускавшийся к воде скальными выступами. С детства знакомая обоим братьям торжественная картина природы Притомья вызывала особенное волнение. Извозчик сказал:

— Господи! Среди какой красоты живём. И всё чего-то людям неймётся, то воюют, то враждуют, опомниться бы всем да покаяться.

— Верно толкуешь, Кирюшкин! — похвалил его Виктор Николаевич.

— Святая истина! — подтвердил Анатолий Николаевич.

Ближе к селу Аникину дорога пошла под уклон, тут открылись виды совсем уж фантастические по красоте. Глубокий каньон, на дне которого текла каменная вертлявая речка Басандайка, весь порос пихтами, елями, кедрами, возле самой речки толпились черёмухи, ивняки. Воздух здесь был прозрачен до звонкости. На вершине высокой скалы росла одинокая сосна, на верхних ветвях которой свили гнездо орлы.

К даче Гришина братья прошли по петляющей лесной тропинке. Сам хозяин во дворе разделявал на поленья смолистые кедровые чурбаки.

— Добро пожаловать, дорогие гости! — воскликнул Гришин, отбрасывая топор. — У нас тут кедр старый свалился, так я его раскряжёвываю гимнастики ради.

— Виктор Николаевич вернулся в родные пенаты? Рад! Очень рад! Я его сразу не узнал, возмужал, возмужал! Чем теперь занимаешься? Думе вашей конец в Петербурге? Удивляюсь. Ты после университета попал в заштатный городишко Бийск, учителем. Ну что за должность? Так, ерунда. И во что ты её сумел превратить? Стал предметом восхищения всего городского общества. И — гигантский прыжок — из маленького Бийска в столицу, управлять государством! Вот она, пепеляевская закваска! А что — теперь? Может, пойдёшь по военной линии, как братья? Сейчас родине нужны солдаты.

— Ей нужны и политики! — отвечал Виктор Николаевич, чуть улыбаясь. Вот пример. В семнадцатом дума послала меня комиссаром Временного правительства в Кронштадт. Когда восстали большевики, матросы при мне подняли на штыки представителя Керенского, адмирала Роберта Николаевича Вирена, кстати, бывшего томича, любившего и ценившего наш город. А меня не тронули, именно как политика, и объявили мне, что могу идти на все четыре стороны. Но политика нельзя снять с работы, уволить от должности! Политик всегда при деле, даже если уволен от дела. Само это увольнение уже работает на его престиж. Ах, он там уволен? Значит, он нужен нам тут! Так рассуждают массы.

— И что же ты будешь делать?

— Посмотрю, какие политические силы в Сибири будут отвечать моим воззрениям, и примкну к ним. Я политик теперь известный и долго без дела не засижусь.

— Пойдёмте, пойдёмте в комнаты, как раз и обедать станем!

Фронтон дачи Гришина, её наличники были щедро украшены резьбой. Искусные резчики вырезали вензеля в виде еловых ветвей и шишечек. В доме вешалкой служили ветвистые олени рога, по полу и диванам были расстелены медвежьи шкуры, по стенам висели ружья, манки и рожки. Всё это свидетельствовало о любви Гришина к охоте.

Улыбающаяся стряпуха внесла на подносе свежие куличи, крашеные яйца, графинчик с клюквенной настойкой:

— Кушайте, дорогие гости, куличи я освятила сегодня в церкви! Кушайте, гости дорогие! Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — отвечал Анатолий Николаевич, крепко целуя стряпуху в уста.

— Эге! — воскликнул Алексей Николаевич. — Вы не очень-то увлекайтесь!

Стряпуха вышла, щёки её порозовели. Гришин наполнил рюмки:

— Давайте, братья, за Сибирь!

Выпили ещё за дружбу, за общее дело.

Анатолий Николаевич взял яйцо и сказал Гришину: — А ну, бери яйцо, давай стукнем, и посмотрим, чьё расколется. А ты при этом желание загадай!

— Уже загадано, — сказал Гришин.

Стукнули. Расколелось яйцо в руке у Гришина.

Анатолий Николаевич улыбнулся:

— Я этим искусством ещё в детстве овладел. Мы на Пасху крашеные яйца с горки катали. Чьё до самого низа докатится и не разобьётся, тот и победил. Или стучались, вот как с вами. Я всё удивлялся: отчего это всегда цыганята в таком деле побеждают. Однажды они мне открыли секрет. Вытачивается из дерева яйцо, красится. Не отличишь от куриного, стучайся им, всегда победишь, надо только незаметно вытащить его из кармана. Теперь на каждую Пасху с собой в кармане деревянное яйцо ношу, вот смотрите!

Анатолий Николаевич достал из кармана крашеное яйцо, изо всех сил стукнул им по столу.

— Вот видите?

— Ай да обманщик! — укорил его Алексей Николаевич.

— Это что! — сказал Пепеляев. — Меня цыганята ещё одному делу научили. А как вы думаете, почему я всегда выигрываю в карты?

— Почему же? — воскликнули собеседники разом.

— Это большой секрет. Но вам, как хорошим людям, скажу, чтобы больше никому — ни слова.

— Никогда!

— Хорошо. Значит, так. На Пасху в ночь надо пойти в храм, имея в кармане колоду карт. Вы стоите и ждёте, как только священник воскликнет: «Христос воскресе!», надо стукнуть себя по карману, в котором лежат карты, и шёпотом сказать: «Карты здесь!». Сколько раз священник возгласит — «Христос воскресе!», столько раз надо хлопать себя по карману и шептать. Зато потом, пока эта колода вся не порвётся, вы всегда будете ею выигрывать, поняли? А потом и с новой колодой надо всё повторить в том же порядке.

— Попробуем! — озадаченно посмотрел на него Алексей Николаевич.

— Только в следующую Пасху, нынче уже поздно, — пояснил Пепеляев.

— Хорошо! Теперь моя очередь удивлять, — сказал Гришин. — Идёмте-ка в лес. Сперва надо переобуться в бродни.

Все дружно обулись в бродни, эти удивительные сибирские сапоги, не пропускающие влагу, с голенищами, доходящими до паха.

Они петляли по узкой, еле заметной тропинке, она то исчезала совсем, то появлялась снова. По склонам оврагов ещё лежали проплешины не растаявшего снега, от них веяло холодом и по краям их росли сибирские тюльпаны, трогательно нежные и голубые. Их сибиряки именуют кандыками или же подснежниками.

По пути пришлось преодолевать небольшие последние рыхлые сугробы, лесные завалы. Путники остановились отдохнуть возле интереснейших родников. При выходе на поверхность известковые туфы образовывали ячеистые чаши бело-серого цвета. Одна из чаш возвышалась над землёй на полтора метра, имела в длину четыре метра и в ширину до трёх.

— Вот это ванночка! — сказал Гришин. — Такой не было даже у Алифера и Попова в их грандиозной гостинице «Европа». К тому же вода в чаше — целебная. Я захватил в поход с собой три полотенца, так что мы сейчас искупаемся.

Военные быстро разделись, Виктор Николаевич некоторое время в нерешительности наблюдал, как они блаженно ухают в ледяной минерализованной воде, а затем и сам стал раздеваться.

Растираясь докрасна полотенцем и одеваясь, Гришин сообщил, что к этой «ванне» приходят иногда лечиться даже медики.

— Не дай бог какой на нас напорется! — сказал Виктор Николаевич.

— А револьверы у нас на что? — ответил ему брат вопросом.

После двух часов ходьбы они увидели в лесу еле заметную охотничью избушку. Из её трубы тёл вкусный дымок.

Не успели они подойти к этой избе, как из-за дерева вышел ловкий мужик с длинной чёрной бородой, в драной кацавейке, вытянулся в струнку, приложил руку к старой шапке-ушанке:

— Здравия желаю, господин полковник! За время вашего отсутствия на вверенном мне участке никаких происшествий не случилось, докладывает прапорщик Вершинин!

— Вольно! Благодарю за службу!

— Не прикажете ли подать чего-нибудь для сугреву?

— Потом, сейчас проведите нас в парк.

Мужик, оказавшийся прапорщиком, пригласил всех в избу. Там были нары, стол у окна, на бревенчатых стенах висели капканы, силки и охотничьи ружья. Мужик-прапорщик отворил подполье, слез туда по лесенке и, светя себе шахтёрской лампой, стал сдвигать в сторону бочонки с грибами и вареньями. Наконец он освободил лаз, в который и пригласил гостей. Пришедшие полезли в дыру. Они проникли в помещение, в котором прапорщик возжёт несколько шахтёрских ламп. Расставил их на стеллажах. Стали видны пирамиды, в которых аккуратно были расставлены винтовки. На отдельном стеллаже рядами стояли пулемёты английской, немецкой, французских систем, наши отечественные «максимы» и чешские «шоши».

— Здесь хранится отремонтированное, почищенное и смазанное оружие, — пояснил Гришин. — Патроны, снаряды и гранаты у нас в другом складе, верстах в трёх отсюда. Все, кто обслуживают оружие и охраняют его, живут тут, в лесу, в охотничьих избах, под видом охотников. Я потом покажу вам карты наших схронов. На всякий случай. Мало ли что со мной может случиться. Вы знаете, что подпольные военные организации готовятся к восстанию в Мариинске, Тайге и других городах и посёлках губернии. Восстанет Томск — поднимется и вся Сибирь. Из центра шифровкой мне предложено командовать силами местного сопротивления, вы, Анатолий Николаевич, названы начальником штаба. Вот, теперь вы всё знаете.

Я передам вам зашифрованные места наших явок в Томске, псевдонимы ответственных за операцию людей. С первыми тёплыми днями, Анатолий Николаевич, начинайте готовить штурмовые группы — под видом томского велосипедного общества. Соответствующее удостоверение вам выправлено, у меня в Аникине хранится приготовленное для вас оборудова-

ние: велосипеды, самокаты, шлемы, краги и прочее. Местные крестьяне уже привыкли к тому, что с наступлением весны разные спортивные общества прибывают в здешние леса и состязаются тут на полянах в беге, боксе, прыжках, катании на самокатах. Правда, теперь время суровое, но всё равно никто не будет удивлён, они всех городских считают чужаками, которые во все времена занимаются всякой чепухой.

Ну, а теперь последуем мудрому предложению прапорщика Вершинина, вернёмся в избу, примем что-нибудь для сугреву..

Вершинин приготовил жаркое из мяса молодого лося, самогон у него был настоян на калине, отчего имел особенно приятный привкус.

— Христос воскрес! За нашу победу, господи! — произнёс тост Гришин.

— Воистину воскрес! За победу! — ответили дружно братья Пепеляевы..

К вечеру они вернулись в Аникино, где на даче полковника Гришина детально ознакомились с планами будущего восстания. Дата его из соображений соблюдения конспирации Алексеем Николаевичем не была оглашена.

34. Разлука ты, разлука!..

Алексей Криворученко, освободив Колю Зимнего из заточения, спросил его адрес. Коля объяснил, что живёт во второвском общежитии на углу Почтамтской улицы и Благовещенского переулка.

— Ладно! — сказал юный комиссар. — Сегодня состоится совет, и как раз в гостинице «Европа». После совета я потолкую с товарищами, куда бы тебя пристроить. Сделаем так, чтобы ты был полезен революции и чтобы у тебя было время на учёбу. Нам нужны кадры. Подожди день-другой. Решу вопрос, и сам зайду к тебе, сообщу..

Совет собрался в той самой обширной комнате, где когда-то останавливался владелец гигантского здания Второв. И комиссары смотрели в то самое окно, в которое когда-то Второв увидел валявшегося на травяном откосе пьяного Федьку Салова, и потом зло над ним подшутил.

Председатель томского губернского совета Алексей Иванович Беленец сидел во главе стола. Далее — все члены совета. Здесь же был Вениамин Давыдович Вегман, редактор газеты Совета — «Знамя революции». Около тетрадки он поместил несколько остро заточенных карандашей. Он был го-

тов запечатлеть волю партии. Его длинные волосы то и дело падали ему на глаза, и он встряхивал головой, откидывая их назад.

— Буржуи только и мечтают о том, чтобы задушить нашу власть. Если мы допустим разруху, мы действительно падём. А мы ещё продолжаем проявлять мягкотелость! Более этого терпеть нельзя. И все товарищи должны понять важность момента. Большевиками взята власть, вот и нужно эту власть употребить в должной мере, — при этих словах Беленец посмотрел на Криворученку, тот был в новой кожаной куртке, ремни португепи скрипели, как январский снег на тротуаре.

Лицо молодого человека исказила судорога. Он вскочил:

— Я к себе этого не отношу! — воскликнул он. — Я сделал главное: конфисковал все виды частных самолётов, моторов, самокатов, я у Макушина единственные в городе азросани забрал. Не так-то просто было найти шикарные моторы Смирнова и Вытнова. Они их спрятали у лесников, в тайге, но я нашёл. Я истребил сотни самогонных аппаратов, обыскал многие десятки подвалов. Я кручусь, как белка в колесе...

— Все мы крутимся! — отвечал Беленец. — Немало зерна и прочих съестных припасов припрятано купцами в монастырях. Там можно поискать и деньги, и оружие. Контрреволюцию надо давить повсюду, где она возникает. Вообще-то это ведь божеское дело — помогать голодным детям! — сказал Беленец, открывая блокнот. — Вы начните-ка с женского монастыря. На заимке у них огромные поля, дойные стада. Так что и зерно, и масло у них есть. Пусть подтянут пояса. Божьим слугам надо чаще поститься.

Криворученку покраснел, руки его сжали край стола с такой силой, что пальцы побелели. Вегман строчил в тетрадке, карандаши крошились. Большие напольные часы били тихо и задумчиво, они пережили трёх царей, Временное правительство, теперь им довелось отсчитывать время при Советах. Часам было всё равно. Да и что такое время? Люди условились, что оно есть, а его, может, и вовсе нет? Но у людей, как и у всех животных, есть животы, и, чтобы жить, надо эти животы время от времени наполнять.

Был конец мая, самое благодное время весны, когда Криворученку прибыл к женскому монастырю на моторе в сопровождении двух красногвардейцев, и стал требовать к себе мать игуменью.

— Хочу говорить с главной. Нет, ни в какие ваши покои и храмы не пойду. Пусть сама выйдет к должностному лицу.

Пожилая, почти восьмидесятилетняя игуменья Анастасия Некрасова не понравилась Алексею сразу. Вышла из храма, стала на крыльце и звонко возгласила:

— Я вас слушаю, сын мой!

— Я тебе не сын! — разъярённо крикнул Криворученко. — Не нужна мне такая мать, которая жрёт хлеб с маслом и пьёт монастырское вино в то время как сотни пролетарских детей пухнут от голода! Открывай подвалы и ледники, я реквизирую твои продукты!

Анастасия Некрасова отвечала достаточно сурово:

— Наш монастырь общежительный, ему никогда не было помощи государства. Продукты принадлежат не мне, а сёстрам, которые их произвели, нашим прихожанам, которые помогали осваивать монастырскую заимку. Мы содержим приют для одиноких женщин. Это ли не доброе дело? На поддержку сирот давали и на прочие богоугодные дела достаточно. Но подвалы свои растворять перед тобой не стану. Чем ты лучше бандита с большой дороги, который посягает на чужое?

Криворученко вдруг вспомнил детство, убогий подвал, махры, на которых лежал он, когда у него тёк гной из простуженного уха. Есть было нечего, Алексей тогда исхудал так, что остались кожа и кости. И непонятно было: гной-то откуда берётся? Из чего воспроизводится, если тела уже почти нет? Он выжил тогда. И возненавидел всех сытых. Теперь он пришёл заступиться за пролетарских ребят, а эта ведьма смеет с ним так разговаривать?

— Вот я тебе покажу сейчас, чем я лучше бандита с большой дороги! — воскликнул Криворученко, вытаскивая из кобуры маузер. Он готов был всадить в игуменью все пули, до последней. Убить дуру, пусть поймут, что с революцией шутки плохи.

В этот момент на паперть как бы выкатился небольшой старичок в приличной серой тройке. Из кармана жилета у старичка торчала золотая цепь от часов, в руке он держал тросточку. Старичок спустился на одну ступеньку ниже игуменьи и неприятным голосом кастрата завизжал с сильным еврейским акцентом:

— Что вы себе позволяете, молодой человек, в таком святом месте? Разве же вы — не русский? Мне это позволительно спросить, ибо зовут меня Савва Игнатьевич Канцер, и я крещёный еврей! Но вы-то русский по крови, вы просто обязаны быть православным, а вы позволяете себе такое!..

Палец Алексея Криворученко сам собой нажал на спуск. Маленький старичок покатился по ступенькам в одну сторону, тросточка его покатила в другую, причём подпрыгивала на ступеньках, как живая.

— Ой-ой-ой! Убивают, Господи, прости и помоги! — раздался пронзительный женский визг. Криворученко пресёк его новой пулей. Толпа зароптала. Красногвардейцы передёрнули затворы винтовок.

— А ну-ка, мать звонарка, ударь-ка в набат! — попросила игуменья, отступая внутрь храма. Криворученко поднял маузер, выцеливая звонарку. Он не успел выстрелить. Прилетевший из толпы булыжник ударил его в затылок. Алексей поднялся было, толпа наступала, тесня его к кладбищенской стене. Булыжники полетели страшным градом, превращая его голову в кровавое месиво. Он всё же сумел ещё пару раз выстрелить. Упал и затих.

Звонарка, несмотря на преклонный возраст, быстро поднялась на колокольню Иннокентьевской церкви, заперла за собой железные двери и произвела тревожный набатный звон, который на Руси издавна означал тревогу и зов. Набат в монастыре, сумерки.

Все в Томске в тот час в домах сели ужинать после вечера. А в монастыре-то служба обычно длиннее. Только томичи поднесли ложки ко ртам — ударил набат. Что такое? Пожар, что ли? Цвела черёмуха. Народ зашевелился, извозчики прискакали, говорят — сёстры зовут. Прихожане Златомрежева собрали крестный ход. Свечи в фонаре, крест запрестольный, хоругви на древках закачались, двинулись к стенам монастыря.

Красногвардейцы, отпугивая толпу выстрелами из винтовок, вскочили в мотор, крича механику:

— Дави пипи-грушу!

Пипи-груша завопила на весь переулок, и они умчались за подмогой. Вскоре в проулке развернулась фура с пулемётами. И застрочила, как швейная машина, свои смертельные свинцовые строчки. Толпа рассеялась: кто-то побежал на кладбище, кто-то возвратился обратно в храм.

Красногвардейцы подобрали труп Криворученко, погрузили его в мотор. Цепи вооружённых винтовками красногвардейцев окружили кладбище.

— Ни один гад не должен уйти! — кричал командир. — Всех расстреливать на месте! Без суда и следствия! Мы им покажем, как самосуд устраивать!

А в это время, заслышав набат, из района красивых полян, так называемых Потаповых лужков, помчались в город самокатчики Анатолия Николаевича Пепеляева. Выступление было назначено на более поздний срок. Но ведь — набат! Именно так должны были подать сигнал к восстанию.

В томских домах уже зажглись огни, быстро темнело. Но опытный фронтвик Пепеляев быстро разобрался в создавшейся ситуации. Пулемёты самокатчиков отсекали красногвардейские цепи, и дали отступавшим прихожанам скрыться во тьме. Ввязываться в бой с красными Пепеляев не стал. Надо было побережь людей, самокатчики растворились во тьме, словно их никогда и не было.

Криворученко через два дня был торжественно похоронен, и над его могилой трижды прогремел дружный залп. Напрасно Коля Зимний ждал Алексея в общегититии. Он слышал, что верующие забили камнями какого-то комиссара. Забили, как в Библии, камнями у стены. Но он и представить себе не мог, что это случилось с Алексеем.

Тридцатого мая он хотел пойти в Совет, в гостиницу «Европа», чтобы встретиться с Алексеем, но увидел большую толпу на базарном мосту. И побежал туда. Что-то интересное, видимо. Раздавались возгласы:

— Грузятся, грузятся! Ковры тащат, пианины! Хрусталь и серебро из гостиницы забрали. Из смирновского дворца и из прочих особняков, что подороже, тащат. А вон ещё арестантов везут!

Пароходы «Коминтерн» и «Ермак» лениво дымили трубами, в их трюмы сгружали дорогую мебель из гостиницы «Европа», картины из томских музеев.

Командовали пароходами бывшие пленные австрийцы, вступившие в партию большевиков. Они носили длинные кайзеровские усы.

На палубу парохода «Коминтерн» провели несколько арестованных. В одном из них Коля узнал священника Златомрежева. На нём были тяжёлые царские кандалы, ряса его была порвана, лицо пестрело красными и коричневыми пятнами.

Священника подвели к борту парохода, человек в военной форме стал читать приговор, и голос его далеко летел над водой:

— Белогвардейский офицер, прикрывшись рясой, творил свои подлые дела. Пролетарских детей крестил в холодной церкви, температуру воды определял локтем, а не термометром, установлено, что один ребёнок умер вскоре после крестин. Вступив в преступный сговор с религиозной фанатичкой Анастасией Некрасовой и военным бандитом, своим бывшим фронтовым командиром Анатолием Пепеляевым, пытался поднять мятеж, расстреляв при этом комиссара товарища Криворученко, убив и ранив ещё несколько красных бойцов... За всё в совокупности приговаривается к расстрелянию!

— Господи! Я же только пошёл с крестным ходом. Пошёл потому, что миряне слышали набат и призвали меня. Кресты и лики божьи не стреляют!

Красногвардейцы подняли винтовки. Похожий на кайзера австриец покрутил ручку граммофона фирмы «Пате», и тотчас над волнами полилась мелодия аргентинского танго, которую, говорят, очень любил царь Николай Второй. Музыка на момент заглушил залп, а затем она продолжалась.

Коля с моста плюнул на палубу парохода и крикнул гневно:

— Чтоб ты сдох, сволочь усатая!

Юноша в форме студента взял его за руку и тихо сказал:

— А вот демонстраций таких не надо! А то и тебя заодно шлёпнут господа-товарищи. Они сейчас в расстроенных чувствах. Они ночью чуть не двести человек расстреляли. Одним больше, одним меньше, им всё равно. А Златомрежеву просто не повезло, не он же комиссара убил. Но где же большевикам теперь виновных искать? Чешский корпус численностью в пятьдесят тысяч человек взбунтовался и движется на Томск. Вот и бегут от нас граждане-товарищи. Почему же взбунтовался? Газеты надо читать. Их хотели через Владивосток морем отправить к союзникам во Францию, чтобы продолжить войну с немчурой. Они доехали лишь до Сибири. Здесь узнали о Брестском мире, о том, что главковерх Троцкий приказал разоружить их. Вот и взбунтовались.

Коля пошёл по главной улице, Почтамтской. Было ему жаль и Алексея Криворученко, и Николая Златомрежева, оба были хорошие русские люди, добрые, хотели Коле помочь. И теперь их нет.

Улицы жили обычной жизнью, неподалёку от почты и общественного собрания и в других местах главного томского проспекта наигрывали шарманщики.

«Чему радуются? — думалось Коле. — Что за веселье?»

Он не знал, что некие штатские в музыкальном магазине Ольги Шмидт закупили накануне несколько новейших шарманок. Одетые в заношенные рубашки, в залатанные штаны и смазные сапоги, шарманщики все были ладными здоровяками. Горожане слушали их музыку, иногда кидали им мелкие деньги в кружку или в картуз. Они не знали, что по сигналу шарманки обитатели некоторых томских квартир надевают и застёгивают офицерские мундиры, застёгивают ремни, портупей, заряжают револьверы.

Коля дошёл до Дома Свободы. Возле оборванного шарманщика столпились солдаты с красными лентами на картузах:

— Поиграй про любовь чего-нибудь! Поверни-ка там внутри барабан, чтобы, значит, не марш, а такое что-то!..

Шарманщик поколдовал над шарманкой, и она заиграла печально и залиристо:

— Разлука ты, разлука,
Чужая сторона,
Никто нас не разлучит,
Ни солнце, ни луна.

Привлечённые пронзительной мелодией песни, толпу пополнили всё новые красногвардейцы. И вдруг из шарманки застрочил английский пулемёт «льюис». Дробно отозвались

пулемёты на Почтамтской, возле лютеранской кирхи, и в Городском саду. Коля Зимний отступил за деревья. Он видел из-за веток, как цепи военных в погонах окружают Дом Свободы, как взрываются гранаты и падают люди.

35. Рази и побеждай!

Мальчишки-газетчики, звонкоголосые копеечные глашатаи быстротекущей истории, опять вопили изо всех сил:

— Красные ушли на пароходах в Нарым и далее — в Тюмень! Читайте правдивую газету «Сибирская жизнь»! Чешские военные победоносно движутся по Сибири, освобождая её от красной заразы. Большевики в панике. Города падают один за другим. Чехи скоро будут в Томске...

Первого июня тысяча девятьсот восемнадцатого года в Томск вошёл показательный сводный полк чешского корпуса. Командир корпуса Рудольф Гайда не мог, конечно, ввести в город всю свою армию. Поэтому он решил показать губернскому центру лучшее, что у него было. Впереди на белом коне скакал сам Гайда. За ним в нескольких моторах ехали со знамёнами корпуса старшие офицеры. Затем катили самокатчики со знамёнами полков и батальонов. На рысях на великолепных буланых лошадках шла кавалерия, за ней специальные артиллерийские кони-битюги, большой тягловой силы и приученные не бояться пушечных залпов, тянули за собой тяжёлые мортиры и гаубицы.

Сияло солнце. На колокольне собора звонили во все колокола. Священники вышли в праздничных ризах, высоко вздымая хоругви. На площади у Троицкого собора на фоне деревьев Городского сада стояла трибуна, украшенная еловыми и кедровыми ветвями. На ней разместились лучшие люди Томска. Внизу выстроились роты сибирских стрелков. Когда чешские ряды вышли к площади, стоявшие на трибуне стали просить Потанина сказать слово. Он отказывался. Колебался. Освобождение? Да! Но было что-то неестественное в форме чешских легионеров, чуждой русскому глазу. Какие странные времена! Какие катаклизмы!

— Просим! Просим! — раздалось из толпы. Потанин медлил, смущённо протирая очёчки, всё же решился, поднял руку и обратился к собравшимся:

— Мы в Сибири сегодня закладываем основу основ. Никаких более диктатур! Мы желаем, чтобы законы творил сам народ. Пусть общество будет превыше всего! И кто нам искренне станет помогать в этом, тех я приветствую!

Обратился он к своим, но вроде бы и — к чехам? Тем-то до Сибири — какое дело? До России? Потанин почувствовал ледяшку в сердце. Она росла, прерывала дыхание. Знаменитого старца осторожно свели с трибуны.

К Гайде подъехал в изящном фэтоне полковник Гришин. Он был в гусарском ментике, в расшитых гусарских штанах, встав на подножку фэтона, вскинув руку к козырьку, Гришин прокричал:

— Господин начальник чешского корпуса! Позвольте поприветствовать вас от имени созданной мной сибирской освободительной армии! Мы соединим наши усилия в создании подлинно свободной Сибири. В этом я, полковник Гришин-Алмазов, клянусь перед святым собором, перед всеми томичами и перед нашими замечательными союзниками. Мы победим, ура!

По площади прокатилось ура. Чехи его кричали с сильнейшим акцентом.

Братья Пепеляевы, стоявшие неподалёку, переглянулись. Анатолий Николаевич тихо сказал Виктору:

— То что он добавил к своей простой фамилии и другую, более красивую, это его дело. Но для чего рядиться гусаром? Не пойму. Гусары — это всё же вчерашний день. Да и вообще по военному образованию он — артиллерист. А в этого сибирского Наполеона Гайду я и вовсе не верю. Он — не сибиряк, и не русак.

Одетый во фрак Василий Петрович Вытнов, член академии Христофора Колумба в Марселе, знаменитый винодел, в этот момент преподнёс Рудольфу Гайде палаш дамасской стали с золотым эфесом, серебряной цепью и гербом Томска. На лезвии была выгравирована надпись: «Рази и побеждай!». Томский винный король, разумеется, хотел, чтобы сей великолепный чех разил и побеждал тех самых комиссаров, которые чуть не заставили Василия Петровича добывать уголь в шахте. А это не такая уж завидная доля для человека, который завоёвывал золотые медали на парижских выставках.

По-разному на Гайду смотрели томичи. Студенты и профессора в бело-зелёных кепи были сторонниками автономии Сибири. Как славно бы стать Томску столицей под бело-зелёным стягом! Но этот чех всё же не Чехов. И даже не Гришин-Алмазов, и не Пепеляев. Что он потребует за свои услуги, когда большевики будут окончательно побеждены? Подумать только! Он уже именуется генералом, хотя совсем недавно был просто подпоручиком! Вошёл в какой-то совет военнопленных, поднял их на бунт, вот и — пожалуйста! Сибирский Наполеон!

На вид он не был великаном, хотя и не был карликом. Он не был красавцем, хотя и не был уродом. И все чехи выгляде-

ли как-то усреднённо. Среди русских много и белокурых выходцев из северных областей, немало и южан-брюнетов, были и с монголинкой в глазах, с раскосинкой. Татаро-монгольское иго сказалось. Да и вообще люди, заселившие гигантскую территорию, не могут выглядеть одинаково. А чехи — могут. Всё больше серые какие-то, шатены с бесцветными глазами, с округлыми лицами, на вид добродушные, но, как оказалось, и суровости в них достаточно.

Через день томские газеты сообщали, что Анатолий Пепеляев с Рудольфом Гайдой формируют в Томске сибирскую армию, в которую вошла подготовленная Анатолием Николаевичем первая штурмовая бригада. Утверждено знамя армии. Белозелёное, с золотой каймой и с золотым крестом в центре.

36. Пять люлек на верёвках

Город убирал с улиц трупы. А ниже по течению Томи у загородной пристани под названием Черемошники вылавливали трупы расстрелянных большевиками людей. Выловили и Златомрежева. Начальник следственной команды изумился:

— Смотрите, священник, в рясе, с крестом!..

После опрошены были свидетели казни, составлены протоколы. Убитого священника погребли в ограде Богородице-Алексеевского монастыря, и через неделю на том месте стоял уже массивный крест, и плита лежала, гранитная, с выбитой церковнославянской вязью на ней.

Здесь привычно сгрудилась нищая братия, старицы и старики, и всякого рода оборванцы, встречая каждого входящего разнообразными жестами и возгласами, смысл которых был один.

Коля Зимний стоял возле надгробия, у подножия которого разместился Федька Салов со своими костылями и Георгиевскими крестами. Федька раскачивался от скуки, повторяя нараспев занудливо и равнодушно:

— Он меня благословил! Век буду за него Бога молить. Да сгинут аспиды в геенне огненной!..

Салов оброс бородой сверх меры, и глаза запали от тоски подневольности и постоянных попыток успокоения мятежной души низкопробной табачной брагой.

Коля почувствовал чью-то руку на плече. Обернулся. Увидел Фаддея Герасимовича:

— Праведники да утешатся на небеси, а нам, грешным, надо за них молиться. Я так и думал, что возле этой церкви тебя встречу.

— Здравствуйте, Фаддей Герасимович, я рад! Значит, не солгал Криворученко, действительно освободил вас. Обещал я помочь купить вам корову, помню, только к купцу за деньгами не ходил. Такая нынче круговерть.

Хромой старик взял его под руку, отвёл от церкви в сторонку, сказал вполголоса:

— Мамка твоя на мой двор объявилась. Плакала и умоляла сказать ей, что с подкинутым ею младенчиком стало.

— Где она? — бледнея, воскликнул Коля.

— Не волнуйся ты так. Живёт она на Войлочной заимке, у Бабинцева. Не отпускают её. Вроде отступного просят, много потратились на неё...

Коля потупился:

— Непонятно всё это. Я думал, что я сын офицера, даже, может, дворянина... вы говорили, как нашли меня: пелёнки на мне были дорогие, кружевные, да кольцо золотое к пальцу ниточкой привязано...

— Истинно так! Да ведь мамка твоя и вправду с офицером тебя нажила. Да только уехал он. Свой животик растущий она как-то утаила от всех на заимке, где вроде бы сердце тайгой лечила. Там тебя и родила, да к нам и подбросила. Потом выдали её замуж. А родичи жениха все — люди старого закона. После брачной ночи положено женскую рубаху на крыльцо вывешивать. Вывесили — ни одного красного пятнышка. Тут твою мамку и выгнали с позором. Пошла она топиться. А один жульман нырнул да и вытащил Анну Петровну, бедняжечку. Теперь у Бабинцева в услужении. И выпивать велят, и волю их исполнять. Где, говорит, мой сыночек, пусть придёт, пусть спасёт...

Коля ходил к купцу Туглакову за деньгами. И тот сказал, что — да, действительно, обменял Колины царские деньги на керенские по курсу. И вручил Зимнему два тяжёлых рулона.

— Во! — сказал Туглаков, — новые! Чуешь, как краской пахнут? Ещё даже неразрезанные. Сам будешь отрезать по надобности твоей.

— Да ходят ли эти деньги? — засомневался тогда Коля. — Почему сменяли не на золото, как говорили?

— Золото народ спрятал. А деньги... Не сомневайся, керенки — самые последние деньги, которые властями выпущены, стало быть, ходят. Иди, трать поскорей. Время дикое.

Коля тут же отнёс один рулон керенок Фаддею Герасимовичу, чтобы старик купил себе корову. И попросил старика, чтобы тот отвёл его на Войлочную заимку к матери Анне Петровне.

На заимке их встретили лаем огромные лохматые собаки. Некоторые лаяли из подворотен, а иные — с крыш небольших избушек. Немало собак бегало и по улице. Фаддей Герасимович хотел было подобрать палку побольше размером, но Коля воспротивился:

— Что вы! Это ещё хуже! Сожрут вместе с палкой.

— Где здесь дом Бабинцева? — спросил Фаддей Герасимович старушку, сидевшую на лавочке.

— Бабинцева? — переспросила старушка, сунула в рот два пальца и оглушительно свистнула. Тотчас появились два паренёк в кепках набекрень, так, что один глаз был закрыт кепкой, а второй едва выглядывал из чёлки, оба они сплюнули сквозь щели зубные так, что слюна длинной струйкой почти долетела до пришлых. Парнишки, поплёвывая, напевали жалобную песню:

Течёт речка вдаль, в урман,
Моет золотишку,
А молоденький жульман
Заработал вышку.
А молоденький жульман
Заработал вышку!

— Вам чего тут надо, фраера задрипанные? — спросил один паренёк, второй достал из кармана финский ножик и стал пробовать остриё на ногте.

— Я маму, Анну Петровну, видеть хочу, а она, как мне сказали, в доме Бабинцева живёт, — вежливо сказал Коля.

— Мама твоя бикса*, в карты заиграна, а Бабинцев с тебя лапши настрогает!

— Зря вы так. Я маме деньги принёс, — сказал Коля, — вот, полный чемодан.

— Деньги? — оживился первый паренёк и вынул из кармана финку. — Полный чемодан? Ну, это нам подфартило...

Оба паренёк зашли так, чтобы отрезать пути отхода Коле и Фаддею Герасимовичу.

В этот момент вышел из ограды не кто иной, как Аркашка Папафилов.

— Здравствуй Аркадий! — поспешил поздороваться Коля. — Помоги ты мне с мамкой повидаться. А то тут парнишки какие-то с ножами...

Аркашка сказал парнишкам, чтобы сгнули. Они послушно ушли. Он подошёл ближе и сказал:

— Чудак ты, Коля, разве можно лезть в пасть прямо к удаву?

* Бикса — общеворовская женщина.

— Но мама сама меня искала, к моему приютскому дядьке приходила. Хочет, чтобы я её забрал, вдвоём бы зажили. У меня теперь деньги есть...

— Деньги? — встрепенулся Аркашка. — Откуда? И ты сказал этим паренькам про это? Сколько у тебя?

Коля рассказал про Туглакова, про керенки...

— Уф-ф! — надул щёки Аркадий. — Отлегло! Айда в мою хазу*.

Он зашагал к калитке, жестом приглашая следовать за ним. Коля последовал не без робости, но не верилось, что Аркашка, знакомый ему с детства, способен на что-то страшное, ну, шkodник он был, верно, но не более того. И мать видеть очень хотелось.

Они вошли в усадьбу, густо заросшую тополями, ветлой, боярышником, калиной, даже домов за ветвями было не видать. В глубине усадьбы виднелся рубленый из огромных брёвен обширный одноэтажный дом. По обеим сторонам крыльца были устроены собачьи будки, такие, что могли бы служить жильём и человеку. Из будок выглядывали громадные цыганские волкодавы.

Аркашка шепнул:

— Не дай бог кому бы то ни было подойти близко к такой собачке. Их Бабинцев со щенячьего возраста обучает носы людям откусывать. Как? Просто. Помощник играет роль чужого. Надевает маску, входит в ворота, металлическая маска покрашена под цвет человеческой кожи, а спереди — вместо носа — гусяная лытка. После такой выучки они любому незнакомцу нос откусят в момент. Ясно? Но мы в дом Бабинцева не пойдём. Сначала в мою хавиру** заглянем, я тебе кое-что покажу, а уж потом пойдём и к мамке твоей, Анне Петровне.

Подошли к малой избушке, Аркашка сунул руку под крыльцо, что-то там дёрнул, и дверь сама собой отворилась.

— Секрет! — подмигнул Аркашка. — Вообще замков не держим, вор у вора не крадёт, а чужие люди здесь не ходят.

В Аркашкиной избе, кроме топчана и пары табуреток, ничего не было — ни стола, ни шкафа, ни комода. Коля взглянул на стены и потолок и вздрогнул: всё вокруг было обклеено рулонами керенок.

— Усёк? — повернулся к нему Аркашка. — Обои получаются хорошие. Ни на что иное эти деньги теперь не годны.

— Но почему? — упавшим голосом спросил Коля.

— Не принимают. И деньги директории не принимают. Только золото берут да ещё царские. Сейчас в Омске правитель

* Хаза — воровское жилище.

** Хавира — то же, что и хаза.

объявился, Колчак, так он тоже деньги стал печатать, но их в Томске пока мало. Их брать народ тоже не рискует. Так что не на что тебе мамку выкупать из плена.

— Так она вправду заиграна? Неужто в карты играет?

— Ещё как, здесь и научилась. Ну, айда!

Аркашка захлопнул дверь. И сказал Коле, сперва оглядев-шись по сторонам:

— Ты, видно, удивлён, что у меня на хазе ничего нет? Тут у нас дела пошли хилые. Раньше ворами дядя Вася правил, так все законы соблюдали. Но дядю Васю нашли в Ушайке с пером* в боку. И как-то так вышло, что всем стал править Цусима. Жизни не стало. Я на бану дежурю, жизнью рискую, а Цусима у меня тут же добычу отбирает. Цусима на что глаз положит, то и отдай ему, хоть картину, хоть икону, хоть ложки серебряные. Если добуду слам** — всё себе забирает! Вот и трудись тут зря. Я конечно, тырю по разным углам в Томске, что только могу. Да что это за жизнь? Ходи да оглядывайся, Надоело! Надо самому деньгу заиметь, и свою банду создать...

Они продирались через непроходимые заросли. Под ногами чвакали болотные кочки. И гнилью, и свежестью одновременно пахли здешние огромные лопухи. Растения-зонтики. Высоченная крапива. Заросли конопли. Хвощи, которые казались лапами спрутов, скользкие, усаженные жгутиками, присосками обвивали лодыжки, не пускали... Неожиданно взору открылось продолговатое приземистое строение:

— Вальня, — сказал Аркашка. — Для отмазки*** в сенях войлок лежит, и бутылки с кислотой стоят. А дальше в хороми-нах — уютный детский, и твоя мамка к малышне приставлена. Растит... Кого? Да воров будущих, карманников записных, кого же ещё?

— Нет! — сказал Коля. — Не может быть!

— Может! — отвечал Аркадий, отворяя пинком дверь. — Ещё как может! — повторил он, и тотчас раздался громкий детский плач.

— Тише, охламоны, дитят мне перебудили! — со скамьи навстречу пришельцам поднялась женщина. Дорогое шёлковое платье на ней висело, как на вешалке, оно было явно размера на два больше, чем нужно. Пальцы женщины были унижены серебряными и золотыми перстнями, лицо было бы красивым, если бы не запавшие глаза и не преждевременные морщины на лбу. С барским шёлковым платьем никак не гармонировали стоптанные старые пимы, заправленные в калоши.

* Перо — финский или другой нож.

** Слам — золото.

*** Отмазка — конспирация.

— Ну вот, это — Анна Петровна, мамочка ваша ненаглядная, — изобразил Аркашка мушкетёрский поклон.

Николай стоял, не зная, что сказать. Женщина вглядывалась в него минуту, другую, потом кинулась к нему, прижала его к груди, слёзы её обожгли его руки.

— Мама! Что же это? — только и сказал он, глядя на убогую обстановку длинного помещения. Пять корзин-люлек были закреплены на верёвках, свисавших с потолка. В люльках лежали младенцы, у каждого была забинтована левая ручка.

— Пальцы на левой руке у каждого вырастут такими длинными, что в любой глубокий карман можно будет залезть без труда! — пояснил Аркашка.

— Но чьи это дети? — спросил Фаддей Герасимович.

— Дети всего человечества! — гордо ответил Аркашка. — Так учил нас отвечать покойный дядя Вася, царствие ему вечное в небесном шалмане*. Цусима сказал, что построит на дяди-Васиной могиле крест высотой аж до самого неба. Уже привезли штук пять длинейших кедров, сучки обрубили, ошкуривают да сушат. Тут такие дела, а ты заладил — чьи дети, чьи дети!

— Но у них должны быть родители! — не унимался Фаддей Герасимович.

— Брось, камрад! — отвечал Аркашка. — Чем меньше знаешь, тем дольше живёшь. Младенчиков у нас воруют специальные люди. Среди них и твоя матушка, она верховодит женщинами, которые растят ребятню.

— Мама! — сказал Коля. — С деньгами меня купец обманул. Но я буду работать, я достану денег, я выкуплю тебя у Бабинцева, или у кого там ещё — у Цусимы? Мы будем жить вместе, ты станешь иной.

Анна Петровна упала на колени:

— Прости, сынок! Я надеялась, я хотела... хоть одним глазком на тебя посмотреть... А выкупать меня? Поздно. Я без кокаина жить не мыслю. Лучше уйди, не рви мне душу. Обещай потом ко мне на могилку приходить. Нет, не часто, только в Родительский день... Да не говори ты мне про долгую жизнь, просто обещай и всё. Прости... Я не знаю, где теперь твой отец, офицер, жив ли... Ты прости, да иди! Голову ломит...

Они вышли на воздух. Аркадий тихо сказал:

— Её это болото так засосало — не вытянешь. И к младенцам, которых вырастила, привязалась она. Какого пола? Есть мальчишки, есть и девчонки, хотя их и меньше. Но если девчонка-карманница — это первый класс. А нам надо

* Шалман — сборище воров.

смыться отсюда поскорее, пока на Цусиму не напоролись. Айда-айда! Вон Федька с работы шкандыляет, захватим и его с собой.

Идём сейчас к этому ироду Туглакову, и затолкаем ему кренки в жирный зад! Небось раскошелится!

37. Прощай, «Прощаль»!

Жена Степана Туглакова Евдокия Фёдоровна рвала волосы и выла, когда в их доме появились люди с улицы Миллионной из штаба Союза русского народа, чей лозунг: «За веру, царя и Отечество». Царя-то, говорят, уже нет, а общество осталось. И вот — солдат не солдат, но человек с ружьём, в богатой бобровой шапке, в новых сапогах, суконных галошах предъявил Степану мандат, в котором было сказано: «Срочно! Совершенно секретно! Во имя спасения России и русского народа нужно срочно сплотиться и собрать средства для борьбы. Как нам известно, в доме у Степана Туглакова находится картина знаменитого ныне на Западе художника-футуриста Кармина. В интересах борьбы за дело русского народа предлагаю упомянутую картину у Туглакова изъять. И тайно переправить со специальными экспедиторами в Петроград по отдельно указанному мной адресу. Манасевич-Мануйлов».

Туглаков прочитал мандат. И строго сказал:

— Я большие деньги отдал за картину «Прощаль», и ваш Манасевич-Мануйлов мне не указ. У меня сын Савелий в битвах за русский народ погиб, слышите, баба моя ревмя ревет. Из Омска написали, что сейчас все похоронные команды на оборону города кинуты. Некому Савелия родителям доставить. По нынешним временам это непросто. Вот вы и помогли бы мне в этом, я ведь тоже русский человек.

Человек в полувоенной форме и собольей шапке скомандовал своим бородачам:

— Обыскать всё, найти картину!

— Стрелять буду! — взъярился Туглаков, раскрывая шкапулку, в которой у него хранился револьвер. Но бородачи тотчас наставили на него свои револьверы. Евдокия Фёдоровна от обиды взвыла ещё громче. Союзнародцы картину увидели сразу же в новом просторном зале, который Туглаков построил специально для обзора этого громадного полотна. От красных картину в сарае уберёг, а от этих не спасся, выставил напоказ. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Ай, ай, ай!..

Ярость в его душе ещё кипела, когда в дом вошли новые посетители: Федька Салов на костылях, Аркашка в форме мотоциклиста, Фаддей Герасимович в старом солдатском мундире без погон, и Коля Зимний в хорошем костюме.

Аркашка принялся кричать:

— Как смели вы обмануть юношу, сироту, всучив ему никуда не годные керенки, дав труху вместо денег! Давайте другие деньги, иначе мы вызовем полицию! — При этих словах Аркашка картинно принял позу сеятеля и начал посыпать полы керенками.

Оглушённый несчастьями, валившимися на него одно за другим, Туглаков не гневался, сил не хватило. Он только сказал:

— Парень! Не вопи ты так. У нас сына Савелия убило. Лежит в Омске, а вывозить тело некому. Я дела бросить в такое время никак не могу, а баба разве это сумеет? Вы втроём подрядились бы, съездили. Я тебя, Папафилов, знаю, ты шустрый.

— А сколько дашь? И опять же керенками платить будете?

После этих слов Евдокия Фёдоровна вскочила с залитого её слезами кресла:

— Какими керенками? Во, возьмите! И это, и это! — она срывала с себя золотые серьги и кольца. Продадите по дороге. Вернётесь, привезёте сынка — ещё дам столько же. Стёпушка! Дай царских тысяч двадцать, чтобы в вагоне-холодильнике место было для Савелюшки. Дай им и на проезд туда и обратно. Только не обманите мать! Вот этого юношу я знаю, сколько раз во второвском пассаже у него туфли примеряла, скромный такой.

— Вот по знакомству-то вы его и обманули! — не удержался от упрёка Аркадий.

— Да не обманули. Кто ж его знал, что керенки ходить перестанут? Вы мне Савелия привезите, я Коле всё возмещу теми деньгами, которые будут в ходу... — Клянусь! — воскликнул Туглаков.

На улице Аркадий сказал:

— Отлично всё устроилось. И мне, да и Федьке надоело на Цусиму горб гнуть. Прокатимся. И Коля с нами. А Фаддей Герасимович пусть ждёт, когда мы Савелия доставим. Туглаков рассчитается, вот тут и будет Фаддею Герасимовичу корова.

Кривыми улочками они вышли к Обрубу, перешли Каменный мост, около моста стоял дом Банникова, глядящий окнами и на мост, и на Ушайку. В доме размещался трактир «Эрмитаж». Вдруг раздался треск, звон, в одно из трактирных окон выскочил рыжий еврей в чёрном лапсердаке, в сапогах с высокими голенищами и лакированном картузе, и завопил:

— Караул! Грабят!

Аркашка оживился:

— Айда! Поможем!

— Зачем связываться? — сказал Коля. — Нас не касается.

— Не скажи! В таком деле всегда поживиться можно! — крикнул Аркашка и побежал за рыжим. Из трактира выскочил плотный господин в котелке и вытянул вперёд руку с револьвером и выстрелил пять раз подряд:

— Ложись! Ложись, мать вашу, дырок наделаю!

Аркашка остановился, рыжий присел:

— Ой, я ранетый!

Рыжий потрогал свой зад, поднял руку, растопырил пальцы, дрожащими губами лепетал:

— Ой, мокро, ой, я ранетый.

— Ты не ранетый, ты сранетый, — сказал Аркашка, ухватив рыжего за плечо. — Ты понюхай ладошку — воняет!..

Тут подбежал к ним плотный господин и крикнул:

— Все, которые прохожие, — ко мне! Вяжите этого типа, и в свидетели пойдёте! Я следователь по особо важным делам, фамилия моя Соколов. Беру Юровского Якова, царевубийцу..

— Ну влипли! — сказал Аркашка. — Прямо сказать, дивно вляпались. — И поспешил успокоить следователя: — Это же не Яков Юровский, это же — Элия.

— Как Элия? — воскликнул Соколов. Вот у меня его фото-портрет. Это есть государственный преступник, царевубийца, Яков Юровский.

— Нет я есть — Элия! — ныл обвонявшийся ювелир. Янкель — да, я похож на Янкеля, ведь мы родные братья, но почему я должен отвечать за него, если я его уже столько лет не видел?

— В участок, в участок! — шумела толпа. — Там разберут.

Волей-неволей пришлось Коле, Аркашке и Фаддею Герасимовичу идти в участок свидетелями. Туда же по требованию Соколова был доставлен раввин хоральной синагоги Моисей Певзнер. Соколов ему сказал строго: «Ну, говори, как перед своим еврейским богом, это сидит на лавке — кто?».

— Говорю, как перед богом, совершенно ответственно заявляю, что это ювелир Элия Юровский.. А что до Якова, то если он и бывал в синагоге, то не при мне, а при прежнем раввине Бер-Левине. Я вам скажу, из этого Бер-Левина такой же раввин, как из моей мамы — Папа Римский! Так вот, Яков потом ездил в Германию и там принял лютеранство. А это такая гадость, что сто раз тьфу! А сейчас Яшка в Екатеринбурге стал атеистом. А это уже такая гадость, что сотни тысяч раз тьфу-тьфу!

— Ты много болтаешь. Ты мне поклянись, что это на лавке сидит не Яков, вот же портрет, как две капли воды..

— Да они братья, потому похожи. Но здесь на лавке сидит Элия. Он мой прихожанин, мне ли не знать. Но вы же всегда имеете прекрасную возможность вызвать сюда маму Юровских, она их рожала, она и может вам ответственно заявить, что здесь находится её Элия и никто другой.

— Всех свидетелей задержать до конца расследования! — приказал Соколов подбежавшим на выстрелы городовым. Соколов уже давно разыскивал в Томске следы цареубийцы, и теперь ему показалось, что дело сдвинулось с мёртвой точки. Вот именно — с мёртвой. Смертельное дело-то.

Аркашка заблажил, взмолился:

— Ваше благородие! Мы должны ехать в Омск, там лежит в леднике труп погибшего геройского юнкера. Барыня-купчиха нас туда отправляет. Нам никак нельзя сегодня здесь задерживаться. Вы хоть барыню спросите...

— Ладно! — сказал Соколов. — Пусть старик ходит за этой барыней. А пока остальных приказываю запереть вместе с Элией.

— Фаддей Герасимович! — крикнул Аркашка. — Пусть барыня бежит сюда быстрее ветра, если хочет, чтобы мы сегодня же отправились за её покойничком Савелием!

И получаса не прошло, а возле участка остановилась сверкающая лаком коляска, запряжённая двумя орловскими рысачами. Евдокия Фёдоровна тотчас направилась к следователю, потихоньку подталкивая к следовательской папке пятисотрублёвую купюру с изображённым на ней императором Петром Первым, она плачущим голосом вещала:

— Мой Савелий, мой мальчик, погиб, его убили красные изверги. А ему всего восемнадцать лет было. Он хоть купецкого рода, но решил стать офицером, чтобы отдать жизнь борьбе с красными бандитами, вы понимаете... А этот молодой человек, Аркаша Папафилов, не имеет никакого отношения к Юровским. Он православный, русский. Он взялся с другом, ветераном русско-германской войны, доставить мне тело покойного сына. Поймите материнское сердце...

Пока она всё это говорила, пятисотрублёвый Пётр Первый тихонько полз к следовательской папке, одним краем углубился в неё, а потом и весь исчез в ней, успев укоризненно глянуть на всю компанию.

— Барыня! — сказал Аркашка. — Вот ещё Коля Зимний, сын офицера, он хочет в юнкерское училище поступать, он освоит военную науку и отомстит краснопузым за бедного Савелия...

Соколов проверил документы у Коли и Аркадия и Федьки Салова и отпустил их с барыней.

Через полчаса они ехали в туглаковском ландо в сторону вокзала. В предвкушении приключений приятной жизни

смеялся Аркашка, с улыбкой ехал и герой войны Федька Салов, и его кресты и медали звенели у него на широкой груди. Если в начале его сидения возле храма на его груди был всего один Георгиевский крест, то теперь он стал кавалером трёх Георгиевских крестов, да ещё имел несколько медалей. Все эти знаки отличия ему привесил Аркашка, справедливо полагая, что выручка от этого сильно возрастет. Рядом с ним и Аркадием пригорюнившись сидел Коля Зимний. Не такой ему рисовалась встреча с родной матушкой. Он долгие годы мечтал об этой встрече. И что же? Ему было жаль мать, себя, и всех на свете людей. Ну почему, почему большинство людей несчастливо? Кто это так устраивает? Или оно само так устраивается?

Они поспели как раз к отправлению поезда. Разместились в господском вагоне. И когда поезд тронулся, Туглачиха помахала им своим надушенным платочком. И перрон вместе с ней пробежал в противоположную сторону и скрылся. Поезд мгновенно окунулся в тёплую ночь, и в свете луны было не понять, то ли дым паровоза в ложбинах стелется, то ли туман.

А в ночном Томске, в здании охраны, светилось окно на втором этаже. В маленькой комнате сидел за письменным столом следователь Соколов. Расстегнув сюртук и закури сигару, писал донесение. Теперь он имел уже результаты, позволявшие писать донесение. В его душе воцарился покой и порядок. Расследование идёт своим чередом, документы копятся. Он не зря ест хлеб. Он разоблачит царевубийц, и его имя навсегда будет вписано золотыми буквами в историю России.

Перо бежало по бумаге и выводило аккуратные строки:

«За две недели мной выслежено и арестовано 80 дезертиров. Проведены важнейшие акции:

А) открыт, выслежен и арестован по требованию контрразведки при ставке верховного правителя брат непосредственного физического убийцы государя императора и его семьи Якова Юровского Илья Юровский;

Б) ликвидированы эсеровские организации в г. Томске. Арестованы Пятницкий, Петрова, Аржанников и др. Дознание и дальнейшие аресты производятся;

В) по городу Томску арестовано 180 человек по подозрению в подготовке большевистского мятежа... После более обстоятельных допросов арестованные будут этапированы в Омск для дальнейшего расследования».

38. Король поэтов и другие

Пока следователь писал, пока чернила высохли на бумаге, во всей огромной России происходили самые различные, порой значительные, а порой пустяковые события. Впрочем, что такое — пустяк? Кто-то просто в вагонное окно смотрит. Вот один поручик округу разглядывает в трофейный цейссовский немецкий бинокль. Но и в такой бинокль не разглядишь никаких подробностей странной российской жизни, её и вблизи не поймёшь, а издали — тем более.

Тем временем поезд, пробирающийся через бескрайние Барабинские степи, несёт Колю Зимнего и его спутников в неведомые дали, сквозь неведомый простор. Пожухлая трава усыпана снежной крупой, берёзки потеряли листву, словно застыдились чего-то. Давно уже над этой степью живыми стрелками, указывающими своими остриями на юг, пролетели журавли.

Всякий, кто имеет крылья, улетает от зимы и бескормицы. У-у! Как воет ледяной ветер в поблѣкших безжизненных просторах. Именно в этих краях родилась надрывающая душу песня про замерзающего в глухой степи ямщика. Обо всех-то он позаботился. Отведи коней родному батюшке, передай поклон родной матушке. Ишь ты! Коней — так батюшке, а матушке — просто поклончик. Ну а жене велит сказать слово прощальное, и передать кольцо обручальное. Пусть не печалится, а возьмёт кольцо и обручается. Дело, дескать, житейское, раз так получилось, так давайте действовать рационально. Тоска всё же! Не сдавался бы так заранее. Не рассуждал бы, может, и выкарабкался бы как-нибудь.

Нынче в поезде не замёрзнешь. Слава богу, проводники натопили. Уголь по дороге из вагонов-углярок воруют. Россия не обеднеет. Шалишь! И грабили её не раз, и убивали, а она, как Ванька-встанька, вновь всякий раз поднималась. Что ей — ведро угля!

Коля Зимний читает газету, а одним глазом с ужасом смотрит, как его товарищи Аркашка да Федька пьют водку. Четверть распочали. Можно, конечно, пить по-разному. Купить махонький такой пузырьёк. В народе мерзавчиком зовётся. А почему? Ты им не напьёшься, только языком по нѣбу водку размажешь. И передёрнет тебя от сивушного запаха. Ну как не мерзавчик? Он и есть. Другое дело — чекушка. Это уже почти полтора стакана водки. Но это если пить одному. Да одной и не хватит. Поллитра — серьёзная вещь. Но — не очень надёжно. Только в охоту войдёшь — буфет закроют, и тогда хоть матушку-репку пой. А вот четверть — это солидно. Стоит она на вагонном столике — душа радуется. Нацедили по полста-

кашка, выпили, а вроде бы в бутылки и не убыло. Спокойно можно пить. Без оглядки. Четверть — серьёзный сосуд. Правда, и цена ей по нынешним временам — серьёзная.

На закуску мужики в буфете шоколаду накупили, на какой-то остановке у бабок ведро солёных огурцов оторвали, три горбушки ржаного хлеба, несколько пластов розового сала. На большее у них фантазии не хватило. Но всё равно много денег уже истратили из тех, что купчиха на проезд дала. Этак дело пойдёт — за какие шиши обратно поедут? Да ведь надо ещё и покойника в специальный вагон определять, и за это особая плата полагается. Немалая плата, видимо. Но они наслаждаются свободой, покоем, вагонной качкой. Словно мама их в люльке качает. Да и то сказать — не старые ещё. Много впереди. В таком возрасте и беда не беда, и семь бед — один ответ. А на всякий непредвиденный случай Аркашка захватил с собой в дорогу алый чемоданный футляр. На обратном пути можно будет немножко и подработать своим законным чемоданным ремеслом, если денег не хватит.

Табачный дым, запах сивухи, бряцанье баклажки, смех. Аркашка Папафилов вместе с Федькой закусывали водку огромными ломтями сала.

— Лопай, Салов, сало! — балагурил Аркашка.

— Николай Иванович, откушайте сальца! — пригласил Федька Колю. — Не погребайте, ведь вместе в психичке страдали.

Коля сделал вид, что спит. Переживания последних дней совершенно измучили его. Он думал, мысленно оглядывался назад, пытался заглядывать в будущее, но оно было таким неясным. Хотелось верить.

Утром пошли в вагон-буфет, но оказалось, что денег почти не осталось.

— Подождите! Я вас одной тарелкой макарон всех накормлю, — шепнул приятелям Аркашка. Рассчитавшись с буфетчиком, Аркашка поставил тарелку с макаронами на столик, за которым уже сидели толстый господин и симпатичная дама. Аркашка взял одну макаронину и сунул её себе в нос, при этом он так швыркнул носом, что макаронина проскользнула через нос к нему в рот. Даму и господина стошнило, они поспешно удалились из буфета. Аркадий придвинул к себе бутылки с дорогим вином, тарелки с колбасами, икрой и фруктами, поманил пальцем друзей:

— Садитесь, лопайте, они теперь не скоро вернуться, скорее всего, что вообще больше сюда не придут. Ишь, брезгливые какие!

— Ну тебя к чёрту! — сказал Коля. — Ещё влипнешь с тобой в историю!

Коля ушёл, а Федька Салов присоединился к Аркашке. Странности прошедшего лета и осени клубились снеговыми тучами за окном. Вагон протопили плохо, даже на верхней полке было холодно. Впервые Николай уехал из родного города. До Новониколаевска за окошком мелькала тайга, похожая на томскую, а после начались бесконечные степные просторы в снежных вихрях, унылый, однообразный пейзаж. Только ветер свистел в проводах, да паровоз покрикивал дурным голосом и на поворотах рассыпал по округе горячие искры. Иногда на откосах можно было видеть надпись: «ЗАКРОЙ ПОДДУВАЛО!».

— Закрой поддувало! — закричал Аркашка на Федьку Салова. — Эдак ты один всё сало сожрёшь. Знай молотит...

В это самое время в Омске, в хорошем большом доме Александр Васильевич Колчак думу думает. Вокруг него — нерусские генералы, тоже думают. Заботятся. Хотя, по правде говоря, на кой хрен нам ихняя вся забота? Ну да, им большевики не нравятся, как и адмиралу. Помогать приехали. Но — генералы-то здесь, а войск-то не видно.

Далеко-далеко возле Перми с красными бандами бьётся бравый генерал Анатолий Пепеляев. Новое звание получил только что. Зовут его солдаты «брат-генерал!» Доступный, простой, под честное слово красноармейцев отпускает. Скажет ему пленный, что он крестьянин простой, мобилизовали. Отпусти, сроду больше винтовку в руки не возьму! И отпускал! Но зато в бою врага не щадил.

А со своими солдатами ночевал у костра, пел на привале песни, подражал Суворову. Не зря его ещё за войну с германцем царь Николай Второй отметил личным Георгиевским оружием. Убили подлые людишки царя-батюшку, а брату-генералу приходится со своими же русскими людьми воевать.

Хорошо всё продумал генерал под Пермью. По первому снегу сибирские лыжники-пепеляевцы обошли в пурге грозный кронштадский полк, и ударили в тыл и сбоку. Погнали в полыню. Захватили мост, а затем и город. Трофеи: множество пушек, сто новеньких, сияющих, в машинном масле паровозов, несколько бронепоездов...

А нашим путешественникам в вагоне влажно и жарко, водка делает их весёлыми, вальяжными. Всё трын-трава, и море — по колено. Мелькнули ели, пихты, сосны, кедры. Ушла с неба луна. И всё на многие вёрсты вперёд укрыла своим странным тёмным и непрозрачным покрывалом ночь. Подождём рассвета...

В Омске поезд почему-то остановился на товарной станции. Кондукторы на недоуменные вопросы пассажиров отвечали коротко:

— Таков приказ. Быстро освобождайте вагоны!

Аркашка Папафилов и Федька Салов вышли из вагона, неся с собой остатки огурцов и опустевшую до дна четверть.

Оглядывались по сторонам, ища глазами магазин или трактир. Но ничего подобного поблизости не было. На странную станцию их привезли. Высоко на чёрной горе пыхтел паровоз, и, казалось, сейчас свалится прямо на голову приедем. Здесь, внизу, возле поезда сновали мужики с маслёнками и разными инструментами, один шёл вдоль состава, постукивая по колёсам молотком с длинной рукояткой.

— Это — что? — спросил его Аркашка.

— Где — что?

— Ну, вокруг — вообще!

— Это — Карлушка, — отвечал чумазый работник железной дороги.

— А Колчак где?

— Ко-олчак? — иронично спросил рабочий. — Вон в ту дыру лезь, будет тебе Колчак.

Все пошли через небольшой тёмный тоннель. Угольная пыль скрипела на зубах. Им сказали, что единственный путь с товарной станции в город — через этот тоннель.

— Дыра! Преисподняя! — ругнулся Аркашка.

— А вот и черти! — отозвался кто-то басом из темноты. Что-то замелькало во тьме. Коля взмахнул руками, почувствовав страшный удар в подбородок.

— Инвалида бьют, сволочи! — услышался голос Федьки Салова. — А вот я вас четвертью по окаянной башке!

— Это не чемодан! Это не чемодан, говорю тебе, падла! Ну что рвёшь? Там пусто! — визжал Аркашка. — Я сам вор, пойми, к кому лезешь!

Хрип. Хрюк. Хряск. Лязг. Топот...

— Кастеты у них, — сказал Аркашка, — оглушили, сволочи, а то бы я ни в жисть не дался. И что теперь? И документы, и деньги — всё забрали бандюки хреновы. И пальто сняли. И как же я без обманного чемодана теперь жить стану?

— Ой-ой-ой! — ныл Салов. — Четверть об них разбил, шинель сняли, все мои кресты с гимнастёрки сорвали, даже костыль и тот унесли, теперь мне как милостыньку просить, если меня всех Георгиевских крестов махом лишили? Да и вообще без шинели холодно, простыть можно.

Салов выломал подходящую палку из старого тына и захромал, опираясь на неё.

— Как же Савелия теперь к матушке отвезти? Без денег, безо всего? — спросил Коля.

— Как-как?.. — отозвался Аркашка. — Сам думаю.

Они вышли на свет божий из подземелья. Редкие снежинки падали с белёсых небес, и леденящий ветер завывал в проул-

ках. Возле сквера они увидели толпу, с забора взывали огромные плакаты:

СЕГОДНЯ В 11 УТРА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА
ИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ ВСЕГО МИРА И ГОРОДА ОМСКА
И ВСЕЙ ОМСКОЙ ГУБЕРНИИ

АНТОН СОРОКИН

БУДЕТ РАЗДАВАТЬ НА ЭТОМ МЕСТЕ
ПОДАРКИ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ!!!

Сколько сейчас времени? — спросил Коля Аркадия.

— Об этом надо спрашивать тех неизвестных, которые сняли с меня часы! — сердито отвечал Аркашка, и крикнул в толпу:

— Граждане! Сколько теперь времени?

— Без двух минут одиннадцать! Сейчас, наверное, начнётся.

Толпа зашевелилась, сгрудилась. Появился сутулый человек в очках и шляпе, окружённый расхристанными молодыми людьми. Один молодой человек был завёрнут в скатерть с кисточками, а на голове имел ночной горшок, повернутый ручкой вперёд. Увенчанный горшком вздел руки вверх и завопил:

— Сейчас осчастливит вас Сорокин Антон Семёнович. Всемирно известный ясновидец, вещун, автор книг «Настоящее», «Смертельно раненые», «Золото», «Жертвам войны». Кто не мечтает иметь книгу Антона Сорокина, друга сямского короля, короля поэтов и верховного магараджи прозаиков? Подарки, подарки, подарки! Антон Сорокин! Антон Сорокин!

Десятки рук потянулись за подарками. Ими оказались старые журналы с рассказом писателя и его огромные фотопортреты.

— Я думал он колбасу раздавать будет! — разочарованно сказал Федька Салов.

— Он, видно, колбасы и сам сто лет уже не пробовал! — отвечал Аркашка. — Ты посмотри на него — кожа и кости. Но один его портрет я возьму на всякий случай...

Они пошли, хлопая себя по груди и по ногам, стараясь таким образом хоть чуть согреться. Отогревались в продуктовых лавках, но открытых магазинов встречалось мало, на дверях большинства торговых заведений висели тяжёлые замки. Долго они блуждали по городу, пока нашли воинский морг. Медицинский начальник при морге был пьян, дремал, слушая

сбивчивые объяснения Аркашки, который нёс всякую чушь о том, что для купеческого сына откуплен целый холодильный вагон, им бы только довести покойного до станции.

— Повозок нет! — сказал, как отрезал, начальник, икнул, и крикнул санитаря:

— Нефёдыч, выдай им тело, ну, который молодой юнкер, Савелий, что ли. Телеграммы всё, телеграммы от матери из Томска. Дай мужикам старую клеёнку, до вокзала донесут... Н-ну, чтоб не видно, рогожкой оберни. Скоро тут уже во дворе штабелями будем складывать. Не до церемоний. Пусть волокут. Место освободится.

Санитар был тоже нетрезв, жестом пригласил за собой. Спустились по крутой лестнице вниз, в стужу, которая была сильнее уличной, вошли в таинственный полумрак, в запахи формалина, карболки и спирта. Санитар шёл вдоль стеллажа, светя себе карбидной лампой. Откинул клеёнку, заробевшие Федька, Николай и Аркашка увидели молодого паренька в солдатских погонах, чуть заметное пятнышко было на виске, и всё. А так — словно бы просто заснул юноша. Но всё же, казалось, что-то нездешнее уже исходило от тела. Друзья задрожали уже не только от холода. Первым опомнился Аркашка.

— Вы что нам выдаёте? — закричал он сердито. — Какие клеёнки, рогожки? Юнкер к вам обмундированный попал, где тёплое обмундирование? Шинель где?

— Так ведь когда попал, никакой шинели на нём не было, может, в бою разжарило его, он шинель где-то и скинул, — оправдывался санитар.

— Как бы не так! — завопил Аркашка. — Шинель военные не бросают, когда тепло, они скатку через плечо носят. Служили, знаем! Обмана не допустим, до Колчака дойдём!

Коле было жаль Савелия, жаль и мать-барыню. И он не представлял, как же теперь смогут эти двое его друзей доставить Савелия в Томск, ведь не ближний свет, и нет денег, чтобы гроб заказать, и нет денег за вагон-холодильник заплатить.

Похмельный начальник морга, устав от Аркашкиного крика, приказал санитару выдать впридачу к трупу ещё и шинель.

С великим трудом надели на мёртвого Савелия шинель, перепоясали его ремнём. Взяли под руки, потащили, как пьяного.

Они шли незнакомой красивой улицей, когда их остановил подполковник.

— Ни с места! — гаркнул он. — Стоять, не двигаться. Куда это вы упившегося тянете? Его надо к коменданту, чтобы посадил его в холодную.

Аркашке стало смешно: ведь они только что вытащили Савелия из такого холода, что лучше не бывает.

— Веселишься? — возмутился полковник. — А что это у тебя из-за пазухи выглядывает? — выдернул он из разреза пиджака Аркадия недавно полученный в подарок портрет.

— Так-с! — сказал подполковник, — друзья государственного преступника, который печатает в газетах подлые пасквили под названием «Скандалы Колчаку»? Члены шайки Антона Сорокина! Надо немедленно вас отвести в контрразведку. Сейчас сдам вас первому же патрулю.

Новая папаха офицера сияла, усы топорщились, сапоги скрипели.

В голове Николая Зимнего вертелись странные мысли — почему — папаха, а не мамаха? Папаха — от слова «папаша», наверное, в смысле «командир — отец».

— Нас не надо сдавать патрулю! — воскликнул Коля. Мы приехали из Томска по просьбе несчастной матери убитого в бою юнкера. Мои друзья должны доставить ей тело павшего в бою сына. Нас обокрали.

Коля вкратце обрисовал офицеру положение, в которое попала троица. И пояснил наличие у них портретов друга сиамского короля:

— Портреты Сорокин сегодня раздавал возле сквера всем желающим. Мы не знали, что человек этот вне закона. Там была афиша, что он — король поэтов. А мы ведь не здешние.

Подполковник внимательно осмотрел всех троих. Потом отрывисто и решительно как бы скомандовал:

— Эти двое доставят тело убиенного матери. А ты должен мстить за безвременно ушедшего юного товарища. На лыжах ходишь? Грамотен? Включаю тебя в создаваемую мной летучую разведгруппу. Твой отец — кто?

— Был офицером, — смущённо сказал Коля, и подумал: вот теперь подполковник начнёт допытываться про звание отца, и куда он делся. А сказать-то Коле нечего.

Но тот сказал, как отрубил:

— Значит — погиб! Тебе продолжать его дело! Россия в опасности. После первого же боя, если ты не трус, представляю в подпоручики. Продолжишь дело отца. Глаза подполковника сияли от бессонницы и выпитого в большом количестве коньяка.

— Как же мы-то, вдвоём останемся? — затянул Федька Салов. — Тяжело ведь таскать тело будет!

— На поезд бего-ом марш! — скомандовал подполковник, расстёгивая кобуру парабеллума. — За невыполнение приказа расстрел на месте!

«Папаха-мамах!» — крутилось у Коли в голове.

— Господин полковник, — сказал Коля, — я-то хотел ехать в Екатеринбург, поступать в юнкерское училище.

— Училище-училище! — раздражённо воскликнул офицер. — Его эвакуировали оттуда к чёртовой матери! Ты нужен мне! В бою быстрее научишься. Без всяких телячьих нежностей. И быстрее в чины пойдёшь...

Аркашка и Федька удалялись со страшной ношей к вокзалу мелкой рысью.

— Пропали, пропали! — хрипел на ходу хромоногий Федька. — Сгинем в чужом краю, либо в армию к Колчаку загребут, как Колю. Я хоть без ноги, всё равно забрить могут, ездовым при лошади. И в Томск показываться нельзя. Ведь эта барыня не простая. Приедем без её сына — сгноит в тюрьме.

— Не ной, — сказал Аркашка, — доведём за милую душу, айда в вокзал!

Увидев свободное место на лавке, Салов сказал:

— Присядем тут!

— Молчи! — оборвал его Аркашка. — Он оглядывал залу очень пристально, как художник выбирает деревцо или кустик, которые он хочет перенести на свой холст.

— Есть! — сказал он вполголоса. И показал глазами на приличного господина с небольшим баулом, сидевшего возле двери, которая вела на перрон.

— Разрешите присесть! — сказал он господину с радужной улыбкой. — Вы, наверное, на юг едете?

— Вовсе нет! Я еду на север, мне в Тюмень надо, — ответил господин, освобождая место на лавке. Федька и Аркашка поспешили перетащить Савелия, подняв воротник шинели так, что он скрывал лицо, а шапку надвинули на нос.

— Очень интересно, но ведь и мы едем в Тюмень! — обрадовался Аркашка. Я — Аркадий Петрович, а это — Фёдор Иванович, пьяного зовут Савелием, человеком станет, когда в поезде отоспится. А вас как звать-величать?

— Я Николай Васильевич! Что, товарищ подгулял?

— Да отпуск ему дали, вот на радостях и нахлебался. Вот ещё какое дело, Николай Васильевич! Мы так спешили с другом на поезд, что даже верхнюю свою одежду в гостинице забыли, успели только позавтракать, но не посетили, прошу прощения, клозет. Вы не присмотрите за нашим спящим другом? Тут ведь спящего в момент обокрасть могут. Мы мигом обернёмся, мы бегом...

— Что ж, пожалуйста, можете на меня совершенно положиться. Впрочем, вы могли бы сходить по очереди...

— Какое там! — вскричал Аркашка, поднимая Федьку с лавки за ворот, — мы оба уже в такой стадии, что ждать больше нельзя.

И потащил за собой ничего не соображавшего Салова. Зашли в клозетную, и Салов укорил Аркашку:

— Меня-то зачем было тянуть? Я ведь и не хочу вовсе.

— А думаешь, я хочу? — Аркашка рассмеялся. — Ты, главное, молчи. Смолчал — и молодец.

Постояли немного в отхожем, и вернулись туда, где сидел Николай Васильевич.

— Уф! Словно гора с плеч свалилась! — сказал Аркашка.

Николай Васильевич взглянул на часы и сказал:

— Время до поезда ещё есть, да и опаздывают нынче все поезда. Отлучусь и я на минутку в те же палестины, а вы сделайте одолжение, поберегите мой баул.

— Ну о чём речь! — сказал Аркашка, поудобнее устраиваясь на лавке. — Вы всё же долго-то там не задерживайтесь, чтобы на поезд не опоздать.

Только беспечный господин скрылся за дверью вокзального клозета, Аркашка схватил баул и страшным шёпотом приказал Фёдке:

— Поворачивайся, скотина, хватай Савелия. Поволокли — раз!..

Они выскочили на перрон. Аркашка побежал, покрикивая на ходу на Фёдку:

Вперёд! Вон третий вагон, офицерский, туда...

— А пустят?

— Чать, не с пустыми руками.

— Это уж точно, точненько, полные руки всего. Врагу своему такого не пожелаю! — заныл Фёдка. — Нога болит, да ещё страхи такие!..

— Молчи, гад! — урезонил его Аркашка. Ну-ка, пролазим на следующий путь под этим товарняком! Быстро!

— Ну чего смотришь? Хватай Савелия под руки, ну, пошли, поволокли. Эк, напился так напился. Маленький, а тяжёлый какой!

Фёдка взял тело Савелия под руку, почувствовал его одеревенелость, потусторонность. То ли рука, то ли полено. И холод от неё. Заныло под ложечкой... Господи! Да лучше было бы всю жизнь на психе сидеть, чем такие неудобства переживать. На психе кормили, поили, и курева можно было достать, и даже выпить иногда. И чёрт его заставил с той психи сбежать, а потом ещё и милостыню просить. Думал — лёгкий заработок, да и попал через это к ворам в лапы.

— Ты тащи давай, что, сил совсем лишился? — окликнул его Аркашка.

Через пару-десяток минут они уже подняли тело на площадку воинского вагона. Проводник спросил билеты.

— Мил человек, — сказал Аркашка, — какие билеты? Нам парня в отпуск проводить надо. Запил голубчик, сам домой на побывку к маме не доедет без нас...

Аркашка расстегнул баул, пошарил в нём, и сунул в руки проводнику шёлковое мужское бельё.

— Только до станции Тайга. Сам понимаешь, война сопровождаем на побывку.

— Что-то мало, — хмуро сказал кондуктор, — опять же пьяного — в вагон... Бузу поднимет, отвечай потом за него.

— Так ведь шёлк даем. Сам понимаешь, нынче вши кругом, а на шёлк они не садятся. Французский шик! Да мы потом добавим... А насчёт пьяного — не волнуйся. Проспится — человек будет. Он вообще-то смирный, ну глотнул лишку, с кем не бывает?

— Ладно. Вон и поезд идёт, сейчас нас прицепят. Займите места в другом конце вагона, возле туалета, там офицеры ездить брезгуют. И чтобы никакой пьянки и громкого разговора. Господ возим!

— Знаем, всё понимаем! — успокоил его Аркашка. — Сами тоже военные. Только отвоевали уже, по ранению списаны.

Прошли в дальний конец вагона. Савелия усадили, прислонив к стенке и положив голову на столик. Уснул, дескать, парень, и всё тут. Аркашке не терпелось проверить содержимое баула. Он шепнул:

— Савелий всё равно спит. Не заскучает. Давай-ка выйдем в тамбур, добычу раздербаним, да заодно и покурим...

Вышли в тамбур, закурили. Аркашка нашёл в бауле ещё две пары шёлкового белья, яблочный пирог в белой тряпице, отварную курицу в промасленной бумаге, серебряный портсигар, в котором были папиросы «Дюбек». Было там и две бутылки первосортного коньяка знаменитого винного завода Шустова. Протянул бутылку коньяка Федыке, обозначив на ней метку пальцем:

— Тяни вот досюда.

Федыка запрокинул голову и забулькал коньяком. Тем временем паровоз прокричал отходную, и застучали колёса — всё быстрее, быстрее.

— Ну, прощай, Омск! Век бы тебя не видать! — сказал Аркашка, и вдруг воскликнул: — Эй-эй! Ты уже метку перешёл! — и выдернул у Федыки бутылку, как мамаша соску у младенца.

Выпив свою долю, Аркашка размечтался. Довезти бы этого Савелия в Томск. Получить с барыньки обещанное. И можно будет погулять по кабакам, девок хороших поиметь, да подобрать себе подельщиков сильных, молодых, свою отдельную шайку организовать. Тогда и Цусима не сунется. А как с Федыкой быть? Да очень просто! Ему дать на водку да на новые костыли. Да выпилить несколько георгиевских крестов надфилёчками, повозиться с оловом, с пайкой. Кресты самодель-

ные на грудь Федьке навесить. Пусть доходом с Аркашкой делится...

Аркашка и Федька вернулись в вагон и... не нашли на своём месте Савелия! Там сидели два солдата, пили водку и закусывали хлебом с тюлькой.

— А где же Савелий, который тут был? — воскликнул ошеломлённый Федька. — Вы куда его дели?

— Никуда мы его не дели! — сказал рыжий-прерыжий веснушчатый. — Ваш друг сказал, что покурить пошёл, да что-то не возвращается.

— Он ска-азал? — протянул Аркашка. — Он ска-азал? Да как же он мог сказать, если он покойник? Покойники вообще-то не курят. Им сам адмирал Колчак курить запретил! — Видя, как изменились лица солдат, Аркашка добавил уже вполголоса:

— Вот что, мужики! Этого Савелия нам заказала томская барынька из омского морга к ней доставить. И золотом обещала заплатить. Это её сынок. В Омске нас обобрали. Гроб не на что купить. Решили Савелия просто в вагоне везти. Говорите правду — куда он делся?

Конопатый сообщил свистящим шёпотом:

— Нас полковник послал отвезти коллекцию самоцветов в Каинск, где его жена находится. В Омске-то нынче неспокойно. Да. Чемодан с камнями тяжеленный, стал я на верхнюю полку поднимать, не удержал, он трахнул вашего Савелия по темечку. Видим — умер! Ну, мы схватили его под руки, поволокли в тамбур под видом пьяного, мол, пусть проветрится, а там и спихнули с поезда.

— Твою мать! — сказал Аркадий. — Минут двадцать прошло? Так? Берите чемодан с камнями и айда все вместе Савелия выручать, друг у меня — хромой, один я не справлюсь. Рыжий-конопатый почесал затылок, сказал:

— В этом чемодане — пуда три или боле. С ним бегать-прыгать не приходится. Пусть Васька везёт чемодан в Каинск. А я, так и быть, с вами пойду, моя вина, мне и пропадать. Между прочим, меня Стёпкой кличут.

Рыжий пожал руку Ваське, допил водку. Он лихо нахлобучил косматую шапку и впереди всех помчал в тамбур. Там он достал из кармана целую связку ключей. Отпер поездную дверь. Стоял, вглядывался в метель, потом сказал:

— Как поворот будет, так и прыгаем. На повороте он ход сбавляет.

— Смотрю я на тебя, ты похож на меня, — сказал Аркашка, — недаром мы оба рыжие.

— Там разберёмся! — отвечал Стёпка. — Ну, Господи, благодсловии!..

39. Подать козлу сигару!

Выручальщики покойника спрыгнули с поезда вполне благополучно, машинист на крутом повороте так замедлил ход, что поезд можно было догнать простым быстрым шагом.

— Слава тебе, Господи! — перекрестился Федька после удачного прыжка с поезда. — Мог бы вторую ногу повредить, тогда бы — хана.

— Это сколько же вёрст успел поезд отмахать после того, как вы с него нашего Савелия скинули? — сказал Аркашка, озирая засыпанную снегом безжизненную равнину. Кочки, присыпанные снегом, — до самого горизонта. Всё безжизненно, только возле железнодорожной колеи снег почернел от угольной пыли.

— Вёрст десять, пожалуй, — задумчиво сказал Степан.

— Хорошо, если десять. Ты хоть в шинелке, а мы с Федькой раздеты, да ещё он хромой. Ну, брат, я тебя загрызу, ежели, пока мы шкандыбаем, нашего Савелия волки слопают. Что же тогда я скажу его несчастной матери?

Степан испуганно моргал:

— Мы же не нарочно.

Они пошли в неизвестность. Шпалы имели ту особенность, что располагались то шире, то уже. Шагать по ним неудобно, и ступать мимо них тоже нехорошо: того гляди, запнёшься. Особенно был удручён этим охромевший Федька. Аркашка на ходу матерился, причём ругательства не повторялись ни разу, он имел их такой запас, что хватило бы материться до самого Омска.

И полчаса не прошло, а они уже выбились из сил. Аркашка схватил за ворот Степана:

— Вытряхайся из шинелки! По очереди будем в ней щеголять! Сейчас моя очередь, потом Федьке поносить дам, а ты пока помёрзни.

А через минуту за поворотом они увидели несколько длинных глинобитных мазанок, каменную железнодорожную будку и один деревянный дом. От этого поселения к нашим путникам с громким лаем мчались огромные лохматые псы.

На крыльцо деревянного дома выбежал человек в форме железнодорожника, свистнул собак, они немедленно побежали обратно. Черно-шинельный человек вглядывался в путников. А когда они приблизились, строго спросил:

— Кто такие? Документы есть?

Аркашка торопливо пояснил, что ездили в Омск за трупом убиенного томского юнкера Савелия. Но в тоннеле под названием Карлушка их раздели и деньги и документы забрали. Повезли покойника прямо в купе поезда, и вышло, что на

мёртвого Савелия солдаты уронили чемодан, испугались, что зашибли его, да и скинули на ходу. Теперь вот они сами слезли с поезда, ищут Савелия.

— Так ты из Томска? — сказал железнодорожник. — Опиши-ка мне, братец, второвский пассаж.

— Как не знать мне пассаж? — обрадовался Аркадий. — Как не знать, я там дамочкам туфельки примерял, когда на приказчика учился. Второв Николай Александрович лично экзаменовал меня в младшие приказчики. Строгий человек, но справедливый.

Аркашка описал общежитие учеников приказчиков, рассказал о том, как парнишки смотрели в окна напротив, потому что там иногда появлялись полуголые артистки женского румынского оркестра. Рассказал и о графе Загорском, погубителе прекрасных жительниц Томска. И про огромный градусник Реомюра, и про музыкальный магазин.

— Достаточно! Я вижу, что вы именно те, за кого себя выдаёте. Идёмте в дом, — сказал железнодорожник, — а то вы, видать, озябли.

Железнодорожника звали Петром Константиновичем, он был начальником полустанка. И, выслушав грустную историю путешественников, заявил, что обязательно им поможет. Ещё бы! Он был одним из главных помощников Второва! Живал в Томске, а потом вместе с хозяином отбыл в Москву. Знал он и купчиху Туглакову, мать Савелия.

— Гора с горой не сходится, гора с горой! — радовался Аркашка.

— Ну, быстренько хлопните по полстаканчика самогону, возьмите по шмату сала. Я дам вам свои старые шубейки, и поедем на дрезине искать бедного Савелия, а то как бы его, действительно, волки или собаки не слопали. Да как же вы думали довести его в простом вагоне до Томска? Чудаки! Он бы у вас протух.

— Мы думали на какой-нибудь станции в вагон-холодильник его пристроить... — пояснил Аркадий.

Через несколько минут дрезина уже мчала навстречу леденящему ветру. Пётр Константинович покрикивал:

— Ровнее, ребята! Нажимайте на рычаг сильно, но равномерно. Это английская дрезина, такая далеко не у каждого начальника полустанка имеется. Лёгкая на ходу, быстрая. Стоп-стоп! Не ваш ли это подопечный?

Дрезина затормозила. Возле насыпи лежал на боку Савелий. Одна рука подвернулась под голову, а край задравшейся шинели накрыл лицо. Казалось, и впрямь спит солдат.

Савелия осторожно водрузили на дрезину. Заглядывая ему в лицо, Салов сказал:

— Смотри-ка, он даже не ушибся!

— Да уж теперь-то ему не больно, — подтвердил Аркашка, — не то что нам, и тащить нам его до Томска — не ближний свет.

— Не волнуйтесь, — сказал Пётр Константинович, — я вам помогу.

Возвратились на полустанок. Начальник приказал рабочим положить тело Савелия в холодную каморку. Потом пошёл в служебную будку, где стрекотал служебный телеграфный аппарат. Выяснилось, что поезд с вагоном-холодильником будет только вечером, через шесть часов.

— Идёмте в дом! — пригласил путешественников Пётр Константинович. — Теперь уже и пообедать не грех.

Дом железнодорожного начальника был украшен дорогими картинами и статуэтками.

— Остатки прежней роскоши! — сказал он, заметив удивлённые взгляды гостей. — Вот вы, Аркадий, вспоминали добрым словом вашего учителя Николая Александровича Второва. Он ведь не только магазины да гостиницы строил. Он до самого большевистского переворота расширял своё дело. В Подмоскovie открыл первый сталелитейный завод. Затем открыл и крупные заводы химических веществ, боеприпасов. И что же?

Москва. Бомбардировка Кремля. Национализация. Вам непонятно, что такое национализация? Это когда вы работали в поте лица, обрели достояние, а к вам приходят и говорят: «Это не ваше!». Граждане большевики не хотели видеть Второва во главе дела. Он сопротивлялся. Увеличил число акционеров. Часть денег поспешил разместить в зарубежных банках.

Однажды утром я прибыл в его контору. И обнаружил его в кабинете сидящим в кресле с кровавой огнестрельной раной на виске, неподалёку от Николая Александровича валялся на ковре с револьвером в руке молодой человек. У него была рана на груди. Следователи объявили: покушавшийся застрелился! Я понял, что кто-то вошёл, застрелил и Второва, и незнакомо-го мне юношу. Создали видимость покушения.

Вернулся домой, а прислуга сообщает: люди в штатском весь день наблюдают за нашим домом. Я всё понял: следующая очередь — моя. Я взял острый нож и вырезал из рам полотна самых дорогих картин. Взял несколько статуэток, ценности. Короче — собрал небольшой чемоданчик. Жена находилась на даче. Я велел передать ей, что в нужный момент вызову её на новое место.

Я надел оставшийся от новогоднего маскарада парик, одежду простолюдина, вышел через чёрный ход и отправился к знакомому железнодорожному чину домой. Он сперва не узнал

меня, но я снял парик. Я объяснил ему ситуацию. Он сказал, чтобы я находился у него дома до тех пор, пока он не выправит мне новый паспорт и не оформит меня начальником дальнего полустанка.

Новая моя фамилия — Злобин, а прежнюю вам и знать не надобно. Скажу лишь, что из окна дома, где меня приютил мой железнодорожный начальник, я видел похороны Николая Александровича. Это была тысячная демонстрация. Были там люди и в кепках, и в шляпах. Все социальные слои. Надпись на огромном венке была такая: «Великому организатору производства Николаю Второву». Чекисты думали повернуть процессию на окраинные улицы. Не вышло. Мимо древнего Кремля центром Москвы двигалась процессия.

Я поклонился ей вслед. А с вечерним поездом отправился к месту моей новой службы. И вот теперь имею возможность принимать вас здесь, и помогать в вашем благородном деле. И я верю, что здравый смысл нашего народа победит. Зачем же ломать построенное? Лучше строить новое.

— Вот и я тоже говорю! — вступил в застольную беседу солдат Степан. До Омска я у Каппеля служил. Генерал — что надо. Владимир Оскарович Каппель, командующий третьей сибирской армией. Он сделал десант из Саратова, высадившись в Казани. Штука в том, что главный красный вождь Ленин после Брестского замиренья должен был выплатить Германии эту, как её, контрибуцию, что ли?

— Контрибуцию! — поправил Степана Пётр Константинович.

— Вот, её самую. И часть денег хранили в Нижнем Новгороде, часть — в Казани. Неожиданным ударом! Трам-там-даром-даром-даром! Короче, взяли мы свезённые большевичками в Казань деньги, драгоценности. Трам-драм! Я сам в том банке был! Но однако остался, как говорится, при своих интересах. Упаси бог — сунуть что-нибудь в карман, тут же расстреляли бы за мародёрство. Так вот. Была в том банке в мешках мелкая монета. И командующий приказал распороть мешки и рассыпать эту всю мелочь по комнатам и по крыльцу банка. Озорство такое! Поди, пособирай-ка!..

Хорошо отдохнули в доме Петра Константиновича томичи. Вечером радушный хозяин сказал, что дарит им тёплую одежду, и велел им пойти с носилками за телом бедного Савелия. Их проводит туда дежурный по полустанку еврей Моня Зильберман. В старой избушке они достали тело Савелия из подполья, возложили его на носилки. На перроне стали ждать своего поезда.

Но сначала на полустанок прибыл поезд с восточной стороны. Стоял он тут всего пять минут. Из вагона вышел кря-

жистый мужик с пронзительными голубыми глазами. На нём была чёрная поддёрвка, из-под которой выглядывал массивный золотой крест, волосы были зачёсаны на прямой пробор. Рядом с мужиком стояла красивая белокурая девица в чёрном платье и чёрной же меховой душегрее.

Мужик впился в Федыку взглядом, так что Федыка вздрогнул.

— Вон ты где, голубь! Не ждал, не ждал! — воскликнул мужик. — Вон они, томичи, что делают! Куда ни кинь, всё выйдет клин! Ну что, Салов, поедешь со мной в Петроград?

Федыка мужика не узнавал, зато девицу признал, хотя и не сразу. То была красавица Алёна, жившая когда-то возле реки Керепети. Мужик сказал:

— Вижу, Федыка, что не признал ты меня. А ведь это я тебя спас, когда ты с психи сбежал. Так едешь со мной?

— Никак не могу, дядя Василий, я тут важное задание выполняю, покойного воина к матушке в Томск доставляю! — отвечал Федыка, догадавшись, что видит перед собой колдуна Василия. Вы облик сменили, стали белокурым и курносым, так я вас сразу не признал.

Мужик сказал сурово:

— Перво-наперво на теперешний день не Василий я, а Варсанофий. А моё задание важнее твоего, я в Петроград «Прощаль» везу, которая всю нашу матушку Россию от супостатов спасёт.

— А что за прощалия такая?

— Секрет! И тебе, сивому, всё равно не понять. Так вот. Я не случайно стал бляндином, каким должен быть всякий порядочный россиянин! Нынче я агент Союза русского народа. Я ехал поездом, смотрел из окна, и всех встречных делал бляндинами. Нам на Руси не надо brunetов! Зараз я вас всех, сволочей, сделаю курносенькими бляндинчиками!

— Ой, не надо, — испугался Салов, — а то нас в Томске не узнают!

Аркашка сказал:

— Чего блажишь? Пусть не узнают. Зато Цусима нас больше не тронет. Пусть господин нас переокрасит, жалко, что ли?

Василий-Варсанофий принялся смотреть на них, не моргая, поднял руку, помотал кистью, что-то нашёптывая при этом. Рыжий Аркашка вроде стал блондином. Стали таковыми и Федыка, и Степан, и даже еврея Моню Зильбермана старик вроде бы как-то сумел переокрасить, даже не прикасаясь к нему. А может, это только морок такой был. Аркашка рассмеялся.

— И что такое? — спросил дежурный по полустанку. — И чего во мне такого смешного?

— Ты сходи в зеркало посмотри!

Моня начал оглядывать свою шинель, все пуговицы были на месте. И тут как раз пришло время давать отправление поезду. Колокол прозвенел, свисток просвистел, гудок паровоза проревел, колёса лязгнули.

— Салов! Приедешь в Томск, иди в «Союз русского народа», и служи там верно, скажи, что я велел. Понял? Ну, всё! Поезд отправляется, заболтались...

Колдун подхватил свою юную даму под руку, помог взобраться на подножку, прыгнул сам. Поезд дёрнулся и пошёл, быстрее, быстрее...

Не успели наши путешественники как следует обсудить все чудеса, которые им продемонстрировал зловредный старец, как случилось ещё одно чудо, да такое страшное, что Федька Салов попятился, крестясь:

— Свят, свят, свят! Господи помилуй!

Перед друзьями на перроне появилось существо с рогами и копытами, с ядовито-жёлтыми глазами, в которых светилось дьявольское ехидство. Это был огромный старый козёл, и он... курил сигару! Курил взятяжку, криво улыбаясь большим ртом.

— Что, что, что это? — изумился Аркадий. Случившийся рядом путевой обходчик пояснил:

— Это наш станционный козёл Васька. После каждого пассажирского поезда на перроне множество окурков остаётся. Он раз попробовал — понравилось, стал приходить к поездам и окурки жевать, особенно, сволочь, любил жевать окурки от дорогих сигар. Ну, мы взяли да и научили его курить. Теперь он окурочек подберёт, если он не горит, бежит за кем-нибудь — дескать, дайте прикурить! И даём! И курит. Не козёл, а барин, прямо граф какой-нибудь или барон.

Васька докурил сигару почти до кончика, что осталось, выплюнул в траву. Слегка боднул в зад Аркашку и убежал за станционное здание.

— Вот гад! — удивился Аркадий.

А через полчаса прибыл поезд, которого ждали путешественники-томичи. Тело Савелия поместили в вагоне-холодильнике. Федька, Степан и Аркадий устроились в общем вагоне. Там пахло махоркой, потом, чем-то утробным и смрадным. Люди сидели на полках и между ними на узлах и чемоданах. Плакали младенцы, кашляли и вздыхали старики. Аркашка зырил глазом — где что плохо лежит. Ночью он разбудил Стёпку, Федьку и Аркадия, зашептал:

— В вагоне — вшивота одна, красть нечего. Айда в холодильник, к мертвякам!

— Ты что? С ума съехал? — возмутился Федька. — На что нам мертвяки? Да и замок там.

— Молчи, деревня! Такие замки простым шилом открываются. А среди мертвяков офицеров полно. Шинели наилучшего сукна, сапоги новейшие, мундиры. Переоденемся в новое всё, а на следующей остановке в свой вагон перейдём.

Быстро пробежали во тьме к холодильнику, Аркашка вскрыл и откатил дверь:

— Лезьте!

— Ты первый! — занял Федька.

Аркашка уже был в вагоне, светил карманным фонариком и говорил вполголоса:

— Я первый! Шинель с полковника сам носить буду, а вот с этого майора шинельку продам, али на что сменяю...

Тут Федьку и остальных ревность взяла: ишь ты, наш пострел везде поспел. Ему лучшее, а им — ремки? Вскочили в холодильник, начали мёртвых раздевать, у кого одёжка получше. Примеряли, одевались. Увлечлись, обо всём забыли. Между тем поезд тронулся, набрал скорость. И вдруг что-то грохнуло, вагон качнуло, паровоз взревел. Переодетые офицерами вандалы свалились на мертвецов.

Рядом грохали выстрелы, кто-то кричал.

— А здесь что? — послышался чей-то властный голос. Сноп света ударил в глубь холодильника. — Ага! Здесь у мертвяков запрятались офицеры, заклятые враги народа! А ну, выпрыгивай по одному!

Аркашка в шинели полковника увидев перед собой богатыря в папахе, украшенной алой лентой, занял:

— Не офицеры мы, вышли мы все из народа братской семьи трудовой, то есть братья по классу, как говорится...

— Дай руку, гнида! — гневно приказал богатырь. — Где же твои трудовые мозоли? Холёная барская рука. Тяжелее собственного хрена твоя рука никогда ничего не поднимала... Расстрелять! Всех! Без разговора!

Пулемёт ударил по Аркашке, потом прошёлся очередью понутри вагона, скосив Федьку со Степаном и вонзив несколько пуль в покойников, в том числе и в бедного Савелия, которому, впрочем, от этого было ни холодно, ни жарко.

40. Скульпторы революции

Ноябрьский день был таким морозным, что плевок на лету превращался в ледышку. Оборонявшие Омск колчаковцы были выбиты из траншей и окопов, отстреливались на бегу, но никак не могли оторваться от наступавших бойцов, которых полковник Сенчура называл краснопузыми чертями.

Среди бегущей оравы то и дело взмётывались фонтаны взрывов, разбрасывая осколки и мёрзлую землю. Падали рядовые, падали офицеры. Через какое-то время отступающим удалось закрепиться в небольшом лесу, где было много естественных укрытий в виде увалов и ям.

Колчаковская разведывательно-истребительная бригада, которой командовал Сенчура, была сформирована из людей, обстрелянных ещё на войне с германцами, из опытных и отважных воинов. Только Коля Зимний раньше никогда не воевал. Полковник каждую свободную минуту учил его многим солдатским премудростям, учил стрелять из всех видов оружия, учил ползать по-пластунски, не поднимая головы и используя каждую впадину и ложбину.

— Ни хрена! Лишь бы ползать умел, а маршировать после научишься! — говаривал он. У Сенчуры не было ни жены, ни детей, к Коле он относился, как к родному сыну. Вот и теперь, страшно матерясь, он толкнул Колю в шею:

— Катись в овраг! Стань за ствол дерева!

По лесу густо сыпали шрапнелью. Где-то на взгорке зачастили станковые пулемёты. Коля давно потерял перчатки, но странное дело: пальцы не мёрзли, лицо не мёрзло. Очевидно, в минуту опасности включаются какие-то особенные способности организма.

Подпоручик, только что бежавший рядом с Сенчурой, молча свалился в снег, и тотчас на снегу стало расплываться яркое красное пятно. Из рта подпоручика выползли розовые пузыри, он хрипел.

— Испёкса! — сказал Сенчура, склонился над офицером, снимая с него погоны. Затем полковник быстро сбежал в овраг, запалённо дыша, сказал Коле:

— Поздравляю с производством в подпоручики. Вот ты и стал офицером, как отец.

Сенчура торопливо сорвал с Коли солдатские погоны и надел офицерские.

— Теперь слушай: приказываю тебе вместе с санитарями доставить в тыл раненых. Вон за той рощицей уже первые домишки Омска. Твоя задача отогреть раненых в тёплых избах, вызвать к ним врача. Как это ты не будешь отступать? Приказы не обсуждаются, а выполняются. Наша борьба только начинается. Верховный главнокомандующий Колчак предпринял наступление на Москву. Ты ещё пройдёшь парадом по первопрестольной. Ты нужен родине. Подготовь носилки. Как только мы пойдём в контратаку, вырывайтесь из леса, бегите до рощицы, затем в слободку. Постарайся сохранить людей, передать в надёжные руки раненых. Всё! Иди!

Сенчура вынул из кармана гранату, метнул её в сторону наступавших.

— За мной, чудо-богатыри! Бей красную сволоту! Ура!

Бежавший впереди полковника пулемётчик, строчивший из ручного пулемёта, вдруг упал, словно обо что-то споткнулся. Сенчура схватил пулемёт, опёр его о мёртвого пулемётчика и принялся строчить. Он уже заметил, что его группа взята в кольцо. Там и сям между деревьями перебегали люди в суконых шлемах с высокими шишаками. Шлемы эти были пошиты ещё при царе по эскизам художника Васнецова. По его же намёткам были пошиты шинели с кожаными застёжками поперёк груди, как у древнерусских ратников. Обмундирование это было подготовлено для парада русской армии в Берлине, который должен был состояться после падения немецкой столицы. Но с Берлином получился конфуз. Не взяли. А потом грянула революция. Праздничное обмундирование осталось на складах. Теперь большевистская власть одела в него красноармейцев и красных командиров. На шлемы они спереди пришили большие красные звёзды. «Это чтобы было лучше целить вам прямо в лоб!» — мысленно иронизировал Сенчура и заматерился, так как в пулемёте кончились патроны.

— Делать из трупов брустверы! Все — в круг! — скомандовал полковник.

Теперь оставшиеся в живых колчаковцы лежали за брустверами из мертвецов и палили во все стороны. Но их ответные выстрелы звучали всё реже. Краснозвёздные шлемы приблизились почти вплотную.

Сенчура встал среди мёртвых товарищей, высоко подняв вверх руки, давая понять, что сдаётся. И благодаря этому ему удалось подойти к красным вплотную.

— У, волчара! — крикнул один из красноармейцев и выстрелил в полковника почти в упор.

Сенчура резко опустил руки, и в ладони ему скользнули револьверы, привязанные внутри рукавов шинели резинками.

— Стрелять надо так! — крикнул Сенчура, сражая из двух револьверов врагов одного за другим. Но и сам он получил сразу несколько пуль в грудь, в живот, в плечи. Он пошатывался, но не падал.

— И ещё стрелять надо вот так! — выкрикнул он, пуская себе последнюю пулю в рот.

Один красноармеец хотел проколоть тело Сенчуры штыком. Другой удержал его:

— Не надо! Мертвяка ковырять — честь небольшая.

В это время Коля Зимний со своим отрядом достиг окраины Омска. Трое раненых умерли по дороге, и Коля приказал копать могилу. Солдаты зароптали:

— Господин подпоручик, али им, мёртвым, не всё равно? Живых поморозим!

Зимний понял, что они правы. Велел закопать трупы пока в сугробе и поставить мету.

— Раненых пристроим, вернёмся к этим и похороним, как подобает.

На окраине Омска большинство домов было заперто ставнями, и никто на стук не отзывался, только собаки рвались со своих цепей.

Коля с тех пор, как его взял в свою бригаду Сенчура, всё время находился вне Омска. Бригада держала оборону на дальних хуторах, совершала дерзкие рейды в тыл к противнику, взрывала мосты, подрывала железные и шоссейные дороги, которые вели к Омску с запада. Он совершенно не знал Омска. В его отряде не оказалось омичей, и никто из солдат тоже не знал великого города. Куда идти? Нигде не было видно ни одного прохожего. Вот в морозном тумане возник согбенный бородач, тащивший за собой сани. Поклажа в них была укрыта огромным дорогим малиновым ковром.

— Что тут у тебя? — вскричал унтер Велисов, поддевая ковёр штыком. Ковёр соскользнул на снег и обнажил мраморную статую.

— Сволочь! — вскричал Велисов. — Люди воюют, а он голых каменных баб ворует! Где взял, говори! — он крепко ударил прикладом винтовки корявого бородача по спине.

— Отставить! — скомандовал Зимний.

— Ваше благородие, — сказал унтер, — нас учили мародёров убивать на месте.

— Отставить! — повторил Коля Зимний, ему понравилось, что унтер величает его благородием. Он сын офицера, дворянина. Он решает судьбы.

— Скажи-ка, братец, — обратился Коля к мужику, — где взял ты Венеру и зачем?

— Да где же? Во дворце, где Волчак сидел. А на что? Красиво. Безрукую можно при случае продать. Времена трудные. Власти нет.

— Власти, говоришь, нет. А войска какие в Омске нынче есть?

— Кроме вашей милости никого не видел. Смылись все куда-то. Хотя стрельба в городе всё время слышна, то стихнет, то опять. А кто в кого стреляет — неизвестно. Да ведь и спрашивать не пойдёшь.

— Так, а как нам до ближайшего лазарета либо больницы какой дойти?

— Больница будет на углу, возле тех вон берёз. А есть там кто живой — не ведаю. Идти-то мне можно?

— Можно! Только без саней. Ребята! Берите у него сани, укладывайте на них раненых. Вперёд! — скомандовал Зимний.

Небольшой отряд Зимнего двинулся по направлению к роще. Бородач остался стоять на ковре около мраморной бабы, которую солдаты воткнули нижней частью в сугроб.

Здание больницы в берёзовой роще было пусто. Стёкла в окнах выбиты, а оконные и дверные проёмы крест-накрест забиты досками. На снегу не было следов. Только валялись сломанные стулья, торчали останки сломанных железных кроватей. Куда идти?

Прошли ещё немного, и увидели белую полосу замёрзшего, заснеженного Иртыша. На белом вдруг возникли чёрные точки, они приближались, росли, и уже можно было разобратить, что это бегут люди, вот они уже на бугре, вот уже видны сухощавые усатые лица под косматыми чёрными папахами, украшенными алыми лентами — полоска наискосок. Винтовки с примкнутыми штыками, нерусская команда на странном языке. Треск выстрелов.

Зимнего словно молотком по ногам стукнуло, он упал. Рядом валились люди его отряда, роняя носилки с мёртвыми. Никто не успел сделать ни одного ответного выстрела.

Коля попытался извлечь из кобуры наган, руки не слушались.

С криками «Офицер, офицер!» на него навалились усачи, быстро связали ремнями. Поволокли по снегу под откос, на лёд Иртыша. Он терял сознание от боли, не мог понять, что это за люди, куда и зачем волокут его, связанного?

Нерусские солдаты подтащили его к проруби, обвязали верёвкой, приподняли, окунули в прорубь с головой несколько раз, подняли и опустили ногами в ближайший сугроб, трое уперлись в него штыками, поддерживая, чтобы не упал, остальные выстроились цепочкой от него до проруби. Усачи быстро, серьёзно и деловито передавали по цепочке ведра с зачерпнутой из проруби ледяной водой. Ведра опорожняли на Колю, и он постепенно всё больше покрывался весь прозрачной, сияющей ледяной коркой. Теперь его уже не надо было поддерживать штыками: держался сам. Один усач деловито поправил ему голову, чтобы смотрела прямо, и отёр мокрые варежки о свои отороченные мехом сапоги. Самозванные скульпторы вылили на Зимнего ещё несколько вёдер воды, отошли в сторону, любуясь своей работой и повторяя:

— Монумент! Монумент!

Из береговых изб, протаяв в стёклах глазки, на Иртыш смотрели прибрежные жители, и опасно шептались:

— Колчак хотел Москву брать, да сам куда-то делся. И Омск сдал. К добру ли то, к худу? Вроде бы рабочая власть будет. Наша... Одначе тошно смотреть, как красные мадьяры развлекаются. Из белогвардейских офицеров статуев создают, лютуют. Солдат — просто убивают, а этих, болезных, прямо живьём замораживают. Ну и звери. Нынче по воду днём уже и не пойдёшь, возле каждой проруби несколько статуев стоит. Да и ночью по воду идти страшно, а что делать? Пить-то хочется...

41. «...всюду деньги, деньги, деньги!...»

После отплытия красных из губернского Томска и после отъезда Аркашки, Федьки и Коли в Омск в Томске происходило немало всякого. Город был похож на кипящий котёл, когда кипяток переплёскивает через край. Теперь в самых убогих каморках беженцы спали вповалку на полу. Отрывали плахи от заборов и наличники, дабы истопить печь. Выменивали на базарах одежду на кулёчек муки, стакан сахара, оставаясь полуголыми среди сибирской зимы.

По городу разгуливало огромное количество военных. Эти были одеты неплохо, выглядели сыто. Генералы, полковники, майоры — и наши, и иностранные. Форма была всех цветов и оттенков. Профессора и торговцы воодушевлялись, видя бодрых людей в форме. У томских модниц необычайным спросом стали пользоваться белые чулки. Надевая их, как бы подчёркивали успех белой армии. Девиц и дам привлекали, конечно, все эти погоны, шевроны, бантики, крестики, аксельбанты, блестящие пуговицы и всё такое. Оперение петуха тоже служит для привлечения особ иного пола. Можно даже сказать, что петухи — те же военные. У них и шпоры есть, и они порой дерутся. Правда, петушинные ристалища не приводят забияк к гибели.

Грозное слово «эпидемия» тогда впервые замелькало в газетах, листовках и плакатах. Специальные бригады университетских врачей и студентов свозили трупы на высокий берег Ушайки, это место томичи именовали «Красным Крестом». Добровольцы были обуты в резиновые калоши, на лицах у них были толстые марлевые повязки, пропитанные медицинским спиртом. Даже ударившие морозы не смогли прекратить великий мор.

В «Красном Кресте» мертвяков сперва складывали в бараках, потом принялись укладывать штабелями, как дрова, прямо под открытым небом. Эти страшные поленницы поливали креозотом.

Женщины с Войлочной заимки глухой ночью перебирались на противоположный берег и подкрадывались к штабелям мертвецов. Что им тут было надо? Мама Коли Зимнего большим острым ножом рассекала боковину скользкого покойника. Добывала печень.

— С осени сколько ничьих лошадей по Томску бегало! Вояки бросили их. Теперь, говорят, те лошади пали. Так зачем же мертвяков резать?

— Спрашивает, суконка! — взвизгнула голосом ржавой пилы работавшая рядом тётка. — Где теперь мёрзлых лошадей искать? А здесь — рядом. Бога устыдилась? А осень, когда Цусима девочку привёл семилетнюю, спортил, а потом горло ей перерезал и нам в разделку на пирожки отдал, помнишь?.. Как это ты не знала, чьё мясо через мясорубку перекручивала? Всё знала! Я тебе сказала: поперчи фарш, посоли да попробуй — ты пробовать не стала! Всё знала, стерва! Вот и заткнись. Работай! Этим бедолагам теперь печёнки ни к чему..

На заимке обкуренные гашишем, опившиеся свекольной бурдомагой женщины ночами полоскали куски мёрзлой печени в прорубях, прокручивали в мясорубках, и наутро пекли пирожки, замешивая тесто с отрубями, чёрной мукой.

Анна Петровна надевала тёплую дошку и перекидывала через плечо ремень, прикрепленный к корзине с пирожками. Корзина была обшита войлоком и имела двойную войлочную крышку. Добежав до центрального рынка, Анна Петровна залиристо кричала:

— Пирожки-и! Горя-ячие! С печенью!

Дрожавшие от холода бедолагы, колотившие нога об ногу, утирали сопли и слюни:

— Гор-рячие! Хватануть бы! Запах! Эх!

Но в центре базара стоял и зорко оглядывался по сторонам Цусима. И было ясно — зарежет, ежели что.

Около пирожницы дрожала и сглатывала слюни бывшая музыкантка румынского оркестра. Остальные давно уехали, а её чёрт пихнул — остаться в Томске. Болезная, глядит с надеждой, румянец болезненный костерком малым на щеках телепается:

— Сколько стоят пирожки?

— На золото, барышня, на золото меняем! А пахнет-то как! — приоткрыла полог корзины Анна Петровна. У румынки от горячего пряного духа закружилась голова, горло само собой стало делать глотательные движения. Чувствовала, что слюной исходит, давится. Аж сказать ничего не может.

Сняла золотое колечко, Анне Петровне передала, а та ей — три пирожка. Румынка не заметила, как их проглотила, заплакала:

— Как, всего три? Золотое колечко? У меня чахотка! Ради Бога!

— Пирожки ныне — тоже золото! — чёрство отвечала Анна Петровна, сама не понимая, почему застыло её сердце. — Хочешь ещё три, серёжки съмай!

— Всего три, всего три! — судорожно взглатывая, выдёргивала серёжки из ушей больная скрипачка. Никто не обратил внимания на её стенанья.

Двое мужиков в крестьянских шубейках, и третий, похожий на мастера, в чёрном пальто с облезлым лисьим воротником, толковали вполголоса. Двое говорили с нерусским акцентом:

— Зачем, товарищ Соколов, вы назначать randevу на базар?

— Тут, в толпе, — лучше разговаривать. За всеми явками следят. Вы подумайте, товарищи Ян и Карл, сколько крючков: губернская охранка, контрразведка, сыскное при милиции, чешская контрразведка, каратели Сурова, Сосульникова, Лазова, Орлова. Сплошные уши и глаза.

Мы в нашей пятёрке посовещались и решили, что в прошлом году восстание провалилось из-за неготовности. Нынче надо объединить и большевиков, и меньшевиков, и эсеров, и анархистов-синдикалистов, и всех сочувствующих. И денег надо добыть. В наше время — это немаловажно. Передайте вашей пятёрке, и дальше по цепи: выделить самых умелых и отчаянных людей для участия в эксках. Деньги — на дело революции. Эх, как пирожками вкусно пахнет! Аж слюной давишься. Ладно, я всё сказал. Следующая встреча здесь же через две недели...

Вскоре Томск облетела весть о налёте на особняк золотопромышленника Исаака Минского. Дом казался неприступным. Каждая плаха высоченного забора была увенчана кованой пикой. Во дворе бегали огромные лохматые псы.

Двери особняка были массивными и на ночь запирались изнутри мощными железными задвижками.

Заговорщики узнали, что Минский заказал в мастерских завода «Вулкан» огромный бронированный сейф. И вскоре возле ворот усадьбы золотопромышленника остановились сани, запряжённые двумя битюгами. Грузчики постучали в ворота:

— Заказ господина Минского готов! Отворяйте ворота, сейф весит десять пудов, надобно подвезти его к крыльцу.

Минский вышел с прислугой, на всякий случай спрятав в карман револьвер. Дворник придерживал псов, готовый в любую минуту спустить их с цепи. Минский прочёл документы, на них была печать завода и роспись управляющего. Тогда прибывшим было дозволено въехать в усадьбу.

Грузчики с трудом подняли сейф, положили на плахи, потащили волоком. Им помогла прислуга. Затащили грессейф в прихожую, поставили там. Старший рабочий подал Минскому ключи и сказал:

— Механизм сейфа очень сложный и требует особенного обращения. Не трогайте сейф до утра, пусть все пружины механизма после мороза хорошенько прогреются. Иначе сейф можно испортить...

Исаак расписался в бумагах, и заводчане удалились. Ночью, когда семья Минского и его прислуга мирно спали, сидевший внутри сейфа известный всему городу лилипут Лёня Крымов вылез из бронированного убежища. Лёня не был большевиком, он был шутником. Иногда он бродил зимой вечерами по главному проспекту, обращаясь ко всем встреченным молодым барынькам:

— Тётенька! Я хочу сделать пи-пи, ручки замёрзли, пиписку достать не могу. Иная сердобольная барынька расстёгивала ему ширинку, и, увидев огромную пиписку, ошеломлённо вопрошала:

— Мальчик! Сколько тебе лет?

— Тлидцать тли годика! — отвечал ошарашенной барыньке шутник Лёня.

Теперь Лёнина шутка была не слишком безобидная. Он прислушался, определил, что все спят, вылез из сейфа, стал тихо отпирать тяжёлые засовы. Было ровно три часа ночи, самый крепкий сон. Именно это время и было Лёне назначено. Собак во дворе должен был ликвидировать лучник, взобравшийся на забор при помощи верёвочной лестницы. Одну из собак он только ранил, и она принялась выть. Экспроприаторы всё же успели преодолеть забор и войти прежде, чем домочадцы Минского окончательно проснулись. Первой вскочила с постели жена, завопила:

— Караул, грабят! — но тут же получила молотком по темечку и свалилась замертво. Минский дрожащими руками стал шарить под подушкой револьвер, но увидел наведённые на него стволы и троих молодцов в карнавальных масках. Один имел личину льва, другой — морду медведя, третий выступал в роли зайца. Вот этот самый «заяц» отвратительным басом сказал:

— Говори, подлец, где у тебя лежат ценности, под которые ты приготовил сейф. Иначе сами всё найдём, а из тебя кишки выпустим. И «заяц» для убедительности кольнул Минского кинжалом в самый пупок, не очень глубоко, но весьма ощутимо.

— Господа, господа! — лепетал Минский. — Не надо! Я всё скажу.

Этот ночной маскарад кончился тем, что погибла жена Минского, а из его дома увезли ценностей на пятьдесят тысяч рублей. Взяли золото, серебро, дамские украшения, бриллианты. Прихватили ещё две банки чёрной икры и пару бутылок коньяка.

Все свои следы экспроприаторы залили едкой кислотой и засыпали табаком.

Город скрипел промёрзшими тротуарами. Город хрипел и кашлял по закоулкам:

— Слыхали? — Минского ограбили, Анцелевича.

— Так им и надо! Всё их добро — ворованное!

— Слыхали? Суров по деревням крестьян порет и расстреливает.

— Так им и надо, бунтовать не будут. На то и Суров, чтобы быть суровым.

— А говорят, что большевики нарочно Ленина в запломбированном вагоне привезли. Всех нас в плен немцу хотят сдать.

— Всё может быть. Обидно. А всего обиднее, что дров нет, и жрать хочется...

Большой переполох был в сыскном отделении, в охране и контрразведке. Шпики, переодетые нищими, бродили по всем базарам и прочим людным местам. Уже и весной запахло.

Боевые отряды красных готовы были захватить военную комендатуру, казарму, почту, телеграф, тюрьму. Ждали, когда раздастся взрыв фугаса в артиллерийской казарме около Лагерного сада. Не рассчитали, думали, услышат взрыв все подпольщики города. Но взрыв был слабым, хотя и погибло от него трое, да несколько человек было ранено.

Не услышавшие взрыва бойцы не пришли в условленное место. А солдаты юго-славянского полка отказались от ранее обещанной помощи повстанцам.

В доме Иосифа Якимовича по Ново-Кузнецному ряду огорчённые вожди вполголоса обсуждали новые варианты томской революции. И после нескольких рюмок вина запели негромко:

— Смело мы в бой пойдём за власть Советов,
И, как один, умрём в борьбе за это...

В это время зазвенели стёкла окон, в которые просунулись рыла пулемётов, как бы сама собой слетела с петель дверь и, кем-то закинутая под обеденный стол, с грохотом взорвалась граната.

— Умрёте все, как один, мать вашу! — гаркнул золотопогонник. Раненные взрывом в ноги, под прицелом многих стволов, некоторые вожди всё же попытались отстреливаться. Но их смяли, сбили на пол, связали.

Вождей пытали в контрразведке. Фёдору Соколову срезали часть кожи со спины и сломали лопатку. Михаилу Солдатову отрубили полступни. Иннокентию Григорьеву сломали позвоночник, прокололи шомполом уши. Шутили: мол, на том свете будешь серьги носить, морда твоя цыганская!

Вождам было больно, но они не хотели радовать врагов. Они теряли сознание, но не просили пардону, лишь изредка глухо рычали, что вряд ли можно было принять за слабость. Иногда с их губ слетал мат. Ругались матерно и их истязатели. И те, и другие были русскими людьми. А вот нерусских Яна Бредиса и Карла Ильмера пытали так, что те не дожили даже до суда. Да и то сказать, разве есть на свете более терпеливые люди, чем русские? Скажем по секрету, что таких людей на свете нет.

42. Морозы, метели...

Первые морозы сменились оттепелью. В пасмурном небе над Томском из облаков вынырнул аэроплан с кругами на крыльях. Он появился, как привидение, и тут же исчез за стеной бора. Те, что видели его, могли думать всё что угодно.

А в это время верховный правитель Александр Васильевич Колчак сошёл с аэроплана, приземлившегося на расчищенной от снега поляне, и принял в свои руки красивую спутницу, Анну Темиреву, дочь ректора московской консерватории. На лесной дороге их уже ждал чёрный закрытый автомобиль. Гости покатали в сторону Томска.

В этот день в зашторенном здании макушинского Просветительского дома, занятого Николаевской военной академией генштаба России, состоялось секретное совещание Правителя с представителями интернациональных и сибирских военных группировок. Вырабатывались планы обороны. Рубеж по Иртышу нами проигран, противник рвётся к Оби. Александр Васильевич выслушал все мнения. И требовал — держать рубеж по Оби!

На дворе было уже темно, когда Правитель поместился в тот же чёрный автомобиль и отправился с подругой в старинное тракторное село Спасское. Небольшое, в две улицы, село протянулось вдоль реки Томи. В этом месте река делала резкий поворот, и как раз в излучине была поставлена небольшая, изумительной красоты церковка. За нею — заснеженная река с черневыми двумя островками у противоположного берега. Пахло хвоей, снежной свежестью. Лишь два-три огонька светилось в этот час во всей деревне. В церковном окне вздраги-

вал язычок слабой свечи. В свете месяца искрился лёд на реке. Большие белые хлопья медленно падали и бесшумно ложились на леса и поля.

Правитель обнял Темиреву, прижал её к себе:

— Давай откроем те два необитаемых островка, один назовём островом Анны, другой островом Александра, и будем там жить...

Ему и в самом деле захотелось забыть все дела, заботы, хотя бы на месяц, на день, на час... Уединиться с любимым существом на необитаемом острове. Он женат, но пусть это только игра, он смог вырвать у судьбы для себя лишь эти несколько минут для венчания в этой церквушке. Вот уже и батюшка зовёт, к венчанию всё готово.

Они прошли в церковь, и сразу было возжено несколько толстых свечей. Священник начал свое действие, и, как нарочно, за окном завыл, закружил ветер.

— Всё, как в повести Пушкина! — шепнул Александр Васильевич невесте. — Метель! Только у нас всё будет всерьёз.

— Да, да! Метель! В сердце моём — сладостная метель! — согласилась она. Воспитанная на музыке и жизнь воспринимает в звуках. Её рыцарь стройный, с чертами лица мужественными, глава всей России, почти царь. В глазах — восточная мелодика. Стоит произнести фамилию Колчак, тотчас вспоминается оперный хан Кончак. «У меня есть красавицы чудные...» Вот и она — его красавица... Ах, при чём тут оперный хан! Морской офицер, открыватель земель. Человек чести. Управляет чуть не всей страной, а у самого нет ничего, кроме ордена, кортика и чемодана с бельём. Придёт время, и о нём напишут книги. Обязательно!..

Обряд венчания совершился ещё быстрее, чем в повести Пушкина. И вскоре автомобиль уже мчал возлюбленных в сторону станции, куда должен был прибыть поезд Колчака. Анна задремала.

Александр Васильевич задумался. Глубокая складка залегла меж бровей.

Главнокомандующий всех сибирских войск Александр Николаевич Гришин-Алмазов был у него в службе недолго. Повздорил с иностранными военными специалистами Ноксом и Жаненном. Поехал к Деникину. Решили объединить фронты по югу России и двинуться на Москву. Антон Иванович тоже не прочь стать главным хозяином России... Многие мечтают, да руки коротки. Теперь Колчак назначил командующим генерала Сахарова. У опытного этого воина что-то не заладилось в последнее время.

Виктор Пепеляев, которого Колчак недавно назначил премьер-министром в надежде спасти положение, поклялся

быть верным до конца. Но не лукавит ли? На сегодняшнем со-
вещании его брат Анатолий Пепеляев всячески изругал гене-
рала Сахарова, назвал его бездарностью и даже предателем, и
требовал его смещения. Этот генерал, командующий сибир-
ской армией, конечно, метит в военные министры. Но уж боль-
но ярый! Возгордился. Покойный Николай Второй вручил ему
личное Георгиевское оружие — саблю с золотым эфесом. А то-
мичи подарили ему красавца коня с серебряными подковами
и уздечкой. Ишь, Ганнибал! А может — каннибал? Он вместе с
Потаниным давно проталкивает идею сибирской республики.
Но Александр Васильевич сурово указал место и Потанину, и
всем его последователям. Запретил все эти бело-зелёные фла-
ги, особую форму сибирских стрелков, всю их дурацкую атри-
бутику. Россия единая и неделимая! Пришлось для остротки
упрятать в кутузку нескольких сепаратистов, кое-кого там и
замучили. Потанин был посажен под домашний арест. А его и
красные сажали, и белые. Да старику вообще лучше сидеть до-
ма на печке.

Генерала не посадишь. Особенно теперь. Виктор на пару
дней остался в Томске. Обещал вскоре вернуться в поезд Кол-
чака, и вместе с Правителем продолжать политику и даль-
нейший путь на восток. А вдруг да останется под крылышком
у брата-генерала? Да нет, вернётся. Пока у Колчака в поезде
лежит золотой запас России, мало кто отшатнётся от него. Зо-
лото — магнит. И, возможно, удастся остановить наступление
красных на рубеже Новониколаевска, Тайги, Томска. Пока же
предстоят тревожные ночи и дни...

В канцелярии генерала Пепеляева со скрипом и стрекотом
на ручных американских машинах с колесом-маховиком
возникали воззвания и призывы к гражданам. За сибирскую
родину! Бело-зелёные знамёна. Бело-зелёные шевроны. Бело-
зелёные ленты на папах. Таёжный запах! Лыжня. Нодья: ко-
стёр из двух лесин, разожжённый одной спичкой. Сон у нодьи
под морозным звёздным небом. Белку бьём в глаз, кипятим
снежную воду в казане. На лыжах обежим весь бело-зелёный
мир! Хвойный воздух в лёгких и в сердце. Хвойная неувыдае-
мость. Наше особенное царство!

Запрещён выезд из города мужчин, способных носить ору-
жие. Начальствовать должны уроженцы Сибири. Все силы —
в один кулак! Даёшь новую Америку, со столицей в Томске! Пе-
рекрашивайтесь в бело-зелёное розоватые, пунцовые, голубо-
ватые и желтоватые, а красных лишь могила исправит!

Томск был заморожен странной картиной. На станции
Томск-второй на разных путях стояли бронепоезд генерала
Пепеляева «За свободную Сибирь» и польский бронепоезд,
на броне которого был нарисован белый орёл. На всех семи

холмах Томска стояли мощные артиллерийские орудия и хищно смотрели в разные стороны. По улицам катились броневики, вращая башнями и заглядывая стволами пулемётов в окна особняков и лачуг. Кто и с кем сражаться собирается? На всякий случай томичи запирали ставни и двери на все замки.

У Гадалова в это время были гости. Он провёл гостей в свой зимний сад, где росли пальмы и кипарисы, показал упакованные в тюки товары. Анатолий Николаевич Пепеляев сказал ему и другим томским богачам:

— Уважаемые! Не надо никуда увозить товары из Томска. В случае чего закопайте и уезжайте лёгкими санками. Вся наша земля — клад. Никому не отдадим! Подниму в Красноярском крае сорок тыщ бойцов и верну город, верну достояние...

Поднялись в столовую, где былолюдно и были накрыты столы. Первый тост произнёс генерал-лейтенант, он сказал русским и нерусским:

— Выпьем за сибиряков. На них надеюсь. Поднимем знамя отделения от России. Юзек Пилсудский в томском тюремном замке и в ссылке измыслил путь к свободе. И генерал Маннергейм тоже отделил свои леса и болота. Мы, сибиряки, — такая же колония России, что и Польша, и Финляндия. Сибиряки меня поймут, и пополнят мою армию!

Поляки — полковник, начальник штаба Валерьян Чума, полковник Константин Рымша, — отставив опустошённые бокалы, подкручивали усы. Корпус польских легионеров в пятнадцать тысяч штыков их ждёт на станции Кольчугино. Покажем красным, пся крев*!

Иннокентий Иванович посмотрел на картину Васнецова «Три богатыря», и ему теперь показалось, что главный богатырь Добрыня Никитич — это он сам, Гадалов. Илья Муромец, конечно, — Анатолий Николаевич Пепеляев, Алёша Попович — штабс-капитан Суслов, который держит бокал чёрными, отмороженными пальцами. Суслов в дни, когда Блюхер подошёл к Тобольску, получил приказ Колчака эвакуировать ценности из Тобольского банка в Томск. Пароход «Пермяк» отправился из Тобольска в октябре. Ударили морозы, в районе Сургута судно вмёрзло в лёд. Штабс-капитан с двумя солдатами часть ценного груза отвёз на санях в тайгу, закопал в курганах. Солдаты потом были награждены двумя бутылками денатурата, от которого и померли. Более лёгкая часть ценного груза только что доставлена в Томск и сдана Пепеляеву, спрятана в подвале собора. Там хранятся никому пока не вручённые серебряные и золотые ордена. «За освобождение России» — с изображённой

* Пся крев — польское ругательство.

на них птицей феникс, за «Освобождение Сибири» — с крупной стилизованной снежинкой, кедровыми шишками, соболями, луками, головами мамонтов.

— Где же твой защитничек Гайда? А, Василий Петрович? — обратился Гадалов к Вытнову. — Ты же ему палаш с серебряной цепью и гербом Томска подарил!

Вытнов промолчал, а Пепеляев сказал:

— Мне этот выскочка с первого взгляда не понравился. Верховного он своими выходками и гордыней так допёк, что тот снял его с должности командира корпуса. Чешский проходец не растерялся, погрузил своих людей в эшелон и двинулся на восток. Слышать, некоторые реквизиции устраивает на станциях. На чужой земле, чего стесняться? Надеяться мы можем только на свои таёжные, глубинные силы.

Поздней ночью поляки и прочие приглашённые ушли. Остались Пепеляев, Суслов и Гадалов. Последний сказал старшему приказчику:

— Фартуки, кирпичи, раствор, всё готово?

Все спустились в подвальное помещение, Гадалов отпер железную дверь и пошёл впереди с карбидной лампой. За ним шли штабс-капитан Суслов, генерал Пепеляев. Он знал, что подземный ход приведёт их в подвалы Троицкого собора, подвалы эти устроены с боковыми ответвлениями, с лабиринтами, с железными дверьми.

Вскоре оказались в помещении, где были сложены привезённые Сусловым ценности. Всё было упаковано в ящики, в которых обычно лежали брикеты особого анжерского угля. Он хранился в подвалах собора, и, когда было нужно, к каждой соборной печке приносили по ящику. Аккуратно упакованные брикеты позволяли обойтись без мусора и пыли.

— Ну, братцы, надеваем фартуки, берём мастерки, выкладываем стенку, пока раствор не застыл, — сказал спутникам Гадалов. — Кирпича не жалейте, стенка должна быть в четыре кирпича толщиной. Поторопимся!

Стенка выросла в считанные минуты.

Наутро бронепоезд «За свободную Сибирь» унёс генерала из Томска. Маршрута не знал никто, кроме самого генерала. Колчак со своим поездом сдвинулся дальше на восток, и значит — утратил ещё часть власти. Теперь был смысл вступить с ним в новые переговоры. Но сначала...

На станции Тайга в ресторане вокзала состоялась встреча братьев Пепеляевых с генерал-лейтенантом Сахаровым. Пушки бронепоезда «За свободную Сибирь» повернулись в сторону ресторанных окон. Двадцативосьмилетний энергичный генерал-лейтенант Анатолий Пепеляев вынул наган из кармана, положил на стол перед собой, сказал Сахарову:

— Константин Васильевич, вы обвиняетесь в преступной сдаче красным Омска, в неумении управлять войсками. Вы арестованы и отстранены от должности. Сдайте личное оружие.

— Вы с ума сошли! Я охрану вызову! — воскликнул Сахаров.

— Вызывайте! Пушки моего бронепоезда и пулемёты направлены на ресторан. Я прикажу стрелять и погибну вместе с вами! — выкрикнул Анатолий, и было в этом столько ярости, что Сахаров смирился и сдал оружие.

Через несколько часов в поезде Колчака братья Пепеляевы предложили свой план спасения России.

— Александр Васильевич! Отдавайте власть Семёнову либо Деникину, а мы поднимем бело-зелёное знамя независимой Сибири, с этим и победим. Без этого сибирского мужика не поднимешь сейчас, а только он и может спасти родину! Ведь сибирский мужик за свою тайгу, за свои родные заимки, наделы и пасеки всю кровь по капле отдаст! А бывали времена, он и Наполеона бил! — убеждал Верховного Анатолий Пепеляев. Брат Виктор ему поддакивал. В ушах Верховного, как раскалённые угольки, вспыхивали слова, фразы: «...отречение, сибирский земский собор, парламент, главнокомандующий Пепеляев, президент Потанин...».

Колчак провёл ладонью по лицу. Как бы в тумане всплывает нелепый давешний сон. Звон колоколов, и кто-то говорит ему: «Ваше величество, прибыла государыня императрица!». И в алмазном венце, с распростёртыми руками навстречу ему летит Темирева. Именно летит, не касаясь подошвами пола. И он принимает её в объятия.

Станный сон, проклятый сон. Не к добру это. Он стряхнул ладонью с лица это виденье и негромко сказал:

— Единую и неделимую не предам...

Анатолий Николаевич вернулся в Томск ни с чем. Теперь пришла пора совершить подвиг. Была дана шифрованная телеграмма Константину Рымше. Пусть, как договорились, поляки ударят по Новониколаевску с юга, Пепеляев со своим войском нажмёт с севера. Падёт Новониколаевск, и число сибирских войск начнёт расти как на дрожжах.

Но вскоре донесли: разведка противника едет к Томску на сытых конях, растопырив ноги в красных наградных шароварах и длинных чалдонских валенках, вдетых в особливые широкие стремяна. Катится к Томску и остальное войско и великое множество пушек на конной тяге. И этому войску конца-края не видно.

На рассвете отстучал телеграф. Анатолий Николаевич Пепеляев ходил по кабинету Гадалова, прикуривая одну папи-

росу от другой. Поляки, как и обещали, ударили с юга. Восемь часов поляки сдерживали наступление красных на станции Тайга. Надежда поляков была на то, что генерал-лейтенант поддержит их. Но он не смог им помочь. В Томске взбунтовался венгерский полк. Не сдержали слово эсеры. Измена была и внутри штаба Пепеляева.

Поляки погибли, но не оступили. Гордость не велела.

— Ну, прости, Иннокентий Иванович, ежели что не так. На войне не всегда всё идёт по плану. Бери лучших лошадей, уезжай с семьёй побыстрей. Двигайся на Красноярск. Я с верными людьми, с малым отрядом пойду напрямик через тайгу. Мне надо избежать окружения. Но мы вернёмся, и всё вернём! Будь здоров!

Анатолий Николаевич надел поданную ему денщиком собачью доху, надел и косматую собачью шапку. Вышел во двор с небольшим саквояжем. У внутреннего подъезда стояло несколько простых крестьянских саней, в них полулежали люди в крестьянских пимах и тулупах, и большинство было, как и Пепеляев, в собачьих шапках. По виду этих людей можно было принять за крестьян, но их стать и осанка внимательному глазу могли бы сказать, что люди эти — вовсе не крестьяне. Поклажа в санях тоже была укрыта собачьими дохами. Сани со свистом помчались по окраинным улицам за город, в неизвестность. Но на одной из улиц генерала и его спутников всё же узнали, завопили:

— Стой, сволочь, не сбежишь!

Пули засвистели над головами отъезжавших. Но и с саней тотчас застрочили пулемёты. Офицеры дело знали: плотным огнём очистили себе дорогу. Пепеляев снял собачью шапку и показал пару следов от пуль:

— Повезло! Шапку попортили, а голова цела. Отбились. Обидно, что по своим же стрелять пришлось...

А вскоре в Томск вошли покрытые инеем красноармейцы тридцатой дивизии пятой армии. Кто научил красных командиров побеждать адмиралов и генерал-лейтенантов? Бог, классовая ненависть? Простым везением их успех не объяснишь. И, как всегда при перемене власти, вчерашние хозяева жизни превратились в тварей дрожащих, а вчерашние дрожащие твари стали хозяевами всего. Томские тюрьмы, исторгнув из своих недр сторонников советской власти, тотчас же приняли в своё нутро её противников.

Были странные дни и ночи. Дрожание в запертых домах. Шёпот:

— Ей богу сам видел! Да-да! Красные со всего города собрали офицеров, ремни с них снимали, велели им казнённых рабочих из разных захоронений выкапывать, а затем снова хо-

ронить, но уже возле собора, на площади, которую нынче нарекли площадью Революции. Белогвардейцам предложенная им работа не понравилась, побросали лопаты, мол, сами своих мертвецов закапывайте! Комиссары говорят: «Ах, так!». И погнали сердешных по булыжному проспекту, мимо университета, где многие из них когда-то учились, да прямо на мыс Боец. Поставили у обрыва: «Вот вы у нас сейчас, как ангелы, полетите, да только не вверх, а вниз!».

Ну, понятно, всех постреляли...

В другом доме другой рассказ:

— В деревню за молоком ходил. Смотрю: юнкерское училище из города в полном составе уходит. Красные колонну оставили, офицеров отделили, тут же и расстреляли. А юнкеров загнали в кирпичный завод Рубинштейна. Дескать, баня тут будет. Снимайте всё! Через какое то время пулемёты заговорили. Затем выехала с завода интендантская фура, гружённая шинелями, гимнастёрками, сапогами. Красноармейцы смеются: «Сукно доброе, сапоги новые!».

При выселении непролетарских семейств из хороших домов некоторые главы семейств сопротивлялись, отстреливались из ружей, рубили комиссаров топорами и шашками. То на одном, то на другом занятом пролетариями доме ночами появлялись плакаты: «Отомстим!». По городу бродили тощие оборванцы, замерзали и падали в сугробы. В морозные ночи прояснивало и печальная луна смотрела на деяния людей. Руки застывших в сугробах трупов с мольбой простираются к небу. А вот в огромной заснеженной роще возле университета, по соседству с вывезенными из хакасских степей древними каменными истуканами, торчат ноги в белых чулках. Кто там погиб — гимназистка, курсистка? Кто станет разбираться, трупы — на каждой улице.

Магдалина Брониславовна Вериго-Чудновская, поэтесса, с ужасом и восторгом смотрела в заледеневшее оконце на морозный Томск, называя его в стихах столицей снега, воронкой Мальстрема. Но этому суровому времени нужны были не поэты. В городе появились таблички двух ранее неведомых учреждений «ЧЕКАТИФ» и «ЧЕКАТРУП». И пришли под эти вывески томские профессора, и заявили, что нужно немедленно запускать печи михайловских кирпичных заводов и сжигать трупы, пока не наступила весна. Иначе разразится такая эпидемия, которая не отличает белых от красных, и весь город вымрет за несколько месяцев.

По городу в чёрных балахонах и чёрных масках шагали специалисты по уборке и сжиганию трупов. Страшны единичные смерти. Смерть в огромных количествах — притупляет обоняние, зрение и нервы. Членам уборочных бригад полагался уси-

ленный паёк: полкило хлеба в день и пять картошек каждому работнику. Страшный урожай они собирали уже совершенно спокойно, совсем ничего не страшась, жалея только, что мало дают хлеба.

Возле здания бывшего губернского суда стоял молоденький часовой, придерживая замёрзшей рукой винтовку со штыком. Он внимательно смотрел на статую, размещённую на фронтоне здания. Это была женщина с завязанными глазами, в одной руке у неё были весы, а в другой — меч.

Мимо проходил неведомый оборванец, заметил интерес часового и сказал:

— Глупости!

— Это почему? — спросил часового.

— А потому! Фемида — это богиня правосудия, которая сидит с завязанными глазами и с весами. Немезида же — крылатая, и с открытыми глазами, и с мечом в руке, потому что она — богиня возмездия. Эта же — непонятная мадам. Весы ей дали сломанные, глаза завязали, меч всучили здоровенный, она и рубит своим мечом не глядя, кого ни попадя!

— Иди-ка ты отсюда, пока тебя штыком не пощекотал! — сказал часового. — Ходишь врешь чё попало!..

Часовой был не местный, и не знал, что в Томске и оборванцы бывают шибко умные.

43. Травяной чай

В Петрограде, в доме с наружными железными лестницами, на третьем этаже, в 1919 году снял комнату гражданин по фамилии Манин. Ходил он в скромном сером костюме и чёрном пальто, по виду его можно было принять за отставного преподавателя. Ежедневно его навещал глазастый брюнет, одетый в кожаную куртку, поношенные галифе и сапоги. Так тогда одевались многие люди. И агенты ЧК, и бандиты, и интеллигенты. Война с Германией, а затем и Гражданская война привели к тому, что штатского платья в стране стало мало, а военного — наоборот. Галифе, френчи, гимнастёрки, бушлаты — заполонили Невский проспект.

Брюнет, прежде чем пойти к Манину, каждый раз долго стоял напротив его дома, высматривал что-то, как говорится, вынюхивал. Потом с оглядкой поднимался по железной лестнице.

Обстановка в комнате Манина состояла из стола, трёх стульев и старой деревянной кровати. Была ещё окрашенная половой краской книжная полка, на которой стояли книги по фи-

зике. И каждый, кто входил в комнату, мог понять, что Манин имеет к физике какое-то отношение.

Брюнет постучал особенным стуком: три удара — пауза, один удар — пауза и опять — три удара.

Манин произнёс за дверью традиционное: «Кто там?».

Пришелец весело ответил:

— Свои. Загоренко!

— А-а! Украинец! Заходите! — Манин отодвинул щеколду и снял цепочку.

— Чаю хотите? — спросил гостя Манин.

— Чай-то у вас наверняка травяной? Ну ладно, наливайте! — согласился брюнет.

— Нынче и травяной чай можно за благо почесть, — сказал Манин, — разорили Россию дочиста. Верите — нет, как вор, ночью отдирал плаху от забора в каком-то переулке, чтобы принести её сюда, расщепить, и варить на печке-буржуйке чай. Ну и названьице печке дали! Буржуи разве такими печами когда пользовались?

— Я не понимаю вас, господин Манин. Чего вы тянете время при таком-то раскладе? Зря вы не хотите открыть мне ваши петербургские тайники. Сегодня я смогу вас спокойно перевести через границу, потому что я — граф Загорский, парасихолог, знаток чёрной и белой магии, и могу отводить глаза. Я вас переведу за очень скромную плату. Матильда Ивановна, госпожа Хотимская-Витте, как бывшая начальница всей пограничной охраны России, знакомая пограничникам, давно уже слиняла через контрольную полосу и где-то там лопаёт шампанское — в Стокгольме, в Копенгагене, а может, и в Париже.

Объясните, чего вы ждёте? Расстрела? Ведь мышеловка скоро захлопнется! Большевики окрепнут, и первое, что они сделают, — закроют границу огромным висячим замком. А ключ при каждом обороте будет петь «Интернационал»! Опомнитесь, Иван Фёдорович! Нет более царя-батюшки, нет вашего друга и заступника Гриши Распутина. Чекисты не сегодня-завтра скажут: «Никакой вы не Манин, а самый настоящий Манасевич-Мануйлов!». И ваши заначки в Питере или где-то ещё пропадут. Давайте-ка перейдём границу. На той стороне вы дадите мне адреса ваших заначек, я их заучу, как таблицу умножения, и потом в несколько приёмов перетащу ваши богатства через запретную черту. Вам это почти ничего не будет стоить, просто возьмёте мне билет на пароход до Америки. Вот и всё.

— Нет! — проскрипел Иван Фёдорович. — Я не могу сейчас уйти. Мне из Сибири должны привезти ценную картину. Я должен отдать её до поры в верные руки...

— Фи, какой несговорчивый! Поверьте, без меня вы погибнете от пограничной пули. А я вас мигом переведу, сниму вам дачку у знакомого чухонца. И вскоре все ценности будут у вас.

— Картину жду, редкостная очень... — повторил Манасевич.

— Картину? — переспросил Загоренко-Загорский. — А что за картина такая?

Они пили чай, беседовали, как вдруг в дверь постучали.

— Кто там? — тревожно спросил Манасевич-Манин.

— Из томского города, «Прощалию» доставил! — сказал голос за дверью.

Манасевич, ощупывая револьвер в заднем кармане, отпер дверь, не снимая цепочки, выглянул в щёлку.

Перед дверью стояли мужик и девушка, держа огромный рулон.

— Союз русского народа! — вполголоса сообщил старик. Россия для россиян, и Бог с нами!

— Проходите.

Старик был одет в сермягу и лапти, девушка была в драной душегрее, в платьице из грубой серой материи, в стоптанных башмаках. Её хорошенькая головка была повязана красной козынькой и старой шалью.

Дед Варсанофий пояснил:

— Сначала были одеты прилично. Три раза нас с поезда снимали, как чуждый элемент. «Прощалию» пытались отнять. Потом я сменил одежду. Станут лезть: «Куда едешь, что везёшь?» — отвечаю, мол, бабушке в деревню холсты везём, выменяли на картошку. Смычка города с деревней. Ну, оно и ничего. Доехали.

А тут я ни в какие трамваи, омнибусы садиться не стал. Да в них с «Прощалией» и не влезешь. У вас в вокзале карта Петрограда висит. Ну, я взглядом её на квадраты разбил. Сначала в одном квадрате ищу — где господин Манасевич? Так, в этом квадрате нет, перехожу к следующему. Нашёл. Чувствую, тут где-то. И пошли с Алёной, рулон этот тяжеленный тянем. И вот дошли по Невскому до сего дома. С адресом в бумажке сверился — точно! Может ещё кое-что старик Варсанофий! Умеет!

Иван Фёдорович Манасевич приказал развернуть картину. И зрители увидели залитую лунным светом рощу, огромный глаз, висевший на зелёной ветке берёзы, из глаза капали крупные хрустальные слёзы. Внизу картины была птичка, привязанная за ножку к фонарному столбу, она рвалась к глазу, норовя клюнуть его...

— Да, — сказал граф Загорский, — впечатляет! — а сам при этом смотрел не столько на картину, сколько — на Алёну.

— Кучерявый! — вскричал Варсанофий, причём лицо его в момент покрылось красными волдырями. — Ты на Алёну шибко-то не пялся, не то я у тебя глаз выну и на ту же ветку подвешу! — И ты, Алёна, чего на него воззрилась? Ты не знаешь, а я помню, в томских газетах его смазливое личико печатали. Он с молодых, красивых и глупых, как ты, бабёнок всю кровь дотла высасывал, поняла? Потом сбежал. Его полиция искала, а он вон где!

Загорский сделал вид, что не слышит старика, и обратился к Манасевичу:

— До свидания, Иван Фёдорович! Как только вы пристроите картину у своих людей, и как только ваши гости отбудут обратно в Сибирь, я снова буду у вас. Тогда мы без проволочек устроим переход. Помните, затягивать с этим делом — опасно...

Загорский ушёл, а Варсанофий осенил дверь крестным знаменем:

— Чует кошка, чьё мясо съела. Небось сразу слинял отсюда. Иудей, его же сразу видно. Ваше превосходительство! Не доверяйте поганцу! Я истинно русский человек, и мне Богом тоже особливая сила дана. Но я с девок кровь не сосу, я их по Божьему предназначению использую. А вот глаза отвести не хуже этого пархатого умею.

— Он не еврей, он хорват! — заступился за графа Манасевич. А ты даже и не знаешь, где она, эта граница, находится, и с чем её едят.

— Знаю, ваше превосходительство! Я сквозь стены всё вижу на десять вёрст вперёд, я всех brunetов бляндинами делаю.

— Это в Питере многие парикмахеры могут — волосы перекрашивать.

— Так они — краской, а я взглядом, и с Божьей помощью.

— Меня, к примеру, ты перекрасить смог бы? — поинтересовался в шутку Манасевич.

Дед тотчас стал смотреть ему в переносицу. Смотрел, смотрел, дунул, плюнул, сказал:

— Подите к зеркалу!

Иван Фёдорович глянул в зеркало и отшатнулся:

— Ты что же наделал, чудак! Зачем же ты из меня такого блондина изобразил? Я слезки стараюсь избежать, живу тише мыши, а теперь скажут: перекрасился, значит, скрывается от кого-то! Давай возвращай меня в прежний вид!

— Извиняйте, но могу только в одну сторону. Да вы не печальтесь, это как бы воображение одно, оно потом само пройдёт!

— Когда пройдёт?

— Не знаю! Я только недавно перекрашивать людей в бляндинов начал. Далёкого результата пока не видел.

— Ну а насчёт перехода через границу — ручаешься?

— Чтоб мне мужской силы лишиться, ежели вру!

— Ну и клятва! Ты ведь пожилой уже.

— Мало ли что. Ну, Богом клянусь, отцом нашим!

— Хорошо, дня два-три поживёте у меня. Я тут побываю в некоторых домах, кое-что лёгкое заберу, так, чтоб идти с одним маленьким саквояжиком. Россия не погибнет! Пока за границей будем силы собирать, чтоб спасти её от красной заразы!

— Точно! — подтвердил Варсанофий. — Спасти матушку Расею от жидов и масонов, все комиссары — пархатые, чесноком воняют...

Через три дня около финской границы шагали они с мешками на спинах, поверх одежды надеты были на них специально изготовленные колдуном балахоны, связанные из хвойных ветвей.

— Помалу, помалу! — повторял Варсанофий. — Ступайте, чтоб ни одна ветка не хрустнула.

— Стой! Кто идёт! — внезапно раздался окрик.

— Это они заметили вспугнутых нами птичек. Замрите, как снопы, они сейчас сюда смотрят через бинокляр.

Вдруг вспыхнувший луч прожектора ударил Манасевичу прямо в очки. Иван Фёдорович света не вытерпел, и заскакал по кочкам, как козёл, иногда он поскальзывался, разбивал болотный лёд, с трудом распрямляя вновь длинные ноги.

— Стой, стрелять буду! — прозвучало ещё раз. Грохнул выстрел, и Манасевич упал. Прожектор переместился в место его падения.

— Алёна! Пора когти рвать, ползком, ползком! — хрипел в ухо девушке Варсанофий.

На финской стороне они вышли на луг со стожком. Потом увидели крытый черепицей дом и примкнувшие к нему аккуратные сараи. В конюшне лошади мирно хрупали овёс.

— Обойдём сторонкой, надо подальше от границы отойти, чтоб никто не сумлевался.

— Чё же теперь делать будем в чужедальной сторонушке? — запричитала Алёна.

— Чё делать, чё делать! — передразнил её Варсанофий. — Ты благодари Господа Бога, что жива осталась. А Финляндия — какая чужедальная сторона? Ещё недавно нашей она была, расейской, тут почти весь народ балакает по-русски.

— Ивана Фёдоровича жалко!

— Жалко брильянтов, которые у него в мешке были, теперь это добро комиссарам досталось. Но какой-то ломоть серебря-

ных и золотых фитюлек он и в мой мешок положил. Поживём! Из лаптей в лаковую обувь переобуемся. Шампань жрать будем, коньяки, жить во дворцах будем! А ты — Иван Фёдорович! Хрен с ним, с Иваном Фёдоровичем! Было ихнее время, теперь стало — наше!

Так два бывших томича стали жить в Финляндии. Граф Загорский, видимо, тоже перешёл границу.

Следователь Кузичкин давно вернулся в Москву, но о сбегавшем кровососе не забыл. Он перечитывал всю российскую и всю доступную ему зарубежную прессу. И, конечно, он обратил внимание на заметку, в которой говорилось, что в Австрии полиция безуспешно ищет маньяка-вампира, убившего с десятка два юных женщин. «Эге, вот ты где, голубчик!» — подумал Кузичкин. А через какое-то время прочёл, что эпидемия подобных убийств в Австрии стихла, зато забушевала в Аргентине.

«Ну и прыть!» — сказал Кузичкин. Но больше заметок о подобных событиях он уже не находил. «То ли его укокошили, то ли посадили!» — решил Кузичкин.

44. Всякому — своё

Пришла в Томск весна 1920 года. Штабеля трупов на крутом берегу речки Ушайки теперь горели денно и ночью, насыщая округу смрадом и заглушая запахи клейких тополиных и берёзовых почек и вербных шишек, которые сияли над водой, как малые свечи. И была надежда, что вскоре всё мёртвое сгорит дотла, и всё живое восторжествует.

В доме напротив университета в эти дни поселилась скорбь. Уже стало известно, что был расстрелян выросший в этом доме Виктор Николаевич Пепеляев.

Поезд Верховного правителя Александра Васильевича Колчака, адмирала, бывшего полярного исследователя, гидролога, бывшего командующего Черноморским военным флотом, и т.д. и т.п. после разгрома белогвардейских войск был взят под охрану чехословацким корпусом в Нижнеудинске. Коварные чехи выдали адмирала большевикам в обмен на право проехать поездом во Владивосток, чтобы затем вернуться на пароходе к себе на родину.

Большевики перевезли адмирала в Иркутск. Без суда, на основании постановления Иркутского ревкома, Колчака и Пепеляева вывели на расстрел на лёд таёжной речки Ушаковки и поставили возле проруби. Виктору Пепеляеву тогда только что исполнилось тридцать четыре. Всего полтора месяца Виктор

Николаевич выполнял обязанности премьера в колчаковском правительстве. При прочтении приговора перед ним, как в киноаппарате лента, прокрутилась вся его жизнь. И это — всё?

Он упал на колени, закричал:

— Граждане! Поймите! Мы с братом были против жестокостей, мы адмиралу предлагали отречься! Он подтвердит! Мы с братом готовили восстание против колчаковского режима. Разберитесь! Прошу вас, нельзя же так! Мне только тридцать четыре года!

— Бросьте! Сатурн пожирает своих детей! Встаньте! — сказал Колчак, докуривая папиросу, воткнутую в красивый наборный мундштук. — Вам — тридцать четыре, мне — сорок шесть, в сравнении с вечностью и то и другое — пустяк...

Грянул залп. Виктора Николаевича не стало, а дом, где он родился в Томске, остался. Дома переживают людей, дома почти никогда не делают никому зла. А люди — делают. Иногда они бывают уверены, что творят своё зло во имя высших благ и высших целей. И только где-нибудь у обрыва или проруби перед лицом неминуемой смерти начинают стенать и каяться.

Летом 1920 года на восемьдесят пятом году жизни в университетской клинике скончался Григорий Николаевич Потанин — первый почётный гражданин Сибири, совесть и гордость «Сибирских Афин». В такие годы мужская сила превращается в свою противоположность, воспаляется всё, что может, и всё, что не может воспалиться.

Но мысли, выработанные могучим мозгом, не могут воспалиться и умереть. Метрополия забирает себе из наших недр золото и алмазы, чтобы затем чеканить ордена и деньги для жителей своих столиц. Наши рабочие, учёные, поэты и художники ничуть не хуже ваших, почему же они должны жить хуже? Длинная зима, короткое лето, до сих пор ссылаемые в Сибирь преступники — это, что ли, награда за все наши адские труды? Впрочем, не слышали раньше, не слышат и теперь. Остаётся надеяться на будущее. А мы, как было во все войны, будем в нужное время приходить на фронты и прикрывать грудью Страну, Россию, Родину.

Многие бывшие богатеи удрали из Томска, в Монголию уехали, в Китай. Дорога туда торговым людям и прежде была знакома. Ушли и военные. В том числе и генерал-лейтенант Анатолий Николаевич Пепеляев. Теперь где-нибудь в Харбине официант в синем халате в обед спрашивает его:

— Тебя чего хотиза есть?

А чего хочется русскому человеку на чужбине? Ему «хотиза есть» видеть родной дом, родные лица, справлять Масленицу и Пасху. Дышать воздухом хвои, мчаться на лыжах в метель и

пургу. Родина есть родина. Потому-то некоторые бывшие богатые остались в Томске, несмотря на то, что их могли и в тюрьму упрятать, и расстрелять.

Иван Васильевич Смирнов получил комнатку в одном из бывших своих доходных домов и устроился извозчиком в горжилкомхоз. За исполнительность, опрятность, большую физическую силу, которая извозчику весьма нужна, чтобы вытаскивать застрявший экипаж из грязи, Ивана Васильевича назначили возить самого начальника жилкомхоза.

Суровый и важный начальник в полувоенном шерстяном костюме появлялся на крыльце, и Иван Васильевич специальной щёткой чистил и без того чистое сиденье. Затем он услужливо подсаживал начальника и быстро вспрыгивал на своё сиденье:

— Н-но, залётные!

Одного не любил Иван Васильевич: расспросов про его прошлую жизнь. Он стремился поскорее стать настоящим пролетарием, тружеником — передовиком, может, даже ударником.

И всё же прошлое иногда из него выплёскивалось. Был во дворе усадьбы восьмиочковый сортир, который жильцы должны были чистить по очереди. Иван Васильевич исправно отбывал свою очередь, но на другой день сортир оказывался загаженным до того, что до очка нужно было добираться через горы дерьма. В усадьбе было много людей. Вновь чистить сортир очередь Ивана Васильевича подходила лишь через полтора месяца. Не мог же он всё это время пользоваться загаженным сортиром? Не мог. Но и очищать эти авгиевы конюшни ежедневно он не имел ни сил, ни времени, ни желания. И тогда он построил себе маленький сортирчик в одно очко, в глухом углу усадьбы среди зарослей лопухов, калины и шиповника. Навесил на дверцу небольшой замок. Уже через день этот замок сбили и персональный сортирчик весь загадили. Упрямый старик принёс большой амбарный замок. И этот сбили. Тогда Смирнов привёл от знакомых большую лохматую овчарку и посадил на цепи возле сортира.

Он не понимал, что сделал большую ошибку. Тотчас же собрание гневно клеймило его как гнусного частного собственника, который травит общество собакой. Газета «Знамя революции» поместила фельетон: «Собственник разбушевался». Его поведение разбирали на собрании горжилкомхоза, причём кто-то из служащих сказал:

— Чего от него ждать, от снохача! Собственного сына до самоубийства довёл. Говорят, тень Вани до сих пор бродит по его бывшему дворцу, и в двенадцать ночи заходит в его бывшую спальню и вздыхает, плачет, кричит. Даже сторожа на улице пугаются.

Иван Васильевич всё стерпел. Покаялся. Сломал персональный сортир. И стал ходить для облегчения своего организма летом на различные близкие к его дому пустыри. Зимой он облегчался в своей комнатухе в поганое ведро, содержимое которого выносил на те же пустыри.

Впрочем, вскоре большевистский главный вождь объявил новую экономическую политику. И базары ожили. Летом на центральном рынке прямо на земле стояла чугунная печка, на ней какой-то шустряк неизвестно из чего варил конфеты, и тут же продавал прямо горячими. Здесь же крутили в бочке мороженое и сразу продавали его. Оно было чуть сладким и пахло рыбьим клеем. По дворам ходили точильщики со своими деревянными переносными станками: «Ножи, ножницы точить!». «Шурум-бурум берём!» — орали старьёвщики-татары.

Мастеровые делали кадки, разные лоханки — тоже с утра начинали стучать. Гармонные мастера наяривали на гармошках забористые мелодии.

Иван Васильевич глядел на эту суету без зависти. Перегорело. Не хотелось снова начинать с пустого места. Да ведь опять отберут! Лучше уж возить начальника. Смирнова покритиковали, он исправился. Очень такой общественный человек. Даже газету «Знамя революции» выписал, и на Красную Армию, и на комсомол, и на спортивные общества деньги отчислять стал.

Ну не миллионер он, не хозяин, зато как тополями и хвоей пахнет по весне! И бураны зимой какие приятные! В Громовскую баню не в номера ходит, а в общее отделение. Если его спрашивают:

— Иван Васильевич! Почему же — не в номера?

Отвечает:

— Зачем? Туда пускай идут у кого язвы, или другой изъян на теле, а у меня тело здоровое, чистое!

— Да уж, вы прямо богатырь, Иван Васильевич, годы вас не берут, красавец.

— Какой уж есть.

Жить на родине ему радостно, только вот мимо своего бывшего дворца никогда не ходит и не ездит. Славно ему жить, не убили, не расстреляли. Поругали, так это — как с гуся вода. Кто он? Просто извозчик. Возит начальника. Хорошо возит. Не было никаких кутежей в Благородном собрании, не было дворцов, дач, автомобиля роскошного не было, он даже не знает, как им управлять. Кнут и вожжи — всё его дело. Не было золота, взяток чиновникам, подарков губернатору, взносов на богадельни, дальних коммерческих поездок в Монголию и Китай. Теперь вот у него китайский язык пропадает зря. Не с кем на нём поговорить, как, бывало, говорили с Гадаловым. Недав-

но встретил Ли Ханя, заговорил с ним по-китайски, а тот на чистом русском языке отвечает:

— Зачем по-китайски. Мы теперь председатель артели «Вперёд», наш коллектив вступил в соревнованию за перевыполнения плана изготовить стулья, зонтики, и собрать много утильсырьё. И жёнка у меня русская — Танюша, и сын у меня русский — Ванюша. Зачем — по-китайски?..

Да, а Гадалов-то, Пепеляев и многие другие на чужбине, поди, сильно скучают по своей малой родине, и по большой? Ивану Васильевичу стало их очень жалко. Как же им без наших кедров и елей? Как им без быстрой глубоководной реки Томи? Без ночной ухи на берегу из только что пойманных окуней и ершей? Без нашей буйной черёмухи по весне? И неизвестно где и кто теперь пристроился. Уехали на восток и — всё.

Стал для души Смирнов птичками заниматься. Остругивал тоненько деревянные спицы и перекладинки. И из них сооружал без клея и гвоздей ловушки для птиц и садки. В комнате у него в прекрасных садках прыгали по жёрдочкам чечётки, щеглы, свистели и щебетали. В каждом садке были солонки с водой и коноплём. Кушайте, птички, это скрасит неволю! А в большой клетке, конструкцией напоминавшей княжеский терем, жил учёный скворец, который очень хорошо и на все лады произносил слово «курва». И так грассировал, так перекатывал букву «р», что иной аристократ позавидовал бы. Да где они теперь, эти аристократы? И кого ругал скворец — неизвестно. Впрочем, может, скворец был вещим и предвидел 1937 год?

В этом году всем жильцам города Томска было объявлено: жильцы должны обновить таблички с названиями улиц и номерами домов, и обязательно вечерами включать лампочки для хорошего освещения номеров. Это улучшит доставку почты, облегчит работу пожарников и прочих служб. Всё — для блага человека! Всё во имя человека! Это было написано в газетах. На самом деле начальник городского отдела НКВД Овчинников получил директиву арестовывать врагов народа максимально быстро и так, чтобы это не портило настроения широких масс трудящихся.

По ночам энкаведисты шли, заглядывая в списки, быстро находили нужные дома, стучали: дескать, проверка документов. И ночные аресты, и обыски чаще всего проходили без шума и крика. Во тьме, в тишине вели арестованных до ближайшего домзак*, конвоиры говорили шёпотом, чтобы настроить и арестованных на мирную тишину. Тени мелькнут, тихо закрывается дверь. В каждом районе были свои места заключения.

* Домзак — дом заключения.

Иван Васильевич жил в центре, он и попал в центральный подвал, неподалёку от бывшего Благородного собрания, в коем когда-то немало испил коньяков и шампанского.

На полу в тесно набитой камере Иван Васильевич увидел вождя местной комсомолии Спрингиса. Нос у него был разорван до глаза и сильно кровоточил. Активист Иван Торгашев написал про него в газете, будто он является тайным троцкистом.

— Признаёте? — спросил Спрингиса следователь.

— Чушь! — ответил тот. — Объявляю голодовку! — И его стали питать питательным раствором через нос с помощью трубки. Порвали ноздри. Через две недели он попросился к следователю:

— Хочу признаться!

И заявил:

— Меня вовлёк в троцкистскую банду вражий агент Иван Торгашев.

Любитель писать в газеты немедленно оказался в том же подвале.

Смирнов на допросе сказал:

— Признаюсь!

— В чём?

— В чём скажешь, всё подпишу...

Иван Иванович прекрасно понял, что время теперь другое, этой власти никто перечить не может. Если она говорит: «Умири!» — надо умирать. Сопротивляться? Испытаешь понапрасну адские муки, и всё равно убьют, так лучше уж умереть сразу. Вешать ведь не будут? А расстрел — что? Секунда! И всё, потеряешь сознание, словно уснёшь. Здешние ребята — специалисты, видно по всему, не промахнутся.

Начальник Овчинников был в те дни озабочен. Арестовали кучу народу, рассмотрели тучу дел, и почти все дела расстрельные. Ликвидировали на Каштачной горе партию из двадцати приговорённых. А шуму наделали! Оказалось, что выстрелы и крики уничтожаемых слышит весь город. У рожениц молоко пропало! И молва ещё прибавляет ужасов. Провели срочное совещание с ликвидаторами. Из тюрьмы, что стоит на Каштаке, ночью вывозили связанных врагов народа, а во рту у каждого врага был мяч. Чтобы, значит, не блажили. Расстреливали их прямо на телегах из револьверов в затылок. И один ухитрился вытолкнуть мяч изо рта и заблажил. Да и выстрелы всё равно слышно. Тогда кто-то внёс предложение не стрелять, а бить по затылку ломом. И этот метод испробовали, и тоже — тяжело, не всегда одним ударом убьёшь, опять криков не избежать. Овчинников приказал сидевших в подвалах в центре города на Каштачную гору не тащить. Пусть ликвидаторы придума-

ют, как их прямо в подвалах ликвидировать, а уже потом тихо по ночам вывозить во рвы.

И придумали. В одной комнате стоял стол, и возле него — привинченный табурет был. Усаживали врага на табурет, читай, мол, протокол. Заходили сзади и стреляли из револьвера в затылок. И тут же хватали из стакана на столе пробку и затыкали дыру в голове, чтобы кровь не фонтанировала. Но всё равно после каждого выстрела приходилось вытирать кровь и на полу, и на столе, а то и на стенах. Затем труп уволакивали в складское помещение, и приглашали, как в парикмахерской:

— Следующий!

Дошла очередь «подстригаться» Смирнову. Почувствовал как-то: убивать будут! Вспомнил тех, что уехали за границу. Вот Анатолий Николаевич Пепеляев... уехал! Молодец! И самому надо было бы... на что надеялся? Эх!..

Не знал он, что и генерала ожидала такая же судьба. Сразу после бегства из России в чужой стране Анатолий Николаевич Пепеляев затосковал. Объезжал все китайские города, где жили русские эмигранты. Встречался с офицерами, унтерами и солдатами, с подростком молодняком. «На родину хотите?» Формировалась штурмовая бригада. Обучение шло в специальных воинских городках по полной программе.

Шло время, и разведка доносила, что после продрозвёрстки двадцатых годов российские крестьяне возненавидели Советы. Им только нужно помочь.

Перед ледоставом, когда уже больше не могло быть пароходов, отряды генерал-лейтенанта приплыли из Китая в порт Аян, тихое селение под городом Охотском. Отсюда, с восточного берега Охотского моря, освободители России должны были великим сибирским трактом двигаться на Якутск, обрастая добровольцами. И пойти на Красноярск. И, может, дальше — в родной Томск.

Аян. Тундра кругом, а сзади — лёд, шторма. После трудного морского похода уснули солдаты и офицеры, только двое часовых стояли возле изб во тьме. Сон. И вдруг стук в дверь, и голос, как гром среди ясного неба:

— Анатолий Николаевич Пепеляев здесь живёт? Сопротивляться не полезно. Окружены! Кругом — пулемёты! Именем советской власти. Арестованы!

Чтобы зря не проливать кровь, сдался. Хорошо сработала у красных разведка. Вслед за пепеляевцами ночью тайно шёл пароход из Владивостока. Нет, не отомстил генерал за брата, за других родных и близких, не вернул себе ту Россию, которая была. Да и нельзя дважды вступить в одну и ту же воду. У всех у нас есть родные города. Близкие люди. Мы тянемся к ним, не всегда дотягиваемся.

Анатолий Николаевич больше не увидел Томска, но увидел многие российские тюрьмы. Его почему-то не расстреляли сразу. Перевозили из одной тюрьмы в другую. Чего хотели от генерала? Его расстреляли чуть позже, чем Смирнова, в январе 1938 года, во внутреннем дворе Ярославской тюрьмы.

Каждый год в Томске вновь зацветает черёмуха, и в укромных уголках целуются влюблённые пары, совсем не думая о тех, кто жил здесь до них когда-то. Они не знают о прежних насельниках Томска ничего, да и не хотят знать. Что им Потанин, Смирнов, Гадалов, Пепеляев или кто другой? Всё забывается. Время — великий жулик.

Вы хоть раз взлетали душой под хороший русский хор? Таких мелодий, таких одухотворённых, красивых лиц, такой страсти не услышите, не увидите ни на Востоке, ни на Западе. И природа, как мы её ни губим, прекрасна в Сибири, и во многих других краях Руси. А о чём поют хвойные боры в междуречье Томи и Оби, знаете? Плюньте на рекламу, упадите в серебристые и изумрудные сухие мхи и покайтесь!

Говорят, не очень давно приезжала в Томск из Америки дочь Ивана Васильевича Смирнова, сестра трагически погибшего Вани. Старушка тихо постояла возле дворца своего покойного отца. Почитала вывеску на стене. Там разместились какая-то научно-нефтяная контора. Дочь Смирнова тихо прошла по окрестным переулкам, а потом так же тихо уехала из Томска, теперь уже навсегда.

«Пожить в двух веках»

«Почему всё так страшно и дико?» — вот какой вопрос задал нам герой романа «Прощаль». И автор подсказывает ответ: «Время — великий жулик». Это, скорее, тоже вопрос, а не ответ. Писатель задал свои вопросы и ушёл из жизни — пора искать ответы заново. На склоне лет Борис Климычев сказал: «Мне довелось пожить в двух веках», «...довелось самому повидать многое». Родился до великой войны, увидел развал Советского Союза, и имел право сказать тютчевскими словами: «Во всём величьи видел ты закат звезды его кровавой». Величье и уродство ушедшей эпохи — в этом видении надо искать ключ к его романам.

Удавшийся проект *Томская классика* засвидетельствовал: в «Сибирские Афины» возвращается литературная слава грани XIX и XX веков. Всё казалось ясно и просто, пока не дошло до современности. Споры начались вокруг наследия Бориса Климычева: к современнику трудно отнести как к классику. Тут впору напомнить обобщение: «...современники всегда (!) ошибаются в оценке современных им произведений — в ту или другую сторону» (М. Бахин). Есть закономерность: одни перебирают в похвалах, другие недопонимают. Читатели Климычева разделились на два стана: одни восторгаются, другие находят огрехи. Критики же писали большей частью в связи с юбилеями и в тоне панегирика. Это всё о человеке, о внешней биографии, а надо — о художественном мире. Надо решить, что это: сдача вкусам эпохи или спор с нею.

Борис Николаевич Климычев родился в Томске в 1930 году и умер здесь же в 2013-м. И почти всё, что написал он, связано с родным городом. Жил в Караганде, служил в армии на Дальнем Востоке, в Ашхабаде разбирали развалины после страшного землетрясения и проработал в этом городе десять лет. Там и выпустил первую стихотворную книжку. В 60-е годы работал в районных газетах Томской области. Здесь стал прозаиком и возглавлял потом Томскую писательскую организацию. Ему присвоено звание почётного гражданина Томска. Об этом, в духе литературного краеведения, и говорят обычно, но эта внешне-биографическая канва уводит от главной темы. Какое дело читателям новых поколений до всего этого? Он автор десятка стихотворных сборников, но я буду говорить только о Климычеве-прозаике: о стихотворных его книгах спор всерьёз не начинался.

К прозе Климычев приступил в зрелом возрасте: «Часы деревянные с боем» (1981 год) закончил в пятьдесят лет. Романы написаны на разном уровне, и ничего странного тут нет. Никто не должен писать одинаково, особенно автор, ищущий свою манеру. Видимо, от первой прозаической книги через «Томские чудеса» (1994) и «Мой старый Томск» (1995) путь был не простой. Этапы пути: поэт, журналист и романист. Стихотворец и историк-краевед плохо уживаются друг с другом, и конфликт их углублялся. И вот «Маркиз де Томск» преподнёс читателю захватывающие «страсти-мордасти». По отдельности эти события в Томске, конечно, могли быть, но такое сгущенье, экстракт такой в романе художественно-краеведческом вызывает преткновения. Город-то наш, и люди с такими именами известны, но томская ли это история? Да, сибиряки, они такие бывают, но не только ведь такие. И не отмахнёшься от «Прощали», где жуткие фантазмагории начала XX века обусловлены сибирским характером. То бишь чалдонской заскорузлостью.

Первое моё впечатленье: это проза поэтического происхождения. Опыт стихотворца, до определённого момента нужный прозаику, искусителен. Отдаленье от эпохи может вылиться и в сгущенье печали, и в развлеченье. Вот общий фон нынешней литературной эпохи: старый вопрос о *правде времени* был снят. В исторической романистике неуважительное отношение к истории стало модой. На изломе советской эпохи в литературу пришло поколение без истории. Вместо дотошного исследования — «шутовство истории».

Смотреть на уходящую эпоху с иронией — это так понятно. И вот *добрый старый Томск* оказался населённым *кувшинными рылами*.

«Кавалер Девильнев» — в основе сюжета миражная интрига. Монахиня-хлыстовка зачала на радении ребёнка. Расхожая легенда о сектантах-христоверах, ни одним документом не подтверждённая. Тут и скопцы, и прочие изуверы в узком пространстве. Есть и разбойное распрявление раба-художника, и неотразимая притягательность в монастырском блюде прижитой Даши, и тупая давилня государства, которую в своих масонских прожектах хочет преодолеть Девильнев. Его работа над новой людской породой — предмет авторской иронии: европеец-гуманист в тёмной Сибири умер как-то обидно. Очевидно, от запора — объелся черёмухой. Что русскому — пустяк, «фрянчуженину» — смерть. Но как притягательно это пёстрое полотно!

Да, автор имеет право на вымысел; это всё мы проходили. Но в какой контекст это вписывается? Если преподносят нам «скифскую летопись» (а такой азбуки не было), если всерьёз изображают поход Александра Македонского в Томск или уверяют, что Томск и есть подземный идиллический город Грустина, — тут пора остановиться. А при чём тут Климычев, опять же спросит Некто. А при том, скажем, что не было корон у скифских царей. И с чего бы это Страленберг, первым описавший Томскую писаницу, оставил здесь корону. Он ведь только проехал через Томск. Посетить Томск ещё раз он, пленный, не имел шанса. Такие домыслы и создают миражную интригу.

Изумление как метод исторического изучения... Когда желанье изумлять сменилось желаньем понимать? И точно ли сменилось? Когда же был такой экзотический город? Э. Бурмакин, ровесник Климычева и коллега по «писоргу», заметил: «Я восхищаюсь прозой Бориса Климычева, посвящённой Томску. И если бы — употреблю современное слово — «раскрутить» его, его книги стали бы бестселлерами. Акунин отошёл бы в сторону». Эталон весьма сомнительный. «Бестселлер» — лучше всего продающийся. Фабрика по имени *Акунин* работает по принципу конвейера. А если искать пример поближе, есть в Сибири свой «маэстро» псевдоисторического романа: А. Бушков. Он автор книги «Россия, которой не было». Никакие монголы, мол, ни из каких там степей не приходили, это русские князья передрались. Иван

Грозный — ещё один фантом, их было не один, а четыре. Да и в целом история Евразии — сплошной фантом. Вот тут дошло уже до края. И что ждёт поколение с таким историческим «наследием»?

А вопрос о направлении так ведь и не задан. Борис Климычев, работавший в районных газетах, «деревенщиком» не стал. К «городской» прозе (интеллектуальной), пожалуй, отнесут его с большим допуском. Романист-историк? Здесь допуск ещё крупнее. Пряно и красочно? Да, авантюры захватывают, потрясают воображение, от реальности уходят в вольный полёт. Это, конечно, дело вкуса. Но когда пряностей много, а хлеба и воды маловато, на таком пайке долго не протянешь. А в нынешних условиях разрыва и раздвоя одна у нас ставка — трезвость, духовно-историческая взыскательность. Сам же Климычев сказал, что «по большому счёту, в литературе никого не обманешь». Правда, окрест оглядевшись, спрашиваешь себя: откуда ж тогда ходульная литературщина кругом?

Не упустим главное — момент завершения творческого пути: в романе «Прощаль» балаган сменяется трагедией. Вот, наверно, литературное завещание прозаика, а не саркастический «Поцелуй Даздрапермы». Коля Зимний — беспомощная жертва истории, предельный случай «маленького человека». Он даже погрозить пальчиком, на манер пушкинского героя («Ужо тебе!»), не может: некому. Атмосфера абсурда, жуткая алогичность истории. Центральный символ, футуристическая картина «Прощаль» — символ химерного прожектёрства. Философствовать же ни сам автор, ни герои его не склонны. И религиозные вопросы их совсем не волнуют. Но доктрина человека в его романах, конечно, сложилась, и она отдаёт мизантропией. А для смягчения, для приправы — позиция «папы Карло в костюме антиквара» (В. Яранцев).

Признаю: я сделал крен в сторону гиперкритики. Для чего? Тест на звание классика — из всех тестов самый трудный. А спор о художественном мире Климычева только начинается. Но я говорю не о стиле Климычева, иногда виртуозном, не о композиции романов, а лишь об авантурных сюжетных загогулинах. Что-что, а роль слова в словесном искусстве Климычев понимал хорошо. Может быть, даже фетишистски преувеличивал её, что свойственно поэтам. В этих фантазмагориях, в исторических балладах с обратным знаком преоб-

ладают эпохальные монстры и диковинные стыковки. Тут есть о чём думать, есть предмет спора. Его романы издаются в Москве и в Сибири. Это уже немало: значит, не одно только модное поветрие.

А теперь надо нам прочесть его заново, если мы хотим понять уходящую реальность. Не сомневаюсь — Климычев настоящий художник, и на вопросы пришедшего поколения даёт свои, оригинальные ответы.

А. Казаркин

Содержание

Томские чудеса

Тверская, пять	7
Дядя Володя	15
Крестьянская Баня	20
Самсон из Скобяного	24
Томские чудеса	30
Первый камушек	35
Дом Костана и Коляна	41
Моментальный портрет	48
Детская моя кровать	60
Иероглиф Фу	68
Пепел Ивана	74
Четвёртое событие	84
Вечер был, сверкали звёзды...	88
Прекрасная маркиза	94
Угар	103
Последнее танго	112
Улица Равенства	119
Мастера первой руки	126
Отношение к медицине	131
Герценова баня	137
«Фин Шампань»	142
Последний визит	146
Прощание с домом	154

Прощаль

1. Зимний Николай	159
2. Владелец Чуда	161
3. Мальчики-грумы	163
4. Черёмуха шептала	167
5. Бедный Фердинанд	170
6. Красные сапоги с кисточками	174
7. Конопля на Орловском	176
8. Девятка пик в оправе	180
9. Знакомство в поезде	183
10. Забрить хотели	185
11. Бункера и салоны	189
12. Сатрапы — вниз по трапу	197
13. Чёрный человек	203
14. Женщина-главнокомандующий	204

15. Во дворце мёртвых	210
16. Семейная скорбь	214
17. Сладкого захотелось	219
18. По особо важным делам	224
19. В доме под кедрами	227
20. Во тьме эмбриональной	231
21. Веснянки	240
22. Шпага на память	250
23. Садиза, садиза!	256
24. Адью, господин губернатор!	262
25. Летние грозы	268
26. Ночь абсолютной свободы	273
27. Молитвенный барабан	279
28. Войлочная заимка	284
29. Дети мои!	288
30. Духи в городе	296
31. Смерть Леонеля	303
32. Алёна-Элеонора — девственница	313
33. Скворцы летят мимо	316
34. Разлука ты, разлука!...	325
35. Рази и побеждай!	331
36. Пять люлек на верёвках	333
37. Прощай, «Прощаль»!	339
38. Король поэтов и другие	344
39. Подать козлу сигару!	355
40. Скульпторы революции	361
41. «...всюду деньги, деньги, деньги!...».	366
42. Морозы, метели...	371
43. Травяной чай	379
44. Всякому — своё.	384
<i>А. Казаркин. «Пожить в двух веках».</i>	<i>392</i>

«Томская классика»

Произведения, включённые в серию, соответствуют трём критериям: содержат местный материал или написаны в Томске; имеют художественную и общественную ценность; известны за границами области.

1. И. А. Куцевский. Николай Негорев, или Благополучный россиянин.

2. Н. И. Наумов. Избранное.

3. Г. Д. Гребенщиков. Избранное.

4. В. Я. Шишков. Избранное.

5. Г. М. Марков. Строговы.

6. М. Л. Халфина. Избранное.

7. В. В. Липатов. Избранное.

8. Вл. А. Колыхалов. Дикие побеги.

9. В. Д. Колупаев. Избранное.

10. К. М. Станюкович. Избранное. Константин Михайлович Станюкович (1843, Севастополь, — 1903, Неаполь) — русский писатель, известен произведениями на темы из жизни военно-морского флота. За три года жизни в Томске написано: роман и многочисленные рассказы. Здесь, в ссылке, за тысячи километров от морей и океанов, Станюкович создавал те произведения о русских морях, которые в итоге и принесут ему мировую славу.

11. В. А. Обручев. Избранное. Владимир Афанасьевич Обручев (1863 г., Ржев — 1956 г., Москва) — русский геолог, палеонтолог, геоморфолог, географ, писатель-фантаст, академик АН СССР. После революции 1905 Обручев состоял в Конституционно-демократической партии, возглавляя её томский комитет. С 1901 по 1912 преподавал в Томском технологическом институте и был организатором его горного отделения.

12. Н. А. Клюев. Избранное. Николай Алексеевич Клюев (1884, деревня Коштуги, Олонецкая губерния, — 1937, Томск. Расстрелян) — русский поэт, лидер так называемого новокрестьянского направления в русской поэзии XX века.

13. Ф. И. Тихменёв. Избранное. Фёдор Иванович Тихменёв (1890 г., с. Шерагул, Нижнеудинский уезд, Иркутская губ. — 1982 г., Томск) — один из организаторов в 1932 году литературного объединения в Томске.

14. Б. Н. Климычев. Избранное. Борис Николаевич Климычев (1930, Томск — 2013, Томск) — прозаик и поэт, журналист. Почётный гражданин г. Томска.

Литературно-художественное издание
Борис Николаевич Климычев
Избранное

Редактор книжной серии *Г. К. Скарлыгин*
Редактор-составитель тома *А. П. Казаркин*
Технический редактор *А. Р. Рубан*
Корректор *И. А. Сердюк*

Издание Томской писательской организации.
Подписано в печать 30.04.2015 г. Печать офсетная.
Формат 140×240 мм. Шрифт Cambria.
Усл. печ. л 24,89. Уч.-изд. л. 21,1. Тираж 1 000 экз.



13822000358644



ТОУБ ИМОН А.С. ТУШКИБ